

ISSN 2686-7494

Два века

РУССКОЙ
ИЖИССКИ

ISSN 2686-7494

ISSN 2686-7494

Журнал включен
в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ
Журнал включен в базу Scopus

Scopus®

Два века **Two centuries**
русской классики **of the Russian classics**
[Dva veka russkoi klassiki]

Научный журнал Academic Journal
Выходит с 2019 года Is published since 2019

2025 Том 7 № 4 2025 Volume 7 No. 4

Учредитель и издатель: Founder and publisher:
Институт A. M. Gorky
мировой литературы Institute
им. А. М. Горького of World Literature
Российской of the Russian
академии наук Academy of Science

Два века
РУССКОЙ
КЛАССИКИ

Редакционная коллегия журнала «Два века русской классики»



Главный редактор

Щербакова Марина Ивановна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Заместитель главного редактора

Андреева Валерия Геннадьевна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Заместитель главного редактора

Виноградов Игорь Алексеевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Редакционная коллегия

Гулин Александр Вадимович (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия), Гуминский Виктор Мирославович (Институт
мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва, Россия),
Ивинский Александр Дмитриевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия), Троицкий Всеволод Юрьевич
(независимый исследователь, г. Москва, Россия), Воропаев Владимир Алексеевич
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия),
Генералова Наталья Петровна (Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, Россия), Захаров Владимир Николаевич
(Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Российский фонд
фундаментальных исследований, г. Москва, Россия), Коровин Владимир Леонидович
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия),
Лебедев Юрий Владимирович (Костромской государственный университет, г. Кострома,
Россия), Михайлова Наталья Ивановна (Государственный музей А. С. Пушкина, г. Москва,
Россия), Мосалева Галина Владимировна (Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск, Россия), Николаева Евгения Васильевна (Московский педагогический
государственный университет, г. Москва, Россия), Николаева Светлана Юрьевна (Тверской
государственный университет, г. Тверь, Россия), Федоров Алексей Владимирович
(издательство «Русское слово», г. Москва, Россия), Чернышева Елена Геннадьевна
(Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия)

Международный редакционный совет

Авидзба Василий Шамониевич (научно-исследовательский центр «Абхазская
энциклопедия», г. Сухум, Абхазия), Гини Джузеппе (Университет им. Карло Бо, г. Урбино,
Италия), Донсков Андрей Александрович (Славянская исследовательская группа при
университете Оттавы, г. Оттава, Канада), Кавачца Антонелла (Университет им. Карло Бо,
г. Урбино, Италия), Луцевич Людмила Федоровна (Варшавский университет,
г. Варшава, Польша), Олджай Тюркан (Стамбульский университет, г. Стамбул, Турция),
Саверченко Иван Васильевич («Институт литературоведения им. Янки Купалы»
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь),
Рафаэль Гусман Тирадо (г. Гранада, Испания)

The editorial board of the journal “Two centuries of the Russian classics”



Editor-in-Chief

Marina I. Shcherbakova (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief

Valeria G. Andreeva (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief

Igor' A. Vinogradov (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Editorial Board

Alexander V. Gulin (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Victor M. Guminsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Alexander D. Ivinsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Vsevolod Yu. Troitsky (Independent Researcher, Moscow, Russia),
Vladimir A. Voropayev (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Natalya P. Generalova (Institute of Russian Literature (The Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia),
Vladimir N. Zakharov (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Foundation for Basic Research, Moscow, Russia),
Vladimir L. Korovin (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Yuriy V. Lebedev (Kostroma State University, Kostroma, Russia),
Natalya I. Mikhaylova (State Museum of A. S. Pushkin, Moscow, Russia),
Galina V. Mosaleva (Udmurt State University, Izhevsk, Russia),
Evgenia V. Nikolaeva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia),
Svetlana Yu. Nikolaeva (Tver State University, Tver, Russia),
Alexey V. Fedorov (Russian Word publishing house, Moscow, Russia),
Elena G. Chernysheva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia)

International Editorial Council

Vasily Sh. Avidzba (Abkhazian Encyclopedia Research center, Sukhum, Abkhazia),
Giuseppe Genya (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Andrey A. Donskov (Slavic Research Group at the University of Ottawa, Ottawa, Canada),
Antonella Cavazza (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Lyudmila F Lutsevich (Warsaw University, Warsaw, Poland),
Oldzhay Tyurkan (Istanbul University, Istanbul, Turkey),
Ivan V. Saverchenko (Institute of Literary Criticism of Janka Kupala of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus),
Raphael G. Tirado (Granada, Spain)

Содержание

Русская литература XVIII–XIX столетий

- 6** **Крашенинникова О. А.** Церковная проповедь на Новый год: эволюция жанра в первой половине XVIII в.
- 24** **Трофимов А. Е.** Первая ода М. М. Хераскова (история создания и художественная структура)
- 50** **Сафонов М. М.** «Секретная миссия» княгини Е. Р. Дашковой в общественно-политической борьбе в третьей четверти XVIII в.
- 74** **Юдахин А. А.** Проблема историософского подтекста в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»
- 90** **Гуминский В. М.** Полемика славянофилов с западниками о личности и выбор русской литературой направления развития
- 136** **Жданов С. С.** Природное и городское пространства Малороссии и Новороссии в травелоге «На воспетой реке» Н. С. Филиппова
- 170** **Канель И. В.** Поэзия и публицистика Ф. И. Тютчева в контексте Рисорджименто
- 184** **Криницын А. Б.** Ф. М. Достоевский и И. Кант: два пути к Богу
- 214** **Михайлова М. В.** Парадоксы библиофильства и фетишизация книги в литературном наследии В. И. Танеева
- 234** **Крижановский Н. И.** М. О. Меньшиков и Н. С. Лесков: эволюция взаимоотношений критика и писателя
- 272** **Александров А. С., Александрова Э. К.** К истории третейского литературного суда по делу В. В. Крестовского и А. А. Измайлова
- 304** **Шевчук Ю. В.** Лирика А. Ахматовой конца 1910-х – начала 1920-х гг.: трагизм и героика
- 326** **Королева С. Б.** «Медный всадник» в англо-американской пушкинистике XX в.: символика пространства и сюжета

Текстология. Источниковедение

- 352** **Киселева И. А.** Проблема выбора источника для публикации и реконструкции текстов стихотворений М. Ю. Лермонтова 1840 г.
- 374** **Ковалева Г. Н.** «Се жених грядет...»: исторические источники записей Л. Н. Толстого о Феофане Прокоповиче в материалах к <Роману из времени Петра I>

Contents

Russian Literature of the 18th–19th Centuries

- 6 **Olga A. Krashennikova.** Church Sermon for the New Year: The Evolution of the Genre in the First Half of the 18th Century
- 24 **Artem E. Trofimov.** The First Ode by M. M. Kheraskov (The History of Creating and the Artistic Structure)
- 50 **Mikhail M. Safonov.** The “Secret Mission” of Princess E. R. Dashkova in the Socio-Political Struggle of the Third Quarter of the 18th Century
- 74 **Artem A. Yudakhin.** The Issue of Historiosophical Subtext in A. S. Griboyedov’s Comedy *Woe from Wit*
- 90 **Victor M. Guminsky.** The Controversy Between the Slavophiles and Westernizers About Personality and the Choice of Direction for Russian Literature
- 136 **Sergey S. Zhdanov.** Natural and Urban Spaces of Little Russia and Novorossiia in the Travelogue *On the Glorified River* by N. S. Filippov
- 170 **Irina V. Kanel.** F. I. Tyutchev’s Poetry and Journalism in the Risorgimento Context
- 184 **Alexander B. Krinitsyn.** Dostoevsky and Kant: Two Paths to God
- 214 **Maria V. Mikhailova.** Paradoxes of Bibliophilia and Fetishization of Books in V. I. Taneyev’s Literary Heritage
- 234 **Nikolay I. Krizhanovskiy.** M. O. Menshikov and N. S. Leskov: The Evolution of the Relationship Between the Critic and the Writer
- 272 **Alexandr S. Alexandrov, Elmira K. Alexandrova.** On the History of the Literary Arbitration Court in the Case of V. V. Krestovsky and A. A. Izmailov
- 304 **Yuliya V. Shevchuk.** A. Akhmatova’s Lyrics in the Late 1910s and Early 1920s: Tragedy and Heroics
- 326 **Svetlana B. Koroleva.** “The Bronze Horseman” in Anglo-American Pushkin Studies of the 20th Century: Symbolism of Space and Plot

Textual Criticism. Source Study

- 352 **Irina A. Kiselyova.** The Problem of Choosing a Source for the Reconstruction and Publication of M. Yu. Lermontov’s Poems of 1840
- 374 **Galina N. Kovaleva.** “Behold, the Bridegroom Is Coming”: Historical Sources of Leo Tolstoy’s Writings on Feofan Prokopovich in the Materials for <A Novel from the Time of Peter the Great>

© 2025. О. А. Крашенинникова

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Церковная проповедь на Новый год: эволюция жанра в первой половине XVIII в.

Аннотация: Статья посвящена анализу жанрово-тематической группы русских церковных проповедей на Новый год первой половины XVIII в., зародившейся в эпоху Петра Великого с начала его реформы летоисчисления в 1700 г. В статье рассматриваются образцы новогодних Слов ведущих проповедников первой половины XVIII в.: Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, Стефана Калиновского, Сильвестра Кулябки и Гедеона Криновского. Художественное осмысление новоучрежденного праздника Нового года каждым из указанных проповедников является уникальным и представляет определенную стадию в развитии этого жанра. У Феофана Прокоповича впервые социальному времени было противопоставлено время сакральное. В проповедях писателей елизаветинского времени новогодний рубеж все более стал восприниматься как напоминание о суетности и скоротечности земного человеческого существования, неизбежности смерти и перехода в вечность. В своем развитии жанр новогодней проповеди претерпел значительную эволюцию: отходя от освещения вопросов социального развития общества, эта проповедь в елизаветинскую эпоху обратилась к внутреннему миру человека, стала решать экзистенциальные вопросы человеческого бытия.

Ключевые слова: проповедь на Новый год, елизаветинская проповедь, торжественные слова, нравственно-дидактическая проповедь, Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Стефан Калиновский, Сильвестр Кулябка, Гедеон Криновский.

Информация об авторе: Ольга Александровна Крашенинникова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1518-7923>

E-mail: krashenninnikova.61@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 11.07.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 01.09.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Крашенинникова О. А. Церковная проповедь на Новый год: эволюция жанра в первой половине XVIII в. // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 6–23. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-6-23>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 6–23. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 6–23. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. **Olga A. Krasheninnikova**
A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Church Sermon for the New Year: The Evolution of the Genre in the First Half of the 18th Century

Abstract: This article analyzes the genre and thematic group of Russian New Year's sermons of the first half of the 18th century, which originated during the reign of Peter the Great, with the beginning of his chronology reform in 1700. The article examines examples of New Year's sermons by leading preachers of the first half of the 18th century: Stefan Yavorsky, Feofan Prokopovich, Stefan Kalinovsky, Sylvester Kulyabka, and Gideon Krinovsky. Each of these preachers' artistic interpretations of the newly established New Year's holiday are unique and represent a specific stage in the development of this genre. Feofan Prokopovich was the first to contrast social time with sacred time. In the sermons of Elizabethan writers, the New Year's threshold increasingly came to be perceived as a reminder of the vanity and transience of earthly human existence, the inevitability of death, and the transition to eternity. The genre of the New Year's sermon underwent a significant evolution in its development: moving away from covering issues of social development, this sermon in the Elizabethan era turned to the inner world of man, and began to address existential questions.

Keywords: New Year's Eve sermon, Elizabethan sermon, solemn sermons, moral and didactic sermon, Stefan Yavorsky, Feofan Prokopovich, Stefan Kalinovsky, Sylvester Kulyabka, Gideon Krinovsky.

Information about the author: Olga A. Krasheninnikova, PhD in Philology, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1518-7923>

E-mail: krasheninnikova.61@mail.ru

Received: July 11, 2025

Approved after reviewing: September 01, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Krasheninnikova, O. A. "Church Sermon for the New Year: The Evolution of the Genre in the First Half of the 18th Century." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 6–23. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-6-23>

В последние десятилетия в русском литературоведении получила развитие тенденция филологического изучения гомилетического наследия XVIII–XIX вв. Если ранее проповеди церковных авторов изучались преимущественно в курсах по истории гомилетики [Заведеев; Ветелев, Козлов], то в наше время они рассматриваются филологами как неотъемлемая часть словесной культуры вообще [см.: Кочеткова; Кагарлицкий; Матвеев 2009]. В частности, церковная проповедь, расцветшая в период правления императрицы Елизаветы Петровны в 1740–1750 гг., ныне признается исследователями частью общей риторической культуры того времени и изучается в одном ряду с ораторской прозой светских авторов: Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского и др. [Матвеев 2007; Матвеев 2009]. Это является тем более оправданным, поскольку и самими читателями церковные проповеди «воспринимались в эту эпоху как литературные тексты, их публикации были фактом литературной жизни того времени» [Матвеев 2009: 36]. Печатные экземпляры проповедей пользовались большим спросом у читателей, их тиражи быстро раскупались [Кислова]. По идейной глубине и философской насыщенности Слова, произнесенные с церковного амвона, порой могли соперничать со светскими похвальными речами и торжественными одами ведущих поэтов¹.

Проповеди на Новый год составляют периферийную и достаточно скромную тематическую группу в общем объеме гомилетического наследия первой половины XVIII в. Такая проповедь звучала лишь один раз в год, и из печати выходили лишь избранные образцы этого жанра, произнесенные обычно в присутствии царствующих особ. Так, в «Хронологическом каталоге слов и речей XVIII в.», начиная с петровской

¹ Было бы интересно, например, сравнить церковные проповеди «на Новый год» с параллельно существовавшей литературной традицией похвальных од «на новый год» [Петров].

эпохи и до окончания правления Елизаветы Петровны, насчитывается приблизительно одиннадцать напечатанных проповедей, посвященных Новому году. Это слова таких проповедников, как Феофан Прокопович, Феофилакт Лопатинский, Стефан Калиновский, Афанасий Волховский, Варлаам Скамницкий, Платон Петрункевич, Иоанн Кослович, Сильвестр Кулябка, Гедеон Криновский и др. [Хронологический каталог]. К ним можно прибавить пять более ранних неопубликованных проповедей Стефана Яворского, приуроченных к Новому году. Несмотря на немногочисленность Слов этой тематики (а большая часть их осталась в рукописях и до нас не дошла), по глубине содержания и философской насыщенности они зачастую не только превосходили другие жанры церковной гомилетики, но и предвосхищали многие будущие открытия светской литературы. Объясняется это тем, что Новый год — это событие, которое актуализировало тему философии времени и места человека в истории, давало повод для размышления о проходящем и вечном и, в конечном счете, о смысле человеческого бытия. На примере новогодней тематики удобно проследить, как менялось восприятие времени и мироощущение человека на протяжении даже небольшого отрезка истории — в данном случае, в течение первой половины XVIII в.

Жанр церковной проповеди на Новый год имеет вполне конкретную дату своего рождения. 20 декабря 1699 г. Петр I своим именным указом ввел в России западный юлианский календарь, по которому летоисчисление полагалось «от Рождества Христова осьмь дней спустя, то есть Генваря с 1 числа», а не от сотворения мира, как было раньше, и перенес празднование Нового года с 1 сентября на 1 января [Полное собрание законов. 3. № 1736: 681–682]. При этом в богослужебном календаре начало года по-прежнему приходилось на 1 сентября. Петр не просто заменил церковное новолетие секулярным праздником, но ввел его в официальный календарь важнейших дат российского государства и придал празднованию Нового года первого января статус главного гражданского праздника года. Это событие было запечатлено и в Гистории Свейской войны: «По окончании же сего 1699 году определено торжество новаго года генваря с 1 числа, а прежнее сентября с 1 числа отставлено. И оное действительно начало свое восприяло с 1700 году, для которого торжества в Москве была в соборной Успенской церкви по литургии отправлена предика чрез архиерея резанско-

го Стефана при благодарственном молебном пении по обычаю новому лету. Потом была троекратная пушечная стрельба и фейерверки, на Красной площади и в знатных местах зделаны были ворота наподобие триумфальных, також у многих знатных дома украшены были ворота ветвми от разных дерев и иллюминациями» [История: 201]. 1 января в петровскую эпоху был днем, насыщенным значимыми событиями общественной жизни. Шла Северная война, и к 1 января русская армия обычно возвращалась в Москву на зимние квартиры. В этот день по традиции подводились итоги прошедшего года, праздновались военные победы, строились планы на будущий год. Непременным атрибутом новогодних торжеств уже с 1700 г., помимо пушечной пальбы, фейерверков и народных гуляний, стал благодарственный новогодний молебен 1 января в Успенском соборе Московского Кремля, который возглавлял местоблюститель патриаршего престола митр. Стефан Яворский. После молебна он произносил торжественную проповедь, на которой присутствовал царь, сенаторы, воинство. К наиболее значимым новогодним проповедям Яворского относились: «Колесница торжественная» (1703) [Стефан Яворский 1804–1805: 140–184], «Колесница четырехколесная» (1704) [Стефан Яворский 1804–1805: 185–224], «Жатва торжественная» (1705) [Стефан Яворский 1874а: 99–121], «Торжественной колесницы путь сугубый» (1706) [Стефан Яворский 1874с: 123–154]. К новому году, по-видимому, была приурочена и более ранняя проповедь Яворского о российском гербе 1702 г. [Стефан Яворский 1874с: 85–98].

Хотя по внешним формальным признакам проповедь на Новый год была церковной проповедью, которая являлась продолжением молебна и звучала с церковного амвона, у Яворского она кардинальным образом отличалась от его нравственно-догматических проповедей. Новизну содержания определял повод ее создания: она не была приурочена, как обычно, к соответствующему церковному празднику или воскресному дню, но была посвящена внецерковному, светскому событию. Дистанцируясь от церковного календаря, торжественное Слово Яворского лишалось своей религиозно-догматической направленности и приобретало качества похвальной речи «на случай». Новогодняя проповедь Яворского по своему жанру была панегириком, воспевавшим победы русского оружия в Северной войне и самого царя-реформатора, создателя армии и флота, прославлявшим величие и

возрастающую силу Российской православной монархии. В новогодней проповеди митр. Стефана отмечались важнейшие события национальной истории. Религиозная символика в ней выполняла подчиненную роль и становилась художественным средством для выражения общегражданских и политических идей.

Для Новогодней проповеди петровского времени характерно совершенно особое восприятие времени. Новое летоисчисление, совпавшее к тому же с началом нового столетия, было призвано подчеркнуть начало новой, «петровской» эры в истории Российского государства, эпохи преобразований и обновления всех сторон русской жизни. В то же время, на фоне происходивших в обществе перемен и событий, собственно новогодняя тематика отходила на задний план, потому что не время определяло ход событий, но человек управлял временем. Воля царя-реформатора становилась определяющим фактором петровской эпохи. В восприятии современников царь представал подлинным «Отцом Отечества», родоначальником нового поколения людей, новой истории России — ср.: он «во всем обновил, или паче отродил Россию» [Феофан Прокопович 1718: 17], явился «своего государства новый создатель» [Тредиаковский: 70]. Яворский, уподобляя Петра I библейскому Ною, подразумевал не только создание им российского флота, но и то, что Петр, подобно Ною, явился родоначальником нового поколения людей. На глазах современников начиналась новая история преобразенной России, и проповеди Яворского задумывались как летописная хроника этой новой истории.

Начав свой цикл торжественных проповедей со Слова о российском гербе (1702), Яворский в дальнейшем отошел от статичного живописного образа и нашел более удачный, емкий символ петровской эпохи — образ библейской Иезекииловой колесницы. Колесница, как и колесо в западно-европейской мифологии — символ движения, развития, вечности. Образ колесницы и колес, приводящих в движение колесницу, а также образ пути стали теми ключевыми образами у Яворского, которые символизировали динамичное, поступательное развитие российского государства, возрастание его величия, мощи и славы. Будущее предвещало новые победы и изменения к лучшему. Поэтому символически толкуя цифровые значения наступившего года, Яворский искал и находил в них благоприятные предзнаменования. Символику чисел — этот излюбленный прием барочного искусства — Яворский ис-

пользовал для построения оптимистических прогнозов в отношении будущего Российского государства. Интересные примеры находим в проповедях 1704 и 1705 г. Так в новогодней проповеди 1704 г. Яворский, обыгрывая славянское название цифры «4» — «добро», предвещал России добрый и благополучный год. В начертании цифры 4 он усматривал также элементы святого креста, что также предвещало царю Петру I, подобно св. императору Константину, победу и одоление над врагом. На следующий, 1705 г. — вновь доброе предзнаменование в проповеди «Жатва торжественная»: «Имеет литер пять Иисус, такожде и престѡе имя Мѣриа имеет литер пять: Мариа. То нам будет утеха на сей год настоящий. Пятый год о(т) пятолитернаго имени Иисус начинается, пятый год пятолитерным именем Мариа защищается»¹.

Приблизительно с 1716 г. роль ведущего проповедника при Петре I начинает играть Феофан Прокопович, который становится официальным идеологом петровских преобразований. Творчество Феофана Прокоповича знаменует собой совершенно новый этап в развитии новогодней проповеди. Сохранились всего две проповеди Феофана на Новый год — 1725 г. [Феофан Прокопович 1761] и 1733 г. [Феофан Прокопович 1765], которые по праву можно назвать новаторскими, переломными. Новой и необычной чертой его новогодних проповедей стала утрата официозного характера восприятия праздника. Проповедник порывает с традицией парадной похвальной проповеди на новолетие, характерной для Стефана Яворского, и обращается к историческому и нравственно-дидактическому осмыслению этого праздника. Впервые именно в проповедях Феофана прозвучали ключевые идеи, характерные для всей послепетровской Новогодней проповеди в целом: мысль об условности летоисчисления, относительности самого понятия Нового года и идея противопоставления социального времени — сакральному.

В представлении Феофана время было подобно реке, которая не имеет ни начального, ни конечного предела, течет без единой остановки, находясь в беспрестанном движении. Но люди с самих древних времен по своему произволению избирали некоторые даты, чтобы обозначить начало года в определенные месяцы. Так у иудеев церковный

¹ *Стефан (Яворский)*. Проповеди. Российский Государственный Архив Древних Актов. Ф. 188. Ч. 1. Оп. 1. № 1029. Л. 103 об.

год начинался в марте, а гражданский в сентябре, у древних греков — в июле, у португальцев — в августе, в Византии, начиная с Константина — в первый день сентября, а в России, как и у римлян и во всей современной Европе, был установлен Петром I с первого января. Более того, — отмечает Феофан, — сами годы измерялись по-разному: у европейцев они исчислялись по циклам движения солнца, а у турков и китайцев — по лунному календарю. Кроме того, всякий отдельный человек исчислял свои собственные года, отсчитывая их со дня своего рождения. Мысль об условности понятия Нового года служила Феофану важным аргументом в полемике со старообрядцами, которые в перемене летоисчисления Петром I видели катастрофические признаки наступления апостасийного времени, времени отпадения от веры. На самом же деле, дата Нового года, — подчеркивал Феофан, — это условная дата, выбор которой определяется согласием отдельных народов или указами верховных властей.

Понимание относительности и условности даты Нового года приводит проповедника к неизбежной мысли о суетности и бесполезности самого новогоднего празднования, которому повсеместно подвержены душевные, а не духовные люди. Феофан обличает безумие людей, которые легкомысленно радуются и веселятся потому, что один год прошел, а другой наступил, не ведая будущего и не зная, что может принести им начавшийся год, забывая, что это очередной шаг, приближающий их к смерти: «что больше живем, то ближе к смерти». Феофан пишет, что если бы кто-то знал о своей кончине в грядущем году, то «не токмо бы не радовался о наставшем новом годе, но пожелал бы, дабы вси прешедшие годы возвратилися» [Феофан Прокопович 1765: 128]. Никаких причин для радости не видит проповедник в наступлении Нового года; напротив, его восприятие, например, начавшегося 1733 г. преисполнено откровенного страха и ожидания грядущих бед и катастроф. Проповедник признается: «Я, когда о времени будущем помышляю, так со мною деется, как когда бы я незапно нашел на некую стремнину и стал бы над пропастию и бездною страшною, темною, бездонною, каковой бы мне в таковом случае ужас был, так содрогаюсь, о будущем неизвестном помышляю» [Феофан Прокопович 1765: 132]. «Когда помыслим о будущих, больше нам надлежит бояться, нежели добраго надеяться» [Феофан Прокопович 1765: 133].

Новаторской предстает в проповедях Феофана и идея противопоставления праздника Нового года евангельскому «лету Господню», составляющая смысловое ядро обеих новогодних проповедей. «Лето» в церковно-славянском языке означает «год». Выражение «лето Господне» взято из 4 главы Евангелия от Луки, где говорится о чтении Иисусом в Назаретской синагоге места из книги пророка Исайи (Ис 61: 1–2): «Дух Господень на мне: егоже ради помаза мя благовестити нищим, посла мя исцелити сокрушенныя сердцем, проповедати плененным отпущение и слепым прозрение, отпустити сокрушенныя во отраду, проповедати *лето Господне приятно*» (Курсив мой. О. К.) (Лк 4: 17–19). Феофан поясняет происхождение выражения «лето Господне»: в книге пророка Исайи оно обозначало так называемый юбилейный год — каждый 50-й год, в который, согласно книге Левит, полагались льготы и милости израильскому народу: прощение долгов и наказаний, освобождение рабов и пленных, возвращение изгнанных [Феофан Прокопович 1761: 118]. В Евангельском контексте «лето Господне» — это благоприятное время, наставшее после пришествия в мир Господа Иисуса Христа, время спасения человека благодатию Божиею, прощения грехов и освобождения его от пленения дьявола: «И се то лето есть Господне приятно получати оставление грехов и исправляти житие по заповедем божиим, божию благодатию, данную нам о Христе Иисусе. Се то год новый, о немже гласит Апостол: Древняя мимоидоша, се быша вся нова» (2 Кор 5: 17) [Феофан Прокопович 1761: 121]. «Лето Господне» — это синоним спасения ветхого человека и синоним царства небесного, ожидающего праведников.

Противопоставляя русскому слову «год» церковнославянское «лето», Феофан различает время земное, социальное и время сакральное, вечное. Если года земные, временные ни в чем не имеют постоянства, подвержены переменам («одно [лето. — О. К.] будет плодоносное, другое по нем скудное <...>, одно мирное, другое военное, одно здоровое, другое вредное»), то лето Господне — это дверь в вечную жизнь, которая ждет человека по окончании временных лет его жизни, это подлинно «новый оный год вечный, некончаемый», всерадостный. Для одних «лето Господне» станет вечной погильею, сродни казни осужденному на смерть, для других — вечным блаженством и радостью в небесном царствии, подобно коронации на царство для избранного на царство [Феофан Прокопович 1761: 128–129].

Обе проповеди Феофана новогоднего цикла, разделенные восемью годами, написаны в едином ключе, согласуются друг с другом в главной идее, взаимно дополняя и конкретизируя ее. Размышляя над смыслом понятия Нового года, проповедник отвергает бытовое восприятие этого мнимого, с его точки зрения, праздника и противопоставляет ему непреходящее значение понятия «лета Господня» как образа вечности, образа Небесного Царства. Новогодние проповеди Феофана можно отнести к лучшим образцам философской ораторской прозы 1720–1730-х гг.

К началу царствования императрицы Елизаветы Петровны празднование Нового года 1 января уже прочно утвердилось во всех слоях российского общества. Стефан Калиновский в своей новогодней проповеди 1742 г. свидетельствовал, что радость и торжество по случаю Нового года в его время приобрело всенародный и всеобщий характер: «Куда ни поворотишь очи, видети есть благоприятные веселия знаки. К чему ни приклонишь уши, слышати есть благожелательные восклицания гласы. Пойди по Церквам, пойди по домам, пойди по улицам, везде увидишь светлыя и лица, и одежды, везде услышишь радостныя и пения, и поздравления.

И ежели спросить кого, для чего то? Которая то причина есть толикаго всемирнаго обрадования? Все, как вышних, так и нижних чинов Люди, Духовные и Светские, мужеск и женск Пол, богатые и убогие, совершеннаго возраста или и старости достигшие, и малые ребята, все единогласно отвечають: Слава богу! Нового года дождалися. Слава богу! Новый год начинаем. Как убо не благодумствовать! Как не веселиться? Как не торжествовать?» [Стефан (Калиновский): 3].

Тем не менее, в Словах ведущих церковных проповедников елизаветинской эпохи Стефана Калиновского, Сильвестра Кулябки и Гедона Криновского, произнесенных по случаю Нового года, все более усиливалось характерное для Феофана негативное отношение к новомуднему празднеству.

1 января 1742 г. епископ Псковский и архимандрит Александро-Невской лавры Стефан Калиновский в присутствии только что вступившей на престол Елизаветы Петровны произнес в придворной церкви Санкт-Петербурга Слово на Новый год [Стефан (Калиновский)]. Сошлись два важнейших события: новый гражданский год и начало первого года правления новой императрицы — пересеклись праздники календарный и государственный. Проповедь обречена была носить

программный характер. И действительно, последняя часть проповеди, содержащая восторженный гимн новой императрице, была выдержана Стефаном в лучших традициях похвальной оды. В то же время первая часть проповеди — размышление о сути собственно новогоднего праздника — была для русской гомилетики совершенно новаторской и парадоксальной. Это был полный разрыв с традицией национально и государственно ориентированной проповеди Стефана Яворского. Калиновский идет по пути, проложенному Феофаном. Хотя он и не разделяет трагический и пессимистический настрой своего предшественника, обращенный к полному неизвестности будущему, у Стефана находим глубокий скепсис по поводу самого понятия Нового года и той мнимой новизны, которую он символизировал. Проповедник пытается определить содержательный смысл праздника новолетия и развенчивает ставшие привычными обывательские представления об изменениях и переменах к лучшему, которые он якобы приносит. В отличие от эпохи петровских реформ, в наступлении нового 1742 г. Калиновский не видит никакого обновления или изменения — ни в жизни природы, ни в жизни человека. «Что мы, Слышателие, новое видим ныне, чего вчера не видели? Которую перемену принесл нам нынешний день? ... Для которой убо новости радуемся?» [Стефан (Калиновский): 4]. Земля, воздух, солнце, вода — все в природе осталось неизменным, солнце, сделав годовой круг, вернулось в тот же градус зодиака. Все это отнюдь не является поводом для радости. Ведя воображаемый диалог со слушателями, проповедник разбирает и другое мнение, согласно которому причиной радости была благодарность за то, что Бог даровал людям прожить благополучно еще один год. Но не должны ли мы благодарить Бога не только за год, но и за полгода, и за месяц, и за каждый день прожитой нами жизни? — вопрошает проповедник. — Не о том следует радоваться, что дожили до Нового года, но о том, как дожили: «Дожили не только мы, но и скоты. Дожили не только христиане, но и жидаы, и турки, и язычники. Дожили и самые безбожники. Дожили не токмо добрые люди, но и плуты, но и воры, но и разбойники» [Стефан (Калиновский): 5]. И нет повода веселиться грешникам, которые прожили год, умножая все новые грехи и злобы, нарушая заповеди Божии и год от года ожидая неминуемой расплаты за содеянное: «О том ли убо веселимся, Слышателие, когда год в злобах наших окончили, что собираем себе много гнева божия в день гнева? Не то ли благодарение

богу приносим, когда год в тех же старых злобах начинаем, что прибавляюще год к году, прибавляем и отмщение более ко отмщению в день откровения его?» [Стефан (Калиновский): 6].

Мирскому понятию «Нового года» у Калиновского, вслед за Феофаном, противопоставляется евангельское «лето Господне». Не все достойны начать подлинное новое лето, которое наступает не первого января, а лишь тогда, когда обновляется ветхий человек и облекается в нового человека, когда человек умирает для греха и начинает жить для Бога: «В лето Господне, Слышателие, живем, когда Господеви живем. Лето Господне начинаем, когда Господеви жить начинаем. Невозможно не начать жити Господеви, не умерши первее греху» [Стефан (Калиновский): 7]. Особенностью проповеди Калиновского стало то, что раскрывая евангельское понятие «лета Господня», Стефан делает акцент на нравственном состоянии падшего человека и требует от него покаяния и духовного перерождения. Истинный новый год, «лето Господне» у Стефана Калиновского — это не просто благодать Божия, дарованная пришествием в мир Иисуса Христа, прощающая грехи и спасающая человека, как у Феофана, но скорее награда, которую человеку нужно заслужить путем исправления своей греховной жизни. Он перечисляет целый каталог различных греховных состояний человека, подробно описывая различные владеющие им страсти: гордость, тщеславие, зависть, несправедное хищение, блуд, отпадение от Церкви, от которых человек должен избавиться, чтобы стать достойным истинного Лета Господня: «Тогда мы, Слышателие, начинаем новый год, когда не солнце от удаления своего от нас паки к нам, но когда мы от удаления нашего от бога паки к богу возвращаемся, и вся чувства наша, все мысли наши, вся хотения наша к нему, яко к последнему нашему концу направляем» [Стефан (Калиновский): 10–11]. Таким образом, новогодняя проповедь Стефана Калиновского раскрывает новые аспекты новогодней тематики: от историко-философского взгляда Прокоповича ее отличает обличительный и дидактический характер, острая полемичность и непосредственное обращение к внутреннему миру слушателей, с которыми проповедник вступает в живой диалог, стремясь пробудить в них желание нравственного исправления. Светский праздник Нового года становится поводом для назидательно-религиозно-нравственного урока.

Через девять лет после Стефана Калиновского, 1 января 1751 г. в присутствии императрицы, в придворной церкви Сретения Го-

сподня в Зимнем дворце, произносит свое Слово в день Новолетия Сильвестр Кулябка, на тот момент бывший архиепископом Санкт-Петербургским и архимандритом Александро-Невского монастыря. В своей новогодней проповеди Сильвестр, духовник Елизаветы, высокоуважаемый ею за образованность и аскетический образ жизни, также примкнул к традиции обличительной, нравственно-назидательной проповеди, основание которой было положено Стефаном Калиновским. Начало проповеди по традиции — это ироническое описание всеобщего народного ликования по поводу новогоднего праздника: «Новый год! Ким не поемый? Ким не торжествуемый? <...> Куды ни помотришь, Новый год увидишь, куды ни обратишься, Новый год заслышишь. Словом сказать, в чинах ли, в возрастах ли, в домех, либо в фамилиях, в градах и в весех вси Новый год поют» [Сильвестр (Кулябка): 2]. Ироническое начало, как и в проповеди Стефана, сменяется у Сильвестра обличением еще более строгим и беспощадным, чем у его предшественника. Не разделяя всеобщей радости, проповедник преисполнен «непрестающей печали души». Проповедь построена на смысловой антитезе «новое–старое»: новому году противопоставлен старый, «ветхий» человек, и в Новом году проповедник не ожидает ничего нового, кроме обновления застарелых людских пороков: «Новый год настал, о бедная застарелость в гресех, не новая ль уже тебе дверь отверзлась, не новое ль поле открылось, не новый ли случай найден к мерзостям? <...> О новый год! Не застарелая ль беда? Не новое ль грехов изобретение или окаянное к грехом еще приложение? Не вновь ли прибывающее Бога прогневание?» [Сильвестр (Кулябка): 3]. Многократное повторение однотипных риторических вопросов создает эмоциональное напряжение и усиливает обличительную силу проповеди. Кульминационным разрешением этого служит нравственное назидание, урок, раскрывающий истинный, религиозный смысл понятия «нового лета»: «Новость лета, Слышателие, живет тогда, когда в нас совлечение бывает ветхаго человека с деяниями его <...>. Новость лета живет тогда, когда внешний наш человек, видимая то есть наша часть, тело, глаголю, тлеет <...>, но внутренний человек обновляется по вся дни...» [Сильвестр (Кулябка): 4]. Таким образом, Сильвестр Кулябка, подобно Стефану Калиновскому, осуждает формальное, чисто внешнее празднование Нового года своими современниками и переносит смысловой акцент

проповеди на понятие истинного «нового лета», т. е. на внутренний мир обновленного и духовно совершенного человека.

Иеродиакон (с 1757 г. — архимандрит, а с 1761 г. — епископ Псковский) Гедеон Криновский, официальный проповедник при дворе императрицы Елизаветы Петровны с января 1753 г. по декабрь 1761 г., также посвятил одну из своих многочисленных проповедей празднику новолетия. «Слово на новый год» вошло в третий том его «Собрания разных поучительных слов» [Гедеон (Криновский): 1–12]. В издании проповедь не датирована, но упоминание в ней рождения в прошедшем году наследника, великого князя Павла Петровича позволяет отнести ее к началу 1755 г. В отличие от своих предшественников, Гедеон не торопится обличать празднующих и веселящихся людей, тон его проповеди более мягкий и снисходительный. Он готов и сам разделить всеобщую радость, возбуждая слушателей к «торжеству и веселию» словами 80-го псалма, избранного темой проповеди: «Вострубите в новомесячии трубою, во благознаменитый день праздника вашего» (Пс. 80: 4). Однако одного лишь внешнего веселья недостаточно для проповедника, он напоминает и другие слова, сказанные Пророком Исайей: «Новомесячий ваших, как и прочих праздников, ненавидит душа моя» (Ис. 1: 14). Свою проповедь автор строит на противопоставлении правильного (духовного) и греховного (языческого) празднования Нового года.

Обращаясь к истории праздника, Гедеон сравнивает два разных способа его празднования в древности. Первый — языческий праздник бога Януса, отмечавшийся 1 января у древних римлян, — пример греховного обычая, который сопровождался множеством народных суеверий и бесчинств. Второй — празднование новомесячий у древних иудеев. Иудеи, представители «божьего народа», отмечая эти дни, благодарили Творца за его мудрое промышление о людях, упражнялись в чтении Священного Писания, а также приносили особую жертву Богу, через которую и сами очищались (Числ.: 28). Проповедник убеждает слушателей не предаваться празднованию нового года, подобно язычникам, пребывая в пьянстве, веселье и обжорстве. Он предлагает другой путь, следующий обычаям «божьего народа». В праздник Нового года нужно, по его мнению, во-первых, вспомнить все благодеяния Божии и прославить Творца, который сотворил весь видимый мир на благо одного лишь человека — центра Вселенной. Второе — необхо-

димо принести благодарение Богу за то, что он терпит еще до времени людские грехи и дает людям время на покаяние. Наконец, подобно древним иудеям, нужно очистить себя от грехов «жертвой покаяния», употребив отпущенное для жизни время с пользой для души. Тогда и настанет воистину «новый год», подлинное новолетие, когда «совлечемся ветхаго человека» и «облечемся в нового обновляемого», станем «новой тварью».

Таким образом, смещая акцент с «нового года» на «нового человека», Гедеон примыкает к нравственно-дидактической традиции новогодней проповеди, идущей от Стефана Калиновского. В языческий по своему происхождению праздник Гедеон стремится внести новое христианское содержание и желает слушателям употребить новогоднее празднование на пользу душе, ради обновления и созидания души.

Наши представления о «новомоднем» настроении церковных ораторов были бы неполными, если бы мы не упомянули еще одну проповедь Гедеона Криновского, произнесенную на другой день после Нового года. В 3 томе «Собрания разных поучительных слов», вслед за его новогодней проповедью 1755 г., было помещено «Слово о краткости и бедности жития человеческого и о неизвестной его кончине» [Гедеон (Криновский): 13–24], начинающееся со слов «Вот уже мы и в новый год вступили!», которое наглядно демонстрирует глубоко пессимистическое восприятие времени мыслителями елизаветинской эпохи. По традиции, восходящей еще к новогодним проповедям Феофана, начало нового года для Гедеона не сулит никаких благотворных перемен, но знаменует скорее начало обратного отсчета временной жизни человека: «Мы ближе теперь находимся к смерти, нежели как в прошедшей год»; «Вся жизнь сия ничто иное, как дорога к смерти, и мы по ней идти начали, как скоро еще дышать стали» [Гедеон (Криновский): 13]. Новогодний рубеж для проповедника — это очередной повод почувствовать скоротечность жизни и неизбежность смерти, непрочность и призрачность земного человеческого бытия: «[Жизнь] подлинно висит у нас на тончайшем волосе, которой не только один замах острого меча, не только малая капля смертоносного яда, но и сего меньшая вещь перервать весьма довольна» [Гедеон (Криновский): 16]. Человек не способен предвидеть, что ждет его даже сегодня или завтра, поэтому вслед за библейским Иовом, проповедник называет своих современников людьми «вчерашними» («Вчерашни бо есмы и не вемы, сень

бо есть наше житие на земли» (Иов 8: 9)), «а настоящий проживем ли день, или утрешняго дождемся ли, то столько же не известно, сколько известно, что смерти нам не миновать» [Гедеон (Криновский): 23]. Можем предположить, что подобные мысли, посещавшие Гедеона, с одной стороны, могли быть следствием особого прозорливого предвидения своей собственной безвременной кончины (проповедник скоропостижно скончался в возрасте 37 лет), а с другой — были выражением общего катастрофического мироощущения, овладевавшего умами людей 1750-х гг. в разгар благополучнейшего правления императрицы Елизаветы Петровны.

Рассмотренные нами образцы новогодних проповедей Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, Стефана Калиновского, Сильвестра Кулябки и Гедеона Криновского представляют определенные стадии в развитии этого жанра. От официального, парадного панегирика петровской эпохи, осмыслявшего исторические вехи и достижения российского государства, был сделан кардинальный шаг в сторону историко-ософской и религиозной интерпретации смысла новогоднего праздника и связанной с ним проблемы времени. У Феофана Прокоповича впервые социальному времени было противопоставлено время сакральное, и исторически обусловленное и относительное понятие «Новый год» уступило в ценностной иерархии смыслов понятию «лето Господне» как синониму Божественной вечности. В дальнейшем, в проповедях елизаветинского времени, новогодняя тематика, рассмотренная в нравственно-дидактическом ключе, обрела новое звучание: был критически рассмотрен и коренным образом переосмыслен сам термин «Новый год» с его обманчивой и мнимой новизной. Новогодний рубеж все более стал восприниматься как напоминание о суетности и скоротечности земного человеческого существования, неизбежности смерти и перехода в вечность. Смысловой акцент был перенесен с понятия «Новый год» на образ «нового» (противопоставленного «ветхому») человека, «отложившегося» от греха и достойного войти в Царствие Божие, как на истинную цель и жизненное предназначение всякого православного христианина. Таким образом, в своем развитии жанр новогодней проповеди претерпел значительную эволюцию: отходя от освещения вопросов социального развития общества, эта проповедь в елизаветинскую эпоху обратилась непосредственно к внутреннему миру человека, стала решать экзистенциальные вопросы человеческого бытия.

Список литературы
Источники

Геден (Криновский). Собрание разных поучительных слов. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1758. Т. 3. 267 с.

История Свейской войны (Поденная записка Петра Великого) в 2 вып. М.: Круг, 2004. Вып. 1. / сост. Т. С. Майкова. 631 с.

Заведеев П. История русского проповедничества от XVII века до настоящего времени. Тула: Тип. Н. И. Соколова, 1879. 263 с.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. СПб.: Тип. отделения собств. е. и. в. канцелярии, 1830–1851. Т. 3 (1689–1699). № 1736. 691 с.

Сильвестр (Кулябка). Слово в день Новолетия... М.: Московская тип., 1751. 6 л.

Стефан (Калиновский). Слово на Новый год при высочайшем присутствии... Елисаветы Петровны 1 января 1742 г. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1742. 15 с.

Стефан (Яворский). Колесница торжественная // Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворского. М.: В Синод. тип., 1804–1805. Ч. 3. С. 140–184.

Стефан (Яворский). Колесница четырёхколесная // Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворского. М.: В Синод. тип., 1804–1805. Ч. 3. С. 185–224.

Стефан (Яворский). Жатва торжественная // Труды Киевской Духовной Академии. 1874. Июль. С. 99–121.

Стефан (Яворский). Торжественной колесницы путь сугубый // Труды Киевской Духовной Академии. 1874. Октябрь. С. 123–154.

Стефан (Яворский). Слово приветствующее около Пскова и в Ливонии // Труды Киевской Духовной Академии. 1874. Июль. С. 85–98.

Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1963. 577 с.

Феофан Прокопович. Слово о власти и чести царской. СПб.: Синод. тип., 1718. 19 л.

Феофан Прокопович. Слово на новое 1725 лето // *Феофан Прокопович*. Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные в 4 ч. В СПб.: Тип. при Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе, 1761. Ч. II. С. 113–125.

Феофан Прокопович. Слово на новый 1733 год // *Феофан Прокопович*. Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные в 4 ч. СПб.: Тип. при Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе, 1765. Ч. III. С. 127–137.

Хронологический каталог слов и речей XVIII века / сост. Е. И. Кислова, Е. М. Матвеев; под ред. П. Е. Бухаркина. СПб.: СПбГУ, 2011. 262 с.

Исследования

Ветелев А., прот., Козлов М. Е. История проповедничества Русской Православной Церкви. Сергиев Посад: МДА, 2006. 122 с.

Кагарлицкий Ю. В. Проповедь как источник по истории русской словесности и интеллектуальной культуры XVIII в. // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2002. С. 243–258.

Кислова Е. И. Издание придворных проповедей в 1740-е годы // XVIII век. СПб.: Наука, 2011. Сб. 26: Старое и новое в русском литературном сознании XVIII века. С. 52–72.

Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век. Л.: Наука, 1974. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. С. 50–80.

Матвеев Е. М. Церковный панегирик в русской ораторской прозе середины XVIII в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 35–41.

Матвеев Е. М. Русская ораторская проза середины XVIII века: Панегирик в светской и духовной литературе. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2009. 138 с.

Петров А. В. Оды «на Новый год», или открытие времени. Становление художественного историзма в русской поэзии XVIII века. М.; Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. ун-та, 2005. 271 с.

References

Vetelev, A., archpriest, and M. E. Kozlov. *Istoriia propovednichestva Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi* [History of the Preaching of the Russian Orthodox Church]. Sergiev Posad, Moscow Theological Academy Publ., 2006. 122 p. (In Russ.)

Kagarlitskii, Iu. V. “Propoved’ kak istochnik po istorii russkoi slovesnosti i intellektual’noi kul’tury XVIII v.” [“The Sermon as a Source for the History of Russian Literature and Intellectual Culture of the 18th Century”]. *Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istoriia russkogo iazyka* [Linguistic Source Studies and History of the Russian Language]. Moscow, V. V. Vinogradov Institute of the Russian Language Russian Academy of Sciences Publ., 2002, pp. 243–258. (In Russ.)

Kislova, E. I. “Izdanie pridvornnykh propovedei v 1740-e gody” [“Publication of Court Sermons in the 1740s”]. *XVIII vek* [18th Century], coll. 26: Staroe i novoe v russkom literaturnom soznanii XVIII veka [Old and New in Russian Literary Consciousness of the 18th Century]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2011, pp. 52–72. (In Russ.)

Kochetkova, N. D. “Oratorskaia proza Feofana Prokopovicha i puti formirovaniia literaturyklassitsizma” [“The Oratorical Prose of Feofan Prokopovich and the Development of Classicist Literature”]. *XVIII vek* [18th Century], coll. 9: Problemy literaturnogo razvitiia v Rossii pervoi treti XVIII veka [Problems of Literary Development in Russia in the First Third of the 18th Century]. Leningrad, Nauka Publ., 1974, pp. 50–80. (In Russ.)

Matveev, E. M. “Tserkovnyi panegirik v russkoi oratorskoi proze serediny XVIII v.” [“Church Panegyric in Russian Oratorical Prose of the Middle 18th Century”]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Serii 9*, issue 2, part 2, 2007, pp. 35–41. (In Russ.)

Matveev, E. M. *Russkaia oratorskaia proza serediny XVIII veka: Panegirik v svetskoi i dukhovnoi literature* [Russian Oratorical Prose of the Middle 18th Century: Panegyric in Secular and Spiritual Literature]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2009. 138 p. (In Russ.)

Petrov, A. V. *Ody “na Novyi god”, ili otkrytie vremeni. Stanovlenie khudozhestvennogo istorizma v russkoi poezii XVIII veka* [Odes “for the New Year,” or the Discovery of Time. The Formation of Artistic Historicism in Russian Poetry of the 18th Century]. Moscow, Magnitogorsk, Magnitogorsk State University Publ., 2005. 271 p. (In Russ.)

© 2025. А. Е. Трофимов

Библиотека Российской академии наук
г. Санкт-Петербург, Россия

Первая ода М. М. Хераскова (история создания и художественная структура)

Аннотация: В статье представлен историко-литературный анализ первой оды М. М. Хераскова «На торжественное воспоминание победы Петра Великого над шведами под Полтавою» 1751 г., посвященной императрице Елизавете Петровне. Представляя немалый интерес как литературный дебют Хераскова, эта ода не была включена ни в одно собрание сочинений поэта. Тематическая привязка оды к Полтавской победе 1709 г. обусловлена значимостью этого исторического события для культурной идеологии эпохи Елизаветы, родившейся в год «преславной виктории» и подчеркивавшей свою политическую преемственность по отношению к отцу. Мы показываем, что в оде Хераскова битва изображена в монументально-эпическом стиле как сражение христианского войска с абсолютным злом. С одной стороны, одописец развивает тему гордыни Карла XII, обращаясь как к образам античной мифологии, так и к древнерусскому культурному наследию. С другой стороны, Петра I Херасков наделяет атрибутами святости и присваивает монарху христианские добродетели смирения и любви, фактически превращая произведение в оду-житие первого российского императора.

Ключевые слова: М. М. Херасков, Полтавская победа, торжественная ода, Елизавета Петровна, Сухопутный кадетский корпус, Петр I, Карл XII.

Информация об авторе: Артем Евгеньевич Трофимов, ведущий библиотекарь Научно-исследовательского отдела рукописей Библиотеки Российской академии наук, Биржевая линия, д. 1, 199034 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-8684-3781>

E-mail: artem_trofimov_9@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 12.04.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 11.08.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Трофимов А. Е. Первая ода М. М. Хераскова (история создания и художественная структура) // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 24–49. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-24-49>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 24–49. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 24–49. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Artem E. Trofimov
Russian Academy of Sciences Library
Saint Petersburg, Russia

The First Ode by M. M. Kheraskov (The History of Creating and the Artistic Structure)

Abstract: The article presents a historical and literary analysis of the first ode by M. M. Kheraskov, “On the Solemn Remembrance of Peter the Great’s Victory over the Swedes at Poltava” (1751), dedicated to Empress Elizabeth Petrovna. Although of considerable interest as Kheraskov’s literary debut, this ode has not been included in any collection of the poet’s works. It appears that the thematic link of the ode to the Poltava victory of 1709 is due to the exceptional significance of this historical event for the cultural ideology of the era of Elizabeth, who was born in the year of the “glorious victory” and emphasized her political continuity with her father. We show that in Kheraskov’s ode, the battle is depicted in a monumental-epic style as a battle of the Christian army with absolute evil. On the one hand, the ode-writer develops the theme of Charles XII’s pride, referring to both images of ancient mythology and the ancient Russian cultural heritage. On the other hand, Kheraskov endows Peter I with attributes of holiness and assigns the Christian virtues of humility and love to the monarch, effectively turning the work into an ode to the first Russian emperor.

Keywords: M. M. Kheraskov, Poltava victory, solemn ode, Elizabeth Petrovna, Land Cadet Corps, Peter I, Charles XII.

Information about the author: Artem E. Trofimov, Department of Manuscripts, Russian Academy of Science Library, Birzhevaia liniia, 1, 199034 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-8684-3781>

E-mail: artem_trofimov_9@mail.ru

Received: April 12, 2025

Approved after reviewing: August 11, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Trofimov, A. E. “The First Ode by M. M. Kheraskov (The History of Creating and the Artistic Structure).” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 24–49. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-24-49>

Творчество Михаила Матвеевича Хераскова (1733–1807) осталось в истории русской литературы как исключительно многогранное для своей эпохи. Именно в лирике практически все жанры периода зрелого классицизма: басня, сонет, идиллия, эпиграмма, мадригал — присутствуют в творческом наследии автора. Впрочем, вплоть до нынешнего дня в сознании как массового читателя, так и исследователей Херасков оставался известен главным образом как автор героических поэм, романов и драматических произведений, тогда как Херасков-лирик сравнительно нечасто становился объектом внимания исследователей [Рак; Давыдов; Семёнова; Вендитти, Шруба].

Однако лирика составляет львиную долю творческого наследия писателя. Более того, с центрального лирического жанра XVIII в. — торжественной оды — и начинается творческий путь создателя «Россияды». В настоящей работе нами будет рассмотрен поэтический дебют Хераскова — «Ода ея императорскому величеству, всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской, сочиненная на торжественное воспоминание победы Петра Великого над шведами под Полтавою» 1751 г. Примечательно, что ни в 12-томном собрании сочинений рубежа XVIII–XIX вв. [Творения], ни в позднейших изданиях сочинений поэта этого произведения обнаружено не было. Даже П. Н. Берков и А. В. Западов, в разные годы упоминая о существовании оды [Берков: 195; Западов: 172], лишь ссылаются на наличие этого стихотворения в «Опыте российской библиографии» В. С. Сопикова (где она действительно указана как редкое издание [Сопиков 5: 66]). По-видимому, вплоть до сегодняшнего дня к тексту оды обращалась лишь Н. Ю. Алексеева — в контексте развития одического жанра в русской литературе [Алексеева: 262–265]. В связи с труднодоступностью произведения основная цель настоящей публикации — представить этот малоизвестный текст Хераскова, снабдив его историко-культурным комментарием (См. при-

ложение к статье). Орфография и пунктуация оригинала приведены нами в соответствие с нормами современного русского литературного языка.

Это первое дошедшее до нас произведение поэта имеет неоднозначную творческую историю. Будущий автор «Россияды» создал его, учась на последнем курсе Сухопутного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. В середине XVIII в. это учебное заведение, органично совмещавшее в системе преподавания военные науки с общеобразовательными дисциплинами, успело оставить след в литературной жизни России [Аронсон, Рейсер: 40–42; Гуковский 2001; Поженин]. Пожалуй, наиболее прославленным воспитанником Корпуса, уже блеснувшим к тому времени на поэтическом Олимпе (главным образом как драматург [Антонов]), был А. П. Сумароков. Столь высокая его популярность, оттенившая раннее творчество других кадет, позволяла, в частности, Г. А. Гуковскому усомниться, что Херасков вообще писал стихи в период обучения в Корпусе: «По многим биографиям Хераскова странствовало малодостоверное известие, якобы он уже в корпусе писал стихи и даже задумал “Россияду”» [Гуковский 1941: 351]. Вопрос о сумароковской школе как одном из первых литературных объединений в России остается дискуссионным, и в современных исследованиях гипотеза о ее существовании подвергается серьезной критике [Ивинский: 18–38], в связи с чем в рамках настоящей статьи мы не будем выискивать в оде возможные следы влияния творчества Сумарокова на раннего Хераскова. Тем более, что Н. Ю. Алексеева прямо указывает, что «следов чтения од Сумарокова у Хераскова нет» [Алексеева: 262], а исследования Д. П. Ивинского позволяют сделать вывод о прямом соперничестве двух значимых поэтов середины столетия [Ивинский: 61–67].

Так или иначе, само наличие анализируемой оды и ее точная датировка 1751 г. говорят о том, что поэтический талант пробудился у Хераскова еще в стенах Корпуса. Выскажем некоторые предположения о внешних обстоятельствах создания рассматриваемого текста. 1751 г. ознаменовался сразу двумя событиями: 10-летним юбилеем правления императрицы Елизаветы Петровны и выпуском Хераскова из Кадетского корпуса. Напомним, что сюжет о Полтавской победе в Елизаветинский период оказался исключительно важен для официального государственного нарратива Российской империи. Императрица родилась в 1709 г., в год великой виктории первого императора, таким

образом, именно «полтавский» сюжет подчеркивал ее легитимную преемственность по отношению к отцу — Петру I. В связи с этим создание оды, посвященной триумфу под Полтавой, виделось актуальным в символический юбилейный год. Поэтому мы не вполне можем согласиться с Н. Ю. Алексеевой, постулирующей, что эта ода «не могла служить непоэтическим, служебно-придворным целям» в связи с давностью описываемого исторического события [Алексеева: 262]. Разумеется, стихотворение не было писано начинающим поэтом на заказ, по прямому поручению императрицы или ее приближенных, однако, как известно, общий «сценарий власти» Елизаветы (в терминологии Р. Уортмана) включал, в том числе, и периодическую реактуализацию элементов культурной семиотики Петровской эпохи [Уортман 1: 122–152], в связи с чем выбор Херасковым полтавской темы видится актуальным как раз в рамках традиций придворной (в широком смысле [Осват]) словесности.

Хорошо известна исключительная симпатия Елизаветы к воспитанникам Сухопутного кадетского корпуса и определенный интерес к их творчеству, в особенности — после постановок ими первых образцов оригинальной драматургии русского классицизма. Исследователи этого периода не раз писали о том, что императрица выделяла кадетам для представлений Эрмитажный театр и лично заботилась о внешнем виде молодых актеров [Висковатов: 26]. Однако гипотеза, что молодой Херасков мог блеснуть своим поэтическим талантом, прочитав перед императрицей оду собственного сочинения, представляется маловероятной: ни исторические труды о Кадетском корпусе [Дом Романовых: 25–30], ни камер-фурьерский журнал императорской канцелярии за 1751 г. [Камер-фурьерские журналы] не фиксируют подобного случая. Взамен этого ода была напечатана 26 июня тиражом в 200 экземпляров в Типографии Академии наук (по-видимому, за счет автора) [Редкие русские книги: 212; Сводный каталог 3: 336].

Вышеизложенные факты могут косвенно указывать на то, что молодой выпускник Корпуса, возможно, намеревался передать оду покровительнице кадет через третьи руки, а также распространить текст среди ближайших знакомых (учитывая, что в академическую книжную лавку издание не поступало [Тюличев: 213]). Мы склонны считать, что до императрицы текст так и не дошел, поскольку на сегодняшний день местами хранения этого малотиражного издания числятся РНБ, БАН

и Научная библиотека Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника — и во всех библиотеках эта единица хранения расположена в общих собраниях, не связанных с императорским наследием. Возможно, совокупность этих факторов: малотиражное издание, распространение среди знакомых и неясная судьба в придворной канцелярии — стала причиной того, что оды не оказались в собрании сочинений поэта. Впрочем, нельзя исключать и обыкновенного критического отношения взрослого автора к собственным юношеским опытам: к моменту издания седьмой части «Творений М. Хераскова», куда были помещены торжественные оды, в 1798 г. поэту было 65 лет. К тому же не исключено, что зрелому Хераскову не хотелось одним ранним поэтическим опытом разрушать сложившуюся репутацию стихотворца Екатерининской и Павловской эпох.

Так или иначе, ода не получила распространения ни при жизни, ни после смерти поэта. Высказав некоторые соображения относительно истории создания и причин труднодоступности этого стихотворения, разберем несколько его примечательных фрагментов с точки зрения поэтики текста.

Структура оды в целом типична для данного жанра. Ярко заявляющая о себе фигура говорящего субъекта в начале произведения, испытывая одический восторг, свидетельствует о намерении восславить великую победу Петра (что, несомненно, демонстрирует прекрасную обученность молодого Хераскова — в терминологии Е. А. Погосян — ритуальному переживанию политической эмоции) [Погосян: 21–22]:

Сей день блаженныя отрады,
Когда в победах Петр блистал
И от врагов смущенны грады,
Любя Россию, защищал;
Когда мой дух воспоминает,
В себе отрады не вмещает,
Желанья смысл превозмогли.
Вы, бурны ветры, ударяйте
И шумом глас мой повторяйте,
Промчите слух по всей земли [Херасков: 2].

Однако ода также содержит пространное повествование о причинах и ходе этого исторического события. При этом переход от введения к повествовательной части содержит другую пространную мифологическую аллюзию из античной культуры:

Что, власть бессмертных презирая,
Страшил вселенну Полифем,
Леса и горы низвергая,
Потряс во гневе твердь своим:
Так швед пред светом возносился,
В концы вселенныя стремился
Попрять весь мир, меча грозой.
Он грады в пепел превращает,
Моря и реки протекает
И мнит подвинуть твердь собой [Херасков: 3].

Сравнение шведской военной машины с чудовищным циклопом Полифемом, персонажем «Энеиды» Вергилия, можно прокомментировать двояко. Прежде всего, обращение Хераскова к этому образу объясняется периодическом появлении последнего в курсах риторик, например, в «Кратком руководстве к красноречию» (1748) Ломоносова — напомним, главного эстетического ориентира для начинающего поэта: «Спускается к водам великая громада, / Ужасный Полифем идет между овцами; / Лишенный зренья и скверный изувер...» [Ломоносов 7: 228]. В риторических трактатах фигура Полифема возникает в связи с широким распространением традиции перевода фрагментов «Энеиды», начатой Тредиаковским, который, соединив несколько фрагментов поэмы, создал собирательный образ чудовища [Дерюгин: 137–138]. В то же время любопытен факт, что этот мифологический образ довольно часто возникает в поэзии XVIII в. в качестве аллегории непросвещенной и деспотичной самодержавной власти (на западноевропейские истоки этой традиции указывает А. А. Костин [Костин]). С учетом этого, как видится, фигурой Полифема Херасков, во-первых, создает монструозный образ противника России, во-вторых, актуализирует устоявшуюся коннотацию монарха-деспота, увязывая ее со шведским великодержавием.

Образ горделивого и жестокого шведского монарха развивается на протяжении всего стихотворения. Рассмотрим характерный фрагмент:

Русская литература XVIII–XIX столетий
А. Е. Трофимов. Первая ода М. М. Хераскова
(история создания и художественная структура)

Врагами Карл ожесточенный,
До звезд возвысив славу дел,
С конца пространная вселенной
На север грозный взор возвел,
Россию зрит в странах прекрасну
И в тишине Петру подвластну,
Вспален безумством браней злых,
Грозит попать народ спасенный,
Направив мысли возмущенны
Противу меры сил своих [Херасков: 3].

Тема гордыни как смертного греха получила широкое распространение в поэзии, посвященной русско-шведскому противостоянию эпохи Северной войны [Люстров 2012: 74–89]; вероятно, этот топос заимствован Херасковым как из торжественных панегириков Петровской эпохи, так и из ранних од Ломоносова. Кроме того, обратим внимание на то, что Карл стремится разрушить тишину — характерный топос, ставший синонимом нерушимости имперской власти в России [Пумпянский; Бухаркин]. Далее в оде описывается помощь Бога Петру при победе над шведами. В целом, описание жестокости врага и Божья помощь Петру являются неотъемлемыми компонентами панегирика первой трети XVIII в., посвященного Полтавской победе [Трофимов]. Примечательным для развития образа Петра в ходе одического повествования видится следующая цитата:

Внезапный ужас сей предстали
Пред оных росские полки,
Оружия красой блистали,
Как влага чистыя реки;
Пред войском Петр, одеян славой,
Грядет с военною державой,
Как в день веселия на брак;
Зевес ему свой гром вручает,
Он бурны вихри укрощает,
Являя силы росской знак [Херасков: 3].

Сравнение Петра с женихом, идущим на свадьбу, безусловно, отсылает к известному библейскому образу Жениха — Христа (ср., например: «Но в полночь раздался крик: “вот, Жених идет, выходите навстречу Ему”» (Мф., 25:6)). Сакральность этого образа подчеркивается изящным обрамлением в виде мотива света, который исходит, однако, не с небес, а от блеска оружия. Это первый шаг в рамках данной оды на пути к сакрализации образа императора, которая наиболее ярко реализуется в конце произведения. Как известно, возведение императора к рангу святых в целом было весьма распространённым явлением в русской литературе раннего XVIII в. [Живов, Успенский]. Вообще библейский подтекст чрезвычайно важен при описании исторического события в данной оде. Так, российских солдат одописец сравнивает с агнцами, которых стремится растерзать Карл:

В безмерной ярости стремится,
Как лютый Тигр на стадо злится
Невинных агнцов растерзать... [Херасков: 4]

В какой-то мере образ лютого тигра семантически примыкает к фигурировавшему ранее Полифему, продолжая перечень демонических ипостасей Карла XII. Безусловно, источником этого образа является одическое наследие Ломоносова. Хотя фигура свирепого зверя в поэтическом мире «российского Пиндара» встречается неоднократно, наиболее вероятным претекстом в данном случае представляется «Ода... на взятие Хотина 1739 года»: «Янычар твой (Османская империя — А. Т.) свирепо злился, / Как тигр на росский полк скакал» [Ломоносов 8: 25], — где образ тигра используется как объект сравнения для турецкого войска, синекдохически переданного через слово «янычар».

Описание же самого хода битвы также пронизано библейской образностью. Помимо традиционных речевых формул, данных в предыдущей главе, поэтом создается атмосфера настоящего апокалипсиса:

От страшных звуков твердь трепещет,
Когда подземной власти гнев
Из недр огонь и пепел мечет
И в Етну испускает рев;
Но злейший гнев был в шведе дерзком,

Русская литература XVIII–XIX столетий
А. Е. Трофимов. Первая ода М. М. Хераскова
(история создания и художественная структура)

Когда, поля наполнив блеском
В дыму сверкающих мечей,
С российским воинством сражался
И вопль по свету раздавался
В крови поверженных людей [Херасков: 5].

Подобно своим предшественникам-панегиристам, Херасков использует многочисленные речевые клише описания кровавой битвы: «воплъ по свету раздавался», «угрюмы тучи», «свет померк», «поля и горы встрепетали» и др. По мнению Г. Н. Моисеевой, в панегирическую словесность XVIII в. эти клише переключались в Петровскую эпоху напрямую из древнерусской литературной традиции [Моисеева: 190].

При всей апокалиптичности представленной картины обратим внимание на любопытную деталь, которая недаром теряется в хаосе описываемого сражения, — это стих «в дыму сверкающих мечей». К 1709 г. холодное оружие в распоряжении российской армии состояло главным образом из шпаг, сабель, палашей и пик [Садомцев, Соболев: 14]. И хотя исторически палаш происходит от рубящего меча и визуально может напоминать последний, представляется маловероятным, чтобы молодой Херасков, выпускник престижного военного учебного заведения, по незнанию путал виды оружия или менял их, даже исходя из художественных задач. Как представляется, в этом фрагменте поэтом сознательно был введен анахронизм для того чтобы архаизировать образ российского войска и снабдить его атрибутами средневековых воинов. Однако несообразным в таком случае кажется тот факт, что, сверкая, мечи источают дым, подобно огнестрельным фузеям. Вероятно, именно эта логическая неувязка свидетельствует о намерении автора создать комплексный (отчасти «остроумно» барочный) образ оружия, совмещающий в себе прошлое и настоящее.

Характерным одическим элементом, символизирующим поражение вражеского войска, в стихотворении Хераскова становится древнегреческий мифологический сюжет о падении Фаетона:

Так быстрым бегом Фаетонта
Преобращен натуры чин,
Когда превыше горизонта
Взносился солнцев гордый сын [Херасков: 6].

Одним из первых на функционирование этого сюжета в торжественной оде (на материале поэзии Ломоносова) обратил внимание А. А. Морозов. Исследователь указывал на связь истории о падении Фаетона с богатой традицией западноевропейских эмблематических сборников [Морозов: 23–27]. В первую оду Хераскова, как видится, сюжет проник также под влиянием од Ломоносова.

В заключение, после описания победы Петра и торжества России, одописец неожиданно избирает в качестве сюжетного компонента смерть императора. Апофеозом сакрализации монарха, начатой в стихотворении ранее, здесь становится буквальное вознесение Петра на небо:

Но вечность славы незабвенной
Дела вместила в небесах,
Парнас, весельем окруженный,
В пресветлых видел облаках
Петра, на небесах грядуща,
Рукою ветвь с мечем несуща –
Бессмертныя победы в знак;
С весельем музы провождали,
И светлы лики восприяли,
На небесах священный зрак [Херасков: 6].

Вместе с тем, в то время как образ будущего императора конструируется одописцем через призму христианской житийной традиции, сюжет о Полтавской победе в итоге трактуется посредством обращения к античной истории:

Восстань из недр земных, являйся
К отраде, ревностный Гомер,
Российским лавром увенчайся
И, нашей славы взяв пример,
Представь в Полтаве горду Трою
И в честь Российскому Герою
На лире с пышностью зыграй;
Умножь врагов троянам новым,
Что пали под мечем Петровым,
И тем отвагу их карай [Херасков: 7].

Стремление представить «в Полтаве горду Трои» нельзя назвать творческим открытием Хераскова. Во-первых, поиск обязательных аналогий с античностью, стремление представить современные авторам политические процессы как перевоплощение хрестоматийных исторических событий было неотъемлемым компонентом культуры эпохи «готового слова», для которой характерны многочисленные риторические *exempla* [Лахманн: 128–144]. Во-вторых, гомеровский сюжет, равно как и исторические труды об истории Трои, были широко доступны читателям как в России XVI–XVII вв. [Люстров 2023: 326], так и в Петровскую эпоху и находили отражение в литературе [Петр Великий: 159–194].

Завершающие оду строфы посвящены уже не Петровской, а Елизаветинской эпохе, и основной темой оказывается плодотворная культурная политика императрицы, аллегорически изображенная в виде древнегреческого Парнаса и сыгравшая свою роль в том числе, как было сказано выше, в биографии юных кадет:

Се зрю Парнас преукрашенный,
Сладчайших муз собор священный
С отрадой вдруг очам предстал;
Там вокруг струи Кастильски¹ льются
И с шумом гласы раздаются
Елисаветиных похвал [Херасков: 7].

Наконец, финальная строфа оды возводит торжество празднования Полтавской победы до вселенских масштабов:

Предведущая Урания,
Предстань с ночью тишиной
И к вечности красы земная
В теченьи ряд планет устрой,
Украшив Росскую державу,

¹ Н. Ю. Алексеева убедительно доказывает, что ошибочное употребление прилагательного «Кастильский» вместо «Кастальский» свидетельствует о влиянии на молодого Хераскова оды Ломоносова «На взятие Хотина» (1739), в которой переписчиком была допущена такая же ошибка [Алексеева: 263].

Дела Петровы в вечну славу,
Подняв на твердь, вмести в Ефир;
Чтоб брани день сиял пред нами,
Как в ночь луна между звездами,
Доколе сей пребудет мир [Херасков: 7].

Добавим, что образ «предведущей Урании», античной музы астрономии, вероятнее всего также заимствован из поэтического наследия Ломоносова, а именно — «Оды на день рождения... Елисаветы Петровны... 1746 года»: «Предведущая Урания / Возводит кверху быстрый взор, / Небесны беги наблюдает / И с радостью составляет / Венец тебе (Елизавете — А. Т.) из новых звезд» [Ломоносов 8: 154].

Таким образом, невооруженным глазом видно, что ода Хераскова содержит ряд агиографических элементов и фактически превращается в оду-житие Петра. Полтавская победа же в данном контексте интерпретируется как результат священной битвы праведного русского войска во главе с сакрализованным Петром и сил зла. Вероятно, столь яркая библейская образность свидетельствует о влиянии на оду Хераскова «полтавских» панегириков Петровской эпохи: сочинений Феофана Прокоповича, Стефана Яворского, Гавриила Бужинского и др. В то же время исторический сюжет о «преславной виктории» окольцован сюжетами из античной истории и мифологии — о колеснице Аполлона и Троянской войне, — что создает своеобразную модель двойного культурного кода, типичного для XVIII в. [Успенский]. Также нельзя отрицать прямого подражания начинающего поэта одам Ломоносова, на что справедливо указывала Н. Ю. Алексеева [Алексеева: 263–265]. Несмотря на то, что рассмотренная ода после 1751 г. осталась без дальнейшей публикации и должного внимания исследователей, ее значение определяется тем, что это первое дошедшее до нас стихотворение Хераскова, положившее начало его творческому пути.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ода Ея Императорскому Величеству Всепресветлейшей
Державнейшей Великой Государыне Императрице Елисавете
Петровне Самодержице Всероссийской сочиненная
на торжественное воспоминание победы Петра
Великого над шведами под Полтавою, которую
усерднейше приносит всеподданнейший раб Михайло Херасков. Печатана в
Санкт-Петербурге при Императорской
академии наук Июня 26 дня 1751 года

Уже в горящей колеснице
С весельем седши, Аполлон
От волн течет во след зарнице,
Стирая с глаз приятный сон.
В сей день к веселью возбуждает,
Что нам Петра воспоминает
В Полтавской брани на полях,
Где шведска кровь, лиясь ручьями,
Мешалась с днепрскими струями,
Наводит им всегдашней страх.

Но о! Латоны сын прекрасный
Светило чувственных очей,
Весельем радости согласной
Сугубо дневный свет пролей
И, пламенных коней направля,
Теки в свой путь, день брани славя,
Где Вышний смертным власть являл,
Противных дерзость разрушая,
Свои щедроты проливая,
Петра победою венчал.

Сей день блаженныя отрады,
Когда в победах Петр блистал
И от врагов смущенны грады,
Любя Россию, защищал;

Когда мой дух воспоминает,
В себе отрады не вмещает,
Желанья смысл превозмогли.
Вы, бурны ветры, ударяйте
И шумом глас мой повторяйте,
Промчите слух по всей земли.

Что, власть бессмертных презирая,
Страшил вселенну Полифем,
Леса и горы низвергая,
Потряс во гневе твердь своим:
Так швед пред светом возносился,
В концы вселенныя стремился
Попрать весь мир, меча грозой.
Он грады в пепел превращает,
Моря и реки протекает
И мнит подвинуть твердь собой.

Врагами Карл ожесточенный,
До звезд возвысив славу дел,
С конца пространныя вселенной
На север грозный взор возвел,
Россию зрит в странах прекрасну
И в тишине Петру подвластну;
Вспален безумством браней злых,
Грозит попать народ спасенный,
Направив мысли возмущенны
Противу меры сил своих.

Подвергнув скиптру всю вселенну,
Смущенный Карл гордясь вещал:
«Введу в Штокгоlm Россию плену
И там поставлю в знак похвал
Сии дела, что в свете громки,
Чтоб знали впредь мои потомки,
Во храмах видя чудеса,
Во славу дел изображенны,

Русская литература XVIII–XIX столетий
А. Е. Трофимов. Первая ода М. М. Хераскова
(история создания и художественная структура)

Что мною Россы низложены,
Низверглись горы и леса».

Но Бог, сей гордый глас внимая
С злочестьем преступных слов,
Советы гордых разрушая,
Мятет противну мысль врагов,
Склонил к земли верьхи небесны
И силы смертным неизвестны
Простерши, россов Сам хранит,
Петра к победе вооружает,
Своей рукою путь являет
В поля, где швед свои¹ полки крепил.

Как ниву шумный вал терзает,
Когда с горы река течет,
Плоды с полей лиясь сдает
И лес, подъяв, с бугра влечет —
Так враг, забыв Творца, стремится,
С ужасным воплем в север мчится
В конец россиян растерзать;
С веселием вбежал в Полтаву
И тамо мнил, воздвигнув славу,
Россией вскоре обладать.

Внезапный ужас сей предстали
Пред оных росские полки,
Оружия красой блистали,
Как влага чистыя реки;
Пред войском Петр, одая славою,
Грядет с военною державой,
Как в день веселия на брак;
Зевес ему свой гром вручает,
Он бурны вихри укрощает,
Являя силы росской знак.

¹ Сбивающее ритм излишнее словоупотребление, вероятно, ошибка на-борщика, а не оригинальный текст автора.

Тогда возвел свою зеницу
С полей Полтавских грозный швед
И, россов зря, простер десницу
Умножить в них число побед;
В безмерной ярости стремится,
Как лютый Тигр на стадо злится
Невинных агнцов растерзать,
Прехищный пламень отрыгает,
Луну и солнце помрачает,
Стремясь мечем весь мир попать.

От страшных звуков твердь трепещет,
Когда подземной власти гнев
Из недр огонь и пепел мечет
И в Егнупускает рев;
Но злейший гнев был в шведе дерзком,
Когда, поля наполнив блеском
В дыму сверкающих мечей,
С Российским воинством сражался
И вопль по свету раздавался
В крови поверженных людей.

Угрюмы тучи набежали,
От коих свет померк лучей;
Поля и горы встрепетали,
И в ужасной премене сей
Натура власно¹ превращалась
И твердь в стихии разделялась
Явить странам кончину дней,
Где вихрь, крутясь, поля терзает
И с флотом волны воздвигает
До облак яростный борей.

Един во славе Петр там блещет,
Как молния, с мечем своим,

¹ «Словно». См.: [Словарь 3: 201–202].

Русская литература XVIII–XIX столетий
А. Е. Трофимов. Первая ода М. М. Хераскова
(история создания и художественная структура)

Ужасный гром на шведов мещет,
И с оным Бог являлся им,
Противу силы их грядущий
И помощь Россам подающий,
Крушит легко упорность их.
Победой шведы уstraшены
Терзались в сей напасти пленны,
Предвидя казнь отваг своих.

Так быстрым бегом Фаетонта
Преобращен натуры чин,
Когда превыше горизонта
Вносился солнцев гордый сын:
Как молния, сверкал очами
И, видя звезды под ногами,
Бессмертных волю презирал.
Сомненный путь его прервался,
Когда средь облак колебался,
Сражен в кипящи волны пал.

В толикой горести жестокой
Смущенный швед во мгле рыдал,
Когда, сражен, с горы высокой
В бою рукой Петровой пал,
Во мрак низвергнувшись, терзался,
Их плачь стенаньем прерывался
От бедствия во брани сей,
Где Петр врагам являл геройство,
И, в свете утвердив спокойство,
Отгнал боязнь ужасных дней.

Какую чувствовал отраду
Тогда спасенный мир Петром,
Как страшную низверг громаду
Из рук Его блеснувший гром;
Пред оным вихри укрошались,
Моря к вершинам обращались,

Борей в пучины дуть не смел;
Единая смерть пред ним алкала,
Когда свирепость отрыгала,
И в след за нею Петр пошел.

Россия, бедством омраченна,
Рыдала в тот жестокий час,
Когда судьба ожесточенна
Отъяла век Петра от нас,
Екатерину зря к отраде,
Стоящую в Петровом граде
На месте горести своей,
Где гроб слезами омывала
И с плачем жалостно вздыхала,
Лишенная отрады всей.

Но вечность славы незабвенной
Дела вместила в небесах,
Парнас, весельем окруженный,
В пресветлых видел облаках
Петра, на небесах грядуща,
Рукою ветвь с мечем несуща –
Бессмертные победы в знак;
С весельем музы провождали,
И светлы лики восприяли,
На небеса священный зрак.

О! коль преславно осветился
Кончины сей блаженный час,
Коль праведно почтить стремился
Петра в великий день Парнас;
Тобой низвержен враг противный,
Ты ревностию силы дивной
Превыше звезд себя вознес;
Тобой от бедства мир избавлен,
Ты будешь в веки препрославлен,
Наследуй царствие небес.

Русская литература XVIII–XIX столетий
А. Е. Трофимов. Первая ода М. М. Хераскова
(история создания и художественная структура)

Встань из недр земных, являйся
К отраде, ревностный Гомер,
Российским лавром увенчайся,
И, нашей славы взяв пример,
Представь в Полтаве горду Трюю
И в честь Российскому Герою
На лире с пышностью зыграй,
Умножь богов троянам новым,
Что пали под мечем Петровым,
И тем отвагу их карай.

А ты, божественная Муза,
Приятство нежных лир устрой
И день дражайшего союза
В приятном пении воспой,
Сей день веселием венчая,
Воспой, вселенну наслаждая,
Елисавету в мирный день;
Когда спокойство возвратила
И тишину восстановила,
С сердец согнала мрачну тень.

Но что веселый глас пронзает
В сей час толь сладостно мой слух?
Какая радость наслаждает
К желанью устремленный дух?
Се зрю Парнас преукрашенный,
Сладчайших муз собор священный
С отрадой вдруг очам предстал;
Там вокруг струи Кастильски льются
И с шумом гласы раздаются
Елисаветиных похвал.

С весельем, музы, возгласите
Хвалу, вселенной посвятив,
Грядущей славы день почтите,
Что Бог, Россию возлюбив,

Петра явил с Екатериной
Весельем радости единой
Сей день сугубо увенчать.
Ты, муза, дав отраду миру,
Прими сию гласящу лиру
И в честь Петру потщись взыграть.

Предведущая Урания,
Предстань с ночью тишиной
И к вечности красы земныя
В теченьи ряд планет устрой,
Украшив Росскую державу,
Дела Петровы в вечну славу,
Подняв на твердь, вместе в Ефир,
Чтоб брани день сиял пред нами,
Как в ночь луна между звездами,
Доколе сей пребудет мир.

Список литературы Источники

- Антонов А. Н.* Первый Кадетский корпус. Краткие исторические сведения. [СПб.]: Скоропечатня Рашкова, 1906. 56 с.
- Висковатов А.* Краткая история Первого Кадетского корпуса. СПб.: Военная тип. Гл. штаба е. и. в., 1832. 113 с.
- Дом Романовых в истории Первого кадетского корпуса / сост. Н. В. Химшиев. СПб.: Изд-во Первого кадетского корпуса, 1913. 81 с.
- Камер-фурьерские журналы... 1751 года / под ред. А. Ф. Бычкова. СПб.: [2-е Отделение Собственной е. и. в. канцелярии], [Б. г.]. 136 с.
- Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950–1983.
- Редкие русские книги и летучие издания XVIII века / сост. Ю. Ю. Битовт. М.: М. Я. Параделов, 1905. 604 с.
- Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725–1800): в 5 т. М.: [Б. и.], 1962–1967.
- Словарь русского языка XVIII века. Л.; СПб.: Наука, 1984–2024. Вып. 1–23.
- Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии / ред., прим., доп. и указ. В. Н. Рогожина: в 5 ч. СПб.: А. С. Суворин, 1904–1908.
- Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные: в 12 ч. М.: Унив. тип. у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1796–1803.

Херасков М. М. Ода Ея Императорскому Величеству Всепресветлейшей Державнейшей Государыне Императрице Елисавете Петровне Самодержице Всероссийской сочиненная на торжественное воспоминание победы Петра Великого над шведами под Полтавою, которую усерднейше преподносит всеподданнейший раб Михайло Херасков. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1751. 8 с.

Исследования

Алексеева Н. Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб.: Наука, 2005. 369 с.

Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л.: Прибой, 1929. 310 с.

Берков П. Н. Неизданное раннее стихотворение Хераскова // Русская литература. 1960. № 3. С. 194–195.

Бухаркин П. Е. Топос «гишины» в одической поэзии М. В. Ломоносова // XVIII век. СПб.: Наука, 1996. Сб. 20. С. 3–12.

Вендитти М., Шруба М. «Ars poetica» М. М. Хераскова // Russian Literature. 2014. Vol. 75, no. 1 (4). P. 535–561.

Гуковский Г. А. Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова // *Гуковский Г. А.* Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 40–71.

Гуковский Г. А. Сумароков и его литературно-общественное окружение // История русской литературы: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 3. С. 349–420.

Давыдов Г. А. Поэзия М. М. Хераскова и религиозные искания русских масонов // Масонство и русская литература XVIII и начала XIX вв. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 130–143.

Дерюгин А. А. В. К. Третьяковский — переводчик: Становление классицистического перевода в России. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1985. 191 с.

Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог (семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // *Успенский Б. А.* Избранные труды: в 2 т. М.: Языки русской культуры, 1996. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 205–337.

Западов А. В. Поэты XVIII века (А. Кантемир, А. Сумароков, В. Майков, М. Херасков). М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. 240 с.

Ивинский Д. П. М. М. Херасков и русская литература XVIII – начала XIX веков. М.: Р. Валент, 2018. 216 с.

Костин А. А. «Чудовище обло» и «monstrum horrendum». Вергилий — Третьяковский — Радищев // Чтения отдела русской литературы XVIII века. 2004. № 3. С. 135–147.

Лахманн Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического. СПб.: Академический проект, 2001. 368 с.

Лютров М. Ю. Война и культура: Русско-шведские литературные параллели эпохи Северной войны. М.: РГГУ, 2012. 329 с.

Люстров М. Ю. Троянские сюжеты в русском Хронографе 1617 г. и шведской “Centuria Historiarum” // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2023. № 3. С. 325–333.

Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л.: Наука, 1980. 261 с.

Морозов А. А. Паденье «Готфска Фаегонта». Ломоносов и эмблематика петровского времени // Československá rusistika. 1972. № 1. Р. 23–27.

Основа К. А. Придворная словесность. Институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 480 с.

Петр Великий и античность. Рецепция античного наследия в петровскую эпоху / под ред. М. М. Позднева. СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2022. 526 с.

Погосян Е. А. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту: Tartu ülikooli kirjastus, 1997. 159 с.

Поженин Б. В. Первый литературный кружок в России: К истории объединения при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе (1730–1750 гг.) // Новый филологический вестник. 2024. № 3 (70). С. 88–98.

Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Л.: Наука, 1983. Сб. 14. С. 3–44.

Рак В. Д. [Комментарии] // Русская литература. Век XVIII. Лирика. М.: Худож. лит., 1990. С. 673–674

Садомцев Д. В., Соболев В. А. Вооружение армии Петра I // Наука без границ. 2021. № 5. С. 11–15.

Семенова Е. В. Художественный мир духовной поэзии М. М. Хераскова // Инновационная наука. 2015. № 9. С. 227–228.

Трофимов А. Е. Композиционные особенности прозаических панегириков в честь Полтавской победы (на материале творчества Стефана Яворского и Феофана Прокоповича) // Летняя школа по русской литературе. 2020. Т. 16. № 3–4. С. 223–238.

Тюличев Д. В. Материалы о некоторых изданиях, напечатанных в Типографии Академии наук в 40–60-е годы XVIII века // Книга: Исследования и материалы. Сб. 83. М.: Наука, 2005. С. 171–221.

Уртман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. М.: ОГИ, 2002. 608 с.

Успенский Б. А. Historia sub specie semioticae // Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции: сб. ст. М.: Наука, 1976. С. 286–292.

References

Alekseeva, N. Iu. *Russkaia oda. Razvitie odicheskoi formy v XVII–XVIII vekakh* [*Russian Ode. Development of the Odic Form in the 17th–18th Centuries*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005. 369 p. (In Russ.)

Aronson, M., and S. Reiser. *Literaturnye kruzhki i salony* [*Literary Clubs and Salons*]. Leningrad, Priboi Publ., 1929. 310 p. (In Russ.)

Berkov, P. N. “Neizdannoe rannee stikhotvorenie Kheraskova” [“A Previously Unpublished Poem by Kheraskov”]. *Russkaia literatura*, no. 3, 1960, pp. 194–195. (In Russ.)

Bukharkin, P. E. “Topos ‘tishiny’ v odicheskoi poezii M. V. Lomonosova” [“The Topos of ‘Silence’ in M. V. Lomonosov’s Odic Poetry”]. *XVIII vek* [*The 18th Century*], coll. 20. St. Petersburg, Nauka Publ., 1996, pp. 3–12. (In Russ.)

Venditti, M., and M. Schrub. “‘Ars poetica’ M. M. Kheraskova” [“M. M. Kheraskov’s ‘Ars poetica.’”]. *Russian Literature*, vol. 75, no. 1 (4), 2014, pp. 535–561. (In Russ.)

Gukovskii, G. A. “Lomonosov, Sumarokov, shkola Sumarokova” [“Lomonosov, Sumarokov, and Sumarokov’s School”]. Gukovskii, G. A. *Rannie raboty po istorii russkoi poezii XVIII veka* [*Early Works on Russian Poetry of the 18th Century*]. Moscow, Iazyki russkoi kul’tury Publ., 2001, pp. 40–71. (In Russ.)

Gukovskii, G. A. “Sumarokov i ego literaturno-obshchestvennoe okruzenie” [“Sumarokov and his Literary and Social Surrounding”]. *Istoriia russkoi literatury: v 10 t.* [*History of Russian Literature: in 10 vols.*], vol. 3. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1941, pp. 349–420. (In Russ.)

Davydov, G. A. “Poeziia M. M. Kheraskova i religioznye iskaniiia russkikh masonov” [“Poetry of M. M. Kheraskov and Religious Quests of Russian Masons”]. *Masonstvo i russkaia literatura XVIII i nachala XIX vv.* [*Freemasonry and Russian Literature of the 18th and Early 19th Centuries*]. Moscow, Editorial URSS Publ., 2000, pp. 130–143. (In Russ.)

Deriugin, A. A. V. K. *Trediakovskii — perevodchik: Stanovlenie klassitsisticheskogo perevoda v Rossii* [*Trediakovsky as an Interpreter: Formation of Classicistic Translation in Russia*]. Saratov, Saratov University Publ., 1985. 191 p. (In Russ.)

Zhivov, V. M., and B. A. Uspenskii. “Tsar’ i Bog (semioticheskie aspekty sakralizatsii monarkha v Rossii)” [“Tsar and God (Semiotic Aspects of the Sacralization of the Monarch in Russia)”]. Uspenskii, B. A. *Izbrannye Trudy: v 2 t.* [*Selected Works: in 2 vols.*], vol. 1: Semiotika istorii. Semiotika kul’tury [Semiotics of History. Semiotics of Culture]. Moscow, Iazyki russkoi kul’tury Publ., 1996, pp. 205–337. (In Russ.)

Zapadov, A. V. *Poety XVIII veka (A. Kantemir, A. Sumarokov, V. Maikov, M. Kheraskov)* [*Poets of the 18th Century (A. Kantemir, A. Sumarokov, V. Maikov, M. Kheraskov)*]. Moscow, Moscow University Publ., 1984. 240 p. (In Russ.)

Ivinskii, D. P. M. M. *Kheraskov i russkaia literatura XVIII – nachala XIX vekov* [*M. M. Kheraskov and Russian Literature of the 18th and the Beginning of the 19th Centuries*]. Moscow, R. Valent Publ., 2018. 216 p. (In Russ.)

Kostin, A. A. “‘Chudovishche oblo’ i ‘monstrum horrendum’. Vergilii — Trediakovskii — Radishchev” [“‘Heavy Monster’ and ‘Monstrum Horrendum’. Vergil —

Trediakovskiy — Radishchev”]. *Chteniiia otдела russkoi literatury XVIII veka*, no. 3, 2004, pp. 135–147. (In Russ.)

Lakhmann, R. *Demontazh krasnorechiia. Ritoricheskaia traditsiia i poniatie poeticheskogo* [Dismantling Eloquence. Rhetorical Tradition and the Concept of the Poetic]. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 2001. 368 p. (In Russ.)

Liustrov, M. Iu. *Voina i kul'tura: Russko-shvedskie literaturnye paralleli epokhi Severnoi voiny* [War and Culture: Russian-Swedish Literary Parallels of the Epoch of the Great Northern War]. Moscow, Russian State University for the Humanities Publ., 2012. 329 p. (In Russ.)

Liustrov, M. Iu. “Troianskie siuzhety v russkom Khronografe 1617 g. i shvedskoi ‘Centuria Historiarum.’” [“Troian Plots in the Russian Chronograph of 1617 and Swedish ‘Centuria Historiarum.’”] *Vestnik RGGU. Serii: Literaturovedenie. Iazykoznanie. Kul'turologiia*, no. 3, 2023, pp. 325–333. (In Russ.)

Moisseeva, G. N. *Drevnerusskaia literatura v khudozhestvennom soznanii i istoricheskoi mysli Rossii XVIII veka* [Old Russian Literature in the Artistic Consciousness and Historical Thought of Russia in the 18th Century]. Leningrad, Nauka Publ., 1980. 261 p. (In Russ.)

Morozov, A. A. “Paden'e ‘Gotska Faetonta. Lomonosov i emblematika petrovskogo vremeni’” [“The Fall of the ‘Gothic Phaeton’. Lomonosov and the Emblems of Peter the Great’s Time”]. *Československá rusistika*, no. 1, 1972, pp. 23–27. (In Russ.)

Ospovat, K. A. *Pridvornaia slovesnost'. Institut literatury i konstruksii absoliutizma v Rossii serediny XVIII veka* [Courtly Letters: Russian Literature and Visions of Absolutism in the Mid-18th Century]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2020. 480 p. (In Russ.)

Pozdnev, M. M., editor. *Petr Velikii i antichnost'. Retseptsiiia antichnogo naslediia v petrovskuiu epokhu* [Peter the Great and Antiquity. Reception of the Ancient Heritage in the Peter the Great Era]. St. Petersburg, Izdatel'sko-poligraficheskaiia assotsiatsiia vysshikh uchebnykh zavedenii Publ., 2022. 526 p. (In Russ.)

Pogosian, E. A. *Vostorg russkoi ody i reshenie temy poeta v russkom panegirike 1730–1762 gg.* [The Delight of the Russian Ode and the Solution of the Poet’s Theme in the Russian Panegyric of 1730–1762]. Tartu, Tartu ülikooli kirjastus Publ., 1997. 159 p. (In Russ.)

Pozhenin, B. V. “Pervyi literaturnyi kruzhok v Rossii: K istorii ob’edineniia pri Sukhoputnom shliakhetnom kadetskom korpuse (1730–1750 gg.)” [“The First Literary Circle in Russia: On the History of the Association Under the Land Gentry Cadet Corps (1730–1750)”]. *Novyi filologicheskii vestnik*, no. 3, 2024, pp. 88–98. (In Russ.)

Pumpianskii, L. V. “Lomonosov i nemetskaia shkola razuma” [“Lomonosov and the German School of Reason”]. *XVIII vek* [The 18th Century], vol. 14. Leningrad, Nauka Publ., 1983, pp. 3–44. (In Russ.)

Rak, V. D. “Kommentarii” [“Comments”]. *Russkaia literatura. Vek XVIII. Lirika* [Russian Literature. The 18th Century. Lyrics]. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1990, pp. 673–674. (In Russ.)

Sadomtsev, D. V., V. A. Sobolev. “Vooruzhenie armii Petra I” [“Armament of Peter I’s Army”]. *Nauka bez granits*, no. 5, 2021, pp. 11–15. (In Russ.)

Semenova, E. V. “Khudozhestvennyi mir dukhovnoi poezii M. M. Kheraskova” [“The Artistic World of Spiritual Poetry by M. M. Kheraskov”]. *Innovatsionnaia nauka*, no. 9, 2015, pp. 227–228. (In Russ.)

Trofimov, A. E. “Kompozitsionnye osobennosti prozaicheskikh panegirikov v chest’ Poltavskoi pobedy (na materiale tvorchestva Stefana Iavorskogo i Feofana Prokopovicha)” [“Compositional Features of Prose Panegyrics in Honor of the Poltava Victory (Based on the Works of Stefan Yavorsky and Feofan Prokopovich)”]. *Letniaia shkola po russkoi literature*, vol. 16, no. 3–4, 2020, pp. 223–238. (In Russ.)

Tiulichev, D. V. “Materialy o nekotorykh izdaniiah, napechatannykh v Tipografii Akademii nauk v 40–60-e gody XVIII veka” [“Materials on Some Publications Printed in the Printing House of the Academy of Sciences in the 40–60s of the 18th Century”]. *Kniga: Issledovaniia i materialy* [Book: Researches and Materials], vol. 83. Moscow, Nauka Publ., 2005, pp. 171–221. (In Russ.)

Uortman, R. *Stsenarii vlasti. Mify i tseremonii russkoi monarkhii: v 2 t.* [Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy: in 2 vols.]. Moscow, OGI Publ., 2002. 608 p. (In Russ.)

Uspenskii, B. A. “Historia sub specie semioticae” [“History Under the Guise of Semiotics”]. *Kul’turnoe nasledie Drevnei Rusi: Istoki, stanovlenie, traditsii: sbornik statei* [Cultural Heritage of Old Rus: Origins, Formation, Traditions: Collection of Articles]. Moscow, Nauka Publ., 1976, pp. 286–292. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-50-73>
<https://elibrary.ru/QUKWNK>
Научная статья
УДК 821.161.1.09"18"

© 2025. М. М. Сафонов

Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук
г. Санкт-Петербург, Россия

«Секретная миссия» княгини Е. Р. Дашковой в общественно-политической борьбе третьей четверти XVIII в.

Аннотация: Автор поставил перед собой задачу восстановить тайную политическую деятельность близкой подруги императрицы Екатерины II княгини Е. Р. Дашковой в третьей четверти XVIII в. после дворцового переворота 28 июня 1762 г. Ближайшая подруга императрицы Екатерины II, будущая глава двух Академий, тщательно скрывала эту сторону своей многогранной деятельности и ничего не рассказала о ней в своих знаменитых «Записках». Автору статьи удалось установить, что во время своего первого заграничного путешествия находившаяся в полу-опале статс-дама российской монархии выполняла секретную миссию, возложенную на нее императрицей. Суть этой миссии заключалась в том, чтобы посредством личных контактов с корифеями Просвещения Дидро и Вольтером нейтрализовать негативное восприятие образа России, созданное трудами К.-К. Рюльера и Ж.-Б. Шаппа Д'Отроша, и убедить общественное мнение Европы в том, что сочинения этих французских авторов, побывавших в России, в действительности являются пасквилями.

Ключевые слова: Е. Р. Дашкова, Екатерина II, Вольтер, Д. Дидро, Россия, дворцовый переворот, эпоха Просвещения, просветители.

Информация об авторе: Михаил Михайлович Сафонов, кандидат исторических наук, Санкт-Петербургский Институт истории Российской академии наук, ул. Петрозаводская, д. 7, 197110 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCIDID: <https://orcid.org/0000-0000-9532-2216>

E-mail: m.safonov@list.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 26.03.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 18.07.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Сафонов М. М. «Секретная миссия» княгини Е. Р. Дашковой в общественно-политической борьбе в третьей четверти XVIII в. // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 50–73. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-50-73>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 3, 2025, pp. . ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 3, 2025, pp. 50–73. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Mikhail M. Safonov

St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences
St. Petersburg, Russia

The “Secret Mission” of Princess E. R. Dashkova in the Socio-Political Struggle of the Third Quarter of the 18th Century

Abstract: The author set out to reconstruct the secret political activities of Empress Catherine II’s close friend, Princess E. R. Dashkova, in the third quarter of the 18th century, following the palace coup on 28 June 1762. Empress Catherine II’s closest friend and the future head of two Academies carefully concealed this aspect of her multifaceted activities and did not tell anything about it in her famous *Memoirs*. The author of the article managed to establish that during her first trip abroad, the stateswoman of the Russian monarch, who was in a semi-basement, carried out a secret mission entrusted to her by the empress. The essence of this mission was to neutralize, through personal contacts with the luminaries of the Enlightenment, Diderot and Voltaire, the negative perception of the image of Russia created in the works of K.-K. Ruhlier and J.-B. Chappe d’Autroche, and convince European public opinion that the works of these French authors who have visited Russia are, in fact, lampoons.

Keywords: E. R. Dashkova, Catherine II, Voltaire, D. Diderot, Russia, the palace coup, the Age of Enlightenment, enlighteners.

Information about the author: Mikhail M. Safonov, PhD in History, St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences, Petrozavodskaya St., 7, 197110 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0000-9532-2216>

E-mail: m.safonov@list.ru

Received: March 26, 2025

Approved after reviewing: July 18, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Safonov, M. M. “The ‘Secret Mission’ of Princess E. R. Dashkova in the Socio-Political Struggle of the Third Quarter of the 18th Century.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 50–73. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-50-73>

10 мая 1771 г. в замке Ферней имела место встреча княгини Е. Р. Дашковой и Вольтера. Приглашение к Патриарху будущей главы двух академий состоялась по инициативе княгини. Будучи в Женеве, 8 мая она написала письмо Патриарху. Рассыпавшись в комплиментах прославленному писателю, Екатерина Романовна просила разрешения увидеть его хотя бы на одно мгновение, которое, по ее словам, несомненно, будет самым приятным и интересным» в ее жизни (Здесь и далее перевод с французского мой. — М. С.) [Voltaire 1973: 115]. Дашкова была приглашена. И «мгновение», «самое интересное и приятное», продлилось целых четыре часа: с семи часов до часа ночи [Voltaire 2006: 189].

Большинство современников княгини, если бы им выпало счастье иметь возможность хоть одну минуту беседовать с Вольтером, посчитали бы такую удачу счастливейшим моментом собственной биографии. Но Дашкова всю свою жизнь хранила глубокое молчание об этой достопамятной встрече. Один раз в письме от 1 июня 1771 г. к родному брату А. Р. Воронцову, с которым у княгини были доверительные отношения, она мимоходом упомянула о встрече с Вольтером и только для того, чтобы сообщить о том, что философ высоко ценит его: «Я видела Вольтера, который ценит вас, как все, кто вас видел и не мог не восхищаться вами» [Архив князя Воронцова: 181]. Лишь на исходе дней Е. Р. Дашкова в «Записках», написанных рукой ирландки Марты Вильмот, рассказала о своем посещении замка Ферней. Картина выглядела удручающей. Она увидела дряхлого, изможденного старика, неискреннего старца, приторно ей льстившего. Мемуаристка сообщила читателям, что М.-Л. Дени, на половине которой они ужинали, «была довольно тяжеловесна умом для племянницы столь великого гения». На ужине присутствовали два богатых парижских откупщика, портреты которых висели на стенах гостиной мадам Дени, и не только племянница, но и ее дядя, то есть Вольтер, ухаживали за богачами. Увиденное не позволило Дашковой испытать чувство радости и насла-

даться восхищением, которые ее воображение рисовало накануне этого посещения. Действительность оказалась намного прозаичнее, Дашкова была разочарована. Но житейская с привкусом меркантильности суета вокруг парижских богачей стала только одной из слагаемых разочарования, испытанного княгиней. Не в меньшей степени оно было вызвано тем, что Вольтер «ухаживал за откупщиками», почти «заискивал», стоя на коленях [Сафонов 2016: 112–128].

Отвечая на просьбу Дашковой принять ее, Вольтер написал, что поспешил бы преклонить колени (“to throw himself at the feet”) [Voltaire 1973: 392–393] перед Дашковой, если бы ему позволило расстроенное здоровье. (К сожалению, это письмо Вольтера известно только в английском переводе, но, по всей видимости, он написал «на коленях» — “à genoux”). Дашкова, видимо, обыграла это выражение. В своем описании вечера в Ферней она поместила Вольтера в кресле на коленях перед собой. Неизвестно, действительно ли стоял философ на коленях в кресле перед Дашковой во время ее приема в его замке, но самое описание княгини, изобилующее подробностями медицинского свойства, весьма красноречиво своим натурализмом.

Стоит только представить картину, которую нарисовала автор «Записок», как невольно в памяти встают полные иронии и даже сарказма полотна Жана Гюбера из серии «Вольтер в домашней обстановке». Можно даже сказать, что нарратив Дашковой пополняет губеровскую «Вольтериаду» еще одной картиной, на этот раз словесной [Сафонов 2018: 144–156]. Картины Гюбера, выставяющие Вольтера «на посмешище», не могли не импонировать обиженной на писателя княгине. Дело в том, что после переворота 1762 г. Дашкова посредством И. И. Шувалова попыталась вступить в переписку с Вольтером и с помощью его пера прославить свое участие в низвержении Петра III. Однако эта попытка вызвала раздражение императрицы и явилась одной из причин разлада двух Екатерин, бывших подруг. Императрица посредством швейцарца Ф.-Ж. Пикте вступила в переписку с философом и с его помощью свела роль Дашковой до второстепенной участницы переворота. С легкой руки Вольтера образ Дашковой как негативный стал преобладающим во французской «Россике». Княгиня была глубоко уязвлена этим и затаила обиду на Вольтера на всю оставшуюся жизнь [Сафонов 2013: 149–173]. В конце ее Е. Р. Дашкова вот таким оригинальным способом «воздала по

заслугам» писателю, унизившему ее тогда, когда она была на вершине своей славы.

Однако неверно объяснять молчание княгини о содержании бесед с Вольтером одной лишь «мезью» бывшей подруги императрицы. Также неверно было бы искать объяснения «немоты» Дашковой в том, что сама композиция нарисованной саркастическим пером сцены не позволяла вмонтировать в нее подробное содержание беседы философа с русской придворной дамой. Если бы автор «Записок» дословно воспроизвела речи своего великого собеседника, то образ, настойчиво создаваемый воображением, разрушился бы. В противном случае пришлось бы сочинять выдуманные диалоги, чтобы речи Вольтера соответствовали создаваемому образу. Завершая описание встречи, мемуаристка сообщила, что Вольтер спросил, будет ли он еще иметь удовольствие видеть ее. Дашкова попросила разрешения посещать его по утрам, чтобы провести их с ним с глазу на глаз. Писатель согласился, и княгиня пользовалась его позволением, пока жила в Женеве. Тогда, по словам Дашковой, он был совсем другим. Наедине с ним, в его кабинете или в саду, княгиня снова увидела его таким, каким он предстал со страниц своих сочинений, и каковым его рисовало ее воображение [Архив князя Воронцова 1881: 152].

Далее ни слова, никогда, никому, о чем они говорили наедине. Патриарху в кабинете, запечатленному на страницах его трудов, княгиня предпочла «Вольтера на театральной сцене», сошедшего с полотен Гюбера.

Молчание княгини — факт крайне примечательный. Однако он еще не отмечен ни биографами Вольтера, ни исследователями жизни Дашковой. А между тем он требует объяснения. Особенно, если принять во внимание, что пять дней спустя после появления Дашковой в Ферней, Вольтер сообщил российской императрице, что говорили они с княгиней о Екатерине II [Voltaire 2006: 189]. Правильно понять этот факт можно лишь в контексте взаимоотношений российской императрицы с французскими просветителями, самой натуры Екатерины II, характера Дашковой и того, какую роль играла княгиня в личных контактах будущей главы двух академий с корифеями Просвещения.

Когда Екатерина II уже именовалась Великой, она поделилась с Н. П. Румянцевым «секретом» своего успеха:

Однажды, в большом доме, в многолюдном обществе, когда речь зашла обо мне, стали меня ославлять, унижать, только что не бранить. Вдруг бабушка хозяина, современница Петра Великого, за меня вступилась, стала уверять, что при дворе еще не бывало подобной мне принцессы и что я предназначена судьбой составить счастье и славу России. Все притихли, все безусловно согласилось со старушкой, и с тех пор ни одного оскорбительного слова не было произнесено на мой счет в этом доме. Я заметила это обстоятельство и вознамерилась им воспользоваться. И в торжественных собраниях, и на простых сходбищах и вечеринках я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала о их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветренности молодых людей, сама спрашивала их советов в разных делах и потом искренне их благодарила. Я знала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда какая их этих барынь именинница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды оранienбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разнеслась по всей России. Самым простым и невинным образом составила я себе громкую славу, и когда зашла речь о занятии русского престола, очутилось на моей стороне значительное большинство [Греч 1886: 107–108].

Но это была только одна сторона дела. Женщина, которую потом назовут Catherine le Grand, включилась в борьбу за обладание троном буквально с первого шага на русскую землю. Она истратила 657 тысяч рублей (при ежегодном жаловании 30 тысяч) на нейтрализацию соглядатаев, наблюдавших за ней, на оплату осведомителей, сообщавших ей о каждом шаге императрицы Елизаветы Петровны, на подкуп нужных ей людей с помощью богатых подарков. Екатерина доставала деньги на содержание «комнатной гвардии» Петра III, неформальной военной единицы, созданной тайно для защиты интересов Малого двора, и имевшей собственное обмундирование и систему чинов. Супруга же наследника являлась членом этого неформального военного подразделения, и у нее даже был свой чин. Уже в конце 1740-х гг. великая княгиня имела на своей стороне военную силу и подробный план действий на случай внезапной смерти императрицы Елизаветы Петровны. Жена наследника была готова принести в жертву своим политическим

интересам семейную жизнь и даже радость материнства. Разумеется, она раскрыла Румянцеву далеко не все «секреты» своей житейской философии. Но чтобы понять, как «ангелът-цербстская девственница» [Сафонов 2005: 208–242] стала Великой, она рассказала достаточно. Учитывая позднейшие откровения императрицы, не покажется странным: точно так же, как в случае со старушками, она пользовалась и философами эпохи Просвещения, чтобы убедить Европу, что именно она «предназначена судьбой составить счастье и славу России». Только использовать эти рычаги великая княгиня Екатерина стала не до переворота 1762 г., как это имело место в России, когда она только прокладывала путь к власти, но уже после него, убеждая европейское общественное мнение в том, что на российском престоле находится живой идеал XVIII в. — «философ на троне». Но при этом вместо старческих воспоминаний, памятных дат, любимых животных, дышащих на ладан влиятельных старушек, одаренная необыкновенной практической сметкой самодержица проявляла «неподдельный интерес» к сочинениям и теориям философов эпохи Просвещения. Тонко чувствующая пульс времени государыня, единственным кумиром которой всегда была власть, как бы «спрашивала их советов в разных делах», хотя в них не очень-то и нуждалась, будучи «себе на уме». И конфиденты императрицы доставляли им не цветы и плоды ораниенбаумских оранжерей, как ранее это делали лакеи великой княгини. Но то, в чем они больше нуждались, чтобы иметь руки свободными: денежные пособия, которыми властители дум не только не брезговали, но которые даже пытались вымогать в столь же изящных и изощренных формах, в коих эта существенная для них «материальная помощь» предоставлялась им из Зимнего дворца.

Однако необходимо иметь в виду следующее. Этот эквивалентный обмен «любезностями» был вполне бескорыстен: Екатерина тщательно просеивала через сито политической целесообразности новейшие идеи и доктрины «философов», рачительно отбирая в них те элементы, которые были маркированы европейским общественным мнением как служащие общему благу, то есть прогрессивные, чтобы использовать их для стабилизации режима и укрепления своей личной власти. Просветители же использовали «внимание» к ним и заботливое «участие» в их судьбах главы крупнейшей европейской державы ее величества Екатерины II как свидетельство авторитета философской мысли

и практической значимости собственных доктрин. Но Екатерина II прекрасно понимала различие между «философом на троне» и «философом на стуле», точнее говоря, за письменным столом. То, что впоследствии имел ввиду Л.-Ф. Сегюр, вложив в уста императрицы фразу о различии положений пишущих на бумаге или на человеческой коже [Сегюр: 412]. Или же выраженное в более мягкой форме самой Екатериной II в письме к Ф. М. Гримму: «Критика легка, тяжело искусство» [Сборник Русского исторического общества 1881: 372–373]. Энциклопедисты же это понимали далеко не всегда, а некоторые и вовсе понимать отказывались, потому что у них было несколько преувеличенное представление о силе и возможностях российских монархов, о свободе их в принятии решений.

С воцарением Екатерины II предметом эквивалентного обмена стал вопрос о новом издании «Энциклопедии» в России, в полном, не изуродованном издателями виде. Характерно, что предложение перенести издание «Энциклопедии» в Россию последовало уже 6 июля 1762 г.: «...каковой она себя показала после, уже в 1762 году, через 9 дней по восшествии своем на престол, когда она предложила издателям “Энциклопедии” приехать кончить ее в ее империи» [Сборник Русского исторического общества 1881: 48; Луппол: 93]. И это произошло в день официальной смерти мужа Екатерины Петра III. И в этом совпадении дат нетрудно увидеть некое предложение: редчайший из существующих памятников человеческого ума будет воздвигаться в России, а его авторы из любви к своему грандиозному предприятию собственным авторитетным голосом заставят замолчать хулителей главной виновицы (вольной или невольной, не так уж важно) ропшинской трагедии. Воцарение «философа на троне», который будет издавать «Энциклопедию», уже само по себе оправдывало и переворот 28 июня 1762 г., и последующее затем убийство мужа Екатерины II. Собственно и вся переписка Вольтера с Екатериной во многом посвящена решению этой задачи, хотя ни о Петре III, ни о том, что произошло в Ропше, в ней нет ни слова. Потому что опытные политические дельцы о самом главном говорят мимоходом. Лишь в нескольких словах, но чаще не говорят вообще. Более того и Д. Дидро, и Вольтер готовы были добровольно отстаивать репутацию «Звезды Севера», когда на горизонте появлялись тучи над ее головой. Особенную ревность в этом отношении проявил редактор «Энциклопедии» Д. Дидро [Сборник Русского историческо-

го общества 1876: 256–257], когда 14 июня 1768 г. через Э.-М. Фальконе сообщил о появлении в Париже рукописи К.-К. Рюльера «История и анекдоты революции в России в 1762 г.» [Rulhier]. Автор этого сочинения, бывший во время переворота секретарем французского посольства в Петербурге, поставил перед собой цель рассказать, «какими честолюбивыми замыслами достигла сия государыня до самого насильственного престола». Императрица была представлена узурпатором трона, достигшим власти посредством интриги и заговора через труп своего мужа. Бывший дипломат читал свой опус в парижских салонах и тем самым вызвал большой шум.

Появление указанного сочинения по времени почти совпало с публикацией книги аббата Ж. Шаппа д'Отроша «Путешествие в Сибирь» — скандального сочинения астронома, довольно подробно описавшего Россию, варварскую и деспотичную страну с ее дикими нравами и обычаями. Хотя аббат воздержался от личных выпадов против Екатерины II, императрица сочла его своим злейшим врагом, потому что он дискредитировал управляемую ею страну. Совпадение по времени появления этих двух сочинений привело Екатерину II к мысли, что это была инсинуация руководителя французской внешней политики герцога Э.-Ф. Шуазеля. Она не сомневалась: оба сочинения были вызваны к жизни русско-турецкой войной и политикой России в Речи Посполитой. Императрица считала необходимым нейтрализовать эти сочинения, дискредитирующие Россию и лично ее саму. Опус аббата-астронома должен был получить достойную отповедь в печати, но так, чтобы в ней никак не было замешано имя императрицы. «Я презираю аббата Шаппа и его книгу и не считаю его достойным опровержения, потому что высказанные им глупости упадут сами собой», — писала императрица М.-Э. Фальконе 9 ноября 1769 г. [Сборник Русского исторического общества 1876: 95]. Но тем не менее стала искать французских авторов, которые были бы в состоянии подготовить такой труд [Сборник Русского исторического общества 1876: 95–97]. Послушный Ф. М. Гримм 1 марта 1769 г. поместил в своем издании «Литературной корреспонденции» разгромный отзыв на книгу Шаппа, но эта рецензия была «пустопорожней», потому что состояла из общих мест и огульных обвинений автора в некомпетентности. А вот «Энциклопедический журнал», где восемь лет назад при помощи Вольтера была помещена апология воцарения Екатерины II пера Ф.-Ж. Пикте, французского

аббата поддержал, поместив положительную рецензию на его сочинение. Такая оценка авторитетного среди просветителей издания делала особенно настоятельной выпуск обстоятельного критического разбора опуса астронома. С этой целью был подготовлен и анонимно издан в России и за границей «Антидот» — противоядие «Путешествию» Шаппа д'Отроша [Антидот], [Каррер д'Анкосс: 225–424]. Что же касается рукописи бывшего сотрудника французского посольства, то встревоженная не на шутку Екатерина пыталась не допустить публикации и искала способы опровергнуть то, что уже было оглашено во время чтения в парижских салонах. Пикантность ситуации заключалось в том, что Д. Дидро, присутствовавший при чтении, передал ей: в числе тех, кто сообщил конфиденциальные сведения французскому дипломату, были люди из ее ближайшего окружения [Сборник Русского исторического общества 1876: 260]. В самом деле, в рукописи Рюльера было и упоминание о том, что автор общался с княгиней Дашковой. В числе этих осведомителей императрица подозревала свою ближайшую подругу, впавшую в немилость вскоре после переворота и имевшую резоны так поступать.

В начале 1770 г. Дашкова отправилась в заграничное путешествие. Живая участница той «революции», которую описывал Рюльер, оказавшаяся в конце 1760-х гг. в положении полу-опалы, она претендовала на то, чтобы быть свидетелем беспристрастным. В ее «Записках» о целях этого вояжа говорилось буквально следующее: «Главная цель моего путешествия за границу состояла в том, чтобы ознакомиться с различными городами и выбрать наиболее подходящий для получения образования моим детям» [Дашкова: 94], [Архив князя Воронцова 1881: 127].

Как любая дворянка Дашкова могла выехать за границу, не получая на это разрешения монархини. Но княгиня была статс-дамой, то есть человеком государственным, и покинуть Россию без позволения императрицы не имела права. Разрешение ей было дано 28 июня 1769 г., в седьмую годовщину восшествия Екатерины II на престол во время празднества в Петергофе в присутствии иностранных дипломатов. Дашкова мотивировала свою просьбу отпустить ее за границу заботой о здоровье детей. Государыня была недовольна, но отказать не смогла.

При анализе этой сцены, описанной в «Записках» княгини, надо иметь в виду, что в тот момент Е. Р. Дашкова была в немилости. «Па-

нинская партия», отстаивавшая права на престол сына императрицы цесаревича Павла, только что проиграла очередной раунд борьбы за власть. Таким образом, разрешение отправиться за границу было дано женщине, которая в глазах Екатерины II могла стать ее главным хулителем. Поскольку Дашкова заявляла, что она предполагает жить в Париже с людьми пишущими [Сборник Русского исторического общества 1913: 78], она неминуемо должна была оказаться в обществе слушателей и даже читателей сочинения Рюльера, где неминуемо стала бы центром притяжения всех, кто интересовался тем, что в действительности произошло в России. Живой участник переворота, сыгравший в нем одну из важнейших ролей, ближайшая наперсница Екатерины II, с ней разошедшаяся после прихода императрицы к власти, исполненная обиды за то, что ее заслуги не были должным образом вознаграждены: трудно представить себе персонажа, который вызвал бы больший интерес у завсегдатаев парижских салонов, чем полу-опальная княгиня.

Никто не понимал этого лучше, чем российская императрица. Накануне отъезда царица прислала Дашковой четыре тысячи рублей на путевые расходы. Представляя себя гонимой, автор «Записок» иронично трактовала этот подарок как жалкую подачку: назвала сумму смешной [Архив князя Воронцова 1881: 126–127], [Дашкова: 94]. Но не посмела от нее отказаться, чтобы не обидеть императрицу. О презенте Екатерины сразу же стало известно иностранным дипломатам. О.-О. Сабатье де Кабр, французский поверенный в делах в Петербурге, так оценил значение этого подарка:

Очень похоже, императрица захотела заручиться голосом и энтузиазмом княгини Дашковой, давая ей этим понять, что новые щедроты послужат ей наградой за хвалу, которую от нее ждут в чужих краях, где она едва ли будет способна совершенно освободиться от порывов ее живого характера и ненасытного желания демонстрировать свой ум. Очевидно, Екатерина избрала самый верный способ держать ее в руках. Но, хотя императрица просила княгиню писать ей, я по-прежнему полагаю, что эта поездка ни в коем случае не может иметь никакого отношения к государственным делам. Проявляя эту заботу, императрица преследовала лишь одну цель: заручиться вполне подходящим для этого панегиристом, каковым Дашкова и является, чтобы воздавать хвалу Екатерине [Сборник Русского исторического общества 1913: 80].

Другими словами, дипломат был убежден: императрица дала понять княгине, что она будет щедро вознаграждена по возвращении, если та будет петь ей дифирамбы за границей. Но он очень сомневался в том, чтобы на Дашкову было возложено какое-либо поручение, касающееся дел государственных.

Очевидно, что дать разрешение на отъезд Дашковой за границу государыня могла только в том случае, если она была абсолютно уверена в том, что княгиня будет действовать в интересах страны и Екатерины II. Императрица прекрасно знала, что Вольтера не придется убеждать в том, что Рюльер написал правду. Что бы ни сочинил Рюльер, его «роман» не мог заставить Вольтера покинуть уже занятые им прежде позиции.

Дав добро на публикацию описания переворота Ж.-Ф. Пикте в «Энциклопедическом журнале», Вольтер навсегда связал свое имя с исключительно благоприятной для репутации Екатерины трактовкой «сериальной революции» в России, хотя имя философа в этой публикации не упоминалось. Но в 1768 г., когда в парижских салонах начали читать рукопись К.-К. Рюльера, Вольтер открыто высказался о перевороте 1762 г., смерти Петра III и воцарении Екатерины II, посвятив этому событию всего лишь один абзац в кратком обзоре века Людовика XV. Читая этот абзац, трудно отделаться от мысли о том, что когда Вольтер писал его, он имел перед глазами уже упоминавшееся письмо Ф.-Ж. Пикте. Точнее, тот фрагмент письма, в котором говорилось, как в Европе представляют себе воцарение Екатерины:

Возможно, за границей убеждены, что революция был порождена интригой или какой-либо группой заговорщиков. Может быть, воображают, что монархиня своими происками старалась создать партию, которая могла бы возвести ее на престол, и употребила все возможные ухищрения, чтобы его достигнуть. Если таково мнение Европы, то она ошибается, и не имеет верного представления ни о характере этой императрицы, ни о русских, ни о самой России... Императрица никогда не добивалась трона. Вступая на него, она следовала общему желанию нации. Императрица делала это лишь для того, чтобы спасти Россию от бед, которые ей казались угрожали... [Voltaire 1973: 166].

Вольтер воспринял этот фрагмент как руководство к действию и создал маленький циничный шедевр. Ознакомившись с ним, французский читатель, не особенно интересовавшийся событиями в России, должен был уяснить себе, что Петра III никто не убивал, а он умер сам, упившись пуншем. А пил он восемь дней подряд потому, что его поместили в заключение. В заключение же его отправили потому, что он имел глупость заявить преобращенцам, что с пятьюдесятью прусаками он может победить весь Преображенский полк. Этот недалекий человек, позволявший себе такие глупости, хотел развестись со своей женой и восстановить всех против нее. Это возмутило преобращенцев и народ. Царь был свергнут, преследуем и заточен. А императрицей провозгласили его жену Екатерину. Вольтер не преминул упомянуть о том, что женское правление вовсе не редкость в России. В течение века на престоле было пять женщин. Перечислив их по именам от Екатерины I до Екатерины II, писатель удачно обыграл имена стоявшей в начале этого женского ряда и замыкавшей его, подчеркнув тем самым как бы преемственность царствующей ныне в России императрицы, которая, став законодательницей, обессмертила это имя [Voltaire 1768: 267–268]; [Tourneux: 26].

Нетрудно заметить, что в тексте последовательность изложения событий такова, что создается впечатление: вначале Петр III упился до смерти, а потом, после кончины монарха-самодура, на престол возвели его умную жену.

15 мая 1771 г. Вольтер сообщил Екатерине II о появлении Дашковой в Ферней:

Лишь только вошла она в зал, тотчас узнала Ваш портрет, по атласу вытканый и гирляндами вокруг украшенный. <...> Изображение Ваше видимо имеет особливую сокровенную силу. Ибо я видел, что когда княгиня Дашкова смотрела на сие тканье, то глаза ее орошались слезами. Она говорила мне четыре часа сряду о Вашем Императорском Величестве, и мне показалось не более, как четыре минуты. Я получил от нее проповедь, говоренную Тверским Архиепископом Платоном над гробницею Петра Великого на другой день, как Ваше Императорское Величество получили известие о совершенном истреблении турецкого флота. Сия речь, обращенная к основателю Петербурга и Ваших флотов, есть, по мнению моему, наилучший в свете памятник; я думаю, что никогда и ни один оратор не

имел столь счастливой темы своего слова, не исключая и Греческого Платона. Тот день, в который сия священная церемония происходила, почитаю я за славнейший день жизни Вашей; но я это разумею о Вашей жизни прошедшей; ибо я надеюсь, что Вы будете иметь дни еще славнее онаго. Поелику Вы в Петербурге имеете уже Платона, то я уверен, что графы Орловы произведут из себя в Греции Мильтиадов и Фемистоклов [Voltaire 2006: 189].

Как это не похоже на то, что потом было представлено в «Записках» Дашковой. Четыре часа беседы и все о Екатерине II. Еще один жертвенник, на котором фернейский отшельник в очередной раз воскурил фимиам Звезде Севера, был воздвигнут у подножья Альп, как еще один верстовой столб на пути императрицы в храм славы. Мы бы так и думали, если бы не знали, что Вольтер сочинял свои эпистолы российской императрице столько же для нее, сколько и для публики. К счастью, не для «публики», а только для «своих». 21 июня 1771 г. Вольтер описал в письме Ж.-Ф. Мармонтелю свое общение с Дашковой в Ферней в течение двух дней. Он назвал ее княгиней, в высшей степени удивительной, совершенно не похожей на парижских дам. Примечательно, в письме Екатерине II писатель воздержался от комплиментов подруге императрицы, потому что хорошо понимал, что и кому можно писать. В письме к своему единомышленнику, которого не требовалось ублаживать грубой лестью и ублажать притворными комплементами, философ был более откровенен и раскрыл, о чем они беседовали в действительности. Речь шла об «Антидоте», то есть, о выпущенном анонимно «Противоядии» «Путешествию» Шаппа д'Отроша. Вольтер писал:

Я должен вам сказать, что на севере у вас есть героиня, которая сражается за вас. Это княгиня Дашкова, хорошо известная своими деяниями, которые останутся в памяти грядущих поколений. Посмотрите, как она говорит о вашей дорогой Сорбонне в своем разборе путешествия в Сибирь аббата Шаппа [Voltaire 1973: 445].

В этом фрагменте самое замечательное то, что после беседы с Дашковой Вольтер был уверен, что Дашкова — автор этого памфлета. Очевидно, Дашкова приняла на себя авторство памфлета, чтобы скрыть причастность к нему Екатерины II. По всей видимости, это было нужно

императрице. Екатерина в письмах к Вольтеру отзывалась о сочинении аббата с демонстративным презрением. Она говорила, что аббат проехал Россию на почтовых лошадях в закрытых санях, то есть в действительности ничего не видел. Императрица назвала его сочинение «сказками..., которые не заслуживают ни малейшего доверия»: *«Говорят, что в своей книге он рассказывает, что измерял длину огарков свечей в ее комнате, хотя там никогда не бывал. Она его вообще не видела («Je ne l'ai vu, et cependant il pretend dans son livre, dit-on, avoir mesuré des bout de bougies dans ma chambre, où il n'a jamais mis le pied; ceci est un fait»* (Курсив мой. — М. С.) [Voltaire 2006: 231].

Обращает на себя внимание оборот “говорят”. То есть Екатерина только пересказывает общественное мнение. Очевидно, она делает вид, что даже не читала скандального сочинения аббата, потому что оно того не стоит. Этой репликой императрица дает понять Вольтеру и всем, кому он будет читать ее письмо, что не имеет к «Антидоту» ни малейшего отношения. Визит Дашковой в Ферней свидетельствует об обратном. Екатерина нуждалась в том, чтобы привлечь к своему «Противоядию» всеобщее внимание, попытаться побудить энциклопедистов выступить в роли пропагандистов этого сочинения, но при этом остаться абсолютно ни при чем. Стоит ли удивляться тому, что после появления Дашковой в Ферней Вольтер стал штудировать не только текст «Антидота», но и «Путешествие в Сибирь». О том, что он читает «критический разбор великого труда аббата Шаппа» Вольтер не без иронии сообщил Екатерине уже 10 июля 1771 г. [Voltaire 2006: 2002]. Но за двадцать дней до этого писатель составил выше цитируемое письмо Ж.-Ф. Мармонтелю, как бы реализуя намерения императрицы, которые он уяснил в результате общения с русской «Томирис, изъяснящейся по-французски».

Вольтер привел фрагмент из «Антидота». В этом фрагменте автор памфлета полемизирует с утверждением Шаппа д'Отроша о том, что среди российского духовенства Сорбонна приобрела такое уважение, что оно полагает: нельзя быть во Франции просвещенным, не будучи членом этого выдающегося учреждения [Chappe d'Auteroche: 134]. Письмо Вольтера не только открывает то, о чем княгиня беседовала с Патриархом с глазу на глаз, но и позволяет представить, как именно она это делала. Томирис — легендарная царица, победившая все сильного персидского царя Кира. Сравнение с воинствующей Томирис,

употребление глагола «сражаться» или «биться» явно отражает накал беседы и указывает на темперамент посланницы Екатерины II. Характерно, что княгиня апеллировала к Мармонтелю, выступая его горячей сторонницей. И то, что Вольтер был убежден ее аргументацией и даже нашел необходимым пересказать ее самому автору «Велизария», очень показательно.

Очевидно, задача же Дашковой состояла в том, чтобы убедить Вольтера, что, нападая на Россию и ее монарха, союзника энциклопедистов, ученый публицист наносил удар и по французским просветителям, по Просвещению в целом. Судя же по откровенному письму Вольтера к Мармонтелю, убеждать его в этом не пришлось. Он видел в княгине и ее августейшей подруге союзников в борьбе с невежеством и мракобесием. И стал горячо убеждать в этом автора «Велизария».

Вместе с тем, книга д'Отроша, побывавшего в Сибири и имевшего возможность непосредственно наблюдать быт и нравы России, могла оказать негативное воздействие на пишущих о России, но никогда в ней не бывших. Поэтому Екатерине нужен был не только авторитетнейший обличитель «наблюдений» французского астронома, сделанных «не по его части». Императрице было необходимо привлечь внимание к «Антидоту» еще и потому, что он был насыщен конкретными сведениями о России, носящими энциклопедический характер. Очевидно, тот, кто создавал текст «Антидота», настолько насытил его конкретикой, что она явно подавляла тот полемический задор, которого следовало бы ожидать от автора сочинения, долженствовавшего опровергнуть пасквиль Шаппа. Можно даже сказать, что обилие конкретных и самых разнообразных данных о России совершенно затемнило разоблачение аббата. По-видимому, организуя работу над ответом Шаппу, Екатерина ставила перед собой еще одну цель: помимо отпора антироссийским выпадам, императрица старалась представить европейским читателям и писателям, которые будут писать о России, как можно больше конкретных материалов о стране. Монархиня была очень недовольна статьями Л. де Жокура «Россия» и «Петербург» в «Энциклопедии» Д. Дидро [Мезин: 58–67]. По всей видимости, она хотела, чтобы материалы, собранные в «Антидоте», послужили бы основой для статьи о России в новом издании «Энциклопедии», которое практичная императрица намеривалась осуществить в своей стране. Не с этой ли целью Екатерина снабжала Вольтера материалами о Сибири и послала ему в качестве

вещественных доказательств семена сибирских кедров? [Voltaire 2006: 223, 231]. Недаром же значительно позже, 13 сентября 1774 г., когда Д. Дидро выражал радость Екатерине по поводу ее намерения переиздать «Энциклопедию», философ писал: «Я мог бы, следовательно, исправить глупости г. аббата Шаппа и г. кавалера Жокура» [Сборник Русского исторического общества 1881: 519].

Но наряду со стремлением создать благоприятный образ России перьями корифеев Просвещения было и другое. Текст «Антидота» содержал в себе индульгенцию для нее, начертанную ее собственной рукой. Она касалась мотивов императрицы, руководствуясь которыми жена Петра III приняла на себя верховную власть. Пассаж, непосредственно трактовавший этот щекотливый сюжет, представлял собой недвусмысленный ответ на распространяемое в Париже сочинение К.-К. Рюльера о перевороте 1762 г., изобразившего ее в качестве «бой-бабы», одаренной незаурядным властным умом “*comme une maîtress femme, comme un gran cervello di principessa*” [Сборник Русского исторического общества 1876: 260]. Так, по крайней мере, сообщил ей Дидро [Сборник Русского исторического общества 1876: 43–44]. Отвечая на сообщение Дидро, переданное посредством Фальконе, Екатерина написала в 1768 г.: работа Рюльера не представляет собой ничего заслуживающего внимания, «ибо в описываемом событии ничего подобного не было, но речь шла о том, чтобы или погибнуть вместе с сумасшедшим, или спастись вместе подавляющим большинством людей, желавших освободиться от него. Или же потому, что во всем этом не было никакой интриги, а лишь дурное поведение одного лица и если бы не оно, то совершенно определено, никогда ничего не могло бы приключиться» [Сборник Русского исторического общества 1876: 44].

Теперь, два года спустя, в тексте «Антидота» появились следующие слова:

Тогда она увидела перед собой две дороги: разделить все несчастья вместе с мужем, который ее ненавидел, был неспособен следовать ее добрым советам и не имел большего врага, чем он сам, или же спасти государство, семилетнего великого князя и себя самое. Екатерина более не колебалась. Она спасла это государство, у которого осталась только одна надежда на нее [Антидот: 108].

Примечательно, что Шапп не обличал Екатерину II лично. Напротив, о великой княгине Екатерине он поместил благоприятный для ее репутации отзыв: «Она сохраняла спокойствие при дворе, изучала науки и занималась литературой» [Chappe d'Auteroche: 118]. Но этой похвалы самодержице показалось недостаточно. И она дополнила свою характеристику:

Никогда не было более сложного положения, чем то, в котором оказалась великая княгиня в это время. Она находилась между императрицей, своим мужем, их фаворитами и народом. Все уважали ее, одни боялись, другие любили. Доброта сердца, справедливость суждений, свойства ее ума сделали то, что она смогла не только поддерживать свое положение, нисколько не жалуясь, но и выбрать самую верную дорогу. При жизни императрицы она не прекращала подавать великому князю самые мудрые советы, пока не поняла, что они стали для него бесполезными, а для нее вредными. Тогда она увидела, что перед ней две дороги... [Антидот: 108].

(Jamais situation ne fut plus difficile que celle de cette Princesse en ce temps-là. Elle trouvait entre l'Impératrice, son époux, leurs favoris et la nation. Elle était estimé de tous, craintée des uns, aimée des autres : la bonté de son coeur, la justesse de son jugement; et la culture de son esprit lui firent non seulement supporter son état sans jamais se plaindre, mais encore choisir le chemin le plus sûr. Elle ne discontinua point pendant la vie de l'impératrice de donner au Grand-Duc les conseils les plus sencés jusqu'à ce qu'elle vit, qu'il devenaient inutiles à ce Prince est nuisibles à elle-même. Alors voyant qu'il n'y avait devant elle deux chemines...) [Chappe d'Auteroche: 118].

Это было своеобразное послание, адресованное друзьям-энциклопедистам и всем читающим людям Европы. Впоследствии, в первой половине 1790-х гг., когда Екатерина II писала свои мемуары, адресованные потомству, она дважды повторила эту же мысль: во второй их редакции и в подготовительных материалах к ним.

В подготовительных материалах этот пассаж о необходимости выбора двух дорог представлен следующим образом:

...и как обстоятельства принимали такой оборот, что надо было погибнуть с ним, через него, или же постараться спастись от гибели и спасти своих детей и государство [Записки императрицы Екатерины Второй: 466].

В тексте второй редакции императрица развернула этот тезис, увеличив число дорого до трех:

...и я с тех пор увидала, что на мой выбор представлялись три дороги одинаково трудные: во-первых, делить участь Его императорского Высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасти себя, детей и, может быть, государство, от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть се нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной, и я решила по мере сил продолжать подавать князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался; открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как случай к тому представится, и в остальное время замкнуться в очень угрюмое молчание, наблюдая, с другой стороны, в обществе мои интересы так, чтобы оно видело во мне, при случае, спасителя государства [Записки императрицы Екатерины Второй: 423].

Нетрудно заметить, что в окончательном варианте императрица, чувствовавшая себя в то время, когда она его создавала, более свободной, нежели раньше, уже несколько усилила свою активную роль: она позиционировала себя так, чтобы общество видело в ней потенциальную спасительницу. Это «признание» представляло уже нечто новое: в предшествующих текстах она предписывала себе исключительно пассивную роль. Однако обращает на себя внимание примечательный факт. В обоих случаях мемуаристка по-разному представила конкретные причины, заставившие ее оказаться перед выбором дальнейшей дороги и прийти к такому судьбоносному решению. В подготовительных материалах речь шла о том, что Петр III посреди ночи заставил ее подняться с постели, отправиться к нему в комнаты и в его присутствии провести вечер в обществе С. А. Понятовского. Во второй же редакции речь шла совсем о другом. Ее муж заявлял публично, что он не знает, откуда его жена «берет свою беременность».

Эта разноголосица уже сама по себе порождала сомнение в искренности мемуаристки, пытавшейся предъявить читателю самые «прав-

доподобные» доказательства того, что жена Петра III вовсе не стремилась к власти, а была вынуждена спасти государство, сына и себя саму. Главным и единственным побудительным мотивом ее действий было спасение. Такой вывод должен был сделать Вольтер после общения с Дашковой и чтения, как он полагал, ее «Антидота». Но еще раньше княгиня имела контакты с Дидро в Париже. Значительно позже распространились слухи, что Дашкова, отправляясь за границу, объявила, что главная цель ее путешествия была «месть» Шаппу д'Отрошу за его скандальную книгу. Говорили, что княгиня намеривалась провести два года в Париже, чтобы встретиться там автора «Путешествия в Сибирь» [Сомов: 39]. Утверждали даже: Дашкова грозилась «всадить пулю в лоб бедному аббату Шаппу» [Masson: 21; Сомов: 40]. Но он успел к тому времени умереть в Калифорнии. Однако это были только слухи.

Итак, главная цель пребывания Дашковой во французской столице состояла в том, чтобы послужить своеобразным «Противоядием» не Шаппу, а Рюльеру. По всей видимости, о «Путешествии в Сибирь» с Дидро княгиня не говорила. Во всяком случае, после встреч с Дашковой философ не догадывался о том, что она представлялась автором «Антидота». Другое дело — опус Рюльера. Хотя в Петербурге никто еще не читал его рукописи, но дух ее и общая направленность была известна в Зимнем дворце благодаря письмам Дидро и Фальконе. Задача Дашковой как непосредственного участника переворота заключалась в том, чтобы представить такую интерпретацию переворота, из которой непреложно следовало бы, что она произошла без всякого участия Екатерины II. Княгиня «рвалась в бой» и собиралась непосредственно дискутировать с бывшим секретарем французского посольства в Петербурге, хотя в «Записках» сама Дашкова делала вид, будто ничего не знала о существовании сочинения Рюльера [Дашкова: 100–101]. Но Дидро, добровольно взявший на себя обязанности главного координатора всех действий по дезавуированию рюльерова сочинения [Tourneux: 25–43], не допустил ее до этого, не будучи уверенным, что княгиня с этой задачей успешно справится без его помощи. Он сделал лучше: записал все рассказанное ему Дашковой о перевороте, а потом в присутствии Рюльера прочитал свою записку и тут же уничтожил ее на глазах у всех слушателей. Без сомнения, сохранив копию ее у себя [Сомов: 39–45]. Рюльер был посрамлен, а вера в его сочинение подорвана [Сафонов 2018: 39–45].

По возвращении из путешествия княгиню Дашкову ждал и радушный прием императрицы и денежные вознаграждения. Она вскоре получила 10 тысяч рублей, а потом еще и 60 тысяч [Дашкова: 109, 110]. Императрица осталась довольна. Очевидно, Дашкова успешно выполнила то, что на нее было возложено августейшей подругой. Но о «секретной миссии» княгиня предпочитала не распространяться.

Список литературы

Источники

Антидот // Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. СПб.: Имп. Акад. наук, 1901. Т. VII. 360 с.

Архив князя Воронцова. М.: Унив. тип., 1881. Т. XXI. 390 с.

Библиотека Вольтера Каталог книг. Л.; М.: АН СССР, 1961. 1166 с.

Греч Н. В. Записки о моей жизни. СПб.: А. С. Суворин, 1886. 588 с.

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М.: МГУ, 1987. 493 с.

Записки императрицы Екатерины Второй. М.: Орбита, 1989. 748 с.

Сборник Русского исторического общества. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1876. Т. XVII. 415 с.

Сборник Русского исторического общества. СПб.: Тип Имп. Акад. наук, 1878. Т. XXIII. 732 с.

Сборник Русского исторического общества. СПб.: Тип Имп. Акад. наук, 1881. Т. XXXIII. 736 с.

Сборник Русского исторического общества. СПб.: Тип. Тренте и Фюсло, 1913. CXLIII. 643 с.

Сегюр Л. Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. СПб.: Тип. В. Н. Майкова, 1865. 386 с.

Слово при случае совершенных молитв над гробом Петра Великого, по причине одержания флотом российским над оттоманским флотом во Архепелаге славной победы, 1770 года июня 24 дня. СПб.: Тип. Акад. наук, 1770. 9 с.

Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и собъяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. СПб.: Имп. Акад. наук, 1907. Т. 12. Кн. 1. 495 с.

Antidote ou Examen du mauvais livre superbement imprimé intitulé: “Voyage en Siberie fait par ordre du Roi en 1761 contenant les mœurs, les usages des Russes ... Par M. l~Abbé Chappe d~Auroche de l~Academie Rpyale des sciences à Paris ... ». S. I. St. Pétersbourg: [S. n.], 1770. 232 p.

Chappe d'Auroche J. B. Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761; contenant les mœurs, les usages des Russes & l'état actuel de cette puissance etc. Par m. L'abbé Chappe d'Auroche. Paris: Debure, 1768. Т. I (P. 1–2). Т. II. La description du Kamtchatka. Par M. Kracheninnikow. 627 p.

Masson C. F. P. Mémoires secrets sur la Russie pendant les regnes de Catherine II er Paul 1-er. Paris: Libre. Didot, 1859. 464 p.

Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers... Neufchastel: Briasson, 1765. Vol. 12. P. 463–464.

Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers... Neufchastel: Briasson, 1765. Vol. 14. P. 442–445.

Rulhière C. C. Histoire ou Anecdotes sur la révolution de Russie, en 1762. 1797 / par mr. de Rulhière... Paris: Les Marchands de nouveautés, 1797. 148 p.

Voltaire. Correspondence and Related documents. Vol. XXV. Definitive edition by Theodore Besterman. Vol. XXV. Jane 1702 – 17 janvier 1763. Letters D. 10482- D. 10972. Oxfordshire, 1973. P. 114–117.

Voltaire Catherine II. Correspondance 1763–1778. [S. l.]: Association des Amis de Paris-Méditerranée, 2006. 372 p.

Voltaire. Complete Works of Voltaire 137B. Corpes des notes marginales 2B. Chalois-Cyrellus. Oxford, 2009. № 337. P. 487–490.

Voltaire. Précis du siècle de Lous XY. Paris: Antoine-Augustin Renourd, 1768. 268 p.

Исследования

Луппол И. К. Дени Дидро. М.: АН СССР, 1960. 295 с.

Мезин С. А. Дидро и цивилизация России. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 270 с.

Сафонов М. М. Ангальт-Цербстская девственница // Технология власти. Нестор. 2005. № 1 (7). С. 208–242.

Сафонов М. М. Вольтер, княгиня Е. Р. Дашкова, Екатерина II // Вольтеровские чтения. СПб.: Российская национальная б-ка, 2014. Вып. 2. С. 132–153.

Сафонов М. М. «Вольтериада» Жана Гюбера и княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Труды Государственного Эрмитажа. СПб.: Государственный эрмитаж, 2018. Т. 91. С. 145–156.

Сафонов М. М. Екатерина Романовна Дашкова и Вольтер // Россия и западно-европейское Просвещение. Памяти Н. А. Копанева. СПб.: РНБ, 2016. С. 112–128.

Сомов В. А. «Президент трех академий» Е. Р. Дашкова во французской «Росси-ке» конца XVIII века // Е. Р. Дашкова и А. С. Пушкин в истории России. М.: Московский гуманитарный ин-т им. Е. Р. Дашковой, 2000. С. 39–53.

Элькина И. М. Просветители и книга Шаппа д'Отроша о России // Вестник МГУ. Серия IX. История. 1973. № 6. С. 71–81.

Каррер д'Анкокс Э. Импертарица и Аббат. Неизданная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д'Отроша. М.: Олма-Пресс, 2005. 460 с.

Carrer d'Ancausse H. L'impératrice et l'abbé: un duel littéraire inédit entre Catherine II et l'abbéChappe d'Auteroche. Paris : Fayard, 2003. 642 p.

Dulac G., Somov V. Politique, littérature et mestification: Echec à Rulière. Un récit de Diderot rapporté par D. Golitzin // Dix-huitième siècles. 1991. № 23. P. 219–222.

Tourneux M. Diderot et Catherine II. Paris: Calmann-Lévy, 1899. 601 p.

References

Luppol, I. K. *Deni Didro* [Denis Diderot]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1960. 295 p. (In Russ.)

Mezin, S. A. *Didro i tsivilizatsiia Rossii* [Diderot and the Civilization of Russia]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2018. 270 p. (In Russ.)

Safonov, M. M. “Angal't-Tserbstskaia devstvennitsa” [“The Virgin of Anhalt-Zerbst”]. *Tekhnologiia vlasti. Nestor*, no. 1 (7), 2005, pp. 208–242. (In Russ.)

Safonov, M. M. “Vol'ter, kniaginia E. R. Dashkova, Ekaterina II” [“Voltaire, Princess E. R. Dashkova, and Catherine II”]. *Vol'terovskie chteniia [Voltairean Readings]*, issue 2. St. Petersburg, National Library of Russia Publ., 2014, pp. 132–153. (In Russ.)

Safonov, M. M. “‘Vol'teriada' Zhana Giubera i kniaginia Ekaterina Romanovna Dashkova” [“Jean Hubert's ‘Voltériade’ and Princess Ekaterina Romanovna Dashkova”]. *Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha [Proceedings of the State Hermitage Museum]*, vol. 91. St. Petersburg, State Hermitage Museum Publ., 2018, pp. 145–156. (In Russ.)

Safonov, M. M. “Ekaterina Romanovna Dashkova i Vol'ter” [“Ekaterina Romanovna Dashkova and Voltaire”]. *Rossiiia i zapadnoevropeiskoe Prosveshchenie [Russia and the Western European Enlightenment]*. St. Petersburg, National Library of Russia Publ., 2016, pp. 112–128. (In Russ.)

Somov, V. A. “‘Prezident trekh akademii' E. R. Dashkova vo frantsuzskoi ‘Rossike’ konta XVIII veka” [“E. R. Dashkova's ‘President of the Three Academies’ in the French ‘Rossica’ of the Late 18th Century”]. *E. R. Dashkova i A. S. Pushkin v istorii Rossii [E. R. Dashkova and A. S. Pushkin in the History of Russia]*. Moscow, Moscow Institute for the Humanities named after Princess E. R. Dashkova Publ., 2000, pp. 39–53. (In Russ.)

El'kina, I. M. “Prosvetiteli i kniga Shappa d'Otrosha o Rossii” [“The Enlightenment and Chappe d'Autroche's Book on Russia”]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Serii IX. Istoriia*, no. 6, 1973, pp. 71–81. (In Russ.)

Karrer d'Ankoss, E. *Impertaritsa i Abbat. Neizdannaiia duel' Ekateriny II i abbata Shappa d'Otrosha [The Empress and the Abbot. The Unpublished Duel of Catherine II and Abbot Chappe d'Autroche]*. Moscow, Olma-Press Publ., 2005. 460 p. (In Russ.)

Carrer d'Ancausse, Hélène. *L'impératrice et l'abbé: un duel littéraire inédit entre Catherine II et l'abbé Chappe d'Autroche*. Paris, Fayard, 2003. 642 p. (In French)

Dulac, Georges, et Vladimir Somov. “Politique, littérature et mestification: Ehec à Rulière. Un récit de Diderot rapporté par D. Golitzin.” *Dix-huitième siècles*, no. 23, 1991, pp. 219–222. (In French)

Tourneux, Maurice. *Diderot et Catherine II*. Paris, Calmann-Lévy, 1899. 601 p. (In French)

© 2025. А. А. Юдахин, иерей

Общецерковная аспирантура и докторантура
им. св. равноап. Кирилла и Мефодия
г. Москва, Россия

Проблема историософского подтекста в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Аннотация: Статья посвящена анализу историософского подтекста комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», посвященного реформам Петра Великого их последствиям. Заложённая в сюжетную основу произведения идея конфликта имеет помимо локального (судьба Чацкого и его окружения) также и глобальное претворение: противопоставление России и Запада. Концептуальная дешифровка «текста в тексте» комедии — речи Чацкого в конце III действия, позволяет более глубоко осмыслить те фундаментальные противоречия, которые породили петровские реформы. Секуляризация, десаκραлизация общественной жизни и быта, отказ от русской мессианской исторической парадигмы, европоцентризм элит и, как следствие, разделение русского общества на образованное европеизированное «общество» и неграмотный православный «народ» — все эти аспекты ретроспективно осмысляются в комедии. Трагическое несоответствие внешних форм и внутреннего содержания жизни пореформенной Российской империи, обозначенное О. Шпенглером как «исторический псевдоморфоз», составляет одно из главных смысловых измерений бессмертного произведения русского поэта.

Ключевые слова: А. С. Грибоедов, «Горе от ума», петровские реформы, Россия, Запад, европоцентризм, историософия, мессианство.

Информация об авторе: Артем Александрович Юдахин, иерей, кандидат филологических наук, Общецерковная аспирантура и докторантура им. св. равноап. Кирилла и Мефодия, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1, 115035 Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4552-859X>

E-mail: Artemyudakhin@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 27.04.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 17.08.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Юдахин А. А. Проблема историософского подтекста в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 74–89. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-74-89>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 74–89. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 74–89. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Artem A. Yudakhin, priest

Saints Cyril and Methodius Institute for Postgraduate Studies
Moscow, Russia

The Issue of Historiosophical Subtext in A. S. Griboyedov's Comedy *Woe from Wit*

Abstract: This article analyzes the historiosophical subtext of A. S. Griboyedov's comedy *Woe from Wit*, which explores the reforms of Peter the Great and their consequences. The idea of conflict, embedded in the work's plot, has not only a local dimension (the fate of Chatsky and his entourage) but also a global one: the juxtaposition of Russia and the West. A conceptual decipherment of the comedy's "text within a text" — Chatsky's speech at the end of Act III — allows for a more profound understanding of the fundamental contradictions that gave rise to Peter the Great's reforms. Secularization, the desacralization of public life and everyday life, the rejection of the Russian messianic historical paradigm, the Eurocentrism of the elites, and, as a result, the division of Russian society into an educated, Europeanized "society" and an illiterate, Orthodox "people" — all these aspects are retrospectively explored in the comedy. The tragic discrepancy between the external forms and internal content of life in the post-reform Russian Empire, designated by O. Spengler as a "historical pseudomorphosis," constitutes one of the main semantic dimensions of the immortal work of the Russian poet.

Keywords: A. S. Griboyedov, *Woe from Wit*, Peter's reforms, Russia, West, Eurocentrism, historiosophy, Messianism.

Information about the author: Artem A. Yudakhin, priest, PhD in Philology, Saints Cyril and Methodius Institute for Postgraduate Studies, Piatnitskaia St., 4/2, bld. 1, 115035 Moscow, Russia. ORCIDID: <https://orcid.org/0000-0003-4552-859X>
E-mail: Artemyudakhin@yandex.ru

Received: April 24, 2025

Approved after reviewing: August 17, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Yudakhin, A. A. "The Issue of Historiosophical Subtext in A. S. Griboyedov's Comedy *Woe from Wit*." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 74–89. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-74-89>

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1825) обессмертила имя автора и приобрела всемирную известность. Гений Грибоедова проявился не только в красоте и слаженности русской речи, но и в тех вневременных интуициях и смысловых посылах, которые автор предлагает читателю. Как известно, основу художественной структуры образа Чацкого, равно как и всей сюжетной композиции комедии, составляет идея конфликта в различных его вариациях — человека и общества, личности и коллектива, «внутреннего» и «внешнего» человека, «века нынешнего» и «века минувшего», чувства и долга, сердца и ума и пр. Вместе с тем, конфликтология «Горя от ума» не ограничивается лишь событийным и историческим пластами — в комедии, пусть и в «свернутом» виде, присутствует также важная историософская полемика, которая базируется на метафизических предпосылках.

В связи с этим обратим внимание на концептуально значимый фрагмент комедии, представляющий собой своеобразный «текст в тексте». В предложенном нами ракурсе (история — историософия — метафизика) данный отрывок будет рассмотрен впервые.

Речь идет о монологе «безумного» Чацкого в самом конце III действия. Герой делится своими впечатлениями и размышлениями с гостями, прибывшими на званый вечер в дом Фамусовых. Приведем этот отрывок полностью, выделяя курсивом и жирным шрифтом ключевые фразы:

В той комнате незначащая встреча:
Французик из Бордо, надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал — и нашел, что ласкам нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица

Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;

Своя провинция. — Посмотришь, вечерком

Он чувствует себя здесь маленьким царьком;

Такой же толк у дам, такие же наряды...

Он рад, но мы не рады.

Умолк. И тут со всех сторон

Тоска, и оханье, и стон.

Ах! Франция! Нет в мире лучше края! —

Решили две княжны, сестрицы, повторяя

Урок, который им из детства натвержен.

Куда деваться от княжен! —

Я одадь воссылал желанья

Смиренные, однако вслух,

Чтоб истребил Господь нечистый этот дух

Пустого, рабского, слепого подражанья;

Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,

Кто мог бы словом и примером

Нас удержать, как крепкою вожжой,

От жалкой тошноты по стороне чужой.

Пускай меня объявят старовером,

Но хуже для меня наш Север во сто крат

С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад —

И нравы, и язык, и старину святую,

И величавую одежду на другую

По шутовскому образцу:

Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,

Рассудку вопреки, наперекор стихиям;

Движенья связаны, и не краса лицу;

Смешные, бритые, седые подбородки!

Как платья, волосы, так и умы коротки!..

Ах! если рождены мы все перенимать,

Хоть у китайцев бы нам несколько занять

Премудрого у них незнанья иноземцев.

Воскреснем ли когда от чужевластья мод?

Чтоб умный, бодрый наш народ

Хотя по языку нас не считал за немцев.

«Как европейское поставить в параллель

С национальным — странно что-то!
Ну как перевести мадам и мадмуазель?
Ужли сударыня!!» — забормотал мне кто-то.
Вообразите, тут у всех
На мой же счет поднялся смех.
«Сударыня! Ха! ха! ха! ха! прекрасно!
Сударыня! Ха! Ха! ха! ха! ужасно!» —
Я, рассердясь и жизнь кляня,
Готовил им ответ громовый;
Но все оставили меня. —
Вот случай вам со мною, он не новый;
Москва и Петербург — во всей России то,
Что человек из города Бордо,
Лишь рот открыл, имеет счастье
Во всех княжен вселять участие;
И в Петербурге и в Москве,
Кто недруг выписных лиц, вычур, слов кудрявых,
В чьей по несчастью голове
Пять, шесть найдется мыслей здравых
И он осмелится их гласно объявлять, —
Глядь... (Курсив мой. — А. Ю.) [Грибоедов: 104–106].

Столкновение Чацкого с «французиком из Бордо» провоцирует героя на развернутую отповедь в адрес заезжего европейца и его поклонников. Правы исследователи, отмечая, что «Горе от ума» имеет поистине огромный семантический потенциал» [Перзек: 538]. Данное наблюдение особенно актуально в отношении приведенного фрагмента. Представленный текст буквально насыщен явными и неявными отсылками, ведущими и дополнительными смысловыми нагрузками, образующими общий концептуальный код фрагмента, который внимательный читатель дешифрует без труда. Дело в том, что определяющим пафосом произведения является *пафос патриотический*, и, как отмечает Е. Л. Райхлина, в комедии А. С. Грибоедов «сформулировал идею национальной самостоятельности русского народа и отверг мысль о подчинении России европейскому влиянию» [Райхлина: 587]. Контрверза Россия/Европа является не столько фоном разворачивающейся трагедии взаимного неприятия Чацкого и светского общества,

сколько его основной и глубинной первопричиной. Историческая и историософская проблематика фундирует и обуславливает проблематику личных взаимоотношений героев, каждый из которых оказывается перед извечным вопросом русской культуры: «Что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба?» [Шмеман: 20].

Если рассматривать приведенный отрывок не в строго текстуальной, а в логико-смысловой последовательности, можно выстроить следующий ход мыслей Чацкого-Грибоедова. Центральным, хоть и не упомянутым напрямую персонажем филиппики Чацкого, на самом деле, является царь-реформатор Петр I. Петровские реформы, равно как и сам царь — явления крайне противоречивые. Вынося за скобки дискуссию о петровских преобразованиях (в т. ч. диаметрально противоположные оценки преобразовательной деятельности государя), обратимся к историософской подоплеке и последствиям реформ.

Как верно отмечает прот. Г. Флоровский, новизна петровских реформ заключалась вовсе не в изменениях внешнего порядка и устройства государства, «не в западничестве, но в секуляризации <...> именно в этом реформа Петра была не только поворотом, но и переворотом» [Флоровский: 113]. Упразднение института патриаршества в 1721 г., фактическое подчинение Русской Церкви государству, а точнее ее включение в государственные структуры в качестве одного из ведомств, подчиненных императору, зафиксированное в «Духовном регламенте» 1721 г., десакрализация быта царя и его подчиненных, нарочитый антиклерикализм — все эти меры, разрушавшие самые основы православной политической теории (симфония властей, теоцентризм, религиозная легитимация и сакрализация власти), привели к созданию самодовлеющего и самодостаточного «полицейского государства» Петра Великого. Прот. Г. Флоровский поясняет содержание подобного определения: «Полицейзм» есть замысел построить и «регулярно сочинить» всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и «общей пользы» или «общего блага» [Флоровский: 115]. В этом подлинный смысл секуляризации — вытеснение и игнорирование сакральных императивов как в культурной, так и в общественно-политической жизни государства. Государь и государство перестают восприниматься как служители Божии (персональный или коллективный), но как субъекты, интересы которых определяет всеохватывающий и всепроникающий утилитар-

ризм. А. Безансон особо выделяет эту радикальную переменную, произошедшую в умах правителя и его сподвижников: «Высшая инстанция уже не христианская космология и даже не почитаемая диада Святая Русь — Святой Царь, а Россия — государство и Император» [Безансон: 102]. Современный отечественный историк А. Боханов подтверждает наблюдение французского исследователя: «Святорусский идеал подменялся и заменялся секулярной идеей Великой России. Понятие “цель жизни” наполнялось светским, внецерковным содержанием. В сознании власть имущих место “Святой Руси” занимали категории иного порядка: “польза Отечества”, “величие Империи”, “слава России”» [Боханов: 299].

Подобная демегафизация и десакрализация *modus vivendi* российского государства, содержания и цели его исторического бытия, радикальным образом изменили и его историософию. Как было сказано, идеал Святой Руси был заменен образом «регулярного государства», вошедшего в семью европейских монархий. Претензии московских государей на особое *мессианское призвание* Русской земли, своими корнями уходящее в концепции «Руси – Нового Израиля» и «Москвы – Третьего Рима» было отвергнуто. Согласно замечанию П. Н. Воге, если раньше на Руси «мечтали о “Третьем Риме”, о скрывающейся в Москве жене Апокалипсиса, то теперь Россия превратилась в европейскую сверхдержаву, интересы которой были направлены на политику, торговлю, армию и западную культуру» [Воге: 140]. Фундаментальные смыслообразы русского бытия без сожаления предавались забвению. Если люди Московского царства считали себя «избранным народом» [Бердяев: 13], в перманентном противостоянии с Западом оберегающим «правую веру», то Петр I, наоборот, мыслил империю как «динамическое локальное государство, составной элемент европейской системы» [Пайпс: 82]. Ключевое слово в данной формулировке А. Тойнби на наш взгляд — «локальное». Одно из противоречий петровских реформ заключается в том, что не столько государь «в Европу прорубил окно» («Медный всадник» А. С. Пушкина), сколько, наоборот, через него Европа открыла для себя доселе невозможный беспрепятственный доступ в Россию. Запущенный Петром процесс *вестернизации* России привел к постепенному стиранию границ между Россией и Европой, Западом и Востоком: «Государство, которое простирается от Беренгова пролива до Хиндукуша, было “европеизировано” в такой

степени, что различий между городами, скажем, в Ирландии и Португалии и в Туркестане или на Кавказе в начале XX в. почти не имелось» [Голосенко, Султанов: 46]. Россия становится ничем иным, как *locus Eurorae*, причем не только в географической, но и в ментально-культурной категориях. Неслучайно поэтоту французик из Бордо открывает Россию лишь как «свою провинцию», и именно провинцию.

Вслед за смещением историософского центра бытия на Запад происходит *провинциализация* России и русского сознания. Кроме того европеизация имеет свою логику, в рамках которой выстраивается четко прослеживаемая парадигма метрополия — колония. Соответственно вестернизировавшиеся Российская империя, Османская империя, Китай или же Япония всегда рассматривались именно как колонии западного влияния, варварские государства, которые Западу необходимо «цивилизовать» (ср. «бремя белого человека» Р. Кипплинга). Колониальную туземную ментальность взращивали вполне сознательно:

Ах! Франция! Нет в мире лучше края! —
Решили две княжны, сестрицы, повторяя
Урок, который им из детства натвержен [Грибоедов: 105].

Европеизированная петровская элита, «птенцы гнезда Петрова» одновременно проживали и переживали два взаимосвязанных процесса: стремительное дистанцирование от собственного народа и резкое сближение с европейскими элитами по образу жизни и мысли. Пренебрежение Церковью, отвержение ее идеалов провели четкую и ощутимую разделительную черту между «обществом» и «народом», о чем весьма точно писал В. О. Ключевский: «Боярин и холоп неодинаково ясно понимали вещи, неодинаково твердо знали свой житейский катехизис; но они черпали свое понимание из одних и тех же источников, твердили один и тот же катехизис и потому хорошо понимали друг друга, составляли однородную нравственную массу, если позволительно так выразиться. Западное влияние разрушило эту цельность» [Ключевский: 13]. «Поляризация душевного бытия России» [Флоровский: 114], ставшая прямым следствием петровских преобразований, привела к тому, что, по словам Чацкого, народ принимал русских аристократов «за немцев», в том числе из-за того, что языком общения в кругах элиты являлся французский и, позднее, английский языки. Владимир Лен-

ский «с душою прямо геттингенской» [Пушкин 1986. 2: 210] и Татьяна Ларина, писавшая письмо Онегину на французском, поскольку «выражалась с трудом на языке своем родном» [Пушкин 2: 234] — фигуры вполне типологические, отражающие в себе реалии исторического контекста рубежа XVIII–XIX столетий. Герой комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир», заявлявший, что тело его родилось в России, однако дух «принадлежит короне французской» [Фонвизин 1: 21], также вписывается в общий ряд характерных персонажей эпохи. Позднее Ф. М. Достоевский в черновых набросках к роману «Бесы» резюмирует: «Весь верхний слой России кончили тем, что переродились в немцев, и оторвавшиеся кончили любовью к немцам и презрением и ненавистью к своим» [Достоевский 1974. 11: 112].

Следующий пассаж Чацкого требует отдельного комментария:

Пускай меня отъявят старOVEROM,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад —
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу [Грибоедов: 105].

Упоминание «старOVERерия» неслучайно, оно включает в себя целый комплекс смысловых отсылок. Отвержение Петром I «нравов, языка и старины святой» воспринималось в народе как предательство «русской души», предательство религиозного и метафизического порядка: старOVERеры именовали государя не иначе, как антихристом. И принудительное бритье бород, перемена одежды играли важную роль в возникновении подобных интуиций. Следует помнить, что в Московской Руси европейцы-иновЕРцы устойчиво воспринимались как «разносчики ересей» [Дельвиг: 28], общение с которыми оскверняло православного христианина. Прот. Г. Крылов, исследуя духовность и менталитет Русского Средневековья, отмечает господство целостного, холистического взгляда на человека и мир, в связи с чем «духовная скверна переживалась физиологически, физиологическая — духовно» [Крылов: 80].

Общение и прикосновение к европейцам поэтому воспрещалось и строго порицалось, почему иностранцы и сетовали на то, что «местные жители относились к ним, “как к собакам или змеям”, не подавали руки,

дабы избежать прикосновения иноверцев» [Лабутина: 34]. Сосуды, из которых ели иноверцы, разбивались и выбрасывались. Из помещений, в которых останавливались на постой иноверцы, выносили иконы, или же заново освящали их после отъезда иностранцев. Поселяли иностранцев за городской чертой, браки с ними запрещались (кроме случаев перехода иноверца в православную веру), равно как и посещение иноверцами православных храмов. Иностранцам запрещалось носить русское платье, в связи с чем особый символизм имеет вестиментарный аспект реформ Петра I. Дело в том, что иноверцы, язычники и еретики появлялись в книжной миниатюре, на фресках и на иконах прежде всего как «слуги дьявола: враги истины, преследователи праведников и узники преисподней» [Антонов, Майзульс: 72]. В XVII столетии инфернализация иноверцев-европейцев достигает особого размаха. Во многих храмах на фресках Страшного Суда (традиционно — на западной (sic!) стороне храма) среди злодеев и грешников регулярно появляются европейцы в камзолах, широкополых шляпах и кружевных воротниках. Ученые отмечают, что в сознании простого народа эти приметы инославного Запада «сами по себе воспринимаются как знаки иноверия и служения злу» [Антонов, Майзульс: 73]. Перемена русского платья на «заморское» при Петре I оценивалась русским народом соответственно как акт кощунства и святотатства. «Шутовской образец» европейской одежды вовсе не смешон, равно как не смешны «смешные бритые, седые подбородки» — бритые бороды на Руси строго воспрещались Церковью (Номоканон, Стоглавый собор 1551 г.) и уравнивалось с самооскоплением. Поэтому реплика Чацкого о перемене одежд имеет свой духовный подтекст:

Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям;
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки! [Грибоедов: 105].

Бесоподобие («хвост сзади», «бритые подбородки») образа царевых слуг вписывается в общую модель восприятия царя-антихриста и его «поганных» реформ. Большое значение в этом смысле имеет религиозная фразеология исследуемого нами фрагмента, также формирующая

метафизический пласт речи Чацкого. Открывают подобную фразеологию слова Чацкого из самого начала комедии: «Как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасенья!» [Грибоедов: 26]. «Нечистый дух слепого подражания», требующий исцеления, за которым должно последовать «воскресение» от «чужевластья мод» — все это религиозное словоупотребление на наш взгляд неслучайно и указывает на сверхъестественное (Божественное и демоническое) измерение петровских реформ и их последствий. Только Господь может избавить русский народ от «нечистого духа» западнизма (термин А. А. Зиновьева). Схожие мотивы звучат в словах одного из литературных героев старшего современника Грибоедова — политика, писателя и публициста Ф. В. Ростопчина: «Господи помилуй! да будет ли этому конец? долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: “Сгинь ты, дьявольское наваждение! ступай в ад или восвояси, все равно, — только не будь на Руси”» [Ростопчин: 420].

Секуляризация, отвержение православно-мессианского призвания, веры, отеческих преданий и языка отцов, разрыв аристократии с простым народом — все эти факторы (исторический, историософский и метафизический) свидетельствовали о глубоком кризисе, поразившем Россию в Петровскую эпоху. Исследователи, комментируя итог петровских реформ, отмечают: «Внешняя сторона петровства скрывает внутреннюю его судьбу. Оно было и осталось чужеродным телом в русскости. В действительности имелась не одна Россия, а две, — видимая и истинная, официальная и тайная» [Голосенко, Султанов: 46]. Европоцентризм элит и их дистанцирование от народа — носителя традиций допетровской Руси («русской души») — привели образованное «общество» к потере собственной идентичности, субъектности и возникновению стойкой зависимости от Запада. Уже упоминавшийся нами Достоевский отмечает в начале 1870-х гг.: «Никто не знает себя на Руси. Просмотрели Россию. Особенность свою познать не можем и к Западу самостоятельно отнестись не умеем» [Достоевский 1974. 11: 66].

Одну из самых точных характеристик петровских реформ, коррелирующих с содержанием речи Чацкого, дал немецкий историософ и культуролог О. Шпенглер в фундаментальном исследовании «Закат Европы» (1918; 1922). Заимствуя из геологии и минералогии описание процесса образования кристалла на месте пустот внутри скальной по-

роды, именуемого «псевдоморфозом», Шпенглер экстраполирует его на историко-культурную область. Кристалл представляет собой «поддельную форму <...> чья внутренняя структура противоречит внешнему строению» [Шпенглер 2: 193] скалы, он есть «род каменной породы, являющийся в чужом обличии» [Шпенглер 2: 193]. В исторической проекции псевдоморфоз являет себя в тех ситуациях, когда «чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот — ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания» [Шпенглер 2: 193]. Иными словами, исторический псевдоморфоз как явление есть процесс и результат деструктивного взаимодействия несоответствующих друг другу формы и содержания предмета (историко-культурная, идейная парадигма). Обращаясь к российскому историческому контексту, Шпенглер обозначал весь период императорской России (XVIII–XX вв.) как затяжной псевдоморфоз, порожденный масштабными реформами Петра Великого.

«Ум с сердцем не в ладу» — эти слова Чацкого, на самом деле, диагностируют не столько положение самого героя, сколько всей постпетровской России, дворянства, оторвавшегося от русской «почвы» — в этом Грибоедов предвзряет не только славянофилов, но и Достоевского — главного обличителя русского западнизма в отечественной литературе. Интересно, что сам Чацкий является частью дворянского аристократического сообщества и именно в таком статусе отвергает западнизм элит. Нашествие Наполеона и Война 1812 г., казалось бы, должны были вразумить русское общество и отвратить от бездумного подчинения «чужевластью мод». Однако вслед за галломанией в Российской империи восторжествовали англomanия, а потом и германофилия. Эта мимикрия под Запад достигла таких печальных масштабов, что святитель Феофан Затворник вынужден был в 1887 г. констатировать следующее: «Нас увлекает просвещенная Европа... <...> Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забы-

ваться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили на путь исправления» [Святитель Феофан Затворник: 453–454].

Подводя итог вышесказанному, выделим ряд тезисов, относящихся к концептуальному содержанию комедии «Горе от ума». Прежде всего, отметим, что текст комедии содержит в себе глубокий историософский подтекст, наиболее ярко выраженный в исследованном нами фрагменте — речи Чацкого в финале III действия. Историософский смысловой пласт представлен не изолированно, но в сопряжении с образующими его аспектами — историческим и метафизическим. Именно через призму подобного тройственного взгляда (история — историософия — метафизика) Чацкий-Грибоедов оценивает важнейшую веху в истории России — петровские реформы. Оценка эта в целом носит отрицательный характер, поскольку насаждаемые сверху процессы секуляризации и вестернизации спровоцировали глубокий раскол в русском обществе на европеизированную элиту и простой народ, продолжавший жить заветами и идеалами Московской Руси. Исторический псевдоморфоз (О. Шпенглер) как результат петровских реформ стал тем трагическим явлением русской жизни, которое отразил и проблематизировал А. С. Грибоедов в своей бессмертной комедии.

Список литературы

Источники

- Грибоедов А. С. Горе от ума. М.: Наука, 1987. 478 с.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Наука, 1974. Т. 11: Бесы. Рукописные редакции. 417 с.
Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. М.: Худож. лит., 1986. Т. 2: Поэмы; Евгений Онегин; Драматические произведения. 527 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце. М.: Ин-т русской цивилизации, 2014. 704 с.
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия. М.: Типо-литография И. Ефимова, 1897. 456 с.
Фонвизин Д. И. Бригадир // Фонвизин Д. И. Собр. соч.: в 2 т. М., Л.: Худож. лит., 1959. Т. 1. 632 с.

Исследования

- Антонов Д. И., Майзульс М. Р. Анатомия ада: Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии. М.: НЕОЛИТ, 2020. 264 с.
Безансон А. Убиенный царевич: Русская культура и национальное сознание: закон и его нарушение. М.: Мик, 1999. 216 с.
Бердяев Н. А. Русская идея. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2016. 320 с.
Боханов А. Н. Русская идея. М.: Проспект, 2024. 576 с.
Воге П. Н. Россия другая. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. 358 с.
Голосенко И. А., Султанов К. В. Культурная морфология О. Шпенглера о «ликах России» // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. № 3. С. 43–54.
Дельвиг В. С. Отношение светской и духовной власти Московской Руси к инославным и Западной Европы во времена становления самодержавия // Общество. Среда. Развитие (terra Humana). 2011. № 3. С. 28–32.
Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. Западное влияние в России после Петра. М.: Наука, 1983. 420 с.
Крылов Г., прот. Понятие «скверна» («погань») в Средневековой Руси и в современном старообрядчестве // Религия как знаковая система: Знак. Ритуал. Коммуникация: сб. научных ст. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2011. Вып. I. 154 с.
Лабутина Т. Л. «Свои» и «чужие» в имэджинологии: ксенофобия в англо-русских отношениях XVI–XVIII веках // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2011. № 31. С. 32–51.
Пайс Р., Тойнби А., Фукуяма Ф. Россия — тысяча лет одиночества: сборник. М.: Родина, 2024. 304 с.
Перзеке М. Ю., Перзеке А. Б. Семантика «Иного Царства» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» // А. С. Грибоедов: Русская и национальные литературы. Ереван: Издательский дом Лусабац, 2015. 759 с.
Райхлина Е. Л. О патристической составляющей в творчестве А. С. Грибоедова // А. С. Грибоедов: Русская и национальные литературы. Ереван: Издательский дом Лусабац, 2015. 759 с.

Флоровский Г. В., *прот.* Пути русского богословия. М.: Ин-т русской цивилизации, 2009. 848 с.

Шмеман А., *протопресв.* Основы русской культуры: Беседы на Радио Свобода. 1970–1971. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та, 2017. 416 с.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998. 606 с.

References

Antonov, D. I., and M. R. Maizul's. *Anatomiia ada: Putevoditel' po drevnerusskoi vizual'noi demonologii* [*Anatomy of Hell: A Guide to Old Russian Visual Demonology*]. Moscow, NEOLIT Publ., 2020. 264 p. (In Russ.)

Bezanson, A. *Ubiennyi tsarevich: Russkaia kul'tura i natsional'noe soznanie: zakon i ego narushenie* [*The Murdered Tsarevich: Russian Culture and National Consciousness: The Law and Its Violation*]. Moscow, Mik Publ., 1999. 216 p. (In Russ.)

Berdiaev, N. A. *Russkaia ideia* [*The Russian Idea*]. St. Peteraburg, Azbuka Publ., Azbuka-Attikus Publ., 2016. 320 p. (In Russ.)

Bokhanov, A. N. *Russkaia ideia* [*The Russian Idea*]. Moscow, Prospekt Publ., 2024. 576 p. (In Russ.)

Voge, P. N. *Rossia drugaia* [*The Other Russia*]. Moscow, Tsentр gumanitarnykh initsiativ Publ., 2022. 358 p. (In Russ.)

Golosenko, I. A., and K. V. Sultanov. "Kul'turnaia morfologiia O. Shpenglera o 'likakh Rossii.'" ["Spengler's Cultural Morphology on the 'Faces of Russia.""] *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii*, no. 3, 1998, pp. 43–54. (In Russ.)

Del'vig, V. S. "Otnoshenie svetskoi i dukhovnoi vlasti Moskovskoi Rusi k inoslavnym i Zapadnoi Evropy vo vremena stanovleniia samoderzhavii" ["The Attitude of the Secular and Spiritual Authorities of Muscovite Rus' Towards Heterodox and Western Europe during the Establishment of Autocracy"]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitie (terra Humana)*, no. 3, 2011, pp. 28–32. (In Russ.)

Kliuchevskii, V. O. *Neopublikovannye proizvedeniia. Zapadnoe vliianie v Rossii posle Petra* [*Unpublished Works. Western Influence in Russia after Peter the Great*]. Moscow, Nauka Publ., 1983. 420 p. (In Russ.)

Krylov, G., archpriest. "Poniatie 'skverna' ('pogan') v Srednevekovoi Rusi i v sovremennom staroobriadchestve" ["The Concept of 'Filth' ('Pollution') in Medieval Rus' and in Modern Old Believers"]. *Religiia kak znakovaia sistema: Znak. Ritual. Kommunikatsiia: sbornik nauchnykh statei* [*Religion as a Sign System: Sign. Ritual. Communication. Collection of Scientific Articles*], issue 1. Tver, GERS Publ., 2011. 154 p. (In Russ.)

Labutina, T. L. "'Svoi' i 'chuzhie' v imedzhinologii: ksenofobia v anglo-russkikh otnosheniakh XVI–XVIII vekakh" ["'Ours' and 'Strangers' in Imagination: Xenophobia in Anglo-Russian Relations in the 16th–18th Centuries"]. *Vestnik Riazanskogo gosudarstvennogo universiteta im. S. A. Esenina*, no. 31, 2011, pp. 32–51. (In Russ.)

Paips, R., A. Toinbi, and F. Fukuiama. *Rossiia — tysiacha let odinochestva: sbornik* [*Russia: A Thousand Years of Solitude: A Collection*]. Moscow, Rodina Publ., 2024. 304 p. (In Russ.)

Perzeke, M. Iu., and A. B. Perzeke. “Semantika ‘Inogo Tsarstva’ v komedii A. S. Griboedova ‘Gore ot uma.’” [“The Semantics of the ‘Other Kingdom’ in A. S. Griboyedov’s Comedy ‘Woe from Wit.’”] *A. S. Griboedov: Russkaia i natsional’nye literatury* [*A. S. Griboyedov: Russian and National Literatures*]. Yerevan, Lusabats Publ., 2015. 759 p. (In Russ.)

Raikhlina, E. L. “O patrioticheskoi sostavliaiushchei v tvorchestve A. S. Griboedova” [“On the Patriotic Component in the Works of A. S. Griboyedov”]. *A. S. Griboedov: Russkaia i natsional’nye literatury* [*A. S. Griboyedov: Russian and National Literatures*]. Yerevan, Lusabats Publ., 2015. 759 p. (In Russ.)

Florovskii, G. V., archpriest. *Puti russkogo bogosloviia* [*Paths of Russian Theology*]. Moscow, Institut russkoi tsivilizatsii Publ., 2009. 848 p. (In Russ.)

Shmeman, A., archpriest. *Osnovy russkoi kul’tury: Besedy na Radio Svoboda. 1970–1971* [*Foundations of Russian Culture: Conversations on Radio Liberty. 1970–1971*]. Moscow, St. Tikhon Orthodox University for Humanities Publ., 2017. 416 p. (In Russ.)

Shpengler, O. *Zakat Evropy. Ocherki morfologii mirovoi istorii. Vsemirno-istoricheskie perspektivy* [*The Decline of Europe. Essays on the Morphology of World History*]. Moscow, Mysl’ Publ., 1998. 606 p. (In Russ.)

© 2025. В. М. Гуминский
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Полемика славянофилов с западниками о личности и выбор русской литературой направления развития

Аннотация: В статье впервые в литературоведении поставлен вопрос о влиянии лекций профессора С. П. Шевырева о древнерусской литературе на развитие литературно-общественного процесса в России середины XIX в. Актуальным для современников оказалось положение, касающееся роли авторской личности на раннем этапе древнерусского летописания. Наблюдение Шевырева заставило Гоголя переосмыслить «Выбранные места из переписки с друзьями», где он попытался на примере собственной личности призвать читателей к духовному обновлению. Мысль Шевырева во многом стала определяющей для славянофильского движения. Выявлению противоположных подходов к вопросу о личности посвящен в статье проблемно-аналитический обзор журнальной полемики между западниками и славянофилами. Для западников формирование самоценной личности определило социально-культурный прогресс западноевропейских стран в отличие от России, где «начала личности» отсутствовали, по крайней мере, до Петра I. Славянофилы полагали, что главным в развитии русского представления о личности был христианский принцип соборности, реализованный в жизни крестьянской общины и Православной церкви: каждая личность добровольно жертвует своими интересами во имя общей для всех цели.

Ключевые слова: личность, западники, славянофилы, крестьянская община, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, К. С. Аксаков, драматургия, искусство.

Информация об авторе: Виктор Мирославович Гуминский, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7837-178X>

E-mail: gumins@rinet.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 03.07.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 24.09.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Гуминский В. М. Полемика славянофилов с западниками о личности и выбор русской литературой направления развития // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 90–135. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-90-135>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 90–135. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 90–135. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Victor M. Guminsky

A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

The Controversy Between the Slavophiles and Westernizers About Personality and the Choice of Direction for Russian Literature

Abstract: For the first time in literary studies, this article raises the question of the influence of Professor S. P. Shevyrev's lectures on Old Russian literature on the development of literary and social processes in Russia in the mid-19th century. The concept of the author's personality in the early stages of Old Russian chronicling proved relevant to contemporaries. Shevyrev's observation prompted Gogol to rethink "Selected Passages from Correspondence with Friends," where he attempted to use his own example to call readers to spiritual renewal. Shevyrev's thought largely became defining for the Slavophile movement. This article explores the opposing approaches to the question of personality through a problematic and analytical review of the journal debate between Westernizers and Slavophiles. For Westerners, the formation of a self-valuable individual determined the socio-cultural progress of Western European countries, unlike Russia, where the "principles of personality" were absent, at least until Peter the Great. Slavophiles believed that the central principle in the development of the Russian concept of personality was the Christian principle of conciliarity, realized in the life of the peasant community and the Orthodox Church: each individual voluntarily sacrifices their own interests for the sake of a common goal.

Keywords: personality, Westerners, Slavophiles, peasant community, A. S. Pushkin, N. V. Gogol, K. S. Aksakov, drama, art.

Information about the author: Viktor M. Guminsky, Director of Research, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7837-178X>

E-mail: gumins@rinet.ru

Received: July 03, 2025

Approved after reviewing: September 24, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Guminsky, V. M. "The Controversy Between the Slavophiles and Westernizers About Personality and the Choice of Direction for Russian Literature." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 90–135. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-90-135>

Литература, посвященная понятию личности, необозрима. Однако проблема, сформулированная в названии работы, вполне конкретна, принадлежит истории русской литературы и общественной мысли и не предполагает обращения ко всей области гуманитарного (и не только) знания. Поэтому даже статью академика В. В. Виноградова «Личность» из «Истории слов» мы не стали включать в историю вопроса, так как в этом труде ученый со всей строгой последовательностью лексикографа поэтапно рассмотрел только «положительные» аспекты бытования слова «личность» и тесно связанные с ним такие понятия, как индивидуальность, особа, персона и др. Имеется в виду расширение значения, появление в нем новых смысловых оттенков. В «материалах к истории слова *личность*» Виноградов собрал огромное количество примеров употребления этого слова в русской литературе, публицистике, мемуаристике и т. д., составив своего рода антологию русской личности, в которую вошли, в том числе, и некоторые работы, использованные в нашем исследовании [Виноградов В. В.: 271–305]. Тем заметнее разница в подходе к этим материалам. Понятие личности стало своего рода знаменем, лозунгом западной части русского образованного общества (В. В. Виноградов не видел оснований для сомнения в прогрессивности такого явления). Мы постарались продемонстрировать его неоднозначность, следуя критике понятия личности со стороны славянофилов. Литература, посвященная спорам западников со славянофилами в середине XIX в., также огромна, но именно эта их полемика по поводу представления о личности в ней никогда специально не рассматривалась (основания для полемики, аргументация в ее ходе и т. п.). Поэтому мы также не сочли необходимым включать в обзор истории вопроса такие работы более или менее общего и нередко идеологизированного характера.

В середине ноября 1844 г. профессор С. П. Шевырев приступил в Московском университете к чтению лекций по «Истории русской сло-

весности», посвященных древнерусской литературе. Современники (в первую очередь, представители так называемой западнической партии) восприняли это как полемическую реакцию на курс публичных лекций по истории средневековой Западной Европы, прочитанных Т. Н. Грановским в январе-апреле 1844 г. по кафедре всеобщей истории. Ученый отстаивал идеи прогрессивного развития человечества через преодоление сопротивления различных феодальных структур (в том числе церковной), приветствовал Великую хартию вольностей и средневековый английский парламент, раскрепощение личности, в связи с чем анализировал разложение германской общины (марки) и т. п. По словам А. И. Герцена, Грановский «думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду» [Герцен 9: 124]. Безусловный успех лекций Грановского воспринимался как «триумф западного направления» [Дмитриев 2022: 533].

Предмет лекций Шевырева был совершенно иным. Многие современники даже просто отказывали этому предмету в существовании, полагая, что древнерусская словесность в целом не имеет отношения к собственно литературе и носит только церковно-прикладной или, по определению В. Г. Белинского, «преимущественно теологический» характер [Белинский 9: 144]. Пушкин в «Набросках статьи о русской литературе» (1830) высказался в том же духе: «Словесность наша явилась вдруг в XVIII столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной». И чуть раньше: «<...> старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь, и на ней возвышается единственный памятник: “Песнь о полку Игореве”» [Пушкин 7: 226]¹. Герцен писал по поводу шевыревских лекций: «Шевырев восстанавливает Русь, которой не было и, слава Богу, не будет» [Герцен 2: 119].

Однако публичные лекции Шевырева об этой «небывалой словесности» неожиданно для многих (в том числе разделявших мнения Шевырева) также имели успех. «Успех Грановского был успехом личным, успехом оратора, — писал А. С. Хомяков Ю. Ф. Самарину в начале 1845 г. — Успех Шевырева — успех мысли, достояние общее; шаг вперед в науке» [Хомяков 1904: 240]. Еще раньше, в конце 1844 г. И. В. Киреевский, посещавший лекционный курс профессора, указал: «Твой

¹ Об этом же писали А. Ф. Мерзляков, Н. И. Греч и др. [Гуминский 2024: 368–376].

взгляд столько же поразителен своею неожиданной новостью, сколько утешителен своею глубокомысленною правдою» [Киреевский: 282]. «В этих лекциях ясно и неоспоримо видно, — обобщал Н. М. Языков, называя лекции «подвигом важным и бессмертным», — что наша литература началась не с Кантемира, а вместе с самою Россией» [Языков: 379, 390].

Лекции о древнерусской литературе печатались в «Москвитянине»: среди первых читателей был и Гоголь. Он писал Языкову 1 мая (н. ст.) 1845 г. из Франкфурта, причем подчеркивал научный характер работы Шевырева¹:

Отрывок из вступительной лекции Шевырева мне понравился очень, Шевырев вызрел и установился в надлежащие границы. Все теперь как следует, не растянута и не кратко, в строгом логическом ходе и порядке, и с тем вместе в живом, не похожем вовсе на мертвечину сухопарой логики немецкой. Словом, в первый раз преподается наука в том виде, в каком ей следует преподаваться в России и русским [Гоголь 1952. 12: 482].

В 1846–1860 гг. двадцать лекций Шевырева вышли отдельным изданием в четырех томах. В «седьмой лекции» автор констатировал: «В Несторе, как и во всех древних летописцах наших, замечается отсутствие личности, которая так господствует в западных летописателях...». В качестве примера последних профессор сослался на средневековые хроники Жофруа де Виллердуэна (у Шевырева — Виль-Гардуэн), автора «героической поэмы в прозе» или «рыцарского романа» (определение Абель-Франсуа Вильмена) «Завоевание Константинополя» (ок. 1209); повествование «певца рыцарства» Жана Фруасара (XIV в.) о начале столетней войны и др. «Отсюда, из этой личности, проистекает заманчивость хроник Запада; всегда личные страсти оживляют их повествование...» [Шевырев 4. 1: 347]. Шевырев утверждал:

Наш летописец Нестор и его последователи не имеют этой выгоды западных летописцев. В нем видим мы лицо бесстрастное (ср. Пимен в «Бо-

¹ Ср.: Шевырев «фактически открыл новую научную дисциплину» [Манин: 325]; «русское академическое литературоведение начинается с «Истории русской словесности» С. П. Шевырева» [Николюкин: 476].

рисе Годунове»: «добру и злу внимая равнодушно»; тацитовское “*sine ira et studio*” — без гнева и пристрастия и т. п.), человека, не увлекающегося никаким пристрастием. Но эта личность уступает место другой великой личности и становится за нее, личности самого народа Русского. Да, наш Нестор — это сама народная совесть, принявшая образ летописца; это — народные уста, которыми высказалась первоначальная жизнь нашего Отечества. Позднее, в летописях XVI в. вы не встретите той же искренности... [Шевырев 4. 1: 347–348].

Прочитав «вторую книжку» шевыревских лекций в Неаполе (откуда через месяц он отправился на Святую Землю), Гоголь писал автору 18 декабря 1847 г.:

Мне особенно понравилось, что ты развил в своей книге мысль о *безличности* наших первоначальных писателей, умевших всегда позабыть о себе.

Только недавно вышли «Выбранные места из переписки с друзьями», и Гоголь шевыревское наблюдение соотнес с собственным недавним опытом:

По прочтении твоей книги передо мной обнаружилось еще более мое собственное безрассудство в моей «Переписке с друзьями».

И далее:

Я давно уже питал мысль — выставить на вид свою *личность*. Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя.

И далее о своих отличиях от других людей — оригинальности:

Я спутал и сбил всех. Поэтические движения, впрочем, сродные всем поэтам, все-таки прорвались и показались в виде чудовищной гордости, несовместимой никак с тем смиреньем, которое отыскивал читатель на другой странице <...> Только теперь чувствую силу того, что говоришь в

книге о личности писателя. Прежде я бы не понял и долго бы из-за моих героев показывал бы не пережеванного себя, не замечая и сам того... [Гоголь 1952. 13: 412–413].

В отзыве на «Выбранные места из переписки с друзьями» (Москвитянин. 1848. Ч. 1. № 1) Шевырев буквально подхватил гоголевские слова из этого письма:

Есть еще обстоятельство, которое вовсе выпущено из виду в тех нападениях, какие были против личности Гоголя, слишком выдающейся из его завещания и немногих писем.

В другом месте рецензии критик повторяет и уточняет:

Самая слабая сторона в ней («Переписке...» — В. Г.) — личность автора, несколько сильно выдающаяся, особенно в такой сфере, которая личности не допускает (эта слабая сторона видна всего более в завещании) — стремление учить других, давать советы в том, в чем едва ли смышлен сам учитель, и, наконец, обличать иногда недостатки ближнего [Шевырев 5. 1: 173–174].

При этом создается впечатление, что Шевырев с большим удовлетворением рассматривал бы, по крайней мере, часть «Переписки...» «как материал для художественных произведений». Например, в рецензии речь заходит о письме «Женщина в свете»:

...когда взглянешь на эту статью как на очерк для романа, снятый с русской природы и одушевленный любовью художника, то пожалеешь, что он остался праздным материалом, а не воспроизведен в художественном создании [Шевырев 5. 1: 185].

Отстаивая право писателя, «покрытого всеобщей славой в своем отечестве», «сказать человеку *нужное слово*, чтобы позаботиться о душе его и прочном деле жизни» (цитата из четвертого письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» [Гоголь 1952. 8: 298–299]), критик опять же не может согласиться с тем, что тот «внес личность свою в ту сферу, где ей не может быть места». Однако «кто же может

обвинить его в гордости, когда он лицо свое употребляет орудием к обнаружению тех истин, которые глубоко сознал в себе и выстрадал в жизни?» И затем Шевырев как бы вводит «личность» Гоголя в контекст тогдашних споров о личности и ее роли в общественном прогрессе и просвещении:

У нас много теперь толкуют о личности, о необходимости развивать и сознавать ее, о том, что личность была условием и двигателем успехов западного просвещения, о том, что недостаток ее сознания послужил нам во вред... [Шевырев 5. 1: 174–175].

Профессор Шевырев, скорее всего, имеет в виду статью К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (1846), опубликованную в первом томе «Современника» за 1847 г. В этой статье русский исторический процесс рассматривается как постепенное освобождение личности из-под спуда патриархальных родовых, семейных отношений:

...когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлеченно: собственно, действуют, чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие. Таким образом, *личность* (Курсив мой. — В. Г.), сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, есть необходимое условие всякого духовного развития народа [Кавелин: 73].

В качестве примера исторической личности Кавелин привел первого русского императора:

В Петре Великом *личность* на русской почве вступила в свои безусловные права, отрешилась от непосредственных, природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила себе. Вся частная жизнь Петра, вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления начала *личности* в русской истории (Курсив мой. — В. Г.) [Кавелин: 115].

Статья «О мнениях «Современника», исторических и литературных» (Москвитянин. 1847. № 2) — это обстоятельный разбор кавелинской работы Ю. Ф. Самариным. Анализируя одно за другим положения

«капитального» труда, отличающегося «логической стройностью», критик пришел к выводу о явной односторонности автора. Вот только несколько примеров.

Исходная или, по определению Самарина, «историческая данная всей статьи» Кавелина состоит в том, что «в древнейшие времена русские славяне имели *исключительно* (Здесь и далее курсив Самарина. — В. Г.) родственный, на одних кровных началах и отношения основанный быт» [Самарин: 88]. Это подтверждается терминологией, которой они пользовались при общении (коммуникации) с другими, в том числе «даже вовсе не родственными»: «Помещика или начальника они называют отцом, себя его детьми; младшие называют старших дядями, дедами, тетками...» и т. п.

Заметим в скобках, что К. Д. Кавелин считается в отечественной историографии (вместе с С. М. Соловьевым) основателем школы «историко-юридической или родового быта», которую позже стали называть «государственной» и указывать в числе основателей также Б. Н. Чичерина.

На исходное положение кавелинской работы Самарин ответил примерами столь же «родственной» терминологии во Франции, где «простой народ называет без различия старуху *la vieille* или *la mère*, старика *le père*, а в германских средневековых городах существовали «совершенно искусственные» торговые и ремесленные сообщества (гильдии), называвшиеся *Bruderschaften* (братства. — В. Г.), где мужчины, принадлежащие к этим союзам, именовались братьями, женщины — сестрами. Это «терминологическое» сходство, по мнению Самарина, «выражает ту мысль, что *кроме* выполнения вынуждаемых законом обязанностей человек хотел бы найти в другом сочувствие, совет, любовь; а для выражения этих требований всего ближе заимствовать терминологию из семейного быта» [Самарин: 89].

Что касается «русского славянства», — указывает Самарин, — то «в первых строках нашей летописи мы читаем признание несостоятельности родового начала и потребности третьей власти, сознательно и свободно призванной (подразумевается призвание варягов. — В. Г.)¹

¹ В последнее время все больше историков склоняются к мысли об определяющем влиянии на становление древнерусской государственности великоморовской традиции [см. Поляков: 41–49].

<...> следовательно, в древнем нашем быту были искони другие начала...» [Самарин: 89].

Но Кавелин уже перешел к объяснению роли христианства в становлении личности, «когда внутренний, духовный мир получил такое господство над внешним, материальным миром, тогда и человеческая личность должна была получить великое, святое значение, которого прежде не имела... Так возникла впервые в христианстве мысль о бесконечном, безусловном достоинстве человека и человеческой личности...» [Самарин: 89].

Самарин ответил на это пафосное утверждение указанием на другую сторону христианства, которое внесло в европейскую историю понимание человека, отрекающегося от своей личности и «подчиняющего себя безусловно целому»:

Это самоотречение каждого в пользу всех, есть начало свободного, но вместе с тем безусловно обязательного союза людей между собою. Этот союз, эта община, освященная вечным присутствием Св. Духа, есть Церковь [Самарин: 90].

Кавелин, увлеченный историко-юридической концепцией развития личности и ее роли в государственной организации западноевропейской жизни, обратился к германским племенам:

Их частые, вековые неприязненные столкновения с Римом, их беспрестанные войны и далекие переходы, какое-то внутреннее беспокойство и метание — признаки силы, ищущей пищи и выражения, — рано развили в них глубокое чувство личности... [Самарин: 97].

Германец, по мнению Кавелина, «ревностно» принял христианство, почувствовав силу «высшей цивилизации», которая «высоким освящением личности так много говорило его чувству». И государства, им основанные, «явление совершенно новое в истории. Они проникнуты личным началом...». Однако существуют опасения, что личность в своем развитии «непреренно должна ставить себя в противоположность с другими личностями, враждовать с ними». С этим русский апологет эмансипации личности никак не может согласиться. «Мы, напротив, думаем, — заявляет он, — что последняя цель развития — их глубокое

внутреннее примирение». «Но, во всяком случае, — настаивает Кавелин, — каковы бы ни были ее отношения, она *непрерывно должна существовать и сознавать себя*» [Самарин: 97]. «Для народов, призванных ко всемирно-историческому действованию в новом мире, <...> существование без начала личности невозможно...» [Самарин: 91–92].

Самарин поправляет своего оппонента и дополняет (вслед за Ф. Гизо): помимо «личного начала» германцев в западноевропейской жизни большую роль сыграл «отвлеченный авторитет, перешедший по наследству от древнего Рима», и, конечно, христианство, которое «в Западной Европе распалось на два исторических явления, под теми же категориями авторитета и личности. Римский мир понял христианство под формую католичества, германский мир — под формую протестантизма» [Самарин: 92]. В «сфере искусства», по Самарину, на почве католицизма возник классицизм, протестантизма — романтизм.

Между тем «начало личности у славян не существовало». Самарин замечает:

Эта фраза, повторяется на каждой странице» труда Кавелина. Но при обращении к историческим источникам («на деле») выясняется, что из «двух племен, германского или славяно-русского», именно второе «приняло христианство добровольнее, ближе к сердцу; <...> прониклось им глубже и принесло в жертву более народных предрассудков и безнравственных обычаев <...> распространяло его лучшими, наиболее с характером христианства согласными средствами...» [Самарин: 106–107].

Можно обратиться и к фольклору, ведь «чего нет в народе, того не может быть в его поэзии, и что есть в поэзии, то непременно есть и в народе» [Самарин: 107]. А тут «стар-матёр казак Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и прочие бездомные удалыцы, искатели приключений», которых «любая германская дружина, не постыдилась бы принять» (в другом месте рецензии Самарин вспомнил Ермака и гоголевского Тараса Бульбу). То же и при обращении к летописям, древнерусской литературе. «Вспомните тип святого Владимира, — предлагает Самарин, — высокий тон личности, который так и отражается во всех характеристиках князей: он не хотел проливать крови преступников...» [Самарин: 105]. Речь идет о том, что, крестившись, Владимир Святославич отменил на Руси смертную казнь, мотивировав

свое решение в ответе изумленным греческим епископам: «Боюся греха» [см.: Повесть: 143]. «Это единственный известный истории случай, в других странах в это время таких прецедентов не было» (Ф. Б. Успенский). «Итак, — подводит итоги сопоставлению германских и славяно-русских “начал личности” Самарин, — богатырь как сознание народной фантазии, князь как явление действительное в мире гражданском, наконец, монах как явление той же личности в сфере духовной...» [Самарин: 108].

Но что же Запад? К чему привело развитие личности, к которому так настойчиво призывал в статье Кавелин? Самарин, ссылаясь на труды французских и немецких историков, философов, литераторов, разворачивает впечатляющую картину: всюду «искренние» призывы к «необходимости остановить разгул личности», «скорбное признание несостоятельности человеческой личности и бессилия так называемого индивидуализма», «упреки современному обществу в эгоизме и личной корысти» и т. п. [Самарин: 95]. Эти оценки, продиктованные тревогой за направление, по которому движется европейское человечество (в первую очередь, далекие от какого-либо «примирения», по Кавелину, личности), как бы предугадывают грядущее появление учения о классовой борьбе — марксизма, концепцию сверхчеловека и воли к власти Ф. Ницше и т. д.

Словом, свободная «личность с характером исключительности, ставящая себя мерилом всего», перестает казаться (по крайней мере, для некоторой части западного мира) идеалом общественного развития, или в ней начинают сомневаться. Особенно после Июльской революции (1830), покончившей с монархией Бурбонов, когда «прежняя строптивость и недоверчивость к верховной власти перешла в потребность какого-то крепкого, самостоятельного начала, собирающего личности...» [Самарин: 93].

Свой выход из подобной ситуации еще в конце XVIII в. предложил И. Кант в виде так называемого категорического императива. Философ, если можно так выразиться, «замкнул» проблему в самой личности и обосновал понятие о ней в области не теоретического («Критика чистого разума»), а практического разума («Критика практического разума»). Кенигсбергский мыслитель полагал, что человек является личностью благодаря способности следовать закону, данному его собственным, автономным разумом. При этом он должен по внутренне-

му разумному принуждению подчиняться этому закону «из чувства долга», тогда его поступки будут иметь действительную нравственную ценность и могут быть отнесены к «добродетели». Сам же «закон», «категорический императив» в разных переводах на русский язык формулируется по-разному, хотя суть дела от этого, понятно, не меняется. Вот один из вариантов: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице (читай: личности. — В. Г.), и в лице (читай: личности. — В. Г.) всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился к нему только как к средству» [Кант: 270]. Кантовская мысль о самоцельности человеческой личности, определяемой нравственной самостоятельностью разума, трансформировалась в наше время в определение «личностной автономии» и, по уверению М. Турнера, «оказала существенное влияние на фиксирование неприкосновенного человеческого достоинства в законодательстве современных правовых государств» [Турнер: 290]. Отсюда навязчивая борьба за права человека (личности) в современном мире и т. п.

Но мысль о «самоцельности личности» легко вписывается и в «дискуссию» Кавелина с Самариным — в первую очередь, естественно, в построения Кавелина. При этом ни тот, ни другой о Канте и не вспоминают. Конечно, после уничижительной критики Ф. Г. Якоби и особенно Г. В. Ф. Гегеля этика Канта, казалось бы, потеряла свою актуальность (как мы видим, только на время), да и само имя немецкого философа пользовалось в России гораздо меньшей популярностью, чем имя Гегеля. Однако идеи Канта, пусть и «подспудно», продолжали «питать» развитие общественного самосознания.

Славянофил Самарин попытался на те же вопросы ответить со всей определенностью: «Самоотречение каждого в пользу всех» — община, мир. Характерно, что в рецензии на «юридический быт древней России» он обратил особое внимание на интерес («участие и ожидание»), который начали проявлять на Западе «к славянскому миру», понятому (Жорж Занд и др.) «как мир общины»: «красота и спокойное могущество самопожертвования и самообладания» [Самарин: 93–94] и т. п. (Вопрос о теории «общинного социализма» Герцена мы оставляем в стороне).

Несколько позже в трудах славянофилов возникнет термин *соборность*, в определенной степени развивающий славянофильское учение о «мире общины» и ставший одним из основных понятий русской рели-

гиозной философии (у В. С. Соловьева, С. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, о. Сергия Булгакова, о. Павла Флоренского и др.). Он выражает не только органическое, но и высшее духовное (в том числе церковное) единство («всеединство», по Соловьеву) общего (вплоть до «вселенского», «кафолического») и единичного, индивидуального. Или в терминах нашей работы — единство личности и мира.

Шевырев откликнется на статью Кавелина в «Очерках современной русской словесности» (Москвитянин.1848. Ч. 1. № 1), посвященным в основном полемике с «двумя деятельнейшими журналами» — «Современником» и «Отечественными записками», представлявшими «западное» направление в русской литературе: «школу прогресса» и «натуральную школу» (впрочем, ни с одним из этих определений критик не согласился). К статье Кавелина Шевырев обратился постольку, поскольку широко использовал понятие «личности» в «Очерках...». При этом он не преминул заметить, насколько изменилось значение самого слова личность: «Прежде под именем *личности* (здесь и далее курсив Шевырева. — В. Г.) разумели оскорбление, наносимое лицу; в таком смысле говорили: «Он сказал мне личность» [Шевырев 5. 1: 197]. Попутно Шевырев, естественно, не удержался и попенял Кавелину, который «так усердно в течение всей русской истории <...> выглядывал» развитие личности, но не понял «безличности» древней Руси, где она была «великим явлением», например, «в религиозной деятельности», «в подвигах самоотвержения во благо великого целого».

Но времена переменились, и вместе с ними и представление о личности. «Никогда еще так много о личности не говорили, — в очередной раз констатировал критик, — и никогда так не вызывали ее к действию», ведь «теперь разумеют под именем личности все права человеческого лица на развитие и уважение» [Шевырев 5. 1: 197].

Однако выясняется, что «в то самое время как всего сильнее вопиют о необходимости развивать личность, те же самые журналы, которые избрали это развитие своим знаменем, сами всего менее ее уважают и всего менее развивают ее». За примерами, по Шевыреву, далеко ходить не требуется.

Так, «теоретик» западной «школы» А. В. Никитенко (он, впрочем, ушел из «Современника», где в 1847–1848 гг. значился официальным редактором) явно противоречит своему «товарищу по мнениям и участию в журнале» — Кавелину. Шевырев имеет в виду программное за-

явление Никитенко, в котором тот «главную чертою не только литературы, но и всей современной образованности» полагает «отсутствие сильных талантов, мощных, широко раскрывающихся личностей» — иначе говоря, «праздников» в литературе». «Литература теперешняя, судя по личностям, — продолжает пересказывать взгляды оппонента Шевырев, <...> похожа на будни». «Притязания личностей на исключительные почести мысли, — цитирует он Никитенко, — должны умолкнуть пред великими интересами целого. Теперь не время изумлять, привлекать к себе или увлечь за собою». На этом основании Шевырев даже готов зачислить Никитенко в «явные славянофилы в понятиях о литературе». Критик, конечно, иронизирует, тем более что «теоретик» «Современника» уточнил: «Литература должна создать себе общее, определенное направление, а не быть случайным, отрывочным выражением таких-то личных мыслей и чувствований» [Шевырев 5. 1: 196].

Это ничто иное, как украшенный «календарными» образами вариант хорошо знакомой мысли Белинского, призывавшего, как известно, поддерживать «беллетристику», массовую литературу, не дожидаясь появления шедевров «художественной литературы»: главное в «правильности» «общего, определенного направления», способствующего быстрому его развитию и приобщению к нему массового читателя (см., напр., «Вступление к «Физиологии Петербурга») [Белинский 8: 376–377].

Шевырев с таким подходом не согласен, для него важнее то, что позднее стали называть «уроками классики», и, конечно, совсем не случайно вторую статью «Очерков современной русской словесности» он посвятил именно крупнейшим фигурам (личностям) русской литературы XVIII – начала XIX в., желая подчеркнуть их актуальность в современном литературном процессе. Тем более, что эта традиция в русской литературе не прервалась: «...с радостной надеждой мы смотрим еще на новую, богатую деятельность Жуковского», да и о какой «будничной» литературе можно толковать, «когда Гоголь жив и, по нашему мнению, дал нам право новых от него ожиданий» и т. д.

Свои «уроки классики» критик излагает, что тоже весьма характерно, с точки зрения классического «среднего», «царского» пути, избегая крайностей и трактуя творчество отечественных классиков через их обращение к мировому литературному наследию, с одной стороны, верность национальным идеалам (прежде всего православию) — с другой. Любопытная деталь: в конце статьи Шевырев несколько раз

употребляет термин «исключительная национальность», который принадлежит лексикону К. С. Аксакова и в данном случае выдает отношение Шевырева к крайности позиции того в современной литературно-общественной борьбе.

В диссертации, точнее, в «Рассуждении кандидата Московского университета Константина Аксакова, писанном на степень магистра философского факультета первого (т. е. историко-филологического. — В. Г.) отделения», под названием «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1846) автор в качестве методологической основы воспользовался достижениями западноевропейской мысли, а именно аналитическим аппаратом немецкой философии с его терминологией и прежде всего «логикой Гегеля» (т. е. диалектикой: «отрицание отрицаний» и т. п.).

В фундаментальном исследовании Аксаков развернул поэтапную и последовательную картину русского исторического развития в сфере государственности, языка, поэтического творчества. Рассматривая этот процесс в неразрывном единстве, мыслитель определил его начало как «песенный период, период исключительной национальности»: «в этом круге времени раздаются песни от края до края, обнимая собою и выражая собою всю сущность народа, как народа, — нации...» [Аксаков 2020: 29].

Тогда же русский народ «принял христианскую религию», а с нею и церковнославянский язык, «понятный для народа, но никогда не сходящий в мир его нужд и забот...» [Аксаков 2020: 33]. Конкретному лингвистическому анализу взаимодействия русского и церковнославянского языков, двух языковых стихий, письменной и устной (на лексическом, грамматическом и прочим уровнях, обращаясь к «Остромирову Евангелию», «Слову Даниила Заточника», древнерусским грамотам, в которых отразился разговорный язык и т. д.) Аксаков посвятил почти всю вторую часть своей диссертации¹.

¹ Следует отметить, что крупнейшие отечественные филологи XX в. (А. Ф. Лосев, А. В. Михайлов и др.) высоко оценивали вклад К. С. Аксакова в развитие отечественной науки. А. Ф. Лосев, например, подчеркивал в работе «Филология и эстетика Конст. Аксакова» (1928): «... велико его научное значение». При этом он считал, что «наше современное отношение к языку не пошло дальше», а с точки зрения лингвистических интуиций Аксакова мы «даже *отстали*» [Лосев: 94].

«Но при всем том могла ли Россия остаться всегда под исключительным определением национальности?» — задался вопросом исследователь и ответил на него отрицательно [Аксаков 2020: 36]. Ведь «в России пробудилась уже новая потребность, потребность высшей сферы <...> на которой освобождается индивидуум и вместе с тем общее, общечеловеческое становится его содержанием». «Общечеловеческое» для Аксакова подразумевает сближение с остальным просвещенным миром и, в первую очередь, с Западом. Сомнений в направлении исторического прогресса у него как будто нет и вполне закономерно, что первоначально на роль такого индивидуума с «желанием просвещения, желанием сблизить Россию с Западом», по его мнению, мог претендовать Борис Годунов, но история распорядилась иначе. И патетика «передового бойца славянофильства» (С. А. Венгеров) при обращении к фигуре Петра I нисколько не уступает панегирикам русского императора в трудах его идейных противников:

...И этот индивидуум восстал, как индивидуум, в колоссальном образе; не как просто потребность индивидуальной жизни, раз но выразившаяся — нет, а воплощенный, как один индивидуум. Этот колоссальный индивидуум — был Петр [Аксаков 2020: 42–43].

Впрочем, уже в 1848 г. в письме к С. М. Великопольской Аксаков заявил, что «мог бы теперь написать на свою диссертацию сильную критику...» [цит. по: Аксаков 2014: 269]. В том же году в «Письме к императору Николаю I», вызванным Высочайшим манифестом от 14 марта, Аксаков сформулировал изменившееся отношение к «перевороту Петра Великого», который «есть — *революция*, революция, произведенная Монархом» [цит. по: Дмитриев 2023: 98], а в 1851 г., повторив эти определения («*переворот*, *революция*»), уточнил, намякнув на свою диссертацию: «Напрасно говорили (я сам напечатал это некогда), что Петр восстал против исключительной Русской национальности <...> Петр именно стоял за исключительную национальность, только не свою, а Западную...» [Аксаков 1889: 47]. Ср. у Пушкина в неопубликованной заметке «О дворянстве» (1830-е гг.; оригинал на французском языке): «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)» [Пушкин 8: 585].

Но «общий закон развития», проявляющийся в истории через отрицание, а затем и отрицание отрицания («Односторонность есть рычаг истории» [Аксаков 2020: 44]), не мог не затронуть народной жизни, народного творчества, того, что впоследствии стали называть фольклором. «Уничтожив исключительную национальность народа, он (Петр I. — В. Г.) давал с этим возможность его поэзии развиваться, перейти на другую степень, — или лучше, это было необходимым следствием его великого дела, но не он сам мог произвести это» [Аксаков 2020: 48].

Поэтому в сфере народного творчества, «национальной песни» также

должен был восстать индивидуум <...> с именем, — автор, поэт (до этого поэтов не было, точнее, был один поэт — народ. — В. Г.); должен был явиться гений <...> для нового, великого момента в истории поэзии. Он должен был прекратить сферу национальных песен, не уничтожая, а возвышая тем народ <...> начать новый период — литературы. Этот индивидуум, этот гений был — Ломоносов [Аксаков 2020: 49].

Кроме всего прочего он «возвел наш язык <...> в сферу общего, дал нам органическую фразу (не стесняющую свободу языка) и вместе определил отношение церковнославянского языка к русскому, что существенно в его деле». Далее следует вполне логический вывод:

Ломоносов дал нам язык (письменный, общий), можем мы сказать. Все дальнейшее развитие есть только оправдание его великого дела... [Аксаков 2020: 296].

И еще одно, напрямую касающееся личности:

...с индивидуумом открывается внутренний мир. Значение индивидуума есть необходимо личность; только индивидуальная сила, одаренная, следовательно, всей энергией индивидуума, только личная природа <...> могла произвести все это. Первое такое явление индивидуума в литературе, первое лицо есть *автор*, поэт... [Аксаков 2020: 298].

Однако, как уточнил Аксаков, никакая личность, индивидуум не может совершить что-либо существенное в истории помимо или во-

преки мнению народа (пусть порой безмолвному). Именно народ остается своего рода судьей в истории. И поэтому решающим стало народное отношение к петровскому «Великому Прыжку», «отрицанию исключительной национальности». «Дело было отважно, — продолжает свои обобщающие умозаключения автор диссертации, — но не извне (как было бы при покорении чуждой державою), а изнутри явилась потребность этого отрицания».

Аксаковский пафос поднимается на новую ступень, теперь он выходит на просторы мирового пространства, где русский народ и должен занять подобающее его значению место. Ведь «Русской дух не убоился этой видимой гибели, уверенный в своей силе, нося в себе убеждение, что он не погибнет на краю бездны, перейдет ее и вступит в сферу, где может вновь явить себя, но уже не в тесном, ему несоответственном определении, а вполне, в своем общем, человеческом, всемирном значении». Заключение мыслителя однозначно и не подлежит сомнению:

Ни один народ не отваживался на такое решительное, совершенное, строгое отрицание своей национальности, и потому ни один народ не может иметь такого общего, всемирно-человеческого значения, как Русской [Аксаков 2020: 46, 47].

В 1845 г. Аксаков приступил к работе над «драмой Междуцарствия» («Освобождение Москвы в 1612 году») и сообщил ближайшему другу и confidentу Ю. Ф. Самарину, что «написал второй акт». В диссертации о Ломоносове автор уже предложил, по сути дела, краткий исторический очерк и идею будущей пьесы. Речь шла о Смутном времени, когда Россия,

разделенная сама в себе, преданная на жертву врагам, жадно на нее устремившимся <...> защищалась в частях своих <...> Ляпунов первый восстал с великою мыслию: не держаться никакой партии и сдвинуть все это чуждое нашествие народов <...> очистить, освободить Россию, — вот чего хотел он и другие, — а там, вновь свободные, решить дело, как Богу будет угодно [Аксаков 2020: 41].

«Худородный» (С. М. Соловьев) думный дворянин и рязанский воевода возглавил Первое (земское) ополчение (вдохновляемое грамота-

ми патриарха Гермогена), которое, соединившись с казаками в 1611 г., двинулось на Москву, но в результате заговора и навета («подвоха») на полководца (поддельное письмо) тот был убит казаками. Казаки, к слову сказать, предстают в «Освобождении Москвы в 1612 году» в виде зловещей, деструктивной силы («хуже поляков»): разбойники, грабители («воры-казаки»), живущие «не как православные христиане» и т. п.¹ Однако убийство Ляпунова уже не могло остановить неизбежного:

...вслед за ним, с тою же мыслию освобождения и отстранения всего чуждого, поднялся Минин с землею нижегородскою и другими; эта мысль стала общею и единственною; великий народ все принес в жертву ей, двинулся, непреодолимый, против дерзких западных врагов и выгнал из Москвы и России все их разноплеменные толпы [Аксаков 2020: 41].

Или, как писал Аксаков в статье «Семисотлетие Москвы» (Московские ведомости. 1846. № 39):

...народ Русской, без Царя, и не руководимый боярами, поднялся за Русскую землю <...> встал за веру православную <...> против всех ея врагов, сказав, что никого из них не хочет [Аксаков 1889: 570].

3 декабря 1846 г. В. С. Аксакова писала двоюродной сестре М. Г. Карташевской о чтении автором в семейном кругу незавершенной пьесы (к этому моменту были готовы два действия) и давала ей характеристику, явно отражающую не только ее личное мнение, но и всех слушателей. Высоко оценивая «величайшую верность историческую, глубокое изучение русских древних грамот, дух которых живо отразился в языке», она определила как совершенно неожиданную черту драмы «отсутствие личного участия автора»:

...мы не ожидали, что брат мог бы так отделить от себя все эти лица <...> никаких личных страстей, ни одного лица, которое бы одно сосредоточивало на себе все внимание [Аксаков 2020. 2: 495–496].

¹ О роли казачества (в т. ч. запорожского) в событиях Смутного времени [см.: Гуминский 2024: 100–104, 108].

Продолжая в письме от 27 декабря разговор о пьесе брата, Аксакова вновь повторяет мнение о ее необычности (по меньшей мере, в творчестве самого автора):

Не можем надивиться, как брат, который всегда и во всем, что ни пишет, выражает сам себя, что, разумеется, иногда есть недостаток большой, что он мог так вполне оторваться от своей личности и оставить действовать и говорить лица, приводимые им совершенно самобытно, совершенно отдельно от него самого [Аксаков 2020. 2: 495–496].

Объяснение, к которому прибегает Аксакова, также весьма характерно:

Это потому конечно, что он забывает себя самого перед духом русского народа [Аксаков 2020. 2: 495–496].

Но мнение «об отсутствии личного участия автора» в драме «Освобождение Москвы в 1612 году» и причинах такого «отсутствия» явно перекликается с одним из положений лекционного курса Шевырева «о *безличности* наших первоначальных писателей» (Гоголь) и о замене этой личности «великой личностью» «самого народа Русского». Отметим, что Аксаков посещал лекции Шевырева и писал об этом Гоголю в конце августа – начале сентября 1845 г.: «Лекции Шевырева были прекрасны, особенно некоторые; я полюбил его гораздо больше, нежели прежде, и узнал его ближе». В этом же письме, кстати сказать, Аксаков резко отозвался о Кавелине, назвав его «дрянью» [Гоголь 2009: 179–180].

Мысль Шевырева о «безличности» древнерусских писателей, судя по всему, произвела сильное впечатление на Гоголя. Для Аксакова она стала во многом определяющей в работе над «Освобождением Москвы в 1612 году». Отметим, что при обсуждении этой проблемы всегда речь шла о безличности или личности именно писателя, автора.

Пьеса «Освобождение Москвы в 1612 году» была поставлена в Москве 14 декабря 1850 г. в Малом театре в бенефис Л. Л. Леонидова, но после первого же представления снята со сцены. Причин тому называлось множество, и некоторые из них сохранились в воспоминаниях современников, в том числе зрителей.

Первое слово, естественно, принадлежит автору, который писал Гоголю во второй половине декабря 1850 – начале 1851 г.: «Актеры поняли и оценили драму; им она понравилась». Об этом может свидетельствовать, в частности, явно искреннее стихотворение, прочитанное актером Д. Т. Ленским на обеде, устроенном в честь автора после спектакля. В нем говорилось о представлении на сцене «живых людей» «с их простотою благородной», что заставляло актеров быть естественными (говорить «как люди»), а не превращаться в «героев на ходулях» с их «гирадами», «эффektenами пошлых драм» и т. п.

«Что касается до публики, — продолжает Аксаков, — то вообще все, при битком набитом театре, слушали чрезвычайно внимательно, и никто не уехал до самого окончания драмы...». В заключении характеристики зрительской аудитории Аксаков подверг ее своеобразному социальному анализу, исходя из устройства театральной залы: внимательный взгляд автора пьесы чуть ли не разделил зрителей по сословиям (по крайней мере, на «народ и публику»):

Было много за драму: задняя половина кресел, верхние ярусы и раек; было много и против драмы: все бенуары, бельэтаж и все передние ряды кресел [Гоголь 2009: 388].

Впервые это письмо было опубликовано П. И. Бартеневым у себя в журнале (Русский архив. 1890. № 1), затем перепечатано вместе с примечаниями Бартенева [Гоголь 2009: 388, 577]. Одно из примечаний касалось причины запрещения драмы Аксакова: «В ней находится припев про “город с именем чужим”, — уверял Бартенев, — за который она и была снята со сцены». Но в «Освобождении Москвы в 1612 году» нет никаких «припевов», да и не могло быть в силу жанровой принадлежности.

Однако в другом произведении Аксакова — водевиле «в одном действии» «Почтовая карета» (1846) — они имеются, и один из них, посвященный Москве, был очень популярен (П. А. Плетнев назвал его «прекрасным очерком Москвы»): «Столица древняя, родная, ее ль не ведает страна...» с финалом: «Да вечно здравствует Москва!». Другой «припев» — о Петербурге не столь патетичен. Он включает пушкинский образ «окна в Европу» и предлагает соответствующий «портрет» «красивого и деятельного» «центра цивилизации», «России города ев-

ропейского» и т. п. Завершается «припев» «тостом»: «Да здравствует Санкт-Петербург!» [см: Аксаков 2020. 2: 97–98]. И хотя водевиль трактовал достаточно «острую» (в данном случае, даже провокационную) тему противопоставления Петербурга и Москвы (об этом, как известно, писали Радищев, Пушкин, Гоголь, Белинский, Герцен и др.) «припева» с крамольной строчкой в нем не было.

Зато в несколько иной редакции, отличной от бартеневской (тому, похоже, просто изменила память), эта строчка была опубликована в финале стихотворения «Москве» (своеобразный гимн, обращенный к первопрестольной), которое напечатали еще в 1845 г. (Москвитянин. № 2) без каких-либо нежелательных для автора последствий: «Тебя постиг удел суровый, / И мановением одним / Воздвигся гордо город новый, / Столица — с именем чужим...». Стихотворению был предпослан эпиграф из гоголевских «Петербургских записок 1836 года»: «Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия» [Аксаков 2019. 1: 99].

Выразительный дифирамб Аксакову актера Ленского С. Т. Аксаков (конечно, «принимавший участие в сыне») не преминул отправить Гоголю в письме от 25 декабря 1850 г. В этом же письме Аксаков старший поспешил ознакомить автора «Ревизора» со своими впечатлениями от представления и реакции на него зрителей. «Не знаю, — обращается он к адресату, — как вам сказать об успехе драмы? Если сильное раздражение в одной части публики, внимание в другой и сочувствие — в третьей, небольшой, части общества может назваться успехом, то успех был огромный: до сих пор Москва полна разговоров, брани и клевет на автора». Часть зрителей восприняла спектакль, что называется, особенно близко к сердцу: «Мнимая русская аристократия и высшее дворянство, — с деланным простодушием продолжает Аксаков, — изволили обидеться и бояться донельзя, особенно Трубецкие и Салтыковы». Впрочем, такую реакцию вполне можно было предугадать, ибо предки этих старинных родов отличились в событиях Смутного времени совершенно неблагоприятным образом, проще говоря, предательством. Что подчеркнул и драматург, вложив в уста положительного героя — Прокопия Ляпунова — обличительные инвективы в адрес продажного боярства. Вывод главы семейства славянофилов явно рассчитан на благожелательное понимание Гоголя: «Я имел счастье услышать, что про моего Константина говорили те же речи, какие я слышал про вас

после “Ревизора” и “Мертвых душ”, то есть: “В кандалы бы автора да в Сибирь!”» [Гоголь 2009: 387].

А. О. Смирнова также решила отчитаться перед Гоголем о спектакле, причем с присущей ей женской проницательностью поняла смысл, «обстановку» происшедшего по-своему, но в целом верно. Ждали и готовили скандал, и он в определенной степени случился, но несколько в иных формах, чем предполагалось. Чуткий Самарин еще загодя, только узнав, что «драма ставится на сцене и явится без пропусков», изумился и писал другу из Киева 11 декабря 1850 г.: «...мне приходит на мысль, что это капкан, ловушка, поставленная предательскою рукою» [Самарин 3: 302].

Тут следует дать краткий комментарий, касающийся личности и, так сказать, фигуры Аксакова: существование сегодня обширной литературы, ему посвященной, избавляет от необходимости входить в подробности. Репутация, да и экстравагантный (или эпатажный), по мнению многих современников, внешний вид писателя привлекали к нему повышенное внимание, в первую очередь, москвичей и, как полагается, властей. «Константин Великий», «народолюб», «апостол русской богоизбранности», «благородный сомнамбул», «зевающий энтузиаст», «неистовый москвич», «свирепый агнец» отличался «избытком сил физических и нравственных» (Гоголь), ростом и телосложением, демонстративно носил бороду (впрочем, в 1849 г. ее было велено «обрить»), мурмолку, сапоги и зипун.

В театре он мог казаться сошедшим со сцены персонажем своей пьесы о 1612 г., тем более, что все его категорические суждения о русском народе, Москве в принципе мало чем отличались от произносившихся актерами монологов Ляпунова, Пожарского и др. (неслучайно «Освобождение Москвы в 1612 году» называют иногда «идеологической драмой»).

Но обратимся к письму Смирновой Гоголю от 18 января 1851 г. «В Москве играли драму Константина Сергеевича Аксакова, — общала писателю его постоянная корреспондентка, — она произвела много толков; ей сделали такую обстановку, что она показалась чем-то похожим на протест и прогресс в западном духе; даже многие кричали, что это коммунизм, потому что тут народ на сцене». Смирнова продолжает: «Забыли, что это факт, но так как этот факт выведен на сцену Аксаковым, то все и представилось в виде чего-то будто опасно-

го» [Гоголь 2009: 392]. Под «фактом» Смирнова, конечно, подразумевает «фактическую», документальную обоснованность драмы Аксакова, что, безусловно, соответствует действительности.

И дело здесь не только в неоднократных заявлениях самого автора, например, из предисловия к отдельному изданию «Освобождения Москвы в 1612 году»:

Драма, предлагаемая читателям, верна исторически, относительно фактов. Неважные, незначачие отступления нарушить этой верности не могут. Люди, знающие хорошо время междоцарствия, сами увидят строгость историческую... [Аксаков 2020. 2: 104].

Это заявление подтверждает, например, вполне компетентный историк, профессор С. М. Соловьев, сближение с которым (несмотря на его общеизвестное «западническое» направление) Аксакова приходится как раз на период его работы над пьесой. В. С. Аксакова (в письме Марии Карташевской от 1 мая 1847 г.) отмечала, что в «понимании истории они идут рука об руку», и добавляла, что Соловьев недавно читал аксаковскому семейному кружку «обзор историч<еских> событий этого времени, то есть Междоцарствия <...> для того, чтоб объяснить драму Конст<антина> и доказать, как он верно и вполне выразил в ней всю историю того времени» [цит. по: Аксаков 2020. 2: 497].

Вот еще один характерный пример: финальную сцену пьесы «Освобождения Москвы...» со стрельцами, вступающими в перекличку при запирации Кремлевских ворот, автор заимствовал из подлинного документа (опубликовано в «Памятниках Московских древностей»), который привел полностью в статье «Семисотлетие Москвы» [Аксаков 1889: 573]. В «Примечании» к драме автор еще раз подчеркнул ее документальный характер: «В первой и второй речи Пожарского — выписки из подлинных грамот. Посольство князя Оболенского с возражениями Пожарского — все подлинное...» и т. п. [Аксаков 2020. 2: 265].

Завершить обзор откликов на премьеру «Освобождения Москвы в 1612 году» в Малом театре можно оценкой спектакля попечителем Московского учебного округа В. И. Назимова. Она приведена в письме министру народного просвещения князю П. А. Ширинскому-Шихматову и в полном соответствии с пословицей начиналась «за здравие», а

кончилась «за упокой». «Драма Аксакова, хотя и написана в духе Православия...» — вроде бы благожелательно, но с маленькой оговоркой («хотя...») начал Назимов характеристику представления, но затем обрушился на драматурга с уничтожающей критикой, инкриминируя ему чуть ли не призыв к революции: «...однако содержит в себе такие мысли, которые легко могут возбудить в простом народе враждебное расположение против высших сословий и вообще подать повод к превратным истолкованиям...» Это утверждение подкрепляется ссылкой на обстановку в зрительном зале: «... во время представления этой драмы на московской сцене <...> был в театре большой шум. На все возгласы актера при порицании бояр раек кричал: «Правда, правда!» [цит. по: Гоголь 2009: 577].

Драму Аксакова с самого начала как бы расчленили на части, прямо «по живому»: одна ее сторона, относящаяся, если так можно выразиться, к идейному содержанию пьесы, приветствовалась, разумеется, единомышленниками драматурга, другая, художественная, вызывала в лучшем случае сомнения, а то и отторжение. Принципиальная оригинальность этой пьесы, в сущности, была мало кем понята, но именно она входила в замысел автора и на ней он настаивал.

В письме А. Н. Попову из Риги от 27 января 1848 г. Самарин рассказал:

Аксаков читал мне свою драму. Она так хороша, так превосходна, что истинно он не сочинял ее, а сам Бог вложил ему ее готовую в душу за великую, полную его любовь к народу и Руси [Самарин 3: 355–356].

Замечательно, что в этой характеристике при всей ее, казалось бы, идеальной возвышенности («сам Бог вложил ему ее готовую...»), в сущности, содержится указание на «отсутствие личного участия автора» («он не сочинял ее...»).

«До сих пор благосклонная публика твоя, — пишет незадолго до премьеры Самарин Аксакову, — была немногочисленна; она состояла из двух лиц: Хомякова и меня» [Самарин 3: 302]. И Хомяков вспоминает в статье «Англия» (1848) истинно поэтическое окончание прекрасной драмы К. С. Аксакова, переключку стрельцов: «Славен город Москва, славен город Владимир...» И добавляет:

Это было не упражнение в отечественной географии, но голос народа, обнимающего своей любовью и уважением весь великий собор своих городов... [Хомяков 1988: 189–190].

Однако и с «отечественной географией» в «Освобождении Москвы...» все в порядке: место действия пьесы переносится с Красной площади то в Подмоскovie, то в Нижний Новгород, то в деревню между Пермью и Казанью, в драме упоминаются Дорогобуж, Вязьма, Рязань, Балахна, Ярославль, Великий Новгород и т. д. При этом в пьесе задействовано огромное количество персонажей, представляющих как народных лидеров (Ляпунова, Минина, Пожарского), так и сам народ. Именно изображение народа в драме составляло главную проблему драматурга.

Но чем дальше от узкого круга единомышленников (сюда нужно включить, конечно, и семейный кружок Аксаковых), тем отзывы становятся все сдержаннее, прохладнее, а то и вовсе отрицательными. Младший брат драматурга И. С. Аксаков сообщал родным в июне 1848 г.: «Соллогуб в восторге от 5-го акта драмы Константина, но утверждает, что это не драма» [Аксаков 1988: 382]. О «непроходимой скуке» на премьере «Освобождения Москвы...» вспоминал Б. Н. Чичерин, о том же писала Гоголю Осипова. Еще раньше Шевырев извещал Гоголя в письме от 17 мая 1848 г.: «Трагедия не удалась <...> ни в мнении общественном, ни в журнальном...» [Гоголь 2009: 80]. В письме Жуковскому от 26 августа 1848 г. он повторил ту же мысль и даже ее усилил: «Драма Аксакова «Освобожденная (sic! — В. Г.) Москва» не возбудила никакого сочувствия, ни даже внимания» [Аксаков 2014: 332].

Под «журнальным мнением» Шевырев, скорее всего, имел в виду рецензию М. П. Погодина (Москвитянин. 1848. Т. 3. № 5), в которой, по сути дела, столкнулись два принципа понимания драматического действия и воплощения человеческой личности на театральной сцене. Погодин полагал, что «Освобождение Москвы...» представляет собой череду бессвязных сцен, иллюстрирующих исторические события — и только (ср. с мнением М. А. Дмитриева: драма Аксакова — «сухая летопись в разговорах»). К тому же эти сцены, по Погодину, можно просто поменять местами — ничего особенного не произойдет, ведь победный исторический финал всем хорошо известен. «Действующие, или, лучше сказать, говорящие, лица, — утверждал рецензент, — все одинакие

<...> Иногда скажет первый, второй согласится; иногда скажет второй, первый согласится...» [цит. по: Аксаков 2020. 2: 498].

Не так у самого Погодина: в «Марфе, Посаднице новгородской» (1831) преобладает «личностное» начало, особенно в образе великого князя московского Иоанна (Иоанна III), который, по слову Пушкина (из неоконченного разбора пьесы), «наполняет трагедию»: «господствует и правит всеми мыслями, всеми страстями». Это определяется смыслом его исторической миссии: дать «отпор погибающей вольности» Новгорода, нанести «глубоко обдуманый удар, утвердивший Россию на ее огромном основании» [Пушкин 7: 219, 218]. Но «измена помогает силе», и в сцене доверительного разговора Иоанна с «вымышленным Борецким» — сыном непреклонной новгородской патриотки Марфы, предатель становится как бы зеркальным отражением государственно-политических идей собеседника, но не профанирует их, а переосмысляет в оправдание этапов своей измены, ведь он уверен, что искренне стремится «доставить мир и счастье отчизне» (Пушкин, кстати сказать, счел эту сцену «антидраматической»). Словом, Погодин словно предчувствует будущий русский «психологический» театр с его повышенным интересом к сложному внутреннему миру героя, положительного или отрицательного.

Герои пьесы Аксакова — совсем другие. Вот, скажем, князь Пожарский из «Освобождения Москвы...» — «смиранный христианин, бесстрастный человек и потому не имеющий интереса в смысле западном», по характеристике Осиповой, возможно, со слов самого Аксакова [Гоголь 2009: 392]. Конечно, боярин-изменник Глеб Салтыков и у Аксакова порой выразителен и достаточно «личностен». Впрочем, подобные «личности» К. Аксаков с нескрываемым презрением называл «фальшивой нотой в хоре».

«Моя драма — вполне русская» [цит. по: Аксаков 2020. 2: 497] не раз говорил Аксаков, но развернул это положение только в письме к Гоголю от второй половины декабря 1850 – начала 1851 г. Надо учитывать, что к этому времени драматург давно уже знал мнение Гоголя о своей пьесе от С. Т. Аксакова, получившего отзыв Гоголя о произведении сына еще в письме от 12 июля 1848 г. из Васильевки. Но самим отзывом драматург, можно сказать, пренебрег (впрочем, не совсем — см. ниже) в стремлении убедить адресата в важности открытия «системы», по которой должна создаваться русская драма. «Уверен я, что Русская драма

может быть только в таком духе и не иначе», — как всегда, безапелляционно заявил он. Опыт с «Освобождением Москвы...» подтверждает это. «Сама драма, как я написал ее, открыла мне много для Русского искусства». Вопросу о самобытном развитии русского искусства славянофилы в это время уделяли особое внимание — взять хотя бы статью Хомякова «О возможности русской художественной школы» (1847).

Но Аксаков уже не хочет останавливаться: «Освобождение Москвы...» словно подталкивает его. Причем создается впечатление, что он как будто впервые обратился к драме и совершал свои «открытия», забыв о собственном авторстве. «Так я вижу, — продолжает драматург, — что в ней есть *хор*, элемент Греческой драмы, с которою Русская только и может иметь сходство. *Хор* же есть начало Русской жизни...». И далее Аксаков делится с адресатом замыслом (неосуществившимся) новой пьесы «из времен княжиих междоусобий». Развивая любимую мысль о хоре и желая подчеркнуть эпическую масштабность действия, когда только необъятность русских пространств оказывается соразмерной великой исторической задаче, драматург вновь обращается к «упражнениям в отечественной географии» [Хомяков 1988: 189]. Ведь еще «не сложился Всероссийский хор» и «гремел он отдельно в Новгороде, Киеве, Чернигове, Суздале». Открывшаяся панорама словно завораживает его: «Это множество хоров, звучащих разнообразно, со своими корифеями, с князьями, выбираемые от них; я чувствую, что оно может быть очень живо и драматично особенным образом». Но главное, конечно, «носящееся над всем этим — общее чувство Русской земли. Ах, как бы это все могло быть хорошо!» В наивной надежде, что Гоголя может заинтересовать такой проект, он предлагает тому взяться за его осуществление: «Как бы хотел я, чтобы эта мысль художественная, мною понимаемая, наполнила великого художника, что бы могло из этого выйти!» [Гоголь 2009: 388–389].

Для справки. Древнегреческим словом «хор» (*χορός*) первоначально обозначали пространство, предназначенное для хоровода, и самих его участников, но после того, как к ритуальному танцу (пляске) с пением в честь Диониса присоединился диалог с актером, им же стали называть и хор в драме. Хору принадлежала главная роль в представлении: «Вся античная драма вышла из хора» [Кулишова: 37]. Хор был «коллективным актером» (хоревтами могли быть только мужчины), активным участником действия и в то же время его зрителем и нередко коммен-

татором (*vox populi*), никогда не покидавшим оркестры. Любопытная деталь: корифей (*κορυφαῖος*), то есть запевала и предводитель хора должен был следить, чтобы среди его участников никто не выделялся слишком громким или красивым голосом (чтобы все были «одинакие», по Погодину — см. выше). Еще более важным в контексте нашей работы выглядит наблюдение Ж.-П. Вернана и П. Видаля-Наке, согласно которому в афинском обществе, где коллективное начало преобладало над частным, хор символизировал общину, полис (напомним, что др.-греч. πόλις – слово женского рода) в противоположность героической личности [Vernant: 24].

Возвращаясь к Аксакову, отметим, что едва ли Гоголь мог забыть, что еще в 1842 г. тот написал, как сегодня бы сказали, резонансную статью «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мертвые души”», в которой привлек для сопоставления с поэмой гомеровский эпос, «основанный на глубоком простом созерцании», ведь только эти эпические произведения оказались способны обнять мир в его цельности, попытались постигнуть «тайну жизни». Обращение к античности было для Аксакова неслучайным. Буквально с детства он был ею увлечен. Первой книгой, которую мальчик прочитал в четыре года, была, по семейному преданию, «Троянская история» или «История о разорении Трои, столичного града фригийского царства: из разных древних писателей собранная» итальянским писателем Гвидо де Колумна (XIII в.) [ср.: Кошелев: 12]. Популярность этой книги (содержащей и переложение гомеровского эпоса) была необыкновенной: еще в средние века она была переведена на большинство европейских языков, в том числе на английский (Шекспир заимствовал из нее сюжет «Троила и Крессиды»). На Руси «Троянскую историю» впервые перевели в начале XVI в., в первой трети XVIII в. она вошла в число первых книг, напечатанных введенным Петром гражданским шрифтом, и трижды переиздавалась: в 1709, 1712 и 1717 гг. Затем последовали новые переводы и переиздания: 1745 г. и т. д.

Дома, по свидетельству младшего брата, Аксаков учился греческому языку у Г. С. Долгомостьева (автора, в том числе, «Торжества торжеств, или Канона Святыя Пасхи, изложенного в стихах, с кратким начертанием жизни святого Иоанна Дамаскина, сочинителя Канона» (1829), в университете — у профессора греческой словесности С. М. Ивашковского, затем — в Германии. Со временем Аксаков овладел пятью языка-

ми, в том числе древнегреческим, не раз перечитывал в оригинале того же Гомера. На этой (античной) почве у славянофила даже случались размолвки с Гоголем. Одна из них приходится на осень 1848 г.

С. Т. Аксаков писал 22 ноября 1848 г. младшему сыну И. С. Аксакову: «...Гоголь получил от Жуковского печатный экземпляр первых 12 песен “Одиссей”». Речь идет об издании: Стихотворения В. А. Жуковского. Изд. 5-е. Том осьмой. Одиссея. I–XII песни. Перевод вышел из печати в Санкт-Петербурге и Германии с обозначением даты выхода — «1849».

Поясним: в придворной типографии Ф. В. Гаспера в Карлсруэ житель Дюссельдорфа Жуковский печатал пятое издание собрания своих стихотворений, в связи с чем в типографии появился русский шрифт, которым (естественно, минуя русскую цензуру) в 1856 г. набирался лермонтовский «Демон» (первое полное издание), в 1859 г. — сборник стихотворений П. А. Вяземского, в 1865 г. — сочинения княгини З. А. Волконской и т. д. Но продолжим цитату из письма С. Т. Аксакова к младшему сыну от 22 ноября 1848 г.: «...Гоголь прочел нам сам почти половину (вышеупомянутого издания перевода Жуковского. — В. Г.). На Гоголя любо смотреть. Когда он читает, то вполне наслаждается необъятным творчеством Гомера и художническим переводом» [Гоголь 1952: 712]. В письме к тому же адресату от 28 ноября 1848 г. старший Аксаков продолжил о переводе: «Стих вообще очень хорош, и есть места даже превосходные, но в частности можно сделать много замечаний, которые и были деланы <...> особливо Константином, всегда доказывавшим неверность перевода сличением его с подлинником...» [Гоголь 1952: 712]. К. С. Аксаков добавил о переводе, уже от себя, в письме к младшему брату «от двадцатых чисел ноября 1848»: «Это не Гомер. Мудрованья премного, особенно в начале. Гоголь даже стал уж соглашаться» [Гоголь 1952: 712]. Об этом же пишет и С. Т. Аксаков: «Гоголь сначала принимал эти замечания очень хорошо, убеждался в их справедливости и просил всё записывать для сообщения Жуковскому; но впоследствии стал раздражаться словами Константина...» И добавил в конце письма: «Третьего дня так рассердился за упреки <...> что убежал и унес с собой «Одиссею»...» [Гоголь 1952: 714].

К этому времени Гоголь написал и опубликовал сразу в трех изданиях в рамках своего рода «рекламной» кампании статью об этом переводе (был закончен в 1849 г.) — «Об Одиссее, переводимой Жуков-

ским» (Современник. 1846. № 7; Московские ведомости. 1846. 25 июля. № 89; Москвитянин. 1846. № 7). Затем, как известно, статья вошла в «Выбранные места из переписки с друзьями».

Отзыв Гоголя о драме Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» в письме к С. Т. Аксакову от 12 июля 1848 г. из Васильевки хорошо известен, не раз цитировался в литературе. Начинается он как будто с похвалы: «В драме постигнуто *высшее свойство* нашего народа — вот ее главное достоинство!» Но Гоголь на этом не останавливается и, явно раздраженный, продолжает: «Недостаток — что, кроме этого свойства, народ не слышен другими своими сторонами, не имеет грешного тела нашего, бестелесен...» [Гоголь 1952. 14: 79]. И, словно спохватившись (нельзя же так сразу о недостатках, тем более в письме к отцу автора), вспомнил о языке драмы, который хвалили почти все критики: «В ней вялости нет, язык свеж, речь жива». Однако, учитывая, что были затронуты принципиальные для самого Гоголя вопросы, он перестал сдерживаться и обрушился на автора с высоты собственного литературного (драматургического) опыта и авторитета. «Но зачем, не бывши драматургом, писать драму?» — провозгласил «живой классик». И продолжал с беспощадной прямоотой: «Как будто свойства драматурга можно приобрести! Как будто для этого достаточно живо чувствовать, глубоко ценить, высоко судить и мыслить! Для этого нужно *осязательное, пластическое* творчество и ничто другое. Его ничем нельзя заменить. Без него история всегда останется выше всякого извлеченного из нее сочинения» [Гоголь 1952. 24: 79]. Для Гоголя это аксиома, не подвергающаяся сомнению, которую подтверждает и мировая литературная традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. Тем более, что она подкрепляется творчеством великих драматургов, например, Шекспира, заявлявшего (как считается, устами Гамлета) о «созерцательной способности» поэта, благодаря которой ему доступно не только «простое знание документов», но постижение «сущности и *плоти*» (курсив мой. — В. Г.) прошедших времен»¹.

Причин для раздражения у Гоголя было немало. Незадолго до этого в Васильевке (где-то через месяц после возвращения со Святой Земли) он получил от К. С. Аксакова письмо (обычно датируется «между 11–20 числами» мая 1848 г., но И. А. Виноградов предложил датировать

¹ См., например, статью Г. Гейне «Девушки и женщины Шекспира» и комментарии Н. Я. Берковского [Гейне: 315, 493].

21 мая [Виноградов: 98]), в котором автор с редким и грубоватым прямодушием обрушился с критикой на «Выбранные места из переписки с друзьями». Аксаков обвинял писателя в лживости его «учения», «совершенно противоположного искренности и простоте», столь присущими русскому народу, в «погрешении художника». «Художник отнял у себя предмет художественной деятельности, — писал он, — обратил художественную деятельность на самого себя и начал себя обрабатывать то так, то эдак...» [Гоголь 2009: 81–85].

Гоголь ему ответил 3 июня: прежде чем выносить «приговор» его «душевной исповеди», «книге, на которую до сих пор я не имею духу взглянуть», автору письма нужно беспристрастно разобраться с собственной душой и т. п. Но любопытно, что при этом писатель не забыл упомянуть об интересе к «историческим и философским» наблюдениям Аксакова над «существом природы русского человека» и о «нетерпении», с которым он «жаждет» прочесть «Освобождение Москвы...», «покуда в руках еще не имея». В конце того же письма Гоголь повторил: «Драму вашу я прочту со вниманием и даю вам слово не скрыть своего мнения» [Гоголь 1952. 14: 68–69]. Гоголевское раздражение после прочтения пьесы в числе причин могло иметь, конечно, и просто обманутое ожидание, разочарование как в аксаковской пьесе, так и в «системе», которая легла в ее основу.

Об «осязательности, пластичности», даже «скульптурности» творчества Гоголя писали многие: В. В. Розанов, В. В. Набоков и др. Современные ученые (В. А. Подорога, Л. А. Софронова и др.) также настаивают на том, что у Гоголя «внешнее, т. е. телесность, подавляет собой внутреннее» [Подорога: 129; Софронова: 145]. Некоторые из них пытаются связать эту особенность гоголевского художественного мира с архаичными пластами мировой культуры¹. Сам Гоголь еще в 1835 г. в «Арабесках» («Скульптура, живопись и музыка») объявил «чувственную, прекрасную скульптуру» оставшимся «следом того народа, который весь заключился в ней, со всем своим духом и жизнью» [Гоголь 1952. 8: 10]. Впрочем, подобные образы встречались у него и раньше.

Вот самое начало, пейзажная экспозиция «Сорочинской ярмарки» (1831): «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как

¹ См., например: Гуминский В. М. Русская «Одиссея» и русский Гомер [Гуминский 2024: 221–226, 243–252].

томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих!» [Гоголь 1940. 1: 111]. Перед нами один из древнейших мифопоэтических антропоморфных образов мировой культуры: «женское божество плодородия, мать-земля» и ее божественный небесный супруг, «который оплодотворяет ее светом и влагой» [см.: Фрейденберг: 495]. Литература о священном браке неба и земли значительна, едва ли есть необходимость на ней останавливаться.

С точки зрения фольклористики, другой гоголевский образ никак не меньше связан с землею, с культом плодородия и имеет чуть ли не столь же древнее происхождение. Имеются в виду весенние земледельческие праздники и посвященные им календарные обычаи и обряды, включающие ритмически организованные пляски с пением, иначе говоря, хороводы, хорошо известные еще в аттической Греции. Так, Великие Дионисии проходили именно весной (обычно с 25 марта по 1 апреля) и сопровождалась ритуальными процессиями «нескромного» (С. А. Соболевский) содержания, представлениями и пр.

Гоголевский хоровод, конечно, принадлежит русской народной культуре, но эротическая энергетика, если можно так выразиться, сохранилась и в нем. И ее «жертвой» стал никто иной, как чичиковский кучер Селифан, которому после участия в весеннем хороводе в деревне Тентетникова «долго потом, во сне и наяву, утром и в сумерки, все мерещилось <...> что в обеих руках его белые руки и движется он с ними в хороводе» [Гоголь 2020. 8: 31–32]. Свообразный комментарий к этому эпизоду из первой главы второго тома «Мертвых душ» оставил И. С. Аксаков. Прослушав в чтении Гоголя 7 января 1850 г. в Радонежье (Абрамцево) начало второго тома поэмы и узнав, что писатель собирается на Афон и там будет кончать «Мертвых душ», он заметил в письме к родным от 9 июля 1850 г.: «...как ни подымайте высоко значение искусства, а все-таки это нелепость, по-моему: среди строгих подвигов аскетов изображать ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных руках и проч.» [Аксаков 1988: 158]. Характерно, что Аксаков к характеристике девичьих рук добавил «от себя» эпитет «полные» (у Гоголя отсутствует) и тем самым, вероятно непроизвольно, усилил «телесный», «чувственный» характер описания.

В письме к С. М. Великопольской (конец 1848 г.) Аксаков попытался сформулировать свои мысли (как тезисы) относительно проблем, волновавших его в это время. Как всегда, он начал с «Освобождения Москвы...», тем более что считал драму «очень трудной для понимания», а Великопольская сказала о ней «доброе слово». Аксаков в очередной раз провозгласил, что его произведение «совершенно другое относительно всех драм доселе».

Характеристика, которую он дал пьесе, безусловно, является ответом на критические замечания и отзывы о драме, но поколебать убеждение автора в ее оригинальности (самобытности) они не смогли. Причем то, что критики (Погодин и др.) относили к недостаткам: отсутствие индивидуальных характеров, сценических типов, объявлялось принципиальными особенностями «драмы нового типа» [Шаталов: 413]. Аксаков уверенно шел против течения. И дело, конечно, не только в том, что он отказался от любовной интриги. Тут у него были свои предшественники: Пушкин, Гоголь и другие, не говоря о древних. Во имя изображения сверхличности народа драматург также отказался от всяких личностей, героев. Как не вспомнить знаменитую книгу Т. Карлейля «Герои и героическое в истории», увидевшую свет всего восемью годами раньше!

«Здесь жизнь является, — комментирует «Освобождение Москвы...» Аксаков, — без всякой личности, без героя; здесь является смирение, а не гордость, здесь, как и в русской жизни, люди русские все относят к Богу, а не к себе». Новое, появившееся у Аксакова в отношении к своей драме, касается ее художественности. «Драма моя не есть художественное произведение, — без колебаний заявляет он, — здесь искусство только средство, чтобы начертать такой высокий строй жизни (жизни русской допетровской Руси), какой не поддается силе художественной». Вывод, к которому приходит Аксаков, опять-таки направлен на личность, но это уже личность его самого: «Я не поэт и поэтом быть не хочу».

Но и это еще не все. Аксаков последователен в своем чуть ли не нигилистическом отрицании и вполне логичен. Ему нужно не только убедить адресата, но и самого себя, ведь «на практике» далеко не все получилось так, как хотелось. Конечно, Ляпунов у него провозглашает: «А непременно и вечное то, что все мы, сколько нас ни есть, все братья, православные христиане и русские люди» [Аксаков 2020. 2: 155], но

в этой фразе (едва ли не единственной в драме, где прямо упоминается «непременное и вечное») столь явственно слышен «голос автора», что в устах народного вождя она остается только декларацией, ничем и никем, в сущности, не подкрепляемой и не убеждающей в «высоком строе жизни» допетровской Руси.

Зато автор пьесы в этом убежден и ему остается только «развенчать» искусство, что он и делает в письме Великопольской:

Искусство, — Вы удивитесь, что я говорю это, который прежде так жил в поэзии, — искусство в настоящем смысле слова есть язычество и несовместимо с жизнью христианскою [Аксаков 2014: 269].

Такое пугающее заявление, сделанное, впрочем, с некоторой заминкой, требует хоть какого-то объяснения. На помощь приходит католичество, тем более что письмо адресовано в Испанию, где находилась Великопольская и «покоряла», по словам Аксакова, эту католическую страну:

В католицизме оно (искусство. — В. Г.) могло существовать, ибо католицизм есть (по крайней мере, во многом) христианское язычество...

Не так на Руси, в России:

... но в нашей русской жизни, верою православною основанной, оно быть, как искусство, самостоятельно не может: оно может принять лишь служебный характер, как принимает оно в иконописи [Аксаков 2014: 269].

В «набросках ненаписанной эстетической работы», точнее, в конспекте, опубликованном В. А. Кошелевым под названием «Искусство и художественность» (конец 1840-х гг.), Аксаков продолжил искать формулировки, отражающие его подход к творчеству и к истории. Он где повторил и дополнил, где уточнил и развил положения, «тезисно» изложенные в письме к Великопольской (конец 1848 г.). Немецкая «выучка» давала себя знать, и славянофил по пунктам (от 1 до 10) педантично, опять-таки в любимой тезисной форме как бы подвел итоги своей эстетической программе. Под первым пунктом значилось без всяких комментариев, но выделенное курсивом «*Искусство у древних*», затем шло дальнейшее перечисление, но уже с оценками: «Искусство

в наше время, подражательность», «Видимое падение искусства в отдельных своих видах. Скульптура и проч.» и т. д. Следом за знакомым определением католицизма как «Христианского язычества» появился «Протестантизм, или Христианский иудаизм». Славянофилы любили соотносить христианские конфессии с направлениями или видами искусства (вспомним у Самарина: «... на почве католицизма возник классицизм» и т. д.), не удержался от этого и Аксаков: «Возможность живописи только в религии католической...», «Неопределенность музыки <...> Протестантизм. Музыка как искусство личное может существовать лишь при нем». Последний пункт самый главный и требующий разъяснения: «Совместимо ли искусство и художественность с Христианством» [Аксаков 1995: 185–186].

Историки религии и философии этот вопрос (кстати сказать, в набросках Аксакова вопросительный знак отсутствует, может быть, просто по недосмотру) давно поставили в один ряд с другими, взаимосвязанными вопросами, восходящими к знаменитой лаконичной и образной (культурно-географической) формуле: «Что Афины — Иерусалиму?» или в другом переводе: «Что общего у Афин и Иерусалима?» (О прескрипции [против] еретиков). Эту формулу впервые предложил раннехристианский апологет и богослов II–III вв. Тертуллиан, и с тех пор она, можно сказать, сопровождает человечество в его попытках разрешить ключевые проблемы миропонимания. Вот, например, вопрос о знании и вере: ему посвятил книгу «Афины и Иерусалим» (1938) Л. Шестов. Уже Платон различал мнение (верование) и знание, а шотландский средневековый теолог И. Дунс Скот взывал к Богу: «Верую, Господи, тому, что говорит Твой великий пророк, но, если можно, сделай так, чтоб я знал» [цит. по: Шестов: 330] и т. п. Этот вопрос был актуален для Жуковского и Гоголя, но решали они его по-разному. Жуковский полагал, что «человек не создан *знать*» и тут ему помогает «*вера* — самый возвышенный, самый свободный и самобытный акт души человеческой...» [Жуковский: 192]. Гоголь же писал о Матфее (Константиновскому) 12 января 1848 г. из Неаполя, отправляясь на Святую Землю: «Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе, признаю Христа Богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера» [Гоголь 1952. 14: 41]¹.

¹ См. об этом [Гуминский 2024: 239–241].

Однако обратимся к «разъяснению» Аксакова», в котором на первом месте основополагающее заявление: «...Христианство составляет основу Русского духа». Отсюда выводятся и эстетические заключения: «...личность необходима для изображения художественного, — вроде бы соглашается со своими критиками славянофил, — но личность по началам Христианства есть грех, уже потому Русской человек, Христианин, личнос<ть> отвергающий, в искусстве неуловим». «Другими словами, — продолжает Аксаков, — для Русского человека нужно иконописное, а не живописное письмо». Напоследок славянофил не удержался и сформулировал свой «итоговый ответ» Гоголю на его отзыв об «Освобождении Москвы в 1618 году»: «Следовательно, не драма моя, но смысл драмы прав, нехудожественность, бестелесность изображения здесь единственная возможность» [Аксаков 1995:186].

В своих рассуждениях Аксаков дважды упомянул иконописание и противопоставил ему «живописное письмо». До «открытия» иконы и тем более до разработки ее богословия было еще далеко, но к пониманию «глубокой разницы в духе, в основной идее живописи новой и нашей древней церковной живописи» некоторые аксаковские современники (да, судя по всему, и он сам) уже приближались. Скажем, об этом «явлении открытой противоположности» писала близкая к славянофилам Кохановская (Н. С. Соханская):

Прежде задача живописи была — Божественное величие: в человеческом образе, в простых широких чертах представить, как можно более, величие божественности; а теперь — Божеству придать красоту нашей телесности. Классическая Италия внесла плоть в высокие, духовные представления, переданные нам Грецией (имеется в виду Византия. — В. Г.). Она нарушила целомудренную чистоту наших храмов: явились нагие младенцы, подобие ее Аполлона Бельведерского; святые Ангелы: одни, как купидоны, дайте только им за плеча колчан и стрелы; другие в едва эфирной, скользящей и ниспадающей одежде, как у вакханки... (письмо к П. А. Плетневу от 29 декабря 1849 г.) [цит. по: Фетисенко: 182].

Сравним с апофатической характеристикой иконы, принадлежащей С. С. Аверинцеву: предмет иконы «не куртуазное очарование Мадонн Ренессанса, не мускулистая корпулентность святых барокко, не буржуазная уютность библейских сцен, вообще не та чувственность,

которая в результате победы натуралистического подхода овладела на Западе Нового времени также и трактовкой сакральных предметов» [Аверинцев: 84]. В обеих характеристиках терминология («телесность», «плоть», «чувственность») близка или совпадает с той, которую использовали Гоголь и Аксаков.

Приведем еще одно суждение, принадлежащее на этот раз представителю западнической партии. Оно интересно тем, что является как бы зеркальным по отношению к «разъяснениям» Аксакова (хотя и принадлежит более раннему времени), совпадая с ними по существу. Герцен записал в дневнике 16 ноября 1843 г.:

Замечательно, что византийская архитектура, иконопись, церковная музыка и ваяние не имеют в смысле художественном высокого развития. С одной стороны, это подтверждает мысль славянофилов, что восточная церковь чище и вернее христианству, с другой — свидетельствует о несовместимости христианства со всякой живой сферой, так и с искусством... Живопись была эмансипацией из-под власти исключительно религиозной, и в этом великое достоинство католицизма, не понимаемое православными [Герцен 2: 315].

Следует отметить, что негативная трактовка византийского искусства (и не только искусства) у Герцена была своего рода «общим местом» представлений того времени (не избежал его и Гоголь в университетских лекциях). Взять хотя бы характеристику «тяжкого зодчества» византийцев или негармоничных церковных напевов, причиной которых (по догадке автора) могло быть особое устройство («образование») уха у «жителей Востока» или просто «невежество». Причем такие оценки делались не на основании чьих-то мнений, из вторых рук, а *de visu et auditu* (глазами и слухом), когда А. Н. Муравьев, согласно «Путешествию ко Святым местам в 1830 году» (1832), непосредственно знакомился (на улицах и в переулках Константинополя, в греческих православных храмах) с реликтами византийской культуры, сохранившимися в османском Стамбуле. К тому же, разумеется, византийские «безобразные жилища вельмож», на его взгляд, не выдерживают никакого сравнения с прославленными «замками и дворцами» Запада, а Святая София может напомнить только «мрак наших древних, тяжелых соборов». Между тем его книга, казалось бы, должна была воз-

родить древнерусскую традицию паломнической литературы в XIX в., что, в сущности, и произошло, хотя автор «примкнул» к этому жанру явно в стремлении последовать «Итинерарию из Парижа в Иерусалим...» (1811) Ф.-Р. Шатобриана [см.: Гуминский 2017: 343–344].

Словом, средневековая связь с Византией (а через нее в перспективе с древнегреческим культурным наследием) объявлялась, по сути дела, исторической ошибкой, исказившей русскую историю (религию, культуру), «отторгнувшей» Россию от «общей семьи» европейских народов, вдохновляемой в своем бурном развитии «потребностью найти мировую идею». «Отсталая», «растленная» Византия трактуется П. Я. Чаадаевым вслед за Ш. Л. Монтескье, Э. Гиббоном и другими как «предмет глубокого презрения» цивилизованного мира [Чаадаев 1: 331], а Белинский, вычитав в «Выбранных местах из переписки с друзьями» идею о вреде грамотности для простого народа, в сердцах воскликнул, обращаясь к Гоголю: «Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль...» [Белинский 10: 216].

Западу (но не Византии) и, соответственно, Петру I Россия оказывалась обязанной возникновением литературы, искусства с определенными эстетическими критериями «художественности», «живописности». Аксаков, по сути дела, предложил в чем-то действительно альтернативный путь развития русской литературы (драматургии). При этом он (как и другие славянофилы) опирался, в первую очередь, на «Историю русской словесности, преимущественно древней» Шевырева. Ведь в публичных лекциях произошло «оживление забытого, воссоздание разрушенного», открылся «новый мир нашей старой словесности», по емкой характеристике Киреевского из рецензии на издание курса (Москвитянин. 1854. Ч. 1. № 1). Причем в этом мире нашлось место «письменной словесности духовной и светской, литературной и государственной», а также иконописи, зодчеству и устным «преданиям народа, сохранившимся в его сказках, поверьях, поговорках и песнях». Словом, «история древнерусской литературы не существовала до сих пор как наука; только теперь, после чтений Шевырева, должна она получить право гражданства в ряду других историй всемирно-значительных словесностей» [Киреевский: 155].

Конечно, и у Шевырева были предшественники. Взять хотя бы караимскую «Историю Государства Российского» (впрочем, сам Шевырев в молодости полагал, что Карамзин «хотел историю России

представить совершенно историю европейского государства» [Шевырев 2006: 313]), в примечаниях к которой историк где пересказал, где процитировал многие памятники отечественной средневековой литературы. Сюда же можно отнести «замечательные книги» М. А. Максимовича, П. М. Строева и др. (следуя правилам научной этики, Шевырев при необходимости ссылается на их труды, а то и полемизирует с ними). Но вернемся к Аксакову, у которого, надо признать, для его самых смелых построений уже существовал достаточно мощный научный фундамент. На его основании славянофил и попытался восстановить связь времен, отталкиваясь, в первую очередь, от понимания проблемы личности или безличности в творчестве и в истории. Иначе говоря, древнерусскую христианскую эстетику он хотел, если воспользоваться современным термином, актуализировать, чтобы направить русскую литературу XIX в. по самобытному, а не подражательному пути.

Другое дело, что большинству современников этот путь показался бесперспективным, утопическим или, по мнению Чаадаева (из письма Ф. Шеллингу от 20 мая 1842 г., судя по всему, так и не полученного адресатом) славянофилы готовы были «свести всю нашу историю к ретроспективной утопии» и к «апофеозу русского народа» [Чаадаев 2: 145] (термин «ретроспективная утопия» философ включил в свой постоянный лексикон, используя в «Апологии сумасшедшего», в других статьях и письмах).

Однако реальная история не делится на главы с началом и концом. Так и «возвратные» (Чаадаев) идеи Аксакова, казалось бы, навсегда забытые и похороненные, стали парадоксальным образом возвращаться в историю русской культуры, порой в совсем неожиданных формах, но в ряде случаев даже формально сохранив свои обязательные «терминологические» приметы, в частности, соборность и хор. Один из крупнейших деятелей русского символизма Вячеслав Иванов, например, вспоминал о разговорах с А. Н. Скрябиным, причем «теоретические положения» композитора «о соборности и хоровом действе» изумили мемуариста сходством с собственными «чаяниями», отличаясь от них «только тем, что они были для него еще и непосредственным практическим заданием» [Иванов: 183]. После 1917 г. подобные, но весьма трансформированные представления, избавившиеся, понятно, от всех признаков «проклятого прошлого» (в первую очередь, христианства

или, скажем, «мистического реализма», по Вячеславу Иванову) реализовывались в агитационно-массовых постановках ТРАМов (Театров рабочей молодежи) с участием тысяч актеров, поэтов, художников, музыкантов (например, в «Мистерии освобожденного труда», 1 мая 1920 г.), в режиссерских экспериментах В. Э. Мейерхольда, вдохновляемых идеями «промышленного коллективизма», конвейером Генри Форда с его «обезличенным человеком», в Театре Революции, в ГосТИМе и т. д. Подобные «сближенья» только на первый взгляд могут показаться, по Пушкину, «странными». Выходит, А. О. Смирнова весьма прозорливо сохранила в своем «отчете» Гоголю о премьере «Освобождения Москвы в 1612 году» мнение зрителей, которые «кричали, что это коммунизм, потому что тут народ на сцене».

Таким образом, основные выводы настоящей работы получили неожиданное подтверждение со стороны вроде бы самого объективного судьбы — времени, пусть, как всегда, преходящего.

Список литературы

Источники

- Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849 / изд. подг. Т. Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1988. 704 с.
- Аксаков К. С. Полн. собр. соч.: Т. I. / под ред. И. С. Аксакова. Сочинения исторические. М.: Университетская типография, 1889. 599 с.
- Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика / сост., вступ. ст., коммент. В. А. Кошелева. М.: Искусство, 1995. 526 с.
- Аксаков К. С. Ты древней славою полна, или Неистовый москвич / сост., вступ. ст., путеводитель и коммент. Е. Ю. Филькиной. М.: Русский Мир, 2014. 512 с.
- Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2020. 368 с.
- Аксаков К. С. Собр. соч. и писем: в 10 т. Т. 1: Поэзия. Проза / подг. Е. И. Анненковой, М. Д. Кузьминой. СПб.: Росток, 2019. 719 с.; Т. 2: Драмы. Стих-я на случай / подг. Е. И. Анненковой, А. П. Дмитриева, М. Д. Кузьминой. СПб.: Росток, 2020. 648 с.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Акад. наук, 1953–1959.
- Гейне Г. Собр. соч.: в 10 т. Т. 7. Людвиг Берне. Статьи 1836–1844 гг. Бахерахский равнин. О французской сцене. Девушки и женщины Шекспира. Письма о Германии / под общ. ред. Н. Я. Берковского и др. М.: Худож. лит. 1958. 511 с.
- Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Акад. наук СССР, 1954–1966.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Акад. наук СССР, 1937–1952.
- Гоголь в неизданной переписке современников (1833–1853) / публ. и коммент. Л. Ланского <Л. Р. Каплана> // Лит. наследство. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Т. 58. М.: АН СССР, 1952. С. 533–772.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. Т. 15 / сост., подг. текстов и коммент. И. А. Виноградова и В. А. Воропаева. М.-Киев: Изд-во Московской Патриархии. 2009. 618 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 23 т. Т. 8. М.: Наука, 2020. 827 с.

Дмитриев А. П. Семья Аксаковых: лит. наследие и гражданская позиция: из архивных разысканий. СПб.: Росток, 2023. 543 с.

Жуковский В. А. В. А. Жуковский-критик / сост., вступ. ст. и коммент. Ю. М. Прозорова. М.: Сов. Россия., 1985. 320 с.

Иванов В. И. Собр. соч.: в 4 т. / под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Т. 3. Брюссель: Жизнь с Богом. 1979. 896 с.

Кавелин К. Д. Государство и община / отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2013. 1296 с.

Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 4. Ч. 1. Основы метафизики нравственности / под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др. М.: Мысль, 1965. 544 с.

Карамзин Н. М. История Государства Российского. 5-е изд. Кн. 3: Т. IX, X, XI, XII. СПб., 1843 (репринт.). М.: Книга, 1989.

Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: в 3 т. Т. 2 / под общ. ред. А. Н. Николюкина. СПб.: Росток, 2018. 525 с.

Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. XI–начало XII в. М.: Худож. лит. 1978. 463 с.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: Наука, 1962–1966.

Самарин Ю. Ф. Собр. соч.: в 5 т. СПб.: Росток, 2016.

Турнер Мартин. Лицо / Ипостась (католич.) // Богословская антропология. Русско-православный римско-католический словарь / под науч. ред. протоиер. Андрея Лоргуса и Бертрама Штубенрауха. М.: Паломник, Никея. 2013. С. 280–290.

Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. Письма. М.: Университетская типография, 1900. 468 с.

Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки / вступ. статья и коммент. Б. Ф. Егорова. М.: Современник, 1988. 462 с.

Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избранное письмо. Т. 1. М.: Наука, 1991. 800 с.; Т. 2. Письма П. Я. Чаадаева и комментарии к ним. Письма разных лиц к П. Я. Чаадаеву. Архивные документы. М.: Наука, 1991. 671 с.

Шевырев С. П. Полн. собр. литературно-критических трудов: в 7 т. СПб.: Росток, 2020–2022. 599 с.

Шестов Л. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Власть ключей. Приложение к журналу «Вопросы философии». М.: Наука, 1993. 668 с.

Языков Н. М. Сочинения. Л.: Худож. лит., 1982. 448 с.

Исследования

Аверинцев С. С. Две природы иконы // МЭСНМВРІА. Болгаро-русский сборник. София: Славика, 1999. 482 с.

Виноградов В. В. История слов. М.: Толк, 1994. 1138 с.

Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2018. Т. 6: 1848–1850. 665 с.

Гуминский В. М. Русская литература путешествий в мировом историко-культурном контексте. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 607 с.

Гуминский В. М. Жизнь и творчество Н. В. Гоголя в контексте христианской традиции. М.: Индрик, 2024. 496 с.

Дмитриев А. П. Комментарии // *Шевырев С. П.* Полн. собр. литературно-критических трудов: в 7 т. СПб.: Росток, 2022. Т. 4. С. 533–551.

Кулишова О. В. Хор в древнегреческом театре V в. до н. э. // Маска и театр в зрелищной культуре античного мира. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2015. 267 с.

Лосев А. Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архив. Материалы / сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. СПб.: Алетейа, 1997. 616 с.

Манн Ю. В. Историческое направление литературоведческой мысли // Возникновение русской науки о литературе. М.: Наука, 1975. 464 с.

Николюкин А. Н. С. П. Шевырев и история русской словесности (К теории славянофильства) // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2021. № 1. С. 3–21.

Поляков А. Н. Происхождение Руси и Великая Моравия // Вестник Владикавказского научного центра. 2022. Т. 22. № 2. С. 41–49. <https://doi.org/10.46698/VNC.2022.85.86.001>

Подорога В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. М.: Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006. Т. 1: Н. Гоголь, Ф. Достоевский. 688 с.

Софронова Л. А. Мифопоэтика раннего Гоголя. СПб.: Алетейа, 2010. 296 с.

Фетисенко О. Л. Кохановская: «Степной цветок» русской словесности: Тексты и контексты Н. С. Соханской. СПб.: Пушкинский Дом, 2021. 424 с.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: Наука, 1978. 605 с.

Шаталов С. Е. Драматические произведения славянофилов // Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830–1850 годы. М.: Наука, 1975. 502 с.

Vernan J.-P., Vidal-Naquet P. Myth and Tragedy in Ancient Greece. New York: Zone, 1988. 527 p.

References

- Averintsev, S. S. “Dve prirody ikony” [“Two Natures of the Icon”]. *МЕΣΗΜΒΡΙΑ. Bolgaro-russkii sbornik [MEΣΗΜΒΡΙΑ. Bulgarian-Russian Collection]*. Sofia, Slavika Publ., 1999. 482 p. (In Russ.)
- Vinogradov, V. V. *Istoriia slov [History of Words]*. Moscow, Tolk Publ., 1994. 1138 p. (In Russ.)
- Vinogradov, I. A. *Letopis' zhizni i tvorchestva N. V. Gogolia: v 7 t. [Chronicle of N. V. Gogol's Life and Work: in 7 vols.]*, vol. 6: 1848–1850 [1848–1850]. Moscow, IWL RAS Publ., 2018. 665 p. (In Russ.)
- Guminskii, V. M. *Russkaia literatura puteshestvii v mirovom istoriko-kul'turnom kontekste [Russian Travel Literature in the World Historical and Cultural Context]*. Moscow, IWL RAS Publ., 2017. 607 p. (In Russ.)
- Guminskii, V. M. *Zhizn' i tvorchestvo N. V. Gogolia v kontekste khristianskoi traditsii [N. V. Gogol's Life and Work in the Context of the Christian Tradition]*. Moscow, Indrik Publ., 2024. 496 p. (In Russ.)
- Dmitriev, A. P. “Kommentarii” [“Commentaries”]. Shevyrev, S. P. *Polnoe sobranie literaturno-kriticheskikh trudov: v 7 t. [Complete Collection of Literary and Critical Works: in 7 vols.]*, vol. 4. St. Petersburg, Rostok Publ., 2022, pp. 533–551. (In Russ.)
- Kulishova, O. V. “Khor v drevnegrecheskom teatre 5 veka do nashei eru” [“Chorus in the Ancient Greek Theater of the 5th Century BC”]. *Maska i teatr v zrelishnoi kul'ture antichnogo mira [Mask and Theater in the Spectacular Culture of the Ancient World]*. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2015. 267 p. (In Russ.)
- Losev, A. F. *Imia. Izbrannye raboty, perevody, besedy, issledovaniia, arkhiv. Materialy [Name. Selected Works, Translations, Conversations, Research, Archival Materials]*. St. Petersburg, Aleteia Publ., 1997. 616 p. (In Russ.)
- Mann, Iu. V. “Istoricheskoe napravlenie literaturovedcheskoi mysli” [“Historical Direction of Literary Thought”]. *Vozniknovenie russkoi nauki o literature [The Emergence of Russian Literary Science]*. Moscow, Nauka Publ., 1975. 464 p. (In Russ.)
- Nikoliukin, A. N. “S. P. Shevyrev i istoriia russkoi slovesnosti (K teorii slavianofil'stva)” [“S. P. Shevyrev and the History of Russian Literature (Toward a Theory of Slavophilism)”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 7. Filosofiia*, no. 1, 2021, pp. 3–21. (In Russ.)
- Poliakov, A. N. “Proiskhozhdenie Rusi i Velikaia Moraviia” [“The Origin of Rus' and Great Moravia”]. *Vestnik Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra*, vol. 22, no. 2, 2022, pp. 41–49. <https://doi.org/10.46698/VNC.2022.85.86.001> (In Russ.)
- Podoroga V. A. *Mimesis. Materialy po analiticheskoi antropologii literatury [Mimesis. Materials on the Analytical Anthropology of Literature]*, vol. 1: N. Gogol', F. Dostoevskii [N. Gogol, F. Dostoevsky]. Moscow, Kul'turnaia revoliutsiia Publ., Logos Publ., Logos-altera Publ., 2006. 688 p. (In Russ.)
- Sofronova, L. A. *Mifopoetika rannego Gogolia [Mythopoetics of Early Gogol]*. St. Petersburg, Aleteia Publ., 2010. 296 p. (In Russ.)
- Fetisenko, O. L. *Kokhanovskaia: “Stepnoi tsvetok” russkoi slovesnosti: Teksty i konteksty N. S. Sokhanskoi [Kokhanovskaya: “The Steppe Flower” of Russian Literature: Texts and Contexts of N. S. Sokhanskaya]*. St. Petersburg, Pushkin House Publ., 2021. 424 p. (In Russ.)

Русская литература XVIII–XIX столетий
В. М. Гуминский. Полемика славянофилов с западниками
о личности и выбор русской литературой направления развития

Freidenberg, O. M. *Mif i literatura drevnosti* [*Myth and Literature of Antiquity*]. Moscow, Nauka Publ., 1978. 605 p. (In Russ.)

Shatalov, S. E. “Dramaticheskie proizvedeniia slavianofilov” [“Dramatic Works of the Slavophiles”]. *Literaturnye vzgliady i tvorchestvo slavianofilov. 1830–1850 gody* [*Literary Views and Works of the Slavophiles. 1830–1850*]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 502 p. (In Russ.)

Vernan, Jean-Pierre, and Pierre Vidal-Naquet. *Myth and Tragedy in Ancient Greece*. New York, Zone, 1988. 527 p. (In English)

© 2025. С. С. Жданов

Новосибирский государственный технический университет
Сибирский государственный университет геосистем и технологий
г. Новосибирск, Россия

Природное и городское пространства Малороссии и Новороссии в травелоге «На воспетой реке» Н. С. Филиппова

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-28-01431 «Репрезентация пространства Украины в русской культуре конца XVIII–XIX веков (на материале отечественных травелогов): дискурсы, нарративы, топосы», <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>

Аннотация: В статье рассмотрена репрезентация природных и городских пространств Малороссии и Новороссии в травелоге «На воспетой реке» Н. С. Филиппова. Выявлена опора автора на представления об идилличности и естественности малороссийского топоса в русской словесности XIX в. Зафиксирована интертекстуальность филипповского травелога, влияние на него гоголевского текста. К природным пространствам произведения отнесены небесный и речной топосы. Образ Днепра имеет ключевое значение и является сквозным. Идиллический образ связан с мотивом «чудного Днепра», днепровская антиидиллия определена мотивами непривлекательности, скуки, опасности, вмешательства человека, что обуславливает актуализацию мотива оскверненного рая. Третья ипостась Днепра представлена локусом речных порогов, маркированным мотивами как красоты, отваги, так и опасности, хаоса, смертности, inferнальности. Репрезентации городского пространства связаны с противопоставлением идиллического и сакрального Киева образам иных городов.

Ключевые слова: Н. С. Филиппов, Н. В. Гоголь, Украина, Малороссия, Новороссия, Киев, Кременчуг, Екатеринослав, пространство, образ города.

Информация об авторе: Сергей Сергеевич Жданов, доктор филологических наук, доцент, Новосибирский государственный технический университет, пр-т К.Маркса, д. 20, 630073 г. Новосибирск, Россия; Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Плахотного, д. 10 630108 г. Новосибирск, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8898-6497>

E-mail: fstud2008@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 04.05.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 10.07.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Жданов С. С. Природное и городское пространства Малороссии и Новороссии в травелоге «На воспетой реке» Н. С. Филиппова // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 136–169. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-136-169>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 136–169. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 136–169. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. **Sergey S. Zhdanov**

Novosibirsk State Technical University
Siberian State University of Geosystems and Technologies
Novosibirsk, Russia

Natural and Urban Spaces of Little Russia and Novorossiia in the Travelogue *On the Glorified River* by N. S. Filippov

Acknowledgments: This work was carried out with financial support of the Russian Science Foundation, project no. 24-28-01431 “Representation of the Ukraine Space in the Russian Culture of the Late 18th–19th Century (Based on Russian Travelogues): Discourses, Narratives, Topoi” (<https://rscf.ru/project/24-28-01431/>).

Abstract: The paper examines the representation of natural and urban spaces of Little Russia and Novorossiia in the travelogue *On the Glorified River* by N. S. Filippov. The research reveals the author’s reliance on the ideas of the idyllic and natural Little Russian topos in Russian literature of the 19th century. It highlights intertextuality of Filippov’s travelogue, in particular, the influence of Gogol’s text on it. Sky and river topos are attributed to the natural spaces of the work. The image of the Dnieper River is of key importance and cross-cutting, connecting descriptions of particular urban spaces into a single whole. The idyllic image is associated with the motif of the “wonderful Dnieper.” The Dnieper anti-idyll is defined by the motifs of unattractiveness, boredom, danger, and human intervention, which, in turn, actualizes the desecrated paradise motif. Finally, the third hypostasis of the Dnieper is represented by the locus of rapids, marked by motifs of both beauty, courage, and danger, chaos, mortality, and infernality. Urban space representations are associated with contrasting idyllic and sacred Kyiv with images of other cities.

Keywords: N. S. Filippov, N. V. Gogol, Ukraine, Little Russia, Novorossiia, Kyiv, Kremenchug, Ekaterinoslav, space, city image.

Information about the author: Sergey S. Zhdanov, DSc in Philology, Associate Professor, Novosibirsk State Technical University, K. Marks Ave., 20, 630073 Novosibirsk, Russia; Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotnogo St., 10, 630108 Novosibirsk, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8898-6497>

E-mail: fstud2008@yandex.ru

Received: May 05, 2025

Approved after reviewing: July 10, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Zhdanov, S. S. “Natural and Urban Spaces of Little Russia and Novorossiia in the Travelogue *On the Glorified River* by N. S. Filippov.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 136–169. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-136-169>

Отечественное литературоведение достаточно давно изучает феномен городского текста в рамках интертекстуальности и сверхтекстуальности. Классическими стали работы по петербургскому тексту русской литературы [Анциферов; Лотман; Топоров]. Позднее к ним присоединились исследования по текстам Перми [Абашев 2000], Венеции [Меднис], Неаполя [Лебедева, Янушкевич], Парижа [Рудикова]. Не могли остаться в стороне от городской проблематики и работы, посвященные рассмотрению мотивов украинскости в русской словесности. Здесь следует упомянуть, с одной стороны, исследования, в которых образы маркируемого данными мотивами городского пространства упоминаются, но не составляют единственный фокус научного внимания [Васильева; Жданов 2024b; Жданов 2024c; Крюкова; Марчуков; Овчинников]. С другой стороны, существуют работы, непосредственно посвященные городским текстам Малороссии [Булкина; Жданов 2024a; Жданов 2024d] и Новороссии [Дорджиева; Панов; Петрова, Прохорова]. Однако ни в одном из вышеупомянутых и иных исследований не рассматривался травелог Н. С. Филиппова «На воспетой реке», входящий в состав сборника «Под летним небом» (1894), что позволяет говорить о введении нового текстового материала в широкий научный обиход. Целью нашей статьи выступает имагологический анализ образов городского пространства в данном травелоге.

Но прежде чем говорить о городских пространствах, необходимо упомянуть пространственные сквозные образы иного типа, оттеняющие и частично смешивающиеся с городским, — это природные топосы. Вообще, для репрезентации Малороссии в русской словесности XIX в. характерны взаимосвязанные мотивы естественности и идилличности, которые формируются в сентименталистском дискурсе и контаминируются с восприятием малоросса в рамках «руссоистского представления о “естественном человеке”» [Васильева: 38]. Соответственно, в описаниях Малороссии антропо-пространствен-

ные природность и идилличность¹ оказываются часто контекстуально ярче выражены в сравнении с изображениями великоросских ландшафтов, что, в частности, позволило М. И. Назаренко рассматривать образ Украины в качестве «сокращенного рая» [Назаренко].

В первую очередь при актуализации мотива природности в филипповском тексте речь идет о сквозном для всего повествования топосе Днепра, зафиксированного в том числе в названии травелога в форме «воспетой реки». Эпитет «воспетая»² отсылает читателя к гоголевскому тексту³, о чем недвусмысленно свидетельствует эпитафия «Чуден Днепр...» [Филиппов: 69]. Здесь мотив чудности можно трактовать как идилличность (если принимать во внимание, что Днепр чуден «при тихой погоде», где маркер тишины также следует рассматривать в рамках идиллического пространства). Особенно ярко идилличность топоса Днепра выражена в репрезентации Киева, усиливая его демиприродную (гармоническую) пространственность.

Филиппов обращается к сентименталистской традиции «сближения литературы и изобразительного искусства в их подражании природе» [Абашев 2003: 2–3], когда созерцание природного начала предполагает «как бы наложение на видимое рамки» (картины) [Абашев

¹ Ср. левшинское определение Малороссии как «прекраснейшей, но мало обработанной страны» [Левшин: 70]. (Здесь и далее орфография и пунктуация источников приближены к современным).

² Кроме того, мотив песни связан с типажной характеристикой малороссийской антропности как «народа поющего» с отсылкой к «апокрифическому высказыванию Екатерины II», «использованному А. С. Пушкиным в рецензии на гоголевские “Вечера...”» [Васильева: 38]. При этом фрагменты песен используются автором при характеристике киевского («И по сей бик гора, И по той бик гора, А меж тыми то гироньками Котылась зоря...» [Филиппов: 73]) и днепровского («Два лебеди на тий води, Обы два биленки... Не будемо, сердце, в пари, Бо ще молоденки!..» [Филиппов: 106]) топосов для придания «этнографического» колорита. Также наложение песенной реальности и действительности встречаем при описании малороссийской «весны, воспетой и прелестной в действительности» [Филиппов: 91].

³ Ср., например, с вариантом наложения гоголевского текста на малороссийский текст в травелоге М. П. Погодина 1840-х гг.: «В Миргороде те же широкие улицы, низменные домики, грязь по дороге и лужа на перекрестке, как во время ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» [Погодин: 160].

2003: 4], сопровождающееся «эстетизацией вида, доведение его до степени эффективного совершенства» [Абашев 2003: 5], то есть мотивом (визуальной) привлекательности. Так, описание «киевской» части Днепра отмечено мотивами живой картины, привлекательности, масштабности, света: «Как в раме, открывается <...> Днепр. Он причудливо вьется среди необъятных зеленых полей. <...> ярко горят на солнце его песчаные отмели. Еще ярче сам он, эта бесконечная лента, в которой отразились и солнце, и голубое безмятежное небо, и “златоверхий” красавец-город. И все это в перламутровой дымке утреннего тумана...» [Филиппов: 70]. Как видим, гипертрофированная масштабность днепровского топоса усилена параллелизмом «необъятных» полей и «бесконечной» реки. Здесь мы имеем дело с синкретичным (в смысле слияния городского и речного пространств) образом идиллического Киева как квинтэссенции, по определению Н. И. Греча, «пиитической Малороссии» [Греч: 191]. Поэтизм придает киевской репрезентации и в гречевском, и в филипповском текстах долю ониризма и ирреальности, усиленную мотивом затрудняющей визуальность туманной дымки¹, связанной с речным топосом («перламутровая дымка утреннего тумана» [Филиппов: 70]; «синее что-то похожее на туман над рекою» [Греч: 190]). Далее мотив живой картины еще более усилен Филипповым, обозначающим панорамное описание реки и города как «картину»² и «один гармонический пандан», то есть парную картину, изображения которой связаны друг с другом: «Высокий ли откос берега, сплошь убранного кудрявою зеленью, с золотыми верхушками церковей и пестрядью городских построек, или величавая река с ее островками и капризными изгибами усиливают прелесть картины, — не определишь. <...> то и другое сливается в один гармонический пан-

¹ Туман есть одновременно и днепровская реалья, и часть пиитического начала. Эта проникнутая экспрессивной эстетикой двойственность балансирующего на грани реальности и фантазии образа тумана подчеркнута и в сцене отплытия из Киева: «Прозрачный туман играет над ним опаловыми переливами и все больше его заволакивает. Киев словно тает в этой дымке. Но пока он еще виден во всей своей прелести» [Филиппов: 95].

² Ср. также с определением в финале произведения: «прелестная панорама малорусской реки» [Филиппов: 123].

дан» [Филиппов: 70]. Оба топоса — Киев и Днепр¹ — также маркированы мотивом привлекательности, выраженным одним и тем же словом «красавец»: «город-красавец» [Филиппов: 70] и «красавец», «который раскинулся <...> у ног «стольного города» [Филиппов: 91–92]. Мотив масштабности имплицитно актуализирует положительный мотив простора/воли: «широкое приволье» [Филиппов: 73, 91], «безграничная площадь днепровского приволья» [Филиппов: 89]; «вода, прокатившаяся “без конца в длину”» [Филиппов: 123] (последнее определение содержит цитату-отсылку к гоголевской репрезентации реки). С масштабностью связан и маркер мощи реки: Днепр, «который раскинулся во всю мощь свою» [Филиппов: 91–92]. Мотив же привлекательности днепровского топоса контаминирован с мотивом визуальной причудливости / прихотливости речного русла: «причудливо вьется»; «капризные изгибы» [Филиппов: 70]; «вьется капризными зигзагами» [Филиппов: 96]. При этом причудливость актуализирует и мотив чуда/очарования в рамках гоголевского образа «чудного» Днепра: «чудно <...> на этих берегах»; «чарующая прелесть украинской реки, воспетой великим поэтом-малороссом»² [Филиппов: 123]. Мотив чуда речного пейзажа реализован и в характеристике киевского железнодорожного моста через Днепр, «чуда русского инженерного искусства» [Филиппов: 70]. С водным ониризмом связан также мотив зеркальности/стеклянности³, усиливающий двойничество созерцаемого нарратором мира: «лента, в которой отразились и солнце, и <...> небо, и <...> город» [Филиппов: 70]; «зеркальная поверхность Днепра»; «будто остеклевшая река» [Филиппов: 96]; «зеркальная гладь» [Филиппов: 123]. Как пи-

¹ Взаимоуподобление Киева и Днепра приводит к переносу водных метафор на городское пространство как в антропоном («живая волна уличной жизни» [Филиппов: 88]), так и ландшафтно-архитектурном («поток завертевшихся в бешеном вихре дорожек и тропинок сбегает к берегу» [Филиппов: 91]) измерениях.

² Последняя характеристика относится не к киевской, а екатеринославской части Днепра.

³ Заметим, что актуализация мотива зеркальности/стеклянности эксплицитно опирается и на гоголевский текст, который в виде прямой пространной цитаты введен Филипповым в концовке травелога для характеристики Днепра как «вылитого из стекла», «будто голубая зеркальная дорога» [Филиппов: 123].

шет Г. Башляр, отражающая вода «служит для натурализации образа», придачи ему «чуть-чуть невинности и естественности» [Башляр: 44]. В нашем случае в двойном образе города-реки второй элемент сообщает первому большую степень природности и идилличности. С пространством идиллии Днепровский топос связан также посредством мотива покоя/сна/тишины/мира: «манящая тишь» [Филиппов: 92]; «он <...> навевает какое-то дремотное состояние. Своего рода сон <...> Вся палуба — какое-то сонное царство» [Филиппов: 96]; «тихий вечер <...> над Днепром» [Филиппов: 106]; «Сколько благоговейного мира в ее зеркальной глади, такой ровной и чистой, дышащей торжественною тишиной и кротким покоем!»; «спокойная вода»; «И мирно, <...> и жизнерадостно <...> на этих берегах» [Филиппов: 123].

Наряду с речным пространством, в филипповском тексте ярко проявлен природный идиллический топос неба, причем в тесной связи с рекой. Дело в том, что хронотоп травелога акцентировано организован не только горизонтально (по оси Днепра), но и вертикально, образуя пространственную триаду «река – город – небо». Особенно четко это прослеживается в репрезентации стоящего «на горах» Киева. В то же время мифологическое членение на верхний, средний и нижний миры здесь слабо проявлено. Как относительно горность Киева, чьи горы — это холмы, так и небесный топос Малороссии ближе к земному началу и, по сути, стремится слиться с речным. Последний в рамках киевского и екатеринославского пространств маркирован идилличностью, не имеет хтонических признаков. Соответственно, в мифопоэтическом плане можно говорить, что значительная часть описываемого Филипповым пространства естественно-архаична и синкретична, в ней небо не отделено от земных вод. Это, напомним, в целом согласовывается с «райскими» коннотациями, присущими репрезентации Малороссии в русской словесности XIX в. Недоотделенность «хлябей земных и небесных» актуализирована в связи с упоминаемым выше мотивом водной зеркальности. Небесный топос, не только маркирован тем же мотивом покоя/безмятежности, что и речной, но и отражен в нем до частичного слияния пространственных верха и низа как сжатия хронотопа по вертикали, соединения воздушного и водного ониризма (вода «скрешивает образы, по Башляру [Башляр: 85]): «кроткое небо» [Филиппов: 69]; в «бесконечной ленте» реки «отразились и солнце, и голубое безмятежное небо» [Филиппов: 70]. Помимо

солярного, дневного варианта, топос неба представлен лунарным образом, сливающимся с речным пространством: «Встал месяц, и все светлее его золотистый диск. <...> Впереди дрожащую серебряную сетью стелется Днепр. Точно искорки, загораются на нем лунные перекиды...» [Филиппов: 106]. Здесь небесный свет явственно перенимает свойства льющейся/струящейся воды: «деревенская церковка, вся залитая задумчивым сиянием месяца»; «сияние», «что струится сверху» [Филиппов: 106]. Ночной пейзаж, лишенный дневной четкой визуальности/определенности, актуализирует внутренний водный ониризм, когда струям уподобляются «дорогие воспоминания, милые образы»: «они тоже струятся в душе»¹ [Филиппов: 106]. Выраженность мотивов слияния идиллических небесной высоты и речной глубины достигает кульминации в финальной сцене, где «покров кротко-голубого неба» «отражается в спокойной воде»: «Тихое, ясное небо задумчиво-меланхолически ширится и уходит все глубже... Золотые полосы лениво двигаются на воде... Как молния, прорезывает воздух белая чайка, поймавшая рыбу и снова исчезнувшая в тихой голубизне...» [Филиппов: 123]. Кроме того, малороссийское небо² сближается не только с днепровским, но «срединым», прежде всего киевским пространством: «Киев весь построен из такого кирпича и этот желтоватый камень

¹ Экспрессивная эстетика этого ониризма заставляет нарратора, не справляющегося с эмоциями, заговариваться, когда «убаюкивающая прелесть» «красоты» «чудного вечера» (на «чудном Днепре», напомним) оксюморонно «будит смятенную душу» [Филиппов: 106].

² О тесной связи речного и небесного пространств в травелоге свидетельствует и то, что текст «На воспетой реке» входит в сборник «Под летним небом». Кроме того, важность небесного топоса для характеристики малороссийского пространства подчеркнута, например, в названии вышедшего на рубеже XIX и XX вв. травелога «Под ясным небом Малороссии» С. С. Евсеенко. Мотивы ясности и кротости небесного топоса идиллической Малороссии мы обнаруживаем еще в сентименталистском тексте П. И. Шаликова: «Милая, бесценная Малороссия! под твоим кротким, ясным небом питалась душа моя и сердце первыми сладостями любви и дружбы» [Шаликов: 41]. Подобное филипповскому сочетание образов Днепра и неба с ониризмом мы встречаем и в романтическом тексте о Екатеринославе А. Ф. Воейкова: «глядел на высокое, голубое небо, слушал сладкой шум реки, наслаждался ясно-тихою погодою <...> Воображение мое воспламенилось благородными воспоминаниями, величием природы, чудесными событиями» [Воейков: 120].

так мягко гармонирует с зеленью, небом и солнцем...» [Филиппов: 71]; «На фоне этого милого неба естественна улыбка [киевлян — С. Ж.]» [Филиппов: 87].

Впрочем, репрезентация Днепра не ограничивается одним идиллическим началом. Часть пути от Киева до Кременчуга характеризуется антиидиллическостью посредством мотивов обезлесения и обмеления, то есть возрастания энтропии из-за человеческого вмешательства (по сути, перед нами картина оскверненного рая¹): «Мели на Днестре появляются все чаще. Они вырастают совершенно неожиданно <...> Приднепровье не отстало хищническом истреблении лесов от остальной России. С изменением вследствие этого климатических условий изменилась и эта артерия, столь важная в экономической жизни двух огромных районов. <...> нынешний Днепр далеко не то, чем он был когда-то: так он обмелел за последние годы» [Филиппов: 97]. Соответственно, остранению / отрицанию подвергается образ идиллической реки и, в частности, гоголевский мотив чудного Днепра: «Вспомните хотя бы описание его Гоголем, которое так и дышит величием и мощью. <...> то и другое было непосредственным впечатлением, полученным на месте. Далеко не то теперь...» [Филиппов: 97–98]; «И это ли тот величавый Днепр, что отразился в чудных строках великого малорусского поэта?!» [Филиппов: 116]. Если с идиллическим Днестром связаны мотивы покоя и жизнерадостности, то с антиидиллическим — упадка, смертности и печали: «печальная будущность» [Филиппов: 97], «река, которая словно умышленно обрекается на гибель» [Филиппов: 98]. Характерным образом по мере перехода нарратора во время плавания на пароходе из идиллии в антиидиллию снижается и степень эстетичности пространства. Сначала позитивный мотив привлекательности смешивается с негативными мотивами ординарности и скуки (идиллический Днепр, напомним, прихотлив и оригинален): «Красиво, но однообразно и скучно. <...> К нему [Днестру — С. Ж.] быстро привыкает глаз» [Филиппов: 96]. Затем при попадании в антиидиллию, маркируемую локусом «зловещих песков» (дюн, мелей) [Филиппов: 110], привлекательность превращается в ан-

¹ В еще большей степени образ оскверненного рая Малороссии выражен в травелогЕ Евсеенко через мотивы обезлесения и опустынивания земель в пространстве Черниговской губернии.

типпривлекательность, а мотивы однообразия и скуки усиливаются, к ним добавляется пустыньность и мортальность: «Мели, мели без конца. Унылый и скучный путь. Пустынные берега, однообразные и некрасивые. Томительная безжизненность остеклевшей реки...» [Филиппов: 116].

Также наблюдаются отдельные элементы фактографического (экономико-географического) описания реки, касающиеся длины, площади Днестра, территорий, который тот соединяет.

Наконец, четвертым вариантом топоса Днестра выступает образ опасной/страшной реки в рамках описания Екатеринославской губернии: «начиная от Кременчуга, появляются каменные мели и подводные камни. Самые страшные из них заборы, т. е. каменные гряды, пересекающие реку во всю ширину с небольшими перерывами, где могут проходить суда. И, наконец, страшилища — пороги, судоходство по которым возможно лишь при полной воде и то с огромнейшим риском...» [Филиппов: 99]. Наряду с мотивами препятствия и страха данные локусы отмечены inferнальностью, хаотичностью, безумием, масштабностью, и одновременно смелостью, необходимой для их преодоления: «летом <...> при сильном спаде вод порожистая часть страшна. Весной — это целый ад! Недаром некоторые из порогов носят такие внушительные названия, как, напр., “Ненасытец”. Именно, ненасытное, алчное, страшное это место на Днестре...» [Филиппов: 119]; «Каменные острова и верхушки скал поднимаются в грозно-картинном беспорядке. Между ними <...> стремится обезумевшая река. Гигантские гряды гранита протянулись в разных местах <...> Они идут иногда на протяжении версты. И чем дальше, тем грознее становится общая картина. Хаос воды и камней вступил в страшную дьявольскую схватку и не может успокоиться ни на секунду. Перед вами безумная оргия, дикая, бессмысленная и в то же время потрясающе величавая в своих чудовищных порывах» [Филиппов: 121]; «дико-величественная картина» (актуализация мотива живой картины) [Филиппов: 122]; «Проход через пороги и в настоящее время — безумная смелость, где главную роль играет русское “авось”» [Филиппов: 120]; местные лоцманы, «опытные и смелые люди», «прямые потомки героев-запорожцев», проявляют «отвагу и геройство», совершают «чудеса смелости, находчивости и бесстрашия» [Филиппов: 122]. В описании порогов актуализированы элементы романтического нарратива в рамках «борьба при-

роды и человека» [Филиппов: 122], поэтому неудивительно, что здесь «пиитическая» Малороссия проявляется в иной своей ипостаси — не идиллической, а легендарно-исторической, тесно связанной в том числе с мотивом казацкости, отсылающим к пространству исторической памяти Запорожской Сечи как особого варианта малороссийскости. Изображение пространства днепровских порогов также эстетизировано, но мотив их привлекательности зиждется на иных, неидиллических принципах. Это красота дикой природы, хаоса, не затронутого упорядочивающей антропностью, а не облагороженная природа сентименталистского дискурса: «Тут необыкновенно красивы берега Днепра. Целые ряды скал в несколько десятков сажень вышины громоздятся в дико-эффектном порядке» [Филиппов: 121].

Как неоднороден образ Днепра, так гетерогенны и урбанистические топосы в филипповском травелоге. Их можно условно представить в виде оппозиции «Киев — иные города Малороссии и Новороссии». Именно киевское пространство описано экспрессивней и подробней, хотя и не содержит упоминания множества реалий, которыми изобилуют репрезентации данного города в измайловском, левшинском, долгоруковском или ждановском текстах. В этом текст Филиппова скорее ближе к репрезентациям Киева в произведениях Греча и Погодина, где дается обобщенный образ городского пространства с выделением небольшого ряда локусов, интересующих нарратора.

Ядром репрезентации Киева, как и Днепра, выступает идиллическое начало, в котором ярко выражен демиприродный элемент. Помимо вышеупомянутых общих панорам города-реки, он представлен описаниями киевских окрестностей. Как соединение антропного Киева и природного Днепра эксплицитно отмечено мотивом гармонии, так имплицитно им же маркировано путешествие по железной дороге через лесное пространство, которому также свойственны мотивы уюта, свежести, чистоты, света, радости, наполненности жизнью, а также театральности, аналогичной мотиву живой картины в иных фрагментах травелога: «С обеих сторон мелькают живые декорации, полные уюта и свежести. Что ни уголок — веселая картинка, вся из зеленых красок, чистых и блестящих, как это смеющееся утро Малороссии. Жизнь кипит и брызжет кругом <...> Косые светлые лучи пробились сквозь листву, золотят дорожную насыпь» [Филиппов: 69]. В этой сцене природное и антропное (техносферное) начала не противопоставлены

друг другу¹, а соединяются вместе, подобно образам Днепра и Киева: «Птичьи голоса несутся вместе с однообразным громоуханием поезда и будто купаются в благоуханном воздухе <...> То там, то сям цепляются за сучья клочки паровозного дыма»; «из-за зелени белеет что-то напоминающее арку» (мост через Днепр перед Киевом) [Филиппов: 69]. Здесь же актуализирован мотив кротости небесного пространства, который мы встречаем при репрезентации речного топоса: «Сверху глядит кроткое небо» [Филиппов: 69]. Кроме того, в качестве «дачных центров» обозначены две ближайшие к городу железнодорожные станции «Боярка и Мотовиловка», тонущие «в ароматной густоте соснового леса» [Филиппов: 90]. Привлекательностью отмечены также иные «красивейшие окрестности» Киева, «привлекательные пункты для увеселительных путешествий»: «Китаевская и Голосеевская пустыни, Выдубицкий монастырь, хорошенький хутор Кинь-Грусть и др.» [Филиппов: 90]. Особо выделены в киевской репрезентации демиприродные локусы внутри города, маркированные мотивами наполненности жизнью, веселости, привлекательности: «стройные тополи Бибиковского бульвара» [Филиппов: 71]; «Бульвары и сады наполняются шумной, болтливой, смеющейся толпой»; «поток этой общественной веселости»; «ласковые красоты»; с «бульвара около памятника св. Владимиру» «открывается один из незабываемых видов на Подол» [Филиппов: 89]. Помимо этого, мы встречаем в Киеве «столько зелени» [Филиппов: 72] и «зеленеющие “гориньки”» [Филиппов: 73], «густо зеленый горный скат»; «остроконечные крыши беседок» среди «“темной зелени” аллея» [Филиппов: 95], локусы сада минеральных вод, дворцового сада и Шато де-флер. Единственный, по-настоящему травестийный образ демиприродного локуса представляет описание «увеселительного садика» на Турхановом острове [Филиппов: 90]. Хотя переезд туда через Днепр назван «очень милым» [Филиппов: 89], в целом это место глоттонических наслаждений и разгула простонародья из Подола; также в его описании отсутствует мотив привлекательности и отрицается сам признак «садовости» места: «Сада в настоящем смыс-

¹ Ср. с травелогом Евсеенко, где техносфера уменьшает «пиитчность» пространства: «нынешняя Малороссия, прорезанная железными дорогами и изрытая всевозможными копиями, мало уже в чем напоминает былую ее историю, бывшее время гетманщины, татарских набегов и даже склад самой жизни» [Евсеенко: 48].

ле <...> нет. Вместо него большой огороженный “загон”, где выстроено несколько барачков, между которыми развешаны для просушки принадлежности обиходного туалета местных сторожей. <...> Сюда ездят пожирать днепровских раков, пить пиво и поднимать дым коромыслом» [Филиппов: 90].

Мотивом привлекательности отмечены, конечно, не только демиприродные локусы, но и иные киевские места и город в целом: «красавец-город» [Филиппов: 70]; «Праматерь городов русских” отсюда поэтично-красива»¹; «двойной ряд красивых зданий, выстроенных <...> с большим вкусом» [Филиппов: 71]; киевляне создали «на своих горах такую прелесть. Широко, грандиозно, художественно. Вкус на каждом шагу. Улица и ее толпа представляют необыкновенно стройный ансамбль ярких красот»; «Киев красив своими многочисленными садами, местоположением, видами. Это на все вкусы, и для художника-пейзажиста богатейший материал»; «Нигде не встретишь <...> таких картин и видов» (вновь мотив города-живой картины²) [Филиппов: 72]; «Трудно оторваться от этой прелести, которая всюду перед вами, куда ни обернетесь» [Филиппов: 73]. Как и в образе Днепра, мотив привлекательности Киева связан с мотивами прихотливости/неординарности, а также мирности, то есть высокой степени идилличности пространства: здания, выстроенные «оригинально» [Филиппов: 71]; «оригинальные местечки»; «глаз отдыхает среди милых капризов киевского ландшафта, в котором так много мягкости и мирной поэзии» [Филиппов: 72].

При общей привлекательности Киева выделены два ее локальных варианта. Один представляют «щегольской Крещатик и другие улицы верхнего города» [Филиппов: 73]. Это пространство также маркировано мотивами простора и масштабности («Когда вас привезут на Крещатик

¹ Репрезентация Киева отличается и феминностью (в ее малороссийско-польском изводе). Его пейзажные панорамы сравниваются с «разноцветным праздничным венком на головке хорошенькой “дивчины” с ласковыми “карыми” очами» [Филиппов: 71]. Также город обозначен «рассадником женской красоты» [Филиппов: 88]. Киев не только есть антропоное пространство, но и приобретает антропоморфные черты: «сколько приветливости и ласки в этом взгляде, которым встречает вас Киев» [Филиппов: 71].

² Ср. также с авторской ремаркой о Киеве как городе быстро меняющихся пейзажей: «Ландшафт уступает место жанровой картинке и открывается там, где его вовсе не ожидаешь» [Филиппов: 74].

<...> вы невольно залюбуетесь простором, монументальностью и красивым оживлением этой улицы»; «Все — изрядно и привольно» [Филиппов: 72]; «столько простору» [Филиппов: 73]), а также веселья, роскоши, пестроты и движения («шумная пестрота Крещатики»; «калейдоскоп уличного движения, общественная сутолока труда и развлечений» [Филиппов: 85]; «Киев один из оживленнейших русских городов <...> оживление <...> коренится <...> в той нервной приподнятости, которая лежит в основе малорусско-польского темперамента <...> киевский пульс бьется быстрее <...> И быстрота эта нормальная, т. е. здоровая» [Филиппов: 86]; «Вечером Киев принимает совершенно праздничный вид» [Филиппов: 88]. Мотив здоровья, очевидно, проистекает из мотива естественности, природности киевского пространства. Ср. со сходной характеристикой киевской красоты: «Киевская масса <...> красива. И эта красота — здоровая, т. е. рослая, сильная» [Филиппов: 88]. Этот преизбыток здоровой телесности, с другой стороны, соотносится с недостатком «киевской нравственности», которая «не считается безупречной» [Филиппов: 88].

Идиллически-архаическая естественность города (как квинтэссенции «райской» Малороссии) сгущена в рамках локуса Подола и изображена нарратором через призму гоголевского текста: «Гоголевский Киев встанет перед вами во всей его опозитизированной наивности» [Филиппов: 73]. Как и Погодин относительно Миргорода, Филиппов, смешивая действительность с литературной реальностью, подчеркивает частичную ахронность города, сохраняющего неизменным «анклавы» прошлого в своей «старой части»: «остатки старины» [Филиппов: 73]; «Александровская [площадь — С. Ж.] живо напоминает страницы “Вия”, где описываются похождения трех знаменитых бурсаков. Сама бурса здесь же. От этого дома веет стариной, и едва ли он изменился хоть немного со времени пребывания в нем Брута и Халявы» [Филиппов: 73]. Здесь малороссийская идилличность представлена в юмористическо-травестийном изводе, также берущем начало в гоголевском тексте, что ярко проявлено в экфразисе статуи на Александровской площади как малороссийского эрзаца библейского сюжета: «Перл этой площади — фонтан “Самсона и лева”¹. <...> ре-

¹ Для усиления комизма и одновременно акцентирования его малороссийского «колорита» Филиппов подчеркивает, что приводит «народное название» фонтана [Филиппов: 73].

зервуар <...>, украшенный деревянной статуей какого-то голого человека, проделывающего непонятный эксперимент с неизвестным животным. Последнему недостает <...> лишь подписи: “Се лев, я не собака”. Какой-нибудь кузнец Вакула выкрасил эти изваяния масляной краской, и они стоят <...> во всей своей откровенной красоте» [Филиппов: 73]. Эта часть Киева также отмечена свойствами, противоположными парадности верхнего города: узостью, маломасштабностью, грязью: «Узкие переулки, низенькие дома, грязные-прегрязные площади» [Филиппов: 73].

Впрочем, Киев в целом маркирован мотивом древности («праматерь городов русских» [Филиппов: 71]; «древний город» [Филиппов: 95]), причем теснейшим образом связанным с мотивом сакральности, то есть мы имеем дело со святой древностью в двух вариантах — высоким (историко-легендарном) и низким, народно-малороссийском. Подобной амбивалентностью характеризуется, например, репрезентация локуса Печерского монастыря и Софийского собора. С одной стороны, лавру маркируют мотивы мистичности, строгости, самоотречения, масштабности, значимости: «Киевские святыни действуют вообще обаятельно. Их величаявая сила чувствуется каждым одинаково. <...> нельзя <...> не испытывать мистического трепета под этими массивными сводами, где царит сыроватый полумрак, с необыкновенною резкостью выдвигающий строгие лики подвижников. <...> Оно [впечатление — С. Ж.] достигает апогея в пещерах, где вы перестаете принадлежать себе, — слишком грандиозна и необычна эта обстановка <...> Тут что ни пядь — религиозная и государственная история родины» [Филиппов: 75]. Данный локус также изображен как общерусский, что метонимически переносится на образ всего города: «Не мудрено поэтому, что Киев так много говорит чувству русского человека» [Филиппов: 75]. С другой стороны, Филиппов приводит травестийно-острающую сцену, когда простые малороссияне-богомольцы принимают за святые изображения фрески на стенах лестницы Софийского собора, «изображающие княжеские забавы» и не имеющие «ничего божественного: бытовые сцены, игры и т. п.»: «это нисколько не мешает набожным паломникам благоговейно прикладываться к какому-нибудь диковинному зверю или целовать сапог у малого, взбирающегося на столб, по-видимому, за каким-то призом... Религиозное чувство малоросса не рассуждает: в святом месте — все

святое» [Филиппов: 75]. При этом, как уже отмечалось, Филиппов не описывает сакральные места подробно, ограничиваясь общими впечатлениями и оправдывая лаконичность своих описаний тем, что «религиозные и исторические памятники Киева» «всем отлично известны» [Филиппов: 75]. Единственный локус, изображенный подробней, — собор Св. Владимира. Причем его репрезентации из-за недостроенности храма характеризуется остранением посредством мотива смешения времен: «Этот памятник, назначение которого — напоминать прошлое, однако, исполнит свое назначение лишь в будущем» [Филиппов: 76]. Кроме того, акцент сделан не на сакральности места, а на живописности его росписи, что в целом согласуется с вниманием Филиппова к образу картин в травелог. Соответственно мотив смешения касается не только темпоральности (прошлого, настоящего и будущего храма, поскольку он существует пока «лишь как эскиз, далеко еще не оконченный» [Филиппов: 76]), но и культур в форме двух манер иконописных начал — «русского»¹, византийского в основе», представленного фресками В. М. Васнецова, и «западного», итальянского, за которое отвечает Сведомский [Филиппов: 76]. Этот второй вариант мотива смешения также представлен как остранение привычного порядка вещей: «на первых порах недоумеваешь над странным дуализмом стилей, замечаемым в живописи стен» [Филиппов: 76]. В целом при описании строящегося собора акцент сделан на эстетику: «Снаружи собор величествен и стройно-красив» [Филиппов: 76]; «Внешний вид собора если и не поражает грандиозностью, зато внушительно красив» [Филиппов: 77]; «ряд великолепных холстов русского гения, <...> прекрасный памятник их творцам»; «я так и замер от восторга: такая красота, чарующая, приковывающая, и такая правда выражения благоговейного страха» (об одной из васнецовских росписей); «Холсты Сведомского — талантливые картины, и одна из них <...> положительно прекрасна» [Филиппов: 77]. Эта эстетичность, однако, несколько снижается рациональным мотивом дешевизны (постройки): «вся эта красота будет

¹ Основной акцент сделан на русскости локуса: «Он будет достойным памятником первому русскому христианину, а главное, явится первым из современных наших храмов, где не только наша себе приют, но и пышно расцвела русская религиозная живопись» [Филиппов: 77].

стоить гроши. Весь храм совсем обойдется около 700 тысяч рублей!» [Филиппов: 75].

В заключение мы можем констатировать, что образ Владимира как «первого христианина» — эксплицитно единственный из киевской персониферы, относящейся к пространству исторической памяти (в его сакральном варианте), который упомянут в филипповском тексте. Связанный с этим образом локус памятника актуализирован в сцене отъезда из Киева и фиксирует священный статус города, в том числе через прямую цитацию «Повести временных лет»: «черная статуя “первого русского христианина” величественно поднимается над городом и словно осеняет своим крестом <...> “Яко на сих горах воссияет¹ благодать Божия, имать град велик быти”, — припоминаются вещие слова летописи» [Филиппов: 95–96]. Эта цитата косвенно вводит также другой важный для сакрально-исторического пространства Киева образ Андрея Первозванного.

Что касается киевской антропности, то она в филипповском тексте гетерогенна, а ее характеристика амбивалентна. Мотив объединения разнонациональных черт актуализирован лишь в образе киевлянки, которая есть «счастливое сочетание», смесь польского и малороссийского элементов: «Полька отразилась в ней красивым задором своего темперамента, малорусская женщина внесла пышный расцвет почвен-

¹ Образ мистического сияния благодати Божьей соотносится в изображении “реального” Киева в филипповском травелоге с (золотым) светом летнего солнца, которое отмечает нарратор в сценах прибытия и отъезда из города: «Косые светлые лучи пробились сквозь листву, золотят дорожную насыпь или дрожат горячими пятнами на стволах деревьев» [Филиппов: 69]; «Подол — яркая мозаика разноцветных крыш. Она сверкает на солнце, как золотая. И весь воздух пронизан золотом жгучего утреннего солнца» [Филиппов: 95]. Впрочем, образ солнца в тексте амбивалентен. Вторая его ипостась связана антиантропностью, жжением, безжалостностью, кошмаром, ослеплением: «Июнь и июль — невыносимое время в Киеве. “Благодатное” [закавычивание эпитета означает травестию идиллического начала — С. Ж.] солнце Малороссия становится безжалостнее день ото дня. Это уже не ласковая мягкость украинской весны <...> Наступает тяжелая, страдная пора здешних жаров <...> Небо нависло тягостным кошмаром, пышет зноем отовсюду, <...> пребывание здесь делается противным» [Филиппов: 91]; «нестерпимый блеск» [Филиппов: 96]; «Знойный, словно застывший воздух и жгучее солнце» [Филиппов: 116].

ной красоты, где “карие очи и черные брови” <...> Получилась престная амальгама» [Филиппов: 88]. В остальном же, если не брать образы уличных толп, в киевском пространстве действует принцип разделения/несмешивания¹ триады «польскость – еврейскость – малороссийскость»: «Киев одною стороною своего населения тяготеет к Варшаве, другою — к Одессе. К первой обращены взоры польского элемента, к последней — еврейского. Это два наиболее видные начала этнографической помеси Киева. <...> он малорусско-польско-еврейский город» [Филиппов: 81]. «Относительная конгломератность киевского населения <...> не служит развитию местной общественной жизни. Вы замечаете <...> резкие деления киевлян по национальностям². Малороссы — одно, поляки и евреи — каждые сами по себе. <...> У нее [общественной жизни — С. Ж.] недостает средних кружков, необходимых для незаметного перехода от одной к другой» [Филиппов: 83]. При этом, по наблюдению Филиппова, малороссийский элемент киевского пространства проявлен слабее по отношению к другим: «Собственно малорусское влияние не очень значительно в Киеве»³ [Филиппов: 81–82]. Характеристика данного начала типажна и базируется на представлении о естественности малороссов с налетом романтической этнографичности, своего рода русского «ориентализма», а также локализована отдельными «малороссийскими анклавами» (площади старого Киева, базары, церкви): «Киевский жанр пестр, наивен и колоритен. От него веет какой-то ребяческой искренностью и теплотой. Я подра-

¹ Аналогично вышеупомянутые «русский» и «западный» стили характерны для собора Св. Владимира без «каких-нибудь переходов и слияний» [Филиппов: 76].

² Если опираться на текст Филиппова, можно засвидетельствовать провал одного из имперских проектов, по которому, как писал Погодин, Киев должен был уравнивесить «западное» влияние Польши и стать форпостом-центром русскости на западных границах государства: «Важность политическая Киева несравненно еще выше: это существенное средоточие между Великой Россиею, Малороссией, Новой Россиею и Польшей. Польские эмигранты ничего так не боятся, как возвышения Киева» [Погодин 1844: 167].

³ Ср. с наблюдениями Греча о немалороссийскости Киева: «Я воображал, что приеду в город малороссийский: вместо того очутился посреди истинной Великороссии. Везде говорят чистым русским языком. Изредка послышится эге, которым Малороссияне заменяют да» [Греч: 197].

зумеваю исключительно народную малорусскую толпу. С ней то и дело соприкасаешься в отдаленных частях города, на базарах, площадях и особенно в церквях» [Филиппов: 74].

Тот же принцип разделения главенствует в социальном членении: «Киевское общество подразделяется на высшее и низшее. Первое состоит из польских магнатов, местных богачей-землевладельцев, финансовых тузов и лиц, группирующихся около генерал-губернатора. Второе — киевляне вообще. Среднего круга нет» [Филиппов: 83]. Как Киев в целом описывается нереализованным пространством объединения, так сходное значение имеет локус его университета, лишь ограниченно влияющего на общественную жизнь и маркированного мотивов самозамкнутости: «Киевская *alma mater* скорее замкнута и не имеет большого влияния на город» [Филиппов: 83].

Вообще, одним из лейтмотивов репрезентации Киева — его сравнение с иными городами Российской империи: Петербургом, Москвой, Варшавой, Одессой и Нижним Новгородом. Последний выделим особо, поскольку отец Филиппова был нижегородским купцом, так что Нижний особенно превозносим автором¹. Часть сравнений нацелена на подтверждение столичности Киева, названного в тексте пусть и в кавычках «стольным городом»: «Ваше первое впечатление к выгоде “стольного города”» [Филиппов: 72]; «положение “стольного города” между двумя последними [Варшавой и Одессой — С. Ж.] не может оставаться для него бесследным» [Филиппов: 81]. Отметим сначала черты сходства. Киев похож на Москву по признакам количества соборов («город соборов» [Филиппов: 77]), масштабности и хаотичности городской застройки, а также сакральности и историчности (Киев «отчасти напоминает» Москву [Филиппов: 77]; «Киев напоминает Москву некоторой путаницей своего расположения, ширью и простором стройки большинства домов, своими святынями и бесчисленными историческими памятниками» [Филиппов: 80]). Во внимании Киева к Одессе (негласной столицей Новороссии) и подразумеваемой конкуренции с ней автор видит аналогию с «отношениями» «между

¹ Этим филипповский текст напоминает тревелог Долгорукого, где Киев и иные малороссийские и новороссийские города сравниваются с великоросскими населенными пунктами, прежде всего Москвой и Владимиром, маркированных автором как пространство Своего [Жданов 2024d: 246].

Петербургом и Москвой»: «Одесса несомненно влияет на склад киевской жизни» [Филиппов: 81]. Частично копирует Киев и Варшаву: «По складу своей жизни Киев близко подходит к Варшаве и Одессе» [Филиппов: 80]; «Польский элемент неразрывно связан с Варшавой, дающей тон польской колонии, в свою очередь, усердно отражающей его здесь» [Филиппов: 81]; «Близость Варшавы и Одессы очень часто называется вкусом и последним словом моды» [Филиппов: 87]. В меньшей степени нарратор отмечает сходство Киева с Петербургом, сравнивая Крещатик и Невский проспект. Так, сначала данный киевский локус обозначен как «Невский проспект Киева» [Филиппов: 71]. Кроме того, Филиппов указывает на «довольно отдаленное сходство» города «с Петербургом в его центральных частях, например, Крещатики» [Филиппов: 80].

В то же время в филипповской репрезентации ярко выражен мотив превосходства Киева над другими городами. По любви к хождению на богомолье он «доминирует» «над Москвой» [Филиппов: 75]. По признаку оживленности / естественности уличной толпы и, напомним, ее здоровья Киев отличается от Москвы и тем более от маркируемого болезнью Петербурга¹: Крещатик «имеет более оживленную физиономию, нежели казенная суতোлка Невского» [Филиппов: 80]; «киевский пульс бьется быстрее, нежели <...> в Петербурге и Москве. <...> Здесь почти не встретишь таких деревянных лиц, как у нас. <...> На фоне этого милого неба естественна улыбка, но трудно себе представить геморроидальную гримасу Петербурга <...> на лицах ни у кого не прочтешь проклятие часу своего рождения, как это нередко можно заметить на Невском» [Филиппов: 87]. Столичность Киева, объясняемая близостью к западной Варшаве и торговой Одессе, проявляется во внимании к моде и, соответственно, в непохожести «на другие русские губернские города» [Филиппов: 87]. При этом в плане интеллектуальной жизни Киев отмечен превосходством над Одессой: «присутствие университета» [Филиппов: 83] «более чувствуется, нежели в Одессе, где между университетом и городом, по понятной причине, нет ни ма-

¹ Ср. с оппозицией «идиллическая Малороссия — болезненный большой мир» в тексте Евсеенко: «Приходилось <...> отправляться снова туда, где все переполнено мелкими заботами, служебными дрызгами и той болезненной нервностью, слывущей под именем психоза» [Евсеенко: 49].

лышей связи. Киевский университет <...> все-таки пускает в местное общество струйку света и тепла. Одесский же слишком одинок среди торговых конторок гешефтмахеров и различных чужестранных пришлецов» [Филиппов: 84]. Автор подчеркивает положительно маркируемую здесь неторговость¹ Киева в сравнении с его новороссийской “конкуренткой”: «Это <...> не торгашеская толчея Одессы, доводящая до потери сознания тамошних гешефтмахеров. Киев — город не торговый» [Филиппов: 86]. Наконец, здесь слабее, чем в Одессе, выражена сатирически характеризующая еврейскость: «Евреи, составляющие в Одессе все, здесь не имеют такого разительного влияния на местную жизнь» [Филиппов: 86].

Главный же отличительный признак киевского пространства — это неоднократно упоминаемый мотив привлекательности, тесно связанный с идиллической естественностью топоса: «Ни один из наших городов <...> не производит сразу такого подкупающего впечатления» [Филиппов: 71]; «Как сравнивать плоскую мозаику Одессы с гористым, полным чисто горных красот Киевом? <...> А богатейшая растительность? а река? Но, говорят, Одесса имеет море, если даже у нее нет никакой растительности, кроме всем надоевших акаций. На это можно возразить, что река только дополняет и без того обаятельную картину расположения Киева, тогда как отнять море у Одессы — значить взять у нее все. Одесса без моря — это гладь банкирского прилавка, любезная разве лишь сердцам одесских торгашей и дельцов»; «в смысле живописности положения города, растительности и окрестностей, Киев

¹ В этом фрагменте нарратор вскользь обращается к фактографическому изображению Киева в его экономической сфере. Но это обращение играет служебную роль для акцентирования неторговости Киева, балансирующей между аристократичной щеголеватостью Варшавы и малороссийской естественностью: «С открытием железных дорог он потерял прежнее значение как центр свеклосахарного и земледельческого производств. Знаменитые когда-то “Контракты” сохранились чуть ли не номинально. Почти все, что он имеет, получается, главным образом, из Варшавы, Одессы и Харькова. Исключение — разве собственные наливки и сухое варенье» [Филиппов: 86]. Глюттонические образы наливок и варенья — атрибуты изобильно-идиллической малороссийскости. Ср. с погодинским описанием усадьбы матери Гоголя, где в частности отмечен локус «погребов с наливками, вареньями, сырами и разными произведениями Малороссийской природы» [Погодин: 159].

почти несравним ни с каким другим городом» [Филиппов: 80]. В связи с этим сравнением также актуализируются мотивы южности Киева, противопоставленные северности великоросских городов: «Ничего серого, давящего, как у нас на севере...» [Филиппов: 72]; киевские тополя — «зеленые гиганты в сравнении с чахлыми липками наших скверов и садов. Они царственно круглятся в прозрачной синеве здешнего неба, так же мало похожего на северное, как блеск персидской бирюзы на ее грубую поделку из кости» [Филиппов: 71]. Введение персидскости маркирует здесь не только южность, но и ориентальность киевского пространства. Еще один «южный» мотив, акцентирующий привлекательность Киева в сопоставлении с иными городами, — живописная прихотливость ландшафтов, не похожая на «прямолинейные перспективы нашего севера» [Филиппов: 72]. Единственное «исключение» [Филиппов: 71] в этом ряду киевских «превосходств» составляет Нижний Новгород, сравнимый с Киевом привлекательностью: «один Нижний Новгород может сделать попытку конкурировать <...> в этом отношении» [Филиппов: 80]; «только вид на Оку и Волгу из Нижегородского Кремля еще может соперничать в прелести общей картины» [Филиппов: 89].

Однако мотив привлекательности малороссийского пространства на отрезке пути от Киева до Екатеринослава, то есть вне киевского контекста, существенно уменьшается. Здесь нарратор отдает предпочтение уже волжской, а не днепровской пространственности: «Днепр — не Волга. Он — мирная панорама, но не изменчивый калейдоскоп, как последняя. К нему быстро привыкает глаз» [Филиппов: 96]; «Днепровские пристани не то, что волжские. Куда им до оживления последних!» [Филиппов: 103]; «Сборище пестрое, но ему не достает шумного оживления волжан» [Филиппов: 104]. Соответственно, в изображении местечек и городов по Днепру актуализирован традиционный мотивный ряд провинциального пространства: скука¹, ординарность, безжизненность, пыль, контрастирующие с жизнерадостной оживленностью Киева: «Везде одна и та же картина: пыльный берег, несколько повозок, две-три торговки с

¹ В пространстве Киева мотив скуки актуализирован лишь в образе киевских газет, которые как раз маркированы подчеркнутой провинциальностью: «заурядная страничка провинциальной журналистики» [Филиппов: 84]; «газеты не отличаются особенно чуткостью, слишком тяжелы и благодушно скучны» [Филиппов: 84–85].

какою-то рыбой и бубликами, хрюкающая свинья, окруженная своим семейством, кучка молчаливых хохлов и жонглирующие евреи, неистово бьющие себя по бедрам. Эта картина <...> — всегда одинаковая» [Филиппов: 104]. Типична в данном плане репрезентация Черкас, маркируемых маломасштабностью, малозначимостью, неупорядоченностью, бедностью, скукой, грязью, пылью, общей непривлекательностью: «Небольшой городишко, не имеющий ровно никакого значения, уныло возвышается на невысоком берегу. <...> через пыльную площадь виднеется месиво домишек и крытых соломою хат. Бедно, грязно, убого» [Филиппов: 100].

Несколько выделяются на общем провинциальном фоне Поднепровья описания двух крупных городов — малороссийского Кременчуга и новороссийского Екатеринослава. Общими для них являются мотивы масштабности и промышленности: «громадный железнодорожный мост», «большой город, застроенный не по обычному типу малорусских уездных городов» [Филиппов: 107]; «масса фабрик и заводов» [Филиппов: 107–108] (о Кременчуге); «большой город», «гигантская лента» «величавого моста» [Филиппов: 116], «монументальное здание» вокзала [Филиппов: 117]; «многочисленные заводские и фабричные постройки» [Филиппов: 116] (о Екатеринославе). Пространство исторической памяти в репрезентациях обоих городов выражена слабо и связано в основном с образом Потемкина. Про Кременчуг сообщается, что «он служил местопребыванием великолепному князю Тавриды и считался губернским городом» [Филиппов: 107]. В Екатеринославе «единственной отградой» назван «большой Потемкинский сад», «действительно густой и прекрасный»¹ [Филиппов: 118]. Мотив оживленности, противопоставленный мотиву безжизненности, характерному для иных провинциальных топосов Днепра, связан в обеих репрезентациях с Днестром: Кременчуг «во время навигаций обнаруживает кипучую жизнь» [Филиппов: 108]; «его [Екатеринослава — С. Ж.] пристань, после киевской, самая оживлен-

¹ Филиппов отмечает наличие при саде дворянского клуба [Филиппов: 117], но не фиксирует, что это бывший потемкинский дворец. Также не упомянуто другое знаковое историческое место города — собор, заложенный Екатериной II. Как видим, историческое пространство Екатеринослава представлено в тексте весьма слабо, не идет ни в какое сравнение, например, с воейковским текстом, упомянутым выше.

ная. Даже весело становится созерцать эту суматоху после монотонной безжизненности предыдущих остановок» [Филиппов: 116].

В целом образ Кременчуга в тексте Филиппова не отличается¹ от его репрезентации в написанном за три четверти века до того травелоге Долгорукого, если не считать идиллических черт в более раннем произведении [Жданов 2024а: 35]. Город маркирован торговостью и связанной с ней медиационностью («целые линии товарных вагонов свидетельствуют торговое значение этого места»; «важный торговый пункт» [Филиппов: 107]; «положение в центре железных и водяных путей»; «складочное место продуктов, доставляемых железными дорогами и водою из приднепровских губерний»; «Обороты <...> делает значительные»; «На всем Днепре от порогов до устья Припяти нет города богаче»; «Кременчуг с его торговым значением — естественное следствие выгоднейших условий местности. <...> Он являлся неизбежным пунктом на том “великом торговом пути”, который шел из Одессы на Москву <...> необходимым звеном большой коммерческой цепи, вязавшей Москву и Одессу» [Филиппов: 108]. Его описание тяготеет к фактографичности и относительно благожелательно.

Репрезентация Екатеринослава более негативна. Как подчеркивает нарратор, город производит приятное впечатление «только на первых порах» [Филиппов: 116]. В его изображении гораздо сильнее выражен мотив пыли. Если в случае Кременчуга им отмечена лишь пристань («та же пыль», что и на других днепровских пристанях [Филиппов: 107]), то в образе Екатеринослава это лейтмотив: «пыльное предместье»; «Пока вы доедете до первой гостиницы, вы превратитесь в какого-то мельника, потому что все время вы находитесь в облаках белой пыли. Господи, что это за пыль!..»; «жалкая растительность вся побелела от пыли» [Филиппов: 117]. Автор даже приводит цитату из травелога А. С. Афанасьева-Чужбинского середины века о здешней пыли и грязи, чтобы подчеркнуть: «пыль и грязь остались прежние. Воображаю, что бывает в городе осенью, когда идут дожди»²

¹ Как и у Долгорукого, в филипповском тексте зафиксирован мотив превосходства уездного Кременчуга над губернской Полтавой: «превзошел во всех отношениях свой губернский город» [Филиппов: 108].

² Екатеринославская грязь весьма устойчивый мотив в репрезентации города. Помимо Афанасьева, ее упоминают, например, К. П. Жуков («большие осенние и весенние грязи» [Жуков: 9]), В. М. Сидоров («неве-

[Филиппов: 117]. Екатеринослав, подобно Киеву, также сравнен с другим городом — Астраханью, но уже в негативном контексте грязи: «Я знаю в этом отношении еще другой подобный город — Астрахань, но Екатеринослав, кажется, перещеголял и ее» [Филиппов: 117]. Одним словом, репрезентация топоса весьма стандартна в рамках изображения новороссийской провинции. Наряду с мотивом грязи, здесь встречаются мотивы непривлекательности, маломасштабности, зноя, скуки, уныния/печали, пустынности: «ряд приземистых домишек вдоль линии чахлого бульварчика» [Филиппов: 117]; «город скучен, неряшлив и как-то уныло плоск. <...> тощие деревья торчат печальными метелками. Точно плачутся <...> на свою злосчастную долю. После Киева это Ливийская пустыня¹ какая-то» [Филиппов: 117–118]. В последнем сравнении актуализирована пространственная оппозиция «киевская идиллия — екатеринославская антиидиллия»². Кроме того, в филипповском травелогe зафиксированы часто встречающиеся в текстах русской словесности об этом городе мотивы типичной провинциальности, то есть заурядности места, ничем не отличающегося от других³, а также устремленной в будущее проектности, не реализованной в настоящем потенци: «Сам по себе он ничего решительно не представляет, не более как административный пункт губернии, которой предстит огромное будущее» [Филиппов: 118].

Наконец, наблюдается определенная переключка между репрезентациями Екатеринослава в филипповском и молчановском текстах. Но первая более оптимистична, обозначая город «центром шерстяной промышленности», а также «главнейшим сборным пунктом» раз-

рочная», «непролазная грязь» [Сидоров: 283]), А. Н. Молчанов («Город <...> смотрит уныло, грязно» [Молчанов: 359]).

¹ Ср. с контаминацией топосов екатеринославских степей и пустыни у Воейкова: «За Днепром, песчаная, безводная степь <...>: живое подобие знойных Африканских пустынь» [Воейков: 127].

² Зачастую Екатеринослав в русской путевой литературе XIX в. охарактеризован негативно, но есть и противоположные примеры, в частности, идиллический образ города представлен в травелогe Сидорова. Умеренно положителен и изображаемый Жуковым Екатеринослав.

³ Мотива типичности Екатеринослава встречаем, например, в жуковском травелогe: «город обставлен <...>, как и многие губернские города России» [Жуков: 8].

личных дельцов, желающих освоить «необыкновенно разнообразные природные богатства» Екатеринославской губернии [Филиппов: 118]. Конечно, характеристика этих «пионеров» «молодой губернии», то есть фронтирного новороссийского пространства, весьма трагична («Кроме огромного количества евреев, здесь встречаешь массу немцев и людей, национальность которых положительно ставит в тупик. Это пестрое общество деловитых людей вынюхивает, высматривает и выслеживает местные условия и торопится обращать их в свою пользу»), но по крайней мере связана с мотивом (будущего) развития («губерния, которой предстоит огромная роль в общей экономической жизни России») [Филиппов: 118]. Молчанов же доводит негативизм описания до гротеска, изображая Екатеринослав пространством порока, упада, смертности, лишенным всякой надежды на возрождение: «Железная дорога прошла в 30–40 верстах, начался вслед за дворянским периодом истории экономический и стала “слава Екатерины” клониться ко сну и смерти. <...> Самое ожидание <...> экономической смерти бросается в глаза везде: на немощных улицах с глубокими рвами, такими глубокими, что в них, случалось, лежали трупы людей, не замеченные по целому месяцу; на площадях и бульварах, где человеческие фигуры показываются лишь изредка, в клубах, где постукиванье карт о зеленый стол раздается громче всякого разговора, в ресторанах. Все напоминает о старом, отжившем и отживающем» [Филиппов: 359].

Таким образом, репрезентация Киева в травелоге Филиппова тесно связана с образами природных топосов, прежде всего речного (Днепра) и небесного, которые акцентируют идилличность как основной мотив изображения пространства Малороссии, опирающийся, в свою очередь, на представления о благодатной, «райской» естественности данного пространства (большей по сравнению с северным великорусским вариантом). По сути, киевская часть Днепра и сам город создают одно нераздельное целое. В этом смысле репрезентацию Киева можно рассматривать как квинтэссенцию «пиитической» Малороссии.

Кроме того, отметим установку на эстетизацию пространства, проявляющуюся в том числе в мотиве пейзажа как живой картины, который берет начало в сентименталистском нарративе, а также на слияние описываемой автором действительности с конструируемыми в рамках литературы реальностями. Последнее нашло отражение в мотиве воспевания пространства, соотносящегося с характеристикой малорос-

сийской антропности как поющего народа, что актуализировано в цитировании не только народных песен, но и гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», встроенных в филипповский нарратив на всем протяжении повествования. Помимо прямых цитат, автор прибегает к созданным Гоголем образам (Хомы Брута, кузнеца Вакулы) для иллюстрации малороссийского колорита пространства. В рамках киевского пространства актуализирован также текст «Повести временных лет», а екатеринославского — травелог Афанасьева-Чужбинского, усиливающий элемент интертекстуальности.

Следует отметить, что хронотоп, конструируемый Филипповым, ориентирован на современность. Хотя встречаются и отдельные отсылки к пространству исторической памяти. В репрезентации киевского топоса оно отражено в мотиве сакральной древности, актуализированном описанием священных локусов Киева (в частности Печерской лавры, Софийского собора) и упоминанием образов легендарно-исторической персониферы — Святого Владимира, «первого русского христианина» (напрямую), и Андрея Первозванного (косвенно). В рамках описания Кременчуга и Екатеринослава пространство исторической памяти связано с образом Потемкина (локализованное в образе Потемкинского сада в последнем случае). Также екатеринославская реальность полувековой давности представлена в вышеупомянутой цитате из афанасьевского текста. Наконец, пространства Киева и Екатеринослава у Филиппова связаны с темпоральным слоем будущего: в первом случае речь идет о проектности строящегося собора Святого Владимира как символа русского искусства, во втором — о грядущем экономическом развитии Екатеринославской губернии в контексте России.

Киев как пространство идиллии актуализирует целый ряд соответствующих положительных, крайне экспрессивно окрашенных мотивов: привлекательности, сакральности, здоровья, радости, веселья, наполненности жизнью, света, феминности, демиприродности. Последний мотив связан, наряду с топосом Днепра, с локусами бульваров, садов, живописных городских окрестностей. Киевская антропность показана гетерогенной и состоящей (в горизонтальном социальном плане) из трех слабо смешенных между собой этнических элементов (польского, малороссийского и еврейского), а в плане социальной иерархии — из высшего класса и престоляродья (без среднего

класса). Кроме того, отметим элементы травестики в изображении пространства, связанного с описанием «простонародного», малороссийского и, соответственно, более «естественного», близкого к «природе» (в руссоистской трактовке) варианта городского топоса. Два варианта киевской пространственности («парадный» и простонародный) имеют свои центры — Крещатик и Подол, соответственно. Если первый демонстрирует мотивы новизны, моды, простора, масштабности, то второй — старины, маломасштабности, грязи. Но травестизация изображения «низового» Киева не носит ярко выраженный негативный характер, подается в юмористическом ключе. Наконец, киевское пространство в трактовке Филиппова отмечено мотивом столичности и по многим признакам превосходит либо находится на одном уровне с образами других значимых русских городов — Петербурга, Москвы, Одессы, Варшавы, Нижнего Новгорода (за исключением журналистской сферы, маркированной мотивами скуки и провинциальности).

Что касается иных городских локусов в филипповском травелоге, то они по контрасту с репрезентацией идиллического Киева маркированы в основном отрицательно, антиидиллически — мотивами грязи/пыли, скуки/печали/уныния, безжизненности, маломасштабности, непривлекательности, то есть контекстуально негативной провинциальностью. Несколько выбиваются из этого ряда изображения крупных городов Кременчуга и Екатеринослава, причем первый описан положительней, чем второй, несмотря на то, что является уездным городом, тогда как Екатеринослав — губернская столица. Вероятно, это связано с тем, что последний относится уже к пространству Новороссии, естественность которой, если обратиться к травелогической традиции XIX в., выступает в варианте не идилличности (как в Малороссии), а фронтирности, то есть неосвоенности, неупорядоченности. Отсюда контекстуальное уподобление Екатеринослава антиидиллической пустыне в сравнении с киевской идиллией и мотив его будущей проектности, то есть нереализованность потенциалов в настоящем.

Подчеркнем, что, следуя мотиву двойничества речного и городского пространств, образ Днепра по мере удаления от Киева меняется в сторону уменьшения идиллической привлекательности. Сначала красота реки усредняется, становится ординарной, затем она и вовсе подавляется локусами дюн, песков и мелей, маркируемых мотивами ретардации (движения), опасности. Днепровские берега изображаются

скучными, что соответствует скучности провинциальных местечек и городков Поднепровья. Несколько возрастает проявленность мотива идиллической привлекательности в описании речных окрестностей Екатеринослава. Образ же Днепра за этим городом, сфокусированный на локусе порогов, практически лишен связи с антропностью. Здесь идиллический нарратив сменяется романтическим в изображении топоса реки, маркированной мотивами опасности, хаотичности, безумия, inferнальности, дикой красоты. Репрезентация днепровских порогов приобретает героико-авантюрные черты, что, в свою очередь, актуализирует романтический мотив противостояния человека и природы, воплощенный в специфической антропности — образе храбреца-лоцмана, генетически связанного с образом бесстрашного казака. Эта образность принципиально отлична от идиллической малоросийскости, представленной как щеголевато-пестрой толпой центральных улиц Киева, так и этнографически-колоритными, маркированными «естественностью» малороссами из простонародья.

Список литературы

Источники

- Греч Н. И.* Путевые письма из Англии, Германии и Франции: в 3 ч. СПб.: Тип. Н. Греча, 1839. Ч. 3. 198 с.
- Войков А. Ф.* Екатеринослав (из записок одного русского путешественника) // *Новости литературы.* 1825. Кн. 13, № 9. С. 119–144.
- Евсеев С. С.* Под ясным небом Малороссии: (Путевые заметки и наблюдения). М.: Типо-литография т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1901. 49 с.
- Жуков К. П.* Заметки в пути на Южный берег Крыма. СПб: Печатня В. Головина, 1865. 83 с.
- Левшин А. И.* Письма из Малороссии. Харьков: Унив. тип., 1816. 206 с.
- Молчанов А. Н.* По России. СПб.: Тип. министерства путей сообщения, 1884. 467 с.
- Погодин М. П.* Поездка пр<офессора> Погодина за границу в 1842 году // *Москвитянин.* 1844. № 1. С. 151–173.
- Сидоров В. М.* Окольной дорогой: (Путевые заметки и впечатления). СПб.: Тип. А. Катанского и К°, 1891. 338 с.
- Филиппов С. Н.* На воспетой реке // *Филиппов С. Н.* Под летним небом. М.: Ф. А. Куманин, 1894. С. 67–123.
- Шаликов П. И.* Путешествие в Малороссию. М.: У Люби, Гария и Попова, 1803. 236 с.

Исследования

- Абашев В. В.* «Картины» Вяземского // Russian Literature. 2003. Т. 53, № 1. С. 1–12.
- Абашев В. В.* Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2000. 404 с.
- Анциферов Н. П.* Радость жизни былой... Проблема урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2014. 656 с.
- Башляр Г.* Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998. 268 с.
- Булкина И.* Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство историческое и литературное: дис. ... д-ра философии по русской литературе. Тарту, 2010. 213 с.
- Васильева Т. А.* У истоков украинофильства: образ Украины в российской словесности конца XVIII – первой четверти XIX века: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2014. 232 с.
- Дорджиева Е. В.* Образ города в репрезентациях путешественников: на примере восприятия Екатеринослава XIX – начала XX века // Современное педагогическое образование. 2024. № 3. С. 316–322.
- Жданов С. С.* «Нехай же москвичи к провинциям суровы...»: образ Кременчуга в травелоге И.М. Долгорукого // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Мінск: БДУ, 2024. С. 31–37.
- Жданов С. С.* «Пиитическая Малороссия»: украинская пространственная образность в травелоге «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» Н. И. Греча // Имагология и компаративистика. 2024. № 22. <https://doi.org/10.17223/24099554/22/11>
- Жданов С. С.* Пространственные образы лиминального Юго-Запада Российской империи (на материале «Путевых записок по России» М. П. Жданова) // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 30–63. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-30-63>
- Жданов С. С.* Травестийная городская Малороссия в травелоге «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года» И. М. Долгорукого // Научный диалог. 2024. Т. 13, № 9. С. 239–268. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2024-13-9-239-268>
- Крюкова О. С.* Романтический образ Украины в русской литературе XIX века. М.: Наука, 2017. 125 с.
- Лебедева О. Б., Янушкевич А. С.* Образы Неаполя в русской словесности XVIII – первой половины XIX веков. Салерно: Collana di Europa Orientalis, 2014. 436 с.
- Лотман Ю. М.* Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам 18. Семиотика города и городской культуры. Петербург. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1984. С. 30–45.
- Марчуков А. В.* Образ Украины в русском сознании. Николай Гоголь и его время. М.: Регнум, 2011. 294 с.
- Меднис Н. Е.* Венеция в русской литературе. Новосибирск: НГУ, 1999. 392 с.

Русская литература XVIII–XIX столетий
С. С. Жданов. Природное и городское пространства Малороссии и Новороссии
в травелоге «На воспетой реке» Н. С. Филиппова

Назаренко М. И. Сокращенный рай. Украина между Гоголем и Шевченко // Новый мир. 2009. № 7. С. 160–172.

Овчинников Д. П. Малороссия и малороссийский текст в творчестве Н. В. Гоголя: дис. ... канд. филол. наук. Шуя, 2019. 332 с.

Панов А. С. Амбивалентность образа Одессы в репрезентациях русских и американцев в первой трети XIX в. // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2016. № 2 (4). С. 110–119.

Петрова Э. Б., Прохорова Т. А. Севастополь и его ближайшая округа в сочинениях московских путешественников по Крыму конца XVIII – первой половины XIX века // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. 2015. Т. 1 (67), № 1. С. 48–77.

Рудикова Н. А. Образы Парижа в русской и французской литературах конца XVIII – середины XIX вв.: диалог культур: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2011. 222 с.

Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. СПб.: Искусство, 2003. 617 с.

References

Abashev, V. V. “‘Kartiny’ Viazemskogo” [“‘Paintings’ of Vyazemsky”]. *Russian Literature*, vol. 53, no. 1, 2003, pp. 1–12. (In Russ.)

Abashev, V. V. *Perm’ kak tekst v russkoi kul’ture i literature XX veka [Perm as Text in Russian Culture and Literature of the 20th Century]*. Perm, Perm University Publ., 2000. 404 p. (In Russ.)

Antsiferov, N. P. *Radost’ zhizni byloi... Problema urbanizma v russkoi khudozhestvennoi literature. Opyt postroeniia obraza goroda — Peterburga Dostoevskogo — na osnove analiza literaturnykh traditsii [Joy of the Old Life... The Problem of Urbanism in Russian Fiction. An Essay on Constructing the City Image, Dostoevsky’s St. Petersburg, Based on the Analysis of Literary Traditions]*. Novosibirsk, Svin’in i synov’ia Publ., 2014. 656 p. (In Russ.)

Bashliar, G. *Voda i grezy. Opyt o voobrazhenii materii [Water and Dreams. Essay on the Imagination of Matter]*. Moscow, Izdatel’stvo gumanitarnoi literatury Publ., 1998. 268 p. (In Russ.)

Bulkina, I. *Kiev v russkoi literature pervoi treti XIX veka: prostranstvo istoricheskoe i literaturnoe [Kiev in Russian Literature of the First Third of the 19th Century: History and Literature Space: DSc Dissertation]*. Tartu, 2010. 213 p. (In Russ.)

Vasileva, T. A. *U istokov ukrainofil’stva: obraz Ukrainy v rossiiskoi slovesnosti kontsa XVIII – pervoi chetverti XIX veka [At the Origins of Ukrainophilia: Image of the Ukraine in Russian Literature of the End of the 18th and the First Quarter of the 19th Century: PhD Dissertation]*. Tomsk, 2014. 232 p. (In Russ.)

Dordzhieva, E. V. “Obraz goroda v reprezentatsiakh puteshestvennikov: na primere vospriiatia Ekaterinoslava XIX – nachala XX veka” [“City Image in Representations of Travelers: Based on the Example of Ekaterinoslav of the 19th and 20th Centuries”]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie*, no. 3, 2024, pp. 316–322. (In Russ.)

Zhdanov, S. S. “‘Nekhai zhe moskvichi k provintsiiam surovy...’: obraz Kremenchuga v traveloge I. M. Dolgorukogo” [“Let Muscovites be Harsh to Provinces...’: Image of Kremenchug in the Travelogue by I. M. Dolgoruky”]. *Slavianskiiia literatury v kantekstse susvetnai [Slavic Literature is the Essence of the World]*. Minsk, Belarusian State University Publ., 2024, pp. 31–37. (In Russ.)

Zhdanov, S. S. “‘Piitecheskaia Malorossiiia’: ukrainskaia prostranstvennaia obraznost’ v traveloge ‘Putevye pis’ma iz Anglii, Germanii i Frantsii’ N. I. Grecha” [“‘Poetic Little Russia’: Ukrainian Spatial Imagery in the Travelogue ‘Travel Letters from England, Germany and France’ by Nikolai Gretschn”]. *Imagologiiia i komparativistika*, no. 22, 2024, pp. 180–201. <https://doi.org/10.17223/24099554/22/11> (In Russ.)

Zhdanov, S. S. “Prostranstvennye obrazy liminal’nogo Iuugo-Zapada Rossiiskoi imperii (na materiale ‘Putevykh zapisok po Rossii’ M. P. Zhdanova)” [“Spatial Images of the Liminal South-West of the Russian Empire (Based on ‘Travel Notes Across Russia’ by M. P. Zhdanov)”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 30–63. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-30-63> (In Russ.)

Zhdanov, S. S. “Travestiinaia gorodskaia Malorossiiia v traveloge ‘Slavny bubny za gorami, ili puteshestviie moe koe-kuda 1810 goda’ I. M. Dolgorukogo” [“Travesty of Urban Little Russia in Travelogue ‘Famous Drums Beyond Mountains, or my

Journey Somewhere in 1810' by I. M. Dolgorukiy"]. *Nauchnyi dialog*, no. 13 (9), 2024, pp. 239–268. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2024-13-9-239-268> (In Russ.)

Kriukova, O. S. *Romanticheskii obraz Ukrainy v russkoi literature XIX veka* [*Romantic Image of Ukraine in Russian Literature of the 19th Century*]. Moscow, Nauka Publ., 2017. 125 p. (In Russ.)

Lebedeva, O. B., and A. S. Ianushkevich. *Obrazy Neapolia v russkoi slovesnosti XVIII – pervoi poloviny XIX vekov* [*Images of Naples in Russian Literature of the 18th and the First Half of the 19th Centuries*]. Salerno, Collana di Europa Orientalis, 2014. 436 p. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. "Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda" ["Symbolism of St. Petersburg and Problems of Semiotics of the City"]. *Uchenye zapiski Tartusskogo gosudarstvennogo universiteta. Trudy po znakovym sistemam 18. Semiotika goroda i gorodskoi kul'tury. Peterburg* [*Scientific Notes of Tartu State University. Works on Sign Systems 18. Semiotics of the City and Urban Culture. Petersburg*]. Tartu, Tartu State University Publ., 1984, pp. 30–45. (In Russ.)

Marchukov, A. V. *Obraz Ukrainy v russkom soznanii. Nikolai Gogol' i ego vremia* [*Image of Ukraine in the Russian Mind. Nikolai Gogol and his Time*]. Moscow, Regnum Publ., 2011. 294 p. (In Russ.)

Mednis, N. E. *Venetsiia v russkoi literature* [*Venice in Russian Literature*]. Novosibirsk, Novosibirsk State University Publ., 1999. 392 p. (In Russ.)

Nazarenko, M. I. "Sokrashchennyi rai. Ukraina mezhdou Gogolem i Shevchenko" ["Reduced Paradise. Ukraine Between Gogol and Shevchenko"]. *Novyi mir*, no. 7, 2009, pp. 160–172. (In Russ.)

Ovchinnikov, D. P. *Malorossii i malorossiiskii tekst v tvorchestve N. V. Gogolia* [*Little Russia and the Little Russian Text in the Works by N. V. Gogol: PhD Dissertation*]. Shuya, 2019. 332 p. (In Russ.)

Panov, A. S. "Ambivalentnost' obraza Odessy v reprezentatsiakh russkikh i amerikantsev v pervoi treti XIX veka" ["Ambivalence of Odessa Image in Russians and Americans Representations in the First Third of the 19th Century"]. *Vestnik RGGU. Serii: Politologiya. Istorii. Mezhdunarodnye otnosheniia. Zarubezhnoe regionovedenie. Vostokovedenie*, no. 2 (4), 2016, pp. 110–119. (In Russ.)

Petrova, E. B., and T. A. Prokhorova. "Sevastopol' i ego blizhaishaia okrug a v sochineniakh moskovskikh puteshestvennikov po Krymu kontsa XVIII – pervoy poloviny XIX veka" ["Sevastopol and Its Immediate Area in the Writings of Moscow Travelers in the Crimea of the Late 18th and the First Half of the 19th Century"]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki*, vol. 1 (67), no. 1, 2016, pp. 48–77. (In Russ.)

Rudikova, N. A. *Obrazy Parizha v russkoi i frantsuzskoi literaturakh kontsa XVIII – sere diny XIX vv.: dialog kul'tur* [*Images of Paris in Russian and French Literature of the Late 18th and mid-19th Centuries: Dialogue of Cultures: PhD Dissertation*]. Tomsk, 2011. 222 p. (In Russ.)

Toporov, V. N. *Peterburgskii tekst russkoi literatury: isbrannye trudy* [*Petersburg Text of Russian Literature: Selected Works*]. St. Petersburg, Iskusstvo Publ., 2003. 222 p. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-170-183>
<https://elibrary.ru/PZYOQS>
Научная статья
УДК 821.161.1.09"19"

© 2025. И. В. Канель

Московский государственный психолого-педагогический университет
г. Москва, Россия

Поэзия и публицистика Ф. И. Тютчева в контексте Рисорджименто

*Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда
№ 24-28-00479 «Межкультурный диалог России и Италии в эпоху “Великих
реформ” Российской империи и итальянского Рисорджименто»*

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния эпохи Рисорджименто на философские и литературные взгляды Ф. И. Тютчева. Автор анализирует поэзию и публицистику поэта, чтобы выявить его отношение к религиозным, политическим и культурным аспектам объединения Италии. В центре внимания находится критика Тютчевым западного католицизма, его размышления о роли религии в общественной жизни Европы XIX в. Особое место уделено эсхатологическому пессимизму Тютчева, восприятию поэтом Рисорджименто как части мирового кризиса, разрушения традиционных устоев и духовного баланса. Параллели между поэтическими произведениями (“Епископа”, «Два единства») и публицистикой («Римский вопрос», «Папство и революция») позволяют глубже понять мировоззрение Тютчева.

Ключевые слова: русская литература, Ф. И. Тютчев, Италия, поэзия, публицистика, Рисорджименто, философия, католицизм, христианство.

Информация об авторе: Ирина Валерьевна Канель, аспирант, Московский государственный психолого-педагогический университет, Шелепихинская набережная, 2а, 123290, г. Москва, Россия, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1851-3045>

E-mail: qwarran@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 12.05.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 18.08.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Канель И. В. Поэзия и публицистика Ф. И. Тютчева в контексте Рисорджименто // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 170–183. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-170-183>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 170–183. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 170–183. ISSN 2686-7494
Research Article

© 2025. Irina V. Kanel

Moscow State University of Psychology and Education
Moscow, Russia

F. I. Tyutchev's Poetry and Journalism in the Risorgimento Context

Acknowledgements: The study was supported by the Russian Science Foundation, project no. 24-28-00479 “Intercultural Dialogue Between Russia and Italy during the ‘Great Reforms’ of the Russian Empire and the Italian Risorgimento.”

Abstract: The present article is devoted to an analysis of the influence of the Risorgimento era on Feodor Tyutchev's philosophical and literary views. The author analyses Tyutchev's poetry and journalism to reveal his attitude to the religious, political, and cultural aspects of the Italian unification, focusing in particular on the poet's criticism of Western Catholicism. This, in turn, reflects his reflections on the role of religion in European public life in the 19th century. The article explores Tyutchev's eschatological pessimism, his perception of the Risorgimento as part of a global crisis, and the destruction of traditional foundations and spiritual equilibrium. The article draws parallels between Tyutchev's poetic works, such as “Encyclica” and “Two Unities,” and his journalistic pieces, including “The Roman Question” and “The Papacy and Revolution,” to facilitate a more profound comprehension of his worldview.

Keywords: Russian literature, F. I. Tyutchev, Italy, poetry, journalism, Risorgimento, philosophy, Catholicism, Christianity.

Information about the author: Irina V. Kanel, PhD Student, Moscow State University of Psychology and Education, Shelepikhinskaya Emb., 2a, 123290 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1851-3045>

E-mail: qwarran@gmail.com

Received: May 12, 2025

Approved after reviewing: August 18, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Kanel, I. V. “F. I. Tyutchev's Poetry and Journalism in the Risorgimento Context.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 170–183. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-170-183>

Рисорджименто, или процесс объединения Италии, завершившееся в 1871 г., представляет собой одно из ключевых событий XIX в., оказавших существенное влияние на политическую и культурную жизнь не только Италии, но и всей Европы. Будучи не просто движением за объединение, Рисорджименто стало следствием упадка традиционных феодальных структур, а также роста государственности [Канель 2024: 84]. Оно черпало вдохновение в наследии античности и эпохи Возрождения, а также опиралось на философские идеи либерализма, романтизма и национализма XIX в. Особенно важным было влияние Джузеппе Мадзини, который, наряду с такими фигурами, как Гарибальди, способствовал превращению национализма в один из ключевых идеологических принципов эпохи.

Важный вклад в осмысление этого феномена внесли многие философы, поэты и писатели того времени, особенно А. И. Герцен, А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой и др. Достоевский, проявляя глубокий интерес к Италии, неоднократно обращался к ее культуре и истории в своих произведениях, что нашло отражение в его художественных текстах и в эпистолярном наследии, а его связи с этой страной стали объектом многочисленных исследований, включая и специализированную монографию [Достоевский и Италия]. Еще одним из таких представителей русской литературы является Ф. И. Тютчев (1803–1873), чьи литературные и публицистические работы предлагают уникальный взгляд на идеалы свободы и независимости.

«Странную роль сыграла Италия в моей жизни <...> Дважды являлась она передо мной, как роковое видение, после двух самых великих скорбей, какие мне суждено было испытать. <...> Есть страны, где носят траур ярких цветов. По-видимому, это мой удел...» — писал Тютчев своей дочери Анне 17/29 марта 1865 г. [Тютчев 1957: 534]. «Великие скорби», пережитые поэтом — смерть его первой жены Элеоноры Фе-

доровны 29 августа (9 сентября) 1838 г. в Турине, куда он был назначен на пост секретаря русской миссии (3 августа 1837 г.) и возлюбленной Елены Александровны Денисьевой 4 августа 1864 г. Эти утраты наложили трагический отпечаток на любовную лирику Тютчева, как и на восприятие Италии в целом.

Тютчев воспринимал Рисорджименто как часть более широкого кризиса, связанного с упадком христианства в европейской культуре. Он считал, что революционные движения XIX в., включая объединение Италии, были не просто политическими реформами, а симптомами глубокой духовной болезни. Если для Герцена революция была путем к свободе (он идеализировал «самовластные деяния», по выражению Ю. В. Лебедева [Лебедев: 16]), то для Тютчева и Достоевского такие движения означали опасное разрушение традиционного порядка.

Публицистика Тютчева позволяет проследить прямое осуждение поэтом европейских революционных событий. В своих статьях «Россия и революция» и «Папство и революция» он прямо говорит о Рисорджименто как о проявлении глобального кризиса. Если в статьях он осуждает революционные силы («Революция же прежде всего — враг христианства. Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство», — отмечал Тютчев в статье «Россия и революция» [Тютчев 2011: 68]), то в стихах эти настроения поднимаются до общего уровня философских и символических размышлений, здесь политики становятся представителями глобального «восстания против Бога». В статье 1850 г. «Римский вопрос» Тютчев довольно критически пишет о протестантизме: «Протестантизм с его многочисленными разветвлениями едва протянул три века и умирает от немощи во всех странах, где он господствовал до сих пор, кроме разве что Англии» [Тютчев 2011: 82].

Не слишком высокого мнения был поэт и о католицизме. «Католицизм всегда составлял всю силу папизма, как папизм составляет всю слабость католицизма», — утверждал Тютчев, признавая, что все же католичество остается средоточием христианства на Западе. «Теперь все, еще остающееся на Западе от положительного Христианства, связано либо наглядным, либо более или менее явным сродством с римским Католицизмом, для которого Папство, как оно сложилось за века, является очевидной основой и условием существования <...> Одним словом, Папство — вот единственный в своем роде столп, худо-бедно

подпирающий на Западе ту часть христианского здания, которая уцелела и устояла после великого разрушения шестнадцатого века и последовавших затем крушений» [Тютчев 2011: 82].

Можно заметить, что Тютчев все-таки видит в католицизме пусть и искаженное, но здоровое христианское начало [Матаков: 129], несмотря на его мысль об «истощении» этого начала ввиду эволюции империализма [Тарасов 2020: 100]; а его неприязненное отношение к папской власти перекликается с идеями Данте. «Тютчев был убежден, что и история управляется Божественным Промыслом, а не является слепым саморазвитием автономных и сталкивающихся человеческих волей <...> отсюда — первенство идеи Всемирной Божественной Монархии (а не вообще Империи или секулярного государства...)» [Тарасов 2005: 43]. Эта мысль близка к дантовской концепции монархии, о чем прямо говорил В. С. Соловьев: «Идея всемирной монархии принадлежит не мне, а есть вековечное чаяние народов. Из людей мысли эта идея одушевляла в средние века между прочим Данта, а в наш век за нее стоял Тютчев, человек чрезвычайно тонкого ума и чувства» [Соловьев: 26–27]. Какова же эта концепция?

Ранее, в статье от 2022 г. «Данте Алигьери и эпоха Рисорджименто: религиозный аспект исторической связи» [Канель 2022: 48], мы сделали попытку исследовать взгляды средневекового поэта и философа на объединение государства и на христианство, в том числе и на власть Папы Римского. «Для Алигьери Римская империя — со времени самого ее основания <...> должна была стать во главе мирового развития, а «Бог всегда хочет лучшего». Вот поэтому-то он и обрушивает свой гнев на католических священников. Прелаты — владельцы несметных богатств, «ревнители христианской веры», — забыли, что пользуются ими не для удовлетворения собственных потребностей, а для помощи низшим слоям населения. <...> Римская империя, а с нею и императорская власть, существовали еще до основания христианской церкви, поэтому власть императора — от Бога, а не от Папы Римского (Перевод наш. — И. К.)» [Канель 2022: 48]. Тютчев также пишет, что в Италии одинаково ненавидят немцев¹ (*tedeschi*) и священников (*prati*); называет единую Италию *классической утопией*. Путь объединения Италии с

¹ О сложившейся в Италии неприязни к немцам Тютчев писал в статье «Россия и революция».

Римом во главе Тютчев считал неправильным, ошибочным, поскольку политику Папы Римского он не принимал категорически: догмат о непогрешимости Папы для поэта был неприемлемым. Это было для него уже «претензией на роль и функции самого Христа» [Пожидаева: 39].

Вышеупомянутые аспекты тютчевской публицистики позволяют и в его поэзии найти соответствующие параллели. Например, стихотворение «Ватиканская годовщина»¹ рассматривается как философское осмысление «заката» Запада, символом которого для поэта стало ослабление власти папства.

 Был *день суда и осужденья* —
Тот роковой, бесповоротный день,
 Когда для вящего паденья
На высшую вознесся он ступень, —
 И, Божьим промыслом теснимый
 И загнанный на эту высоту,
 Своей ногой непогрешимой
В бездонную шагнул он пустоту, —
Когда, чужим страстям послушный,
 Игралище и жертва темных сил,
 Так *богохульно-добродушно*
Он божеством себя провозгласил...
 О новом бого-человеке
Вдруг притча создалась — и в мир вошла,
 И *святоотцовской* опеке
Христова церковь предана была.
 О, сколько *смуты и волнений*
Воздвиг с тех пор непогрешимый тот,
 И как под бурей этих прений
Кошунство зреет и соблазн растет.
 В испуге ищут правду Божью,
Очнувшись вдруг, все эти племена,

¹ Речь идет о первом Ватиканском соборе в Риме (8 декабря 1869 — 18 июля 1870), созванном для осуждения рационалистических и либеральных движений в пределах римской церкви. Один из декретов этого собора — «о догматическом устройстве Церкви Христовой».

И как *тысячелетней ложью*
Она для них вконец отравленá.
И одолеть она не в силах
Отравы той, что в жилах их течет,
В их самых сокровенных жилах,
И долго будет течь, — и где исход?
Но нет, как ни борись упрямо,
Уступит ложь, рассеется мечта,
И *ватиканский далай-лама*¹
Не призван быть наместником Христа
(Курсив наш. — И. К.) [Тютчев 2011: 238–239].

В стихотворении «Ватиканская годовщина» встречается ряд отрицательных эпитетов: «день суда и осужденья», «богохульно-добродушно», «святотатственной опеке», «смута», «волнения», «кощунство», «соблазн» и т. д. Данные словосочетания свидетельствуют о негативном отношении поэта к собору: декрет о непогрешимости Папы Римского, равно как и учение об абсолютной его власти над Церковью, вызывает у Тютчева неприязнь. Папа назван «новым бого-человеком», «ватиканским далай-ламой» — следовательно, главой Церкви уже не является Господь, эта роль переходит к Папе Римскому. А выражение «отрава тысячелетней лжи» раскрывает тютчевское понимание вышеупомянутого учения. Поэт указывает на искажения христианского начала в римско-католической церкви и подобным эпитетом описывает эту традицию.

Стихотворение “Encyclica” посвящено теме кризиса католической церкви и преобразует его в философско-эсхатологическую картину, где исторические события переосмыслены сквозь призму христианской теологии:

Был день, когда господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам.
Еще страшней, еще неумолимей

¹ Высший сан первосвященника в Тибете.

И в наши дни — дни Божьего суда —
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа
[Тютчев 1957: 238].

“Encyclica” есть отклик на послание Пия IX “Quanta cura” («Осуждая текущие ошибки») от 26 ноября 1864 г. К этому посланию Пий IX приложил “Syllabus errorum” или «Перечень, заключающий в себе главнейшие заблуждения нашего времени...» [Quanta Cura]. Один из пунктов посвящен гражданской свободе: «Параграф 10. Заблуждения, относящиеся к современному либерализму. <...> 79. Является, в самом деле, ложным то, что гражданская свобода всякого культа и равно представленная всем полная возможность открыто и публично проявлять всяческие мнения и мысли, сделает для народов более легким разложение нравов и душ и распространит язву индифферентизма» [Quanta Cura: 28–29].

“Syllabus errorum” вызвал неоднозначную реакцию в итальянском обществе; его не приняли многие католики, как пишет И. В. Дергачева, и это привело к появлению *старокатолических* сообществ [Дергачева 2024: 139].

В стихотворении “Encyclica” Тютчев называет современные ему дни «днями Божьего суда», открыто обличает Пия IX, называя его «лженаместником Христа», предрекая ему незавидную судьбу:

Столетия шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела,
Но не простится правдой Бога
Его последняя хула...
Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»
[Тютчев 1957: 238].

С этим стихотворением перекликается и «Ватиканская годовщина», начиная с первой же строчки. Они связаны и общей темой — итальянский католицизм, положение Папы Римского и отношение к происходящему в Италии самого Тютчева.

Образ католического Рима проявляется и в стихотворении Тютчева «Гус на костре», в последних строфах:

Народа чешского святой учитель,
Бестрепетный свидетель о Христе
И римской лжи суровый обличитель
В своей высокой простоте, —
Не изменив ни Богу, ни народу,
Боролся он — и был необорим —
За правду Божью, за ее свободу,
За все, за все, что бредом назвал Рим
[Тютчев 1957: 281–282].

Мы видим, что отношение поэта к Риму ватиканскому вполне определено: это «отступнический» город. Католический Рим, лишенный духовности в его понимании, был для Тютчева примером «несправедливого города», жертва которого (как Гус) борется не за церковь, а за божественную истину (особенно в контексте догм о непогрешимости папства, осуждавшихся Тютчевым). Хотя Тютчев в стихотворении выводит Гуса как «святого учителя», борца за правду, он не поддерживал революционную риторику, в том числе в контексте Рисорджименто. Для него революции, отпавшие от религиозного фундамента, становились проявлением человеческой гордыни и угрозой духовному порядку. Образы борьбы Гуса вписываются в общий религиозно-философский контекст Тютчева: человек, отвергающий земную власть в поисках высших истин, такой как Гус, восхваляется, но попытки революционного переустройства мира (например, объединение Италии через насилие) трактуются как хаос и неповиновение Божественному провидению. Одна из ключевых стилистических черт стихотворения — резкое противопоставление Гуса и Рима. Гус борется за «правду Божью» и ее свободу, в то время как Рим представлен как носитель «лжи», «брета», символ инквизиции и насилия над совестью.

Природа в стихах Тютчева часто становится метафорой для описания процессов на уровне общества и истории. Турбулентность природы может отражать хаос и остроту перемен, происходящих в мире.

Например, в стихотворении «Умом Россию не понять...» (1866): «У ней особенная статья — / В Россию можно только верить» [Тютчев

1957: 256]. Хотя здесь говорится о России, стихотворение служит оппозицией Тютчева революционным веяниям, утверждая веру как основу существования государства, в отличие от рациональных (и разрушительных, с точки зрения Тютчева) устремлений таких деятелей, как Джузеппе Мадзини, и всего движения Рисорджименто.

Особый интерес представляет стихотворение «Природа — сфинкс» (1869), в котором природа становится загадочной, нераскрываемой силой: «Природа — сфинкс. И тем она верней / Своим искусом губит человека...» [Тютчев 1957: 275]. Это стихотворение можно интерпретировать как аллегорию исторических процессов: человек (в данном случае революционные лидеры, такие как Мадзини) пытаются «победить» природу или изменить ее сущность (в политическом смысле это стремление убить традицию, духовный порядок), но природа остается равнодушной, а в итоге разрушает самих революционеров. Здесь звучит идея тщетности человеческого вмешательства в Божественное провидение.

Весь поэтический мир Тютчева проникнут пессимистическим ощущением кризиса. Рисорджименто, наряду с другими революциями, воспринималось им как часть этого глобального мирового катаклизма. Даже его описание неизбежности распада (например, в “Silentium!”) позволяет провести параллели с его взглядом на Италию и события объединения:

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пеньям — и молчи!..
[Тютчев 1957: 72].

В стихотворении звучит протест против «наружного шума», против вторжения внешних катастрофических изменений, которые могут разрушить внутреннюю гармонию.

Тютчев часто обращается к теме конфликта между Божественным порядком и человеческой гордыней. Рисорджименто с его секуляризацией итальянской жизни, Мадзини с его революционным нацио-

нализмом и идея отделения церкви от государства воспринимались Тютчевым как проявление именно такого конфликта. В этом контексте особенно показательно стихотворение «Два единства» (1870):

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...
[Тютчев 1957: 284].

Тютчев противопоставляет идею православного единства традиции и веры, символизируемого Россией, разрушительному духу западных реформ, который связан с революционными переменами. Объединение Италии через вооруженную, насильственную борьбу и уничтожение папской власти демонстрирует эту разрушительную западную идею, которая, по мнению Тютчева, чужда гармоничному мировосприятию. В эмоциональном противостоянии революционным потрясениям Тютчев обращается к внутреннему миру, в котором он видит возможность восстановления духовной целостности и перехода к религиозному идеалу, или же «раю», достижимому даже при земной жизни [Мельник: 108].

Революции и секуляризация, как и стремление Мадзини к обособлению итальянской нации, для поэта означали подчинение исторического божественного замысла человеческой гордыне. Для Тютчева объединение Италии являлось частью большего упадка западной цивилизации, связанного с разрывом между человеком и религиозным миропорядком. В лирике это отражено через следующие основные мотивы: хаос, разрушение традиций, противостояние божественного и человеческого, кризис западной цивилизации и эсхатологический пессимизм. Раскрывая эту проблематику, поэт показывает, как революции разрушают хрупкий духовный баланс, угрожая устоям и религиозной жизни западного мира.

Таким образом, поэзия Ф. И. Тютчева и его публицистика дают возможность глубже понять сложные отношения между религией, политикой и культурой в контексте Рисорджименто. Критика поэта и его философские размышления о свободе совести остаются актуальными по сей день.

Эпоха Рисорджименто в восприятии Ф. И. Тютчева стала символом глобальной духовной нестабильности, которая угрожала основам европейской культуры. Его поэзия и публицистика представляют своеобразный отклик на секулярные реформы, которые он воспринимал как разрушение связи между человеком и Божественным миром. Критика западной модели революционных преобразований, осмысление роли религии и упадка традиций объединяют лирическое и публицистическое наследие Тютчева, делая его концепцию важной для понимания глобальных процессов XIX в.

Список литературы

Источники

Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Пг.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1923. Т. 4 / под ред. и с предисл. Э. Л. Радлова. С. 26–27.

Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и писем: в 6 т. М.: Издательский центр «Классика», 2003. Т. 3: Публицистические произведения / сост., перевод, подгот. текстов, коммент. Б. Н. Тарасова; отв. ред. Н. Н. Скатов. 546 с.

Тютчев Ф. И. Россия и Запад / сост., вступ. ст., перевод и коммент. Б. Н. Тарасова; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Ин-т русской цивилизации, 2011. 592 с.

Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М.: Худож. лит., 1957. 650 с.

Quanta Cura & The Syllabus of Errors of the Supreme Pontiff Pius IX Condemning Current Errors. December 8, 1864. Kansas City: Angelus Press, 1998. 31 p.

Исследования

Дергачева И. В. Итальянский вопрос в «Иностранных событиях» еженедельника «Гражданин»: Ф. М. Достоевский о политике Ватикана // Неизвестный Достоевский. 2024. Т. 11. № 3. С. 133–152. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2024.7441>

Достоевский и Италия / А. Д. Достоевский, И. В. Дергачева, Е. А. Литвин [и др.]. СПб.: Алетейя, 2021. 454 с.

Канель И. В. Данте Алигьери и эпоха Рисорджименто: религиозный аспект исторической связи // Язык и текст. 2022. Т. 9. № 4. С. 44–51. <https://doi.org/10.17759/langt.2022090405>

Канель И. В. От Санкт-Петербурга до Неаполя: исторический анализ российско-неаполитанской дипломатии в период Рисорджименто // Язык и текст. 2024. Т. 11, № 3. С. 82–89. <https://doi.org/10.17759/langt.2024110309>

Лебедев Ю. В. Идеал народной монархии в русской литературе второй половины XIX – начала XX вв. // Два века русской классики. 2020. Т. 2, № 2. С. 8–27. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-2-08-27>

Матаков К. А. Тютчев о католичестве в работе «Папство и римский вопрос» // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12 (38). Ч. 1. С. 129–132.

Мельник В. И. Дантовский эпос в русской литературе: Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский // Два века русской классики. 2022. Т. 4, № 1. С. 68–117. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-68-117>

Пожидаева Н. В. Итальянская тема в поэзии Ф. И. Тютчева и А. Н. Майкова: дис. ... канд. филол. наук. Череповец, 2005. 212 с.

Тарасов Б. Н. Понятия «христианской империи» в историософии Ф. И. Тютчева // Два века русской классики. 2020. Т. 2, № 4. С. 94–103. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-4-94-103>

Тарасов Б. Н. Россия и Запад в историософии Ф. И. Тютчева // Литературоведческий журнал. 2005. № 19. С. 41–52.

References

Dergacheva, I. V. “Ital’ianskii vopros v ‘Inostrannykh sobytiakh’ ezhenedel’nika ‘Grazhdanin’: F. M. Dostoevskii o politike Vatikana” [“The Italian Question in the ‘Foreign Events’ of the Weekly ‘Grazhdanin’ (‘The Citizen’): F. M. Dostoevsky on Vatican Policy”]. *Neizvestnyi Dostoevskii*, vol. 11, no. 3, 2024, pp. 133–152. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2024.7441> (In Russ.)

Dostoevskii i Italiia [Dostoevsky and Italy], A. D. Dostoevskii, I. V. Dergacheva, E. A. Litvin et al. St. Petersburg, Aleteiia Publ., 2021. 454 p. (In Russ.)

Kanel’, I. V. “Dante Aligheri i epokha Risordzhimento: religiozniy aspekt istoricheskoi svyazi” [“Dante Alighieri and Risorgimento: Religious Aspect of Historical Connection”]. *Iazyk i tekst*, vol. 9, no. 4, 2022, pp. 44–51. <https://doi.org/10.17759/langt.2022090405> (In Russ.)

Kanel’, I. V. “Ot Sankt-Peterburga do Neapolia: istoricheskii analiz rossiisko-neapolitanskoi diplomatii v period Risordzhimento” [“From St. Petersburg to Naples: A Historical Analysis of Russo-Neapolitan Diplomacy during the Risorgimento”]. *Iazyk i tekst*, vol. 11, no. 3, 2024, pp. 82–89. <https://doi.org/10.17759/langt.2024110309> (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. “Ideal narodnoi monarkhii v russkoi literature vtoroi poloviny XIX – nachala XX vv.” [“The Ideal of the Popular Monarchy in Russian Literature of the Second Half of the 19th – the Early 20th Centuries”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 8–27. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-2-08-27> (In Russ.)

Matakov, K. A. “Tjutchev o katolichestve v rabote ‘Papstvo i rimskii vopros.’” [“Tjutchev about Catholicism in the Work ‘Papal Authority and Roman Question.’”] *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i iuridicheskie nauki, kul’turologiia i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*, no. 12 (38), part 1, 2013, pp. 129–132. (In Russ.)

Meľnik, V. I. “Dantovskii epos v russkoi literature: N. V. Gogol’, I. A. Goncharov, F. M. Dostoevskii” [“Dante’s Epic in Russian Literature: N. V. Gogol, I. A. Goncharov, F. M. Dostoevsky”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 68–117. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-68-117> (In Russ.)

Pozhidaeva, N. V. *Ital’ianskaia tema v poezii F. I. Tiutcheva i A. N. Maikova [Italian Topic in F. I. Tyutchev’s and A. N. Maykov’s Poetry: PhD Dissertation]*. Cherepovets, 2005. 212 p. (In Russ.)

Tarasov, B. N. “Poniatiiia ‘khristianskoi imperii’ v istoriosofii F. I. Tiutcheva” [“The Concept of ‘Christian Empire’ in the Historiosophy of Fyodor Tyutchev”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 2, no. 4, 2020, pp. 94–103. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-4-94-103> (In Russ.)

Tarasov, B. N. “Rossiia i Zapad v istoriosofii F. I. Tiutcheva” [“Russia and West in F. I. Tyutchev’s Historiosophy”]. *Literaturovedcheskii zhurnal*, no. 19, 2005, pp. 41–52. (In Russ.)

© 2025. А. Б. Криницын

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
г. Москва, Россия

Ф. М. Достоевский и И. Кант: два пути к Богу

Аннотация: В статье проводится сопоставление философской проблематики И. Канта и Ф. М. Достоевского в их религиозном аспекте. Рассматривается отношение Достоевского к априорным категориям Канта, рассуждение мыслителей о возможности доказательства существования Бога и бессмертия, вопросы антропологии, наличия свободы воли и взаимосвязанности веры и морали. Показывается, как герои Достоевского «бунтуют» против обоснованных Кантом границ разума и познания, и в поисках Бога стремятся выйти за пределы априорных категорий. Это отражается как на проблематике романов, так и на их поэтике. Герои Достоевского как будто «отрицают» пространство и время, чтобы выйти за пределы человеческих возможностей познания. Нравственный закон Канта призывает человека к сознательному соблюдению правил, к долгу, категорическому императиву. Достоевский человеческую свободу понимает как волюнтаризм, нарушение рациональных законов. Обоснованием этому для героев Достоевского становится обретаемая ими высшая идея. Если для Канта Бог и бессмертие обосновываются наличием нравственного закона у человека, для Достоевского важно возлюбить Христа не только как «добро», но и как личность.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, И. Кант, моральные законы, вера, свобода воли, априорные причинные категории, «Критика чистого разума», «Братья Карамазовы».

Информация об авторе: Александр Борисович Криницын, доктор филологических наук, профессор, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, ГСП-1 119991, г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0262-5058>

E-mail: derselbe@list.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 10.06.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.08.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Криницын А. Б. Ф. М. Достоевский и И. Кант: два пути к Богу // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 184–213. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-184-213>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 184–213. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 184–213. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Alexander B. Krinitsyn
Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia

Dostoevsky and Kant: Two Paths to God

Abstract: This article compares the philosophical perspectives of I. Kant and F. M. Dostoevsky in their religious aspects. It examines Dostoevsky's attitude toward Kant's a priori categories, the two thinkers' discussions of the possibility of proving the existence of God and immortality, and questions of anthropology, the existence of free will, and the interrelationship of faith and morality. It demonstrates how Dostoevsky's characters "rebel" against the boundaries of reason and knowledge established by Kant, and strive to transcend a priori categories in their search for God. This is reflected both in the novels' themes and in their poetics. Dostoevsky's characters seem to "deny" space and time in order to transcend the limits of human cognition. Kant's moral law calls for conscious adherence to rules, duty, and the categorical imperative. Dostoevsky understands human freedom as voluntarism, a violation of rational laws. The justification for this for Dostoevsky's characters is the higher idea they attain. If, for Kant, God and immortality are justified by the presence of moral law in man, for Dostoevsky, it is important to love Christ not only as "good," but also as a person.

Keywords: F. M. Dostoevsky, I. Kant, moral laws, faith, free will, a priori causal categories, *Criticism of Pure Reason*, *The Brothers Karamazov*.

Information about the author: Alexander B. Krinitsyn, DSc in Philology, Professor, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, GSP-1, 119991 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0262-5058>

E-mail: derselbe@list.ru

Received: June 10, 2025

Approved after reviewing: August 23, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Krinitsyn, A. B. "Dostoevsky and Kant: Two Paths to God." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 184–213. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-184-213>

И. Канта и Ф. М. Достоевского можно поставить в ряд величайших мировых философов. Сначала в глаза бросаются лишь одни различия между ними: Кант — философ, мыслящий в умозрительных понятиях «чистого разума», Достоевский — художник, мыслящий образами и высказывающий свои идеи в страстных и живых диалогах между героями. Кант — человек XVIII в., воплощающий идеалы эпохи Просвещения. Достоевский — автор XIX в., воспитанный на идеях романтизма, а творивший в эпоху реализма.

Некоторые исследователи даже полагают, что Достоевский, «сам того не подозревая, выступает как величайший оппонент Канта», поскольку «вопреки воззрениям Канта, запрещавшего вводить антропологию в этику, Достоевский был, возможно, единственным в истории мировой культуры, кто обратил внимание не на писанные и неписанные “правила добра”, но на метафизическую глубину нравственной жизни человека...» [Сабиров, Соина: 187].

Но, с нашей точки зрения, важнее совпадение у Канта и Достоевского постановки проблемы: это Разум, отчаявшийся доказать существование Бога своими силами, при мучительной необходимости этого доказательства для души.

Есть ли Бог и бессмертие? — этим вопросом мучаются оба мыслителя. И в этом отношении эпоха Канта с ее рационализмом оказывается схожа с эпохой воинствующего материализма и веры в науку у молодого поколения 1860-х гг. в России. Отмечая, что существование Бога и бессмертия не могут быть доказаны разумом, Кант в то же время говорит, что они не могут быть и опровергнуты разумом, указывая разуму его границы.

Достоевский писал, вернувшись с каторги, на самой середине жизненного пути:

В несчастье яснее истина. Я скажу вам про себя, что я — *дитя века, дитя неверия и сомнения* до сих пор, и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта *жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных*. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, — то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиною (Курсив мой. — А. К.) [Достоевский 28. 1: 176].

Прочитируем теперь слова о вере Канта, как их записал и запомнил посещавший его в Кенигсберге знаменитый русский писатель и историк Николай Карамзин:

Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым, и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает; но он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет, и что скоро придет конец жизни моей: *ибо надеюсь вступить в другую, лучшую*. <...> Представляя себе те случаи, где я действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о нравственном законе: назовем его совестью, чувством добра и зла — но он есть. Я солгал; никто не знает лжи моей, но мне стыдно. — Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. <...> Но говоря о нашем определении, *о жизни будущей и прочем предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума*, все для чего-нибудь, и все благо творящего. Что? Как?... Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве.

Здесь разум погашает светильник свой... (Курсив мой. — А. К.) [Карамзин: 20–21].

Эти слова вполне могли бы принадлежать Достоевскому. Уже на склоне своих лет он писал по поводу своего последнего шедевра «Братья Карамазовы»:

Ввиду [главы «Pro et Contra»] вы бы могли отнестись ко мне <...> не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт [Достоевский 27: 86].

Первое представление о философии Канта Достоевский мог получить через увлечение творчеством Шиллера, своего любимого немецкого автора, который, в свою очередь, постоянно находился с Кантом в интеллектуальном диалоге [Мехед: 15]. Сам Достоевский при упоминаниях Канта в своих текстах отзывался о нем крайне уважительно: «великий немецкий ученый Кант», «великий философ Кант», «руководитель человечества». В 1854 г. в письме к брату из Сибири он настоятельно просил прислать ему, наряду с Кораном и Гегелем, «Критику чистого разума» Канта, прибавляя: «с этим вся моя будущность соединена» [Достоевский 28. 1: 173]. В тот раз, правда, посланные книги не дошли до Достоевского, но имя Канта мелькает в произведениях конца 1850-х гг., а в очерке «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевский оперирует кантовским понятием «чистого разума» и критикует новейших французских философов, оспаривающих его существование, фактически заступаясь за Канта [Достоевский 5: 78].

На очевидности влияния на Достоевского идей Канта сходятся, так или иначе, все ученые. Автор первой исследовательской работы о Достоевском и Канте Я. Голосовкер доказывает смелый тезис, состоящий в том, что ключ к пониманию «Братьев Карамазовых» лежит исключительно в «Критике чистого разума Канта», хотя имя Канта в тексте романа и не упоминается [Голосовкер 1963]. Жестко полемизирующий с Голосовкером советский германист Н. Вильмонт тем не менее соглашается с ним в несомненности «глубокой обусловленности мысли До-

стоевского идеями Просвещения XVIII в., в частности идеями Канта». «О большинстве из них [Достоевский] знал из торопливого чтения, отчасти даже понаслышке и по цитатам, рассыпанным в русской фило-софской литературе и публицистике» [Вильмонт 1984: 138].

По мнению Н. Вильмонта, помимо «Критики чистого разума», «Достоевский не мог не знать сочинения философа о “Религии в границах только разума”, общаясь на протяжении ряда лет с такими «специалистами по философии», как Н. Н. Страхов, Вл. Соловьев, в особенности же о. Иоанн Леонтьевич Янышев, профессор богословия и философии, читавший (с 1859 года) в Петербургском университете <...> курс “нравственного богословия”, в котором Янышев уделял значительное место “учениям о свободе воли” и где он пространно и по-своему весьма основательно высказывается и о “критической этике” Канта, включая его трактат о “Религии”...» [Вильмонт 138].

С Н. Вильмонта и Я. Голосовкера начинается изучение влияния на Достоевского идей Канта. Н. Н. Вильмонт основательно углубляется в Канта в связи с темой «Достоевский и Шиллер», однако его анализ, к сожалению, ангажирован марксистско-ленинской идеологией и весь направлен на то, чтобы по возможности «очистить» как Канта, так и Достоевского от «обвинений» в «реакционной» христианской религиозности, на что он и употребляет всю свою обширную эрудицию и полемическое искусство. Так, даже приведенное выше высказывание Достоевского о своей любви к Христу вплоть до желания скорее остаться с Ним, нежели с истиной, Н. Вильмонт пытается упростить до желания «свободной личности», всецело подчинившей свое поведение «нравственному закону» и «осознанному долгу», всегда стоять за «правду добра», сведя, таким образом, страстную «жажду верить» Достоевского к следованию «нравственному императиву у Канта [Вильмонт 116].

Импульс, данный книгой Я. Голосовкера, привел к возрождению темы в XXI в. В основном исследователи обращали внимание на сходства и расхождения Достоевского и Канта в проблемах *этики* и *морали* [Осмоловский], [Сабилов, Соина], [Скоморохов], [Cherkasova].

А. В. Золотарев естественным образом переходит от этики Канта на религиозную проблематику: обоснование Кантом существования Бога и бессмертия через наличие в человеческой душе морального закона [Золотарев]. А. В. Золотарев наиболее из всех исследователей прибли-

жается к проблематике нашей статьи и приходит к правомерному выводу о разном понимании Бога двумя мыслителями:

У Канта нравственный закон побуждает человека верить в реальность, осуществимость морального идеала, то есть в совпадение сущего и должного, что возможно только у Бога. При этом Бог, которого постулирует Кант, это, по сути, «Бог философов», абстрактный «Высший Разум». У Достоевского — и в этом, пожалуй, заключается его главное отличие от Канта — совпадение сущего и должного явлено не просто в бытии Бога, но именно в Боговоплощении, так как в Богочеловеке Христе совпадает именно человеческое сущее и должное. Именно поэтому «Христос — начало всякого нравственного основания» [Золотарев 83].

С этим невозможно не согласиться. Указывать на отличия в религиозности Канта и Достоевского, несомненно, можно долго в силу разности вводных данных, указанных нами в самом начале статьи. Нам бы хотелось скорее указать на точки сближения идей двух авторов в том же ключе, как это делал Я. Голосовкер, но в свете проблематики христианства.

Мы не преследуем цели дать полное сопоставление позиций Достоевского и Канта: в силу множества планов и аспектов темы это и невозможно в пределах одной статьи. Нашей задачей будет дополнить исследования коллег некоторыми собственными наблюдениями, исходя из позиции филолога, специалиста по творчеству Достоевского. Точно так же мы осознанно не разбираем подробно вопросы этики, уже освещенные предшественниками. Даже тема религиозности двух мыслителей, невероятно масштабная сама по себе, берется только в рамках их параллелизма. Наконец, сфера религиозности позволяет найти необходимый баланс философской проблематики и художественной образности, равно как и переход от одной сфере к другой, что, с точки зрения научных гуманитарных дисциплин, не может быть до конца методологически безупречно.

И Кант и Достоевский утверждают, что *человек непознаваем*. Для Канта принципиально, что человек сам «вещь в себе» и потому не может быть познан. Исходной точкой творчества Достоевского можно считать его высказывание:

Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком [Достоевский 28. 1: 63].

Разница в их позициях состоит в том, что Канта интересует в человеке главным образом функция познания, а не экзистенция, и поэтому он говорит о мыслящем разуме и способности познания вообще, релятивируя и абстрагируя индивидуальное «я» как ее носителя (в этом смысле характерна его критика основополагающего силлогизма Декарта: «Я мыслю, следовательно я существую»). Для Канта, построение самых важных, синтетических априорных суждений происходит в «чистом разуме», и поэтому кто мыслит и существует, еще неясно и не дано). Для Канта человек не уникален как личность. Достоевский же видел для человека решение вопроса о Боге и бессмертии именно через бесконечное усиление конкретным «я» индивидуального самосознания, в результате чего это «я» релятивирует пространство и время и врывается в вечность стремительным порывом с нарушением законов мира эмпирического. Здесь сказывается как раз то, что Достоевский — человек уже другой эпохи, выросший на идеях романтизма, и здесь он прямо сближается с Фихте, с его концепцией «я» творящего мир и самое себя.

Пространство и время

Согласно Канту, человек воспринимает мир в априорных категориях: пространства, времени, причинности (которые не существуют сами по себе, но только способы представления мира в сознании), и пока рассудок заключен в их рамки, познание сущности мира как «вещи в себе» невозможно).

Очевидно, что Достоевский внимательно штудировал Канта и принял его позицию о строгих границах для разума в познании мира и Бога, что далось ему крайне болезненно, ибо он мучился вопросом богопознания, и кантовские антиномии ему требовалось преодолеть. Соответственно, потребовалось выйти за пределы разума, то есть за пределы этих границ познания, за пределы априорных категорий. Это сказалось не только на мировоззрении его героев, но и на поэтике его романов в целом. При внимательном и пристальном наблюдении за художественными мирами Достоевского мы обнаружим поразитель-

ное явление: герои Достоевского как будто отрицают пространство и время, хотя бы выйти за их пределы, чтобы тем самым выйти за пределы человеческих возможностей познания.

Многие герои-идеологи отказываются от пространства, как Раскольников, который жил в чердачной комнатке с очень низким потолком, похожей на гроб, (по его словам: «низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят!» [Достоевский 6: 320]), но он «озлился» и нарочно не выходил из нее по целым дням и неделям: «Я лучше любил лежать и думать» [Достоевский 6: 320]. Думал лежа на кровати, по ночам, в совершенной темноте, то есть фактически в подобии гроба. Таким образом, формированию его идеи «сильно способствовало» уничтожение пространства для сознания. Точно так же свои идеи выдумывают Шатов и Кириллов — герои другого романа, «Бесов» — лежа месяцами в сарае в Америке, не выходя наружу. Раскольникову часто приходят странные мысли о вечной жизни «на аршине пространства»:

Где это <...> я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить!» [Достоевский 6: 123].

Наконец, поразительный образ исчезновения пространства предлагает Свидригайлов, воображая вечность после смерти в виде маленькой комнатки:

Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. <...> — А почему знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов [Достоевский 6: 221].

Таким образом, он готов свести на нет пространство, сделать его таким, чтобы оно стало пыткой в аду.

Со временем у Достоевского происходят еще более интересные метаморфозы. Мы помним, что его герои вообще выпадают из времени нормативной жизни, воспринимаемой ими как томительная, убивающая безысходность: они нигде не работают, многие почти ни с кем не общаются и не имеют семьи. Постоянное обдумывание «последней идеи» влечет за собой болезненное напряжение сознания, выбивающее их из ритма повседневности и приводящее их к некоему промежуточному состоянию между бредом, сном и реальностью, в результате чего хроникальное течение времени становится нерелевантно: в ослепительную минуту катастрофы или прозрения герои проживают годы, целую жизнь, зато целые месяцы и годы реального времени их жизни будто проходят, не оставляя следа в памяти и сознании.

Редкие минуты общения и выхода «к людям» приводят к «невозможному» откровению и страстному исповеданию идеи, как будто герои желают за миг возместить провал долгих лет одиночества и любовно соединиться «со всем человечеством». «Я думал только четверть часа говорить и всех, всех убедить...» — говорит смертельно больной Ипполит, знающий, что жить ему осталось несколько месяцев и потому пренебрегающий временем [Достоевский 8: 247]. Заканчиваются такие выступления неизбежно разрывом и скандалом.

Стену природных законов и априорных категорий разума для героев Достоевского необходимо проломить любой ценой. «Страшная свобода» конца времени открывает возможность разрешения всех нравственных коллизий, ибо стирается граница между жизнью и смертью.

У самого Достоевского в жизни был опыт подобного «катастрофического» времени: это и пять минут после прочитанного ему приговора о смертной казни, когда он думал, что он сейчас умрет «наверное» и успел за эти пять минут осознать ценность жизни и навсегда измениться как человек. Кроме того, он страдал эпилепсией, и перед каждым припадком испытывал так называемое состояние «ауры» — необыкновенного экстаза, переживаемого им как божественное озарение, в котором он переносился в рай. Вот как Достоевский описывал эти секунды устами Мышкина:

В эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком <...>, когда вдруг, <...> как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (*никогда не более секунды*), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и «высшего бытия», не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И, однако же, он все-таки дошел наконец до чрезвычайно парадоксального вывода: «Что же в том, что это болезнь? — решил он наконец. — Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни?» [Достоевский 8: 188].

Очень важно, что эти мгновения воспринимаются Мышкиным как выход за границы человеческой природы. Кириллов в «Бесах» переживает похожее состояние, которое, по его словам, «человек в земном виде не может перенести. Надо *перемениться физически или умереть*. <...> Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть» [Достоевский 10: 450]. Кириллов даже решается убить себя, чтобы покончить с ограниченностью своего человеческого существования и стать Богом. Для этого ему необходимо отменить время как априорную категорию Канта, и он считает время не реальностью, а только формой восприятия мира и повторяет кантовскую формулу:

В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. <...> Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль. <...> Время не предмет, а идея. Погаснет в уме [Достоевский 10: 188].

Последнюю фразу мог бы сказать Кант, но выход за пределы восприятия времени для немецкого мыслителя принципиально невозможен, а суждения о других формах бытия разума за пределами эмпирически доступной реальности он отказывается делать. Для Канта отсутствие времени значит отсутствие феноменального опыта, то есть и отсутствие самой возможности разума и рассудка — ведь тогда они ничем не могут быть наполнены. С точки зрения Кириллова же, очевидно, подлинное познание открывается лишь за пределами времени.

Таким образом, из относительности пространства и времени у Канта герои-идеологи Достоевского раз за разом делают выводы в духе радикального субъективизма и волюнтаризма. Они хотят выйти за границы познания кантовского чистого разума и открыть Бога экстатически, через радость.

При этом неправильно было бы назвать Достоевского иррациональным мистиком. Как мы видим в процитированных выше словах князя Мышкина, даже описывая экстатические озарения, он обосновывает логически и философски допустимость и оправданность знания, полученного в подобном опыте. Это высшее знание он распространяет не только на свою частную жизнь, но считает его действительным для всего человечества, отводя себе, в лучшем случае, роль первооткрывателя «вечных идей».

Хотя здесь у Достоевского можно видеть следы влияния не только субъективизма Фихте, волюнтаризма А. Шопенгауэра и радикального индивидуализма М. Штирнера, — в отличие от этих авторов, он остается в русле кантовского мышления и продолжает воспринимать все-рез кантовское учение о границах опыта.

Тем не менее в глобальном вопросе Достоевский остается верен восточной христианской традиции: путь к бессмертию «духа» для него возможен только через преодоление фундаментальных ограничений: как изначальной «животной» природы, так и противостоящего ему «человеческого» разума. И, главное, чего нет ни у Канта, ни у Гегеля, но зато очень ясно сформулировано у Григория Паламы — этот путь не-

возможен при замкнутости человека самого-на-себе, «работе с собой». Для этого нужен Бог, и, соответственно, вера как устойчивый вектор движения человека к Нему.

Парадокс свободы

Достоевский в первый раз в своем творчестве философски ставит проблему свободы в «Записках из подполья», где герой усиленно старается стать независимым от оценки себя со стороны общества. Но сам факт писания бесконечных записок и постоянный спор в них с воображаемым *другим* демонстрируют полную неудачу всех его попыток. Что только герой ни делает, он только усиливает свою несвободу, пока это не превращается в дурную бесконечность. Теперь герой выражает свободу лишь мысленно, тем, что показывает природным законам, обрекающим его на несвободу, «язык» (или: если зубную боль нельзя прекратить, то можно специально громко стонать, наслаждаясь мучением окружающих). «Подполье» он понимает как отказ от человеческого общества. Но в полном уединении он ведет нескончаемые записки, где оправдывается перед воображаемым собеседником, чем демонстрирует свою усугубленную психологическую зависимость от людей, которая становится тем сильнее, чем больше он стремится от нее избавиться.

Получается кантовская антиномия: он несвободен и свободен одновременно.

Кант утверждает: Если бы имели дело не с явлениями, а с реальным миром (вещами в себе), то свобода была бы невозможна, «сплошная связь всех явлений в природе непреложный закон» [Кант 1964: 481], и «этим неизбежно уничтожалась бы всякая свобода, если бы настаивали на реальности явлений». А если они суть только явления, то их причины могут быть недоступны нашему разуму. То есть: свободу в мире можно допустить лишь тогда, если он ирреален?

В «Критике чистого разума» Кант пишет: Как феномен, явление в пространстве и времени, объект (и субъект) обусловлен причинностью, подчинен законам природы и не может иметь свободы. Но как вещь в себе, как непознаваемый ноумен, «такая деятельная сущность была бы в своих поступках свободна и независима от всякой естественной необходимости как встречающейся исключительно в чувственности» [Кант 1964: 483]. «Таким образом, в одном и том же действии, смотря

по тому, относим мы его к умопостигаемой или чувственной причине, соединялись бы в одно и то же время без всякого противоречия свобода и природа, каждая в своем полном значении» [Кант 1964: 483].

В чем же видит Кант реальное проявление человеческой свободы? Только в нравственном законе, не обусловленном ни эгоистическими телесными побуждениями, ни житейским опытом. Моральным законом, существующим в человеческой душе, Кант обосновывает существование Бога в своем собственном, пятом доказательстве.

Нравственный закон Канта призывает человека к «свободному», то есть сознательному и добровольному соблюдению правил, то есть в долге, категорическом императиве.

Достоевский же человеческую свободу понимает не «по-немецки», как соблюдение правил, а наоборот, как волюнтаризм, нарушение всех рациональных (в том числе моральных) законов. Обоснованием этому для героев Достоевского становится обретаемая ими *высшая идея*, которая не столько формулируется рационально, сколько переживается эмоционально — как ослепительно яркое явление идеала, придающего смысл жизни. *Идея* необходима как прорыв, чтобы исчезла непреодолимая «стена» природных законов, чтобы рухнул и завалился «угол» — подлое, досадное, временное прибежище души. Это опять-таки выход за рамки *пространства* (подобного теснящим стенам каморки) и *времени* — убивающей повседневной безысходности. Для обоснования прорыва возможны, по Достоевскому, разные пути: возвеличивание себя до Наполеона, вера в клятву ангела из Апокалипсиса или озарение перед припадком, но в основе таится упоение секундой возможности уйти из-под власти судьбы. Образно оно передается мотивом полета в падении после прыжка с горы (с обрыва Шлангенберга в «Игроке») или «с колокольни» (в «Подростке») с замиранием сердца.

«Высших идей» у героев Достоевского может быть всего две: *бого-человечество* (вера в Христа как Бога) и *человекобожество* (самообоожествление). Герои, обретшие Бога, познают Его через «опыт деятельной любви» к людям. Но адепты *человекобожества* утверждают себя самих как бога через безграничное своеволие, которое должно проявиться в некоем экстремальном поступке (убийстве, самоубийстве, раздаче даром миллионного состояния). При этом герои считают, что их опыт совершит революцию в познании человеком себя и перевернет жизнь всего человечества.

Замечательно, что поэтому герои приходят опять-таки к должностованию, личной обязанности перед человечеством совершить этот поступок. Так они приближаются к парадоксальному повороту кантовской фразы, от которой сам Кант пришел бы в ужас: «Я обязан заявить своеволие» (так говорит перед самоубийством Кириллов) [Достоевский 10: 472].

Однако верующий во Христа, то есть живущий соответственно идее богочеловечества, по заповедям, понимает свободу как ответственность. «Признание человеческой личности и свободы ее, а, стало быть, и ее ответственности, — пишет Достоевский, — есть одна из самых основных идей христианства» («Дневник писателя», 1876) [Достоевский 24: 84].

Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека («Зимние заметки о летних впечатлениях») [Достоевский 5: 79]¹.

¹ Н. Вильмонт считает это положение Достоевского «о дарованной людям свободе, свободном выборе между добром и злом, не регулируемом никакой потусторонней (трансцендентной) божественной силой или знамением, а всецело приговором собственной совести, нравственным сознанием человека» навеянным «духом кантовской философии истории и кантовской этики» [Вильмонт: 104]. Но сам писатель, очевидно, считал личностную свободу выбора между добром и злом основой христианского мировоззрения, восходящего к библейской книге Бытия — искушению первых людей в раю, съевших яблоко познания добра и зла, то есть свободно вышедших из воли Бога.

Итак, парадоксальным образом, Достоевский в лице своих героев — идеологов *человекобожества* — сначала бунтует против Канта, как против ограничений познания для чистого разума, но его герои, пришедшие к идее *богочеловечества*, видят путь к вере через кантовский нравственный императив. Спасение мира и всемирная гармония, соответственно, достигаются через кантовское нравственное должностовование.

Уникальность мышления Достоевского здесь проявляется в сочетании волюнтаризма и кантианского самоограничения — подобное направление мысли потом развивается в христианском экзистенциализме, но именно Достоевский более всех здесь остается верен кантовскому направлению мысли.

Так, Иван Карамазов ощущает внутреннюю необходимость заявить на себя на суде как непреодолимый императив совести. Над ним за это издевается его двойник черт, напоминая «ученому атеисту», что по своей *идее* он нравственный долг отрицает, коли уж провозглашает свободу человека от Бога. Продолжая мысль черта, Иван вынужден признать в себе наличие Божьего закона («О ты бы много дал, чтоб узнать самому, для чего идешь! <...> Но ты всё-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, — это уж сам угадай, вот тебе загадка!» [Достоевский 15: 88]). От неразрешимости этого парадокса «чистым разумом» Иван практически сходит с ума, но действительно идет (бесполезно и бессмысленно!) свидетельствовать против себя и умершего уже Смердякова, с отвращением и почти с болезненным пароксизмом ненависти к себе, «спасаемому» брату и всему человечеству («Кто из нас не желает смерти отца?»). Таким образом, Достоевский дает иллюстрацию категорического императива Канта в действии как доказательства существования Бога. Но согласен ли он с Кантом, что этот момент для человека уже следует считать свободой?

Несомненно, Достоевский мог иметь здесь в виду полемику с Кантом столь любимого им Шиллера, а именно злую эпиграмму последнего, в которой поэт критикует холодную рассудочность кантовского *нравственного императива*:

Ближним охотно служу, но — увь! — имею к ним склонность,
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?

Нет другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе делай, что требует долг.
(«Философы», пер. Вл. Соловьева [Шиллер: 243]).

Таким образом, в данном примере мы видим у Достоевского не только следование идеям Канта, но и важное концептуальное отличие от него, которое предвосхищает «персоналистский поворот» в русской и европейской мысли, в результате которого личность стала признаваться высшей формой бытия человека: для Достоевского важно возлюбить Христа не только как добро, но и как человека, личность, а затем найти в себе Христа, который живет и действует и в Иване (на сердце которого «горит поцелуй любви», данный Христом его литературному alter ego — великому инквизитору). Чтобы уверовать, нужно открыть в себе радость рая, радость быть со Христом. Путь Достоевского ко Христу — через бесконечное усиление личности, как чувствующей, любящей и радующейся, как это становится ясно из последующей за «Pro et contra» главы — «Русский инок».

Мы согласны с критикой трактовки человеческой свободы у Канта О. Осмоловского:

Моральная философия Канта и Достоевского имеет общий источник — Нагорную проповедь Христа. Но в обосновании моральных истин они шли разными путями. Кант ограничил свою задачу в области этики созданием метафизики морали, построив ее на абстрактных постулатах практического разума. Он рассматривал свою нравственную философию как науку о должном — универсальных внеэмпирических принципах морали — и игнорировал ее общественно-историческую природу. Для него свобода, долг, добрая воля, благо, ответственность и другие важнейшие категории этики — всего лишь априорные логические понятия. Проблему свободного выбора Кант тоже ограничил пределами интеллектуальной жизни — сознанием субъектом автономности своей разумной воли. Кант лишь мнимо решил противоречие свободы и обусловленности воли. Чтобы обосновать свободу доброй воли, он разделил неделимое — единую личность человека на умопостижимый и эмпирический характер и произвольно объявил первый независимым, в котором господствует разумная воля, вырабатывающая моральные идеи. Он признал непознаваемым умопостижимый характер и отказался от объяснения, как может практический разум прину-

дить человека следовать в своем поведении выработанным им моральным законам [Осмоловский: 229].

Бог и Мораль

Достоевский утверждал, что мораль и вера в Бога неразрывно связаны. Нельзя любить человечество без Бога. Если Бога нет, то все позволено [Достоевский 14: 52]. В беседе со старцем Зосимой Иван Карамазов формулирует эту мысль почти парадоксально: «Нет добродетели, если нет бессмертия» [Достоевский 14: 65].

У Канта доказательство Бога дается наоборот: не «если нет Бога, то все позволено», а: «если не все позволено, то Бог есть»! Значит, Мир создан таким, чтобы этот императив смог быть воплощен!

Е. Черкасова видит различия между Кантом и Достоевским в том, что «в то время, как кантовская этика отделена от природы, от человеческого тела и эмоций, моральный императив Достоевского относится к личности во всей ее полноте посреди “живой жизни”» [Cherkasova: 15]. «Коротко говоря, для Канта безусловное основано на рациональности, а для Достоевского — на любви» [Cherkasova: 3].

Кант признавал мораль автономной, независимой от религии, а нравственный закон — невыводимым из религиозных заповедей. С другой стороны, по Канту, мораль, как и все, что обусловлено свободой, имеет цель. Это цель *высшего блага в мире*, а для возможности этого блага необходимо признать высшее моральное существо, то есть Бога. Таким образом, по Канту, человек верит в существование Бога потому, что этой веры требует мораль:

...мораль неизбежно ведет к религии, благодаря чему она расширяется до идеи обладающего властью морального законодателя вне человека*, в воле которого конечной целью (мироздания) служит то, что может и должно быть конечной целью человека.

* Положение: «Есть Бог», стало быть, «Есть в мире высшее благо», — если оно (как догмат) должно следовать только из морали, есть априорное синтетическое положение, которое хотя и принимается только в практическом отношении, тем не менее выходит за пределы понятия долга, которое содержится в морали (и предполагает не материю произвола, а только формальные законы его), и, следовательно, из морали не может быть развито аналитически [Кант 1994: 8–9].

Совершенное соответствие человеческой воли с нравственным законом Кант называет святостью, которая неосуществима в эмпирическом мире:

А так как оно тем не менее требуется как практически необходимое, — пишет Кант, — то оно может иметь место только в прогрессе, идущем в бесконечность к этому полному соответствию, и согласно принципам чистого практического разума необходимо признавать такое практическое движение вперед как реальный объект нашей воли. Но этот бесконечный прогресс возможен, только если допустить продолжающееся до бесконечности существование и личность разумного существа (такое существование и называют бессмертием души) [Кант 1965: 455].

Без него (постулата бессмертия души. — А. К.) или нравственный закон совершенно лишается своей святости, так как тогда его портят, делая его снисходительным и потому приспособленным к нашим удобствам, или же преувеличивают его назначение и возбуждают надежду на недостижимую цель, а именно на полное приобретение святости воли [Кант 1965: 454].

Итак, при отсутствии бессмертия души высшая цель нравственного закона становится неосуществимой. «Кант, таким образом, считал, что и без веры в Бога можно сохранить нравственный закон, но следовать ему в таком случае придется без всякой надежды осуществить в реальности высшее благо» [Золотарев: 83]. (Это фактически та самая причина, из-за которой не принимает «Божий мир» Иван Карамазов, считая его несправедливым при неустранимом наличии в нем зла, а без бессмертия души и бессмысленным).

Таким образом, «практический» разум главенствует над «теоретическим»:

Действительной полной гарантией реальности нравственного миропорядка может быть, согласно Канту, лишь Бог, устроивший мир таким образом, что в конечном счете поступки окажутся в гармонии с нравственным законом и необходимо получают воздаяние в загробном мире. Не доказуемое никакими аргументами теоретического разума существование Бога есть необходимый постулат практического разума [Асмус: 321].

Этот ход мысли полностью повторяет Достоевский, для которого наличие совести в человеческой душе и необходимость морали для существования мира — свидетельство существования и Бога, иначе мир не имел бы никакого смысла и был бы «ложь и дьяволов водевиль».

Однако Достоевский идет еще дальше Канта: в «Дневнике писателя он формулирует, что «без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо» [Достоевский 17: 46]; «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле» [Достоевский 17: 49]. В отличие от Канта, для Достоевского без веры в бессмертие теряется всякое основание морального закона на Земле и становится «все дозволено». Точно так же и любовь к человечеству «невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой» [Достоевский 17: 49]. Заключает эти рассуждения Достоевский почти кантовским силлогизмом:

Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно [Достоевский 17: 49].

Согласно представлениям обоих мыслителей, человечество вначале пребывало в Золотом веке, в райской гармонии, которая была потом уничтожена развитием личности и эгоизма в людях в эпоху Цивилизации. Здесь прослеживаются у обоих мыслителей идеи Руссо. Итак, в настоящем души людей пребывают во зле. Достоевский называл этот этап эпохой «всемирного уединения».

В книге «Религия в пределах одного только разума» Кант пишет:

У всех мир начинается с добра — с золотого века, с жизни в раю или с еще более счастливой жизни в общении с небесными существами. Но это счастье скоро исчезает у них как сон, и впадение во зло (моральное, с которым всегда в ногу идет и физическое) ускоренным шагом торопится к худшему [Кант 1994: 18].

Оба мыслителя считали, что к Богу можно прийти не разумом, но опытом деятельной любви. При этом Кант ставил на первое место долг (нравственный императив), а Достоевский — любовь.

Герои Достоевского, потерявшие Бога, ищут его либо через преодоление кантовских априорных категорий, чтобы шагнуть за пределы человеческих возможностей познания, либо пытаются его обрести посредством любви к людям, почти совпадающей с кантовским нравственным императивом, но переосмысленным в рамках православной духовной традиции. В обоих случаях Достоевский исходит из кантовских идей. Конечно, налицо определенное различие позиций: если Кант исходит из понятия «долга», мысля его как рациональный императив, относящийся к сфере практического разума, то для Достоевского крайне важно *субъективное переживание опыта любви*, и лишь на нем он основывает нравственность. Однако общее для обоих мыслителей нравственное основание доказательства бытия Божия, равно как и влияние Канта на Достоевского здесь не подлежит сомнению.

В «Братьях Карамазовых» старец Зосима предлагает следующий путь обретения веры в Бога:

Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно. — Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу. Это испытано, это точно [Достоевский 14: 52].

Для Достоевского, так же как и для Канта, целью остается «высшее благо мира» — всемирное единение людей в райской гармонии на Земле, что связывает его с эпохой Просвещения. Тоска по райской гармонии — для него глубинная основа всякого религиозного чувства. Однако Достоевский снова говорит о нравственном законе как о потребности любви, заложенной изначально в человеческой душе.

Главный герой романа «Подросток» Версиков делится с сыном своим проектом духовного пути развития человечества: когда окончательно забудут Бога, то ощутят себя обреченными на смерть без вечной жизни. И тогда всю силу любви осиротевшее без Бога человечество

направит друг на друга с удесятеренной силой. И тогда к ним вновь придет Христос, вызванный силой их любви, со словами: «Как вы могли забыть Его?» (кстати, данный сюжет Достоевский представляет по стихотворению Гейне «Мир») [Достоевский 13: 379].

Ту же мысль проводит Достоевский в своих личных записях:

А приняв закон любви, придете к Христу же. Вот это-то и будет, может быть, второе пришествие Христово [Достоевский 24: 165].

Патриархальность было состояние первобытное. Цивилизация — среднее, переходное. Христианство — третья и последняя степень человека, но тут кончается развитие, достигается <было: кончается> идеал, следовательно, уж по одной логике, по одному лишь тому, что в природе все математически верно, следовательно, и тут не может быть иронии и насмешки, — есть будущая жизнь» («Социализм и Христианство») [Достоевский 20: 194].

Квинтэссенцией творческого диалога Достоевского с Кантом справедливо считают его последний роман «Братья Карамазовы», и в частности — духовные искания «ученого атеиста» Ивана Карамазова, изложенные в главе «Pro et contra» с поэмой о Великом инквизиторе, а также в разговоре Ивана со своим двойником — чертом. Иван Карамазов — увлеченный философ, про которого сказано: «Душа его — бурная. Ум его в плену. Он из тех, кому не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» [Достоевский 14: 76].

Рассуждение Ивана о том, что вера в Христа должна быть только свободной, то есть не доказуемой разумом, без опоры на какие-либо предвзятые догмы и якобы материальные доказательства, прямо пересекается с аргументацией Канта, признающего невозможность доказать существование Бога на уровне синтетических суждений «чистого» разума. И Кант и Достоевский рассуждают о вере рационально и отвергают многие нечестные уловки, помогающие верить, не рассуждая: это и апелляция к чуду, и благоговение перед тайной, и преклонение перед авторитетом, и, наконец, удобство верить в то, во что верят все (соблазн «власти») или во что верить материально выгодно (искушение «хлебами»). Достоевский явно пользуется наследием Канта, очертившего в «Критике чистого разума» возможности

познания разума и разоблачившего его иллюзии. (Именно над этим смеется и черт: «Тот свет и материальные доказательства — ай-люди!» [Достоевский 15: 73]).

По наблюдениям А. В. Скоморохова, «шаг за шагом, Достоевский последовательно принимает: а) иерархию идей (религия, вытекающая из морали); б) представление о несправедливости наличного мира; в) мысль о невозможности морали в аморальном мире и, как следствие, необходимости сверхморальной перспективы; г) постулирование финальной гармонии. Иными словами, Достоевский едва ли не дословно воспроизводит ход Кантова рассуждения» [Скоморохов: 130]. Однако «осанна» Канта связана с рациональной потребностью в религиозной перспективе для обеспечения силы морального закона. «Осанна» Достоевского, которая “через горнило сомнений прошла”, связана с поцелуем Христа, “горящим на сердце” Великого Инквизитора» [Скоморохов: 133].

А. В. Скоморохов полагает Великого Инквизитора «кантианцем XIX века», который не верит в бессмертие души и соответственно «лишает моральный закон святости», «приспосабливает» его, как и предупреждал Кант, «к удобству слабосильных людей». «Великим Инквизитором создается “религия в пределах только разума”, разворачивающая послышки “религии” Канта в новых исторических обстоятельствах. Ее Бог — конструкт практического разума, вид “необходимой лжи” для слабого человека» [Скоморохов: 132].

Философскую проблематику романа философ Я. Голосовкер выразил как диалектическое противостояние в мыслях Ивана тезисов и антитезисов кантовских антиномий чистого разума:

Тезис	Антитезис
1. Сотворен ли мир и конечен?	<i>Или:</i> Мир вечен и бесконечен?
2. Есть ли бессмертие? (есть ли неделимые объекты)	<i>Или:</i> Бессмертия нет и все делимо и разруσιμο?
3. Свободна ли воля человека?	<i>Или:</i> Нет свободы, а есть одна естественная необходимость (закон природы)?
4. Есть ли Бог и Творец мира?	<i>Или:</i> Нет Бога и Творца мира?

Мы помним, что Кант одинаково логично доказывает последовательно все четыре тезиса и антитезиса, демонстрируя тем самым неизбежность иллюзий чистого разума, вытекающих из природы его априорных категорий. Тем самым Кант обозначает границу человеческого познания.

Иван Карамазов мучается теми же самыми противоречиями. В беседе с ним старец Зосима, воплощающий в романе авторский голос, пронизательно свидетельствует, что духовные искания и сомнения Ивана никогда не будут разрешены окончательно ни в ту, ни в другую сторону — прямо в соответствии с неразрешимостью антиномий для Канта. Зосима говорит:

В вас этот вопрос не решен и в этом ваше великое горе, ибо действительно требует разрешения...

— А может ли быть он во мне решен? Решен в сторону положительную? — продолжал странно спрашивать Иван Федорович, всё с какою-то необъяснимой улыбкой смотря на старца. — Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такую муку мучиться... [Достоевский 14: 65–66].

По мнению Я. Голосовкера, в конечном счете носителем тезиса в романе выступает старец Зосима, а носителем антитезиса — черт, двойник из кошмара Ивана Карамазова.

На наш взгляд, на роль кантовского антитезиса гораздо более подходит атеист-либерал Ракидин и проклинаемые Дмитрием Карамазовым ученые-материалисты («бернары презренные»), которые с точки зрения науки (то есть разума) последовательно отрицают существование Бога и выстраивают на этом основании мировоззрение всего Запада в Новое время. Характерна ненависть, которую испытывает Ракидин к Ивану (говоря о нем «с явною злобой» и «перекошенными губами» [Достоевский 14: 76]), как, впрочем, и ко всем членам семьи Карамазовых.

Черт же не отрицает существование Бога. Так, на прямой вопрос Ивана: есть ли Бог? — он наивно «божится», что ничего о Нем не знает («Голубчик мой, ей Богу не знаю, вот великое слово сказал» [Достоев-

ский 15: 77]). Далее он прямо подтверждает истинность Нового Завета, рассказывая Ивану о своем личном присутствии при вознесении на небеса воскресшего Слова и даже об «опрометчивом» желании воспеть Ему осанну.

Черт — двойник Ивана, но это не отражение *всей* его личности («Ты воплощение меня самого, только одной впрочем моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых» [Достоевский 15: 72]). Ивану присущи и страсть, и «карамазовский безудерж» любви к жизни. Даже скептицизм у него не холодно насмешливый, как у черта, а напряженно трагический («<...> душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» [Достоевский 14: 76]) Таким образом, черт — это скорее — сам кантовский «чистый» разум, одновременно отрицающий и утверждающий существование Бога и осмысленность мироздания, который никогда не выйдет из дурной бесконечности кантовских антиномий:

Je pense donc je suis, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, Бог и *даже сам сатана*, — все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе, или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего доверменно и единолично... [Достоевский 15: 77].

Незнание про существование *сатаны* намекает на то, что они не исходят от самого сатаны, и черт философски обозначает собой нечто другое. Действительно, если мы проанализируем его слова, то увидим, что он не отождествляет себя со злом, пороками и разрушениями, а скорее с цинизмом и бесконечными сомнениями. Черт посылает двойные сигналы, одновременно утверждая свою иллюзорность и воплощенность. По его словам, с «благородной целью» заронить в его душу «семена веры», а именно: «когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю» [Достоевский 14: 76], что является аналогом фразы Тихона из вырезанной главы «Бесов» о том, что «совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры» [Достоевский 11: 10]. Черт этого не желает, поэтому пытается запутать Ивана, предоставляя доводы для доказательства обоих тезисов,

демонстрируя нерушимость «антиномии». Может показаться, что черт выдает Ивану то необходимое «горнило сомнений», без которого невозможна «осанна», но черт высказывает сомнения не продуктивные, а парализующие; сомнения, которые не ведут по пути к вере, а сбивают с него, создавая множество циклических развилок-тупиков. Таким образом, он является полным аналогом кантовского чистого разума, не могущего преодолеть неразрешимость антиномий, замкнувшегося в их плену.

Выразителем *зла* в романе выступает вовсе не сам черт, но «бесенок» Лиза Хохлакова, проговаривающая от своего имени действительно страшные вещи: про то, как она «любит зло», «любит преступление», хочет «себя разрушать» и хочет, чтобы уничтожился весь мир («я хочу делать злое <...> чтобы нигде ничего не осталось»). Именно она вторит страшным анекдотам про пытки и убийства детей Ивана, рассказывая, как хотела бы распять мальчика и, глядя на него, есть ананасный компот [Достоевский 15: 22–24].

Характерно, что черт в разговоре с Иваном постоянно рассказывает анекдоты, основанные на парадоксальном переосмыслении пространства и времени, но при этом он не «бунтует» против них, подобно страстным мыслителям Достоевского, не стремится вырваться за их пределы, но *обесмысливает* их, играя, как некогда Вольтер, бесконечно малыми и большими их величинами:

Что станется в пространстве с топором? *Quelle idée!* Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг земли, сам не зная зачем, в виде спутника [Достоевский 15: 75];

Да ведь теперешняя земля может сама-то биллион раз повторяться <...> ведь это развитие может уже бесконечно раз повторяться, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая... [Достоевский 15: 79];

...присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадрилон километров <...>, и когда кончит этот квадрилон, то тогда ему отворят райские двери и все простят... А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд — <...> воскликнул, что за эти две секунды не только квадрилон, но квадрилон квадрилонов пройти можно, да еще возвысив в квадрилонную степень! [Достоевский 15: 79].

В последнем примере, кстати, черт иронически высмеивает экста- тическое состояние секунд райской гармонии, способных вознести человека до Бога, описанных у Мышкина и Кириллова (см. выше в нашей статье). Это подтверждает правоту нашего отождествления черта с кантовским «чистым» разумом, неспособным ни обрести смысл существования в рамках априорных категорий, ни выйти за их пределы.

В довершение кантианских аналогий отметим, что сам черт хочет «опроститься», не быть больше «иксом в неопределенном уравнении» и... перестать быть умом:

Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец как и назвать себя. <...> Ты вечно сердиться, тебе бы все только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и богу свечки ставить [Достоевский 15: 77].

Таким образом, перед нами деперсонифицированный кантовский «чистый» разум, который мечтает стать «практическим» — опереться на мораль и данные реального опыта, то есть «реализоваться»:

Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей богу так [Достоевский 15: 74].

В этот момент черт уже перестает быть «злом», а становится только «парадоксалистом», подобно герою «Записок из подполья».

Если додумать до конца ход мыслей Достоевского, то оказывается, что ориентированность Ивана на поиск истины только разумом неизбежно приводит его к тупику и к тоске богооставленности. Разум, действуя строго логически, даже не отрицая безусловно Бога, все равно приходит к бессмысленности мироздания, его неприятию и следовательно отрицанию, что позволяет на каком-то этапе ему осознать себя *незлым злом* — двойником «страшного и умного духа, духа самоуничтожения и небытия», пусть и без прямого отождествления.

Однако повторим, что черт — лишь одна сторона личности Ивана, которая не исчерпывается холодным разумом: герою свойственен

и страстный карамазовский «безудерж» как родовая черта его семьи. Этот «безудерж» амбивалентен: он и влечет к низости падения, но означает и спасительную любовь к жизни и земле (так и Иван говорит о своей «исступленной и неприличной жажде жизни» [Достоевский 14: 69]). Два других брата находят свой путь к Богу: через страдания и покаяние (Дмитрий) и через восторженный порыв любви к миру (Дмитрий и Алексей), выражением которого становится шиллеровская ода «К Радости». В свою очередь, за Шиллером у Достоевского опять выступают неожиданно кантовские мотивы — уже не с критикой, а с позитивным приятием.

Мы помним знаменитую итоговую формулировку Канта: «Звездное небо над головой и нравственный закон во мне». Она воспроизводится в ключевом месте романа «Братья Карамазовы», когда Алеша Карамазов, преодолев сомнение в Боге, посвящает себя ему уже навсегда:

Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты (то есть теперь пространство для него бесконечно расширяется — А. К.). Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. <...> Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. <...> О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдился исступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным» [Достоевский 14: 328].

Таким образом, Алеша постигает Бога через тайну звездного неба, соприкасающуюся с Божией тайной его души. Близость этих слов Канта говорит сама за себя. И в то же время акцент на персональном переживании опыта религиозного откровения подчеркивает уникальность позиции Достоевского.

Список литературы

Источники

Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. М.: Худож. лит., 1955. Т. 1. 780 с.

Кант И. Собр. соч. в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т 6: Религия в пределах только разума. Метафизика нравов. 613 с.

Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I. С. 219–310.

Кант И. Критика практического разума // Кант И. Соч. в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I. С. 311–501.

Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 3. С. 59–767.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. 716 с.

Исследования

Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М.: Наука, 1973. 532 с.

Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер: Заметки русского германиста. М.: Сов. писатель, 1984. 280 с.

Голоскер Я. Э. Достоевский и Кант: Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума». М.: АН СССР, 1963. 102 с.

Дробницкий О. Г. Теоретические основы этики Канта // Философия Канта и современность. М.: Мысль, 1974. С. 103–151.

Золотарев А. В. Идеи кантовской моральной философии в творчестве Ф. М. Достоевского // Соловьевские исследования. 2018. № 4 (60). С. 73–89.

Липке Ш. Образ героя в чужом мире в творчестве Ф. М. Достоевского: гносеологический вопрос И. Канта // Культура и текст. 2021. № 4. С. 45–59.

Мехед Г. Н. Проблема абсолютности морали в этике И. Канта и Ф. М. Достоевского: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2013. 22 с.

Осмоловский О. Этическая философия Достоевского и Канта // Достоевский и мировая культура. 1999. № 12. С. 216–230.

Сабиров В. Ш., Соина О. С. Метафизические и антропологические основания этики Ф. М. Достоевского // Соловьевские исследования. 2014. № 2 (42). С. 186–203.

Скоморохов А. В. Проблема объяснения зла: от Канта к Достоевскому // Философия и общество. 2019. № 4. С. 123–134.

Cherkasova E. Dostoevsky and Kant: Dialogues on Ethics. Amsterdam: Rodopi, 2009. 132 p.

References

- Asmus, V. F. *Immanuel Kant [Immanuel Kant]*. Moscow, Nauka Publ., 1973. 532 p. (In Russ.)
- Vil'mont, N. N. *Dostoevskii i Shiller: Zametki russkogo germanista [Dostoevsky and Schiller: Notes of a Russian Germanist]*. Moscow, Sovetskii pisatel' Publ., 1984. 280 p.
- Golosovker, Ia. E. *Dostoevskii i Kant: Razmyshleniia chitatelia nad romanom "Brat'ia Karamazovy" i traktatom Kanta "Kritika chistogo razuma" [Dostoevsky and Kant: The Reader's Reflections on the Novel "The Brothers Karamazov" and Kant's Treatise "Criticism of Pure Reason"]*. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1963. 102 p. (In Russ.)
- Drobnitskii, O. G. "Teoreticheskie osnovy etiki Kanta" ["Theoretical Foundations of Kant's Ethics"]. *Filosofiiia Kanta i sovremennost' [Kant's Philosophy and Modernity]*. Moscow, Mysl' Publ., 1974, pp. 103–151. (In Russ.)
- Zolotarev, A. V. "Idei kantovskoi moral'noi filosofii v tvorchestve F. M. Dostoevskogo" ["The Ideas of Kant's Moral Philosophy in the Works of F. M. Dostoevsky"]. *Solov'evskie issledovaniia*, no. 4 (60), 2018, pp. 73–89. (In Russ.)
- Lipke, Sh. "Obraz geroia v chuzhom mire v tvorchestve F. M. Dostoevskogo: gnoseologicheskii vopros I. Kanta" ["The Image of a Hero in a Strange World in the Works of F. M. Dostoevsky: The Epistemological Question of I. Kant"]. *Kul'tura i tekst*, no. 4, 2021, pp. 45–59. (In Russ.)
- Mekhed, G. N. *Problema absoliutnosti morali v etike I. Kanta i F. M. Dostoevskogo [The Problem of the Absoluteness of Morality in the Ethics of I. Kant and F. M. Dostoevsky: PhD Thesis, Summary]*. Moscow, 2013. 22 p. (In Russ.)
- Osmolovskii, O. "Eticheskaia filosofiiia Dostoevskogo i Kanta" ["The Ethical Philosophy of Dostoevsky and Kant"]. *Dostoevskii i mirovaia kul'tura*, no. 12, 1999, pp. 216–230. (In Russ.)
- Sabirov, V. Sh., and O. S. Soina. "Metafizicheskie i antropologicheskie osnovaniya etiki F. M. Dostoevskogo" ["Metaphysical and Anthropological Foundations of F. M. Dostoevsky's Ethics"]. *Solov'evskie issledovaniia*, no. 2 (42), 2014, pp. 186–203. (In Russ.)
- Skomorohov, A. V. "Problema ob"iasneniia zla: ot Kanta k Dostoevskomu" ["The Problem of Explaining Evil: From Kant to Dostoevsky"]. *Filosofiiia i obshchestvo*, no. 4, 2019, pp. 123–134. (In Russ.)
- Cherkasova, E. *Dostoevsky and Kant: Dialogues on Ethics*. Amsterdam, Rodopi Publ., 2009. 132 p. (In English)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-214-233>
<https://elibrary.ru/ORYCDI>
Научная статья
УДК 821.161.1.09"19"

© 2025. М. В. Михайлова

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии
наук
г. Москва, Россия

Парадоксы библиофильства и фетишизация книги в литературном наследии В. И. Танеева

Аннотация: Имя Владимира Ивановича Танеева (1840–1921), брата известного музыканта и композитора С. И. Танеева, практически исчезло из философского и филологического дискурса в последние пятьдесят лет, но и ранее его сочинения редко становились предметом исследования. Причина этого — в прямолинейности ученого, нежелании улавливать изменения, определившие философский ландшафт рубежа XIX–XX вв., укорененности в позитивистском подходе к явлениям. Однако совершенно иной облик мыслителя возникает в его текстах мемуарного характера, которые анализируются в данной статье. Строй мемуаров Танеева, тонкость восприятия, умение видеть людей говорят о несомненном писательском даре, который в сочетании с дотошностью и дисциплинированностью мышления принес самые незаурядные и неожиданные плоды. В статье доказывается, что во многом способность писать усилилась в Танееве благодаря знакомству с художественными сочинениями, мнения о которых он доносит до своего потенциального читателя.

Ключевые слова: В. И. Танеев, библиотека, чтение, книга, психология, рецепция, библиофильство.

Информация об авторе: Мария Викторовна Михайлова, доктор филологических наук, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, ГСП-1 119991, г. Москва, Россия; ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8193-6588>

E-mail: mary1701@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 27.07.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 30.09.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Михайлова М. В. Парадоксы библиофильства и фетишизация книги в литературном наследии В. И. Танеева // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 214–233. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-214-233>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 214–233. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 214–233. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Maria V. Mikhailova

Lomonosov Moscow State University

A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Paradoxes of Bibliophilia and Fetishization of Books in V. I. Taneyev's Literary Heritage

Abstract: The name of Vladimir Ivanovich Taneyev (1840–1921), brother of the renowned musician and composer Sergei Taneyev, has largely disappeared from philosophical and philological discourse over the past 50 years; however even before then, his works were rarely the subject of scholarly study. This stems from the scholar's straightforwardness, his reluctance to grasp the changes that shaped the philosophical landscape at the turn of the 20th century, and his entrenched positivist approach to phenomena. However, a completely different image of the thinker emerges in his memoirs, which are analyzed in this article. The structure of Taneyev's memoirs, his subtlety of perception, and his ability to discern people speak of an undeniable gift for writing, which, combined with meticulousness and disciplined thought, yielded the most extraordinary and unexpected results. The article argues that Taneyev's writing ability was greatly enhanced by his exposure to literary works, the opinions of which he conveys to potential readers.

Keywords: V. I. Taneyev, library, reading, book, psychology, reception, bibliophilia.

Information about the author: Maria V. Mikhailova, DSc in Philology, Professor, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, GSP-1, 119991 Moscow, Russia; Leading Research Fellow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8193-6588>

E-mail: mary1701@mail.ru

Received: July 27, 2025

Approved after reviewing: September 30, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Mikhailova, M. V. "Paradoxes of Bibliophilia and Fetishization of Books in V. I. Taneyev's Literary Heritage." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 214–233. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-214-233>

Имя Владимира Ивановича Танеева (1840–1921), брата известного музыканта и композитора Сергея Ивановича Танеева, практически исчезло из научного философского и филологического дискурса в последние пятьдесят лет. Связано это было с утратой интереса к материалистической философии рубежа XIX–XX вв., представителем которой являлся этот ученый, его близостью к революционно-демократическому крылу освободительного движения и явному влечению к марксизму, который он демонстрировал в своих сочинениях, создав в итоге ориентированное на фюреристов историко-экономическое учение «Ейтихология», то есть наука о счастье¹. Но и до этого наследие ученого не слишком широко привлекалось в качестве материала для изучения, хотя думается, что исследователей отталкивал эклектизм его построений, какая-то упорная отстраненность от современных тенденций развития науки, «отсталость» от бега времени. Танеев каким-то невероятным образом законсервировался и навсегда остался в 1870-х–1880-х гг., считая последним словом философии позитивистскую теорию О. Конта. Немаловажное значение имеет и то, что он почти ничего не опубликовал при жизни². Практически все, что имеет на сегодняшний день читатель, извлечено из архива.

¹ О том, с какою бережностью автор относился к своим сочинениям, свидетельствует то, что он рукописи переплетал, а на корешках золотыми тисненными буквами печатал свою фамилию и название произведения. До сих пор не опубликованы хранящиеся в архиве (ИРЛИ. Пушкинский дом. Ф. 653) «Естественная религия» (1876), «Социологическая эйритмия» (1876–1901), «Ейтихология» (1880–1890), «Социализм и коммунизм» (1891), «Классификация наук» (1893), «Сто глав, в которых изображается социальная республика будущего» (1880–1881), «Замечания на реферат Гертвига» (1897–1898) и др.

² Самое значительное: Исторические эскизы // Слово. 1880. № 12. С. 127–157.

И даже то произведение мемуарного характера — «Детство и школа», которое стало предметом анализа в данной статье, не окончено и переписывалось и дополнялось множество раз. Из него Танеев попытался сделать что-то вроде романа воспитания, назвавopus «Воспитание Шумского», но не завершил его¹. Трудно сказать, с чем это было связано. Возможно, сыграл свою роль перфекционизм, который был свойствен характеру автора. А возможно, и неуверенность в своих силах, корни которой уходят в детство. В названных произведениях, а также в эссе «Заметки о книгах», которое можно рассматривать как его духовное завещание потомкам, содержится масса упоминаний о книгах, библиотеках, даются характеристики отдельных сочинений. Несколько замечаний о его литературных воззрениях имеется в публикации Л. А. Евстигнеевой (Спиридоновой) [Евстигнеева]. В статье биографического словаря «Русские писатели» об отце философа И. И. Танеева [Русские писатели 6: 170–171] ему уделено несколько строк, где ни словом не сказано о его литературных интересах. В единственной диссертации, посвященной жизни и деятельности В. И. Танеева, о его отношении к литературе упоминается кратко. В автореферате диссертации сказано, что последние двадцать лет жизни Танеев занимался приведением в порядок своей библиотеки, насчитывающей около 20000 томов и что его «литературное наследие <...> чрезвычайно обширно. На его создание ушла практически вся его сознательная жизнь. Чтению книг Танеев всегда посвящал огромное количество своего времени. Не меньше времени у него уходило и на написание собственных трудов. Характер работ автора, а также их общая направленность во многом определились жизненными ситуациями мыслителя. Очень часто они созвучны вехам жизненного пути Танеева» [Морозов: 19]. О философских взглядах ученого писали П. С. Шкуринов [Шкуринов 1962, Шкуринов 1965] и Б. П. Козьмин [Козьмин]. Есть статья о его поэтическом наследии [Шкуринов 1966]. Однако оценки вклада Танеева в библиотековедение, его литературных взглядов не производилось, в то время как именно эти аспекты жизнедеятельности ученого можно считать наиболее актуальными и востребованными сегодня.

¹ Частично эта вещь была напечатана в газете «Русские ведомости» в 1887 г. Но недовольный произведенными редактором газеты сокращениями, автор отозвал рукопись, и она больше нигде не публиковалась.

Воспоминания о юных годах известный в свое время юрист начал писать в 1880-е гг., когда расстался со службой. И подошел к этому занятию основательно, буквально разграфив свой жизненный путь на отдельные этапы, но постоянно что-то уточнял, дополнял, вписывал и клеивал, все время возвращаясь к каким-то моментам. В итоге рукопись разбухла, но цельного вида не приобрела, к большому сожалению, поскольку здесь мы видим поразительное по откровенности и точности самонаблюдение, глубокий самоанализ, позволяющие понять, почему Танеев в сознательной взрослой жизни постоянно отгораживался от людей, выпадал из времени, не желал соприкасаться с реальностью. Его воспоминания дают богатейший материал для изучения комплексов, которые обуревали его с детства и крайне усилились в юности, когда он попал в неблагоприятную среду Петербургского училища правоведения, куда его в тринадцать лет отдали родители, в то время как он мечтал об университете. В училище его болезненная мнительность, подозрительность, чувство неприкаянности и недооцененности увеличились многократно. Мы просто видим перед собой героя Достоевского, но не сочиненного гениальным художником, а явленного во всей наглядности в реальной жизни. Мы словно присутствуем при взращивании в себе обидчивости, ощущения инаковости, страданий по любому поводу, неумения и нежелания исправлять ситуацию.

При этом повествование о детстве и юности подсказывает читателю, что Танеев, возможно, не угадал своего предназначения. Строй его мемуаров, тонкость восприятия, умение видеть людей и их характеризовать говорят о несомненном писательском даре, который в сочетании с дотошностью и дисциплинированностью мышления мог принести самые незаурядные плоды. Недаром юноша мечтал о филологическом образовании, которое ему так и не удалось получить, но его он компенсировал постоянным чтением книг.

Его писательский дар усиливался и развивался благодаря знакомству с художественными сочинениями, мнения о которых он фиксировал в своих мемуарах. Неожиданным, однако, может показаться, что книги не помогли ему избавляться от комплексов, а иногда даже усиливали подавленное настроение. В детстве книги воспринимались мальчиком эмоционально (и здесь его наблюдения оказываются ценны для

детской педагогики¹), свергая его, как это ни покажется странным, в пучину страха. Это касается главным образом сказок, которые рассказывала ему няня в полутемной спальне, когда ему казалось, что чудовища буквально насаждают на него: «... помню детскую, свою кровать <...>, сальную, нагоревшую свечку, вечно тяжелый удушливый воздух, в котором свеча горела тускло <...>, и старушку с резким профилем и большим носом, с горбом, которая сидела у моей кровати, постоянно опираясь на клюку» [Танеев В. И.: 61]. С тех пор страх поселился в нем, долгое время определяя его реакции на мир.

Тут, конечно, надо провести грань между приобщением к книге в детском и подростковом возрасте. Мемуары вообще рисуют детство и отрочество как разные, ни в чем не соприкасающиеся миры. И хотя при описании детства Танеев все же иногда проговаривается, и мы видим, что не все было безоблачно тогда², ему важно создать иллюзию буквально идиллической жизни дома, в заштатном городке. Провинциальный Владимир становился для него в чем-то подобным раю, куда он постоянно мысленно (а при удачном стечении обстоятельств и фактически) устремлялся из мрачного и сырого Петербурга.

Однако на самом деле со страниц воспоминаний встает ужасающая атмосфера провинциальной затхлости. Фигуры из его детского окружения позволяют заподозрить, что Фонвизин и Гоголь не прибегали к гиперболизации, создавая своих героев. Он пишет, что помещики жили в своих поместьях, «не видя ни образованных людей, ни газет, ни книг», в результате чего вырабатывали какую-то свою особую жизнь, «невероятно странную, уродливую, не имеющую ничего общего с жизнью остального человечества» [Танеев В. И.: 50]. Эпизоды их деяний и причуд, рассыпанные по страницам воспоминаний, заставляют вспомнить нелепых и диких помещиков, описанных русскими классиками.

Но отец Танеева отличался от многих современников. Занимая высшую должность (советник палаты государственных имуществ), он имел репутацию человека чистого, незапятнанного, безукоризненного.

¹ Подробнее о педагогических взглядах В. И. Танеева писал М. П. Баскин. См.: [Баскин: 36–38].

² Он подробно описывает «истязания» музыкой, которой посвящал все свободное от службы время его музыкально неодаренный отец. «Пытка» музыкой окончилась для мальчика только в десять лет, когда он тяжело заболел.

Иван Ильич получил образование в Московском университете в отделении словесных наук, написал магистерскую диссертацию о трагедии, потом изучал медицину, свободно изъяснялся на латыни, собрал большую, но совершенно бессистемную библиотеку (которую жена, считая источником постоянной пыли, «сослала» в холодную кладовую).

В доме царил культ античности: одного лакея прозвали Македонским, слуга Карп получил имя Индомея, Прохор стал Аяксом. Кабинет отца украшали портреты Третьяковского, Хераскова, Державина, Княжнина и Дмитриева, под каждым из которых были надписи в стихах, поясняющие, что достойного сделал этот писатель. Несмотря на внешнюю просвещенность, в доме царили крепостнические нравы, от детей требовали беспрекословного послушания, главенствовали почтение к вышестоящим и презрение к низшим. Отец, «воспитанный на крепостном праве <...> любил заставлять кого-нибудь что-нибудь для него сделать, особенно против воли» [Танеев В. И.: 80]. Необычайно мучительным было бесконечное музицирование, когда маленького Володю заставляли аккомпанировать отцу, игравшему на скрипке. К этому добавлялось чтение Иваном Ильичом собственных виршей, которые даже были изданы им в сборниках «Свободные минуты» и «Уединенная лира», а также разговора в стихах «Осуждение Сократа». Собственными произведениями сам автор явно восхищался. Но понять, выносит ли свои суждения о произведениях отца взрослый, пишущий мемуары Танеев, или он уже в юном возрасте мог расценить отцовские стихи как «наивные», назвать трагедии, написанные в подражание Озерову, нелепыми, трудно. При этом любовь к чтению не отличала старшего Танеева. Торжествовала прагматика. Сыну давался такой совет: «Я уже говорил тебе сто раз <...>, чтобы ты совершенно бросил чтение книг, которые не имеют отношения к урокам <...>» [Танеев В. И.: 117]. Свободное время он посвящал, как уже упоминалось выше, музыке и ... картам. А некоторые исповедуемые им принципы и представления о мире могут даже сегодня привести в ужас. Комнаты в доме никогда не проветривались, ибо Иван Ильич боялся свежего воздуха, детей отпускали гулять только летом, предварительно закутав в меховую одежду, им не позволялось «возиться, бегать и шуметь, так как это беспокоило родителей» [Танеев П. В.: 697].

Мать полностью погрузилась в хозяйственные заботы, но перед сном сыну обязательно читала одну из двух книг: либо «Конька-Гор-

бунка», либо «Евгения Онегина», не придавая значения, соответствует ли второе произведение возрасту ее отпрыска (тому было приблизительно три года). При этом почти всегда начинала сначала, что позволило сыну выучить наизусть первые главы. Танеев не скрывает, что «Онегин» развил в нем чувственность: четырех лет он влюбился в губернаторшу, даму лет тридцати, и ему начали нравиться «красивые женщины» [Танеев В. И.: 60], а не маленькие девочки. Позже, участвуя в домашних представлениях, он все свое внимание перенес на любовные сцены и начал глазеть на знакомых девушек так, «как это делается в театральных пьесах» [Танеев В. И.: 94]¹. Это признание может показаться неожиданно смелым, но оно очень существенно для понимания психологии восприятия литературы в детском возрасте. Повторим: из записок Танеева о детстве можно извлечь педагогические знания: он ясно указывает, что и как улавливается ребенком в ранний период жизни.

Показательна, например, его реакция на озеровскую трагедию «Эдип в Афинах». Пьеса мальчику «очень понравилась», но подействовала на него «ужасно» [Танеев В. И.: 89], так как со времени знакомства с пьесой его начала преследовать мысль, что он должен убить отца и жениться на матери... Под этим знаком прошло практически все его детство, появилась бессонница, возникли кошмары... Описанное состояние усугубилось знакомством с «Гамлетом» и случайно услышанной сплетней, что его мать влюблена в какого-то молодого чиновника (что не соответствовало действительности). Теперь в мозгу мальчика рождается убеждение, что в случае убийства отца он, как Гамлет, должен начать мстить, а он, слабый и безвольный, совершенно на это неспособен. Маленький Володя стыдится признаться в своих переживаниях, не говорит о своих муках даже на исповеди, хотя и считает это ужасным грехом. Так, в терзаниях, сомнениях, сосредоточившись на мысли о мщении, провел он свои детские годы. Перед этим состоянием меркли даже книги о привидениях («Тысяча и одно приведение»), хотя о привидениях он и спустя годы мог рассказывать «со слезами на глазах» [Танеев В. И.: 91], оно закрыло для него привлекательность Дюма.

¹ Это не помешало ему стать мизантропом и, по убеждению К. И. Чуковского, «дурно» относиться к женщинам. Однако он все же женился и имел в браке пятерых детей.

Зато более пристальное знакомство с классическими пьесами (а помимо Шекспира и Озерова там были Гете, Мольер, Шиллер) подогрело у ребенка интерес к театру. С восьми лет пьесы становятся едва ли не основным его чтением. Сказались и продолжительные визиты семейства в Москву, всегда включавшие посещение театра. Театральные представления запоминались надолго. В воспоминаниях дается изложение сюжета драмы Октава Фелье «Далила», подробная характеристика игры актеров Малого театра. Дома читались «Аскольдова могила»¹, водевили «Лев Гурыч Синичкин», «Стряпчий под столом». Некоторые из них ставились в домашних условиях, и свою «беззаботной шутливостью» они отвлекали мальчика от его мрачных умозаключений. Эстетические качества пьес не играли никакой роли. Напротив, «пошлые нравственные сентенции из прописей» [Танеев В. И.: 104], которые драматурги вкладывали в уста героев, запоминались лучше всего. Юный Володя имел огромный успех (слушатели разразились рукоплесканиями), произнеся в одной из поставленных французских детских пьес «просто» и в то же время «страстно» «самый пошлый и длинный монолог» [Танеев В. И.: 105]. В его «актерской» карьере были подлинные удачи: уморительно он изобразил «старичка помещика и чиновника домашнего тирана» [Танеев В. И.: 230] в комедии Вл. Соллогуба «Чиновник» и водевиле «А. и Ф.».

Но самая большая радость в детстве — открытие Гоголя, который сделался любимым писателем Танеева на всю жизнь. «Я читал, перечитывал, зачитывался» им, — признается он. И как результат — не только знание почти наизусть «Мертвых душ», «Ревизора», «Тараса Бульбы», «Повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче», но и рождение возмущения по поводу тех явлений, которые прежде казались «совершенно естественными, законными», вызывали «страх и уважение» [Танеев В. И.: 112].

Теперь гоголевские цитаты просто слетают у него с языка при каждом подходящем случае. У Гоголя он учится подмечать смешное. С тех пор насмешливость, своего рода подначивание, шуточки стали способом его общения с людьми, что, кстати, не способствовало сближению. Остро это Танеев почувствовал в училище правоведения, где с трудом сходил с однокашниками. Однако впоследствии во взрослой

¹ Возможно, имеется в виду либретто оперы.

жизни склонность к произнесению парадоксов составила ему славу величайшего остролова. Вот как вспоминал об этом М. В. Сабашников:

... меткие его словечки и замечания повторялись и ходили по Москве, а свои парадоксы он произносил всегда неожиданно и с неподражаемой простотой, как вещи само собой понятные, вызывая у присутствующих одновременно и взрывы смеха, и негодующие возражения [Записки Михаила Васильевича Сабашникова: 76].

В целом же чтение ребенка оставалось абсолютно неупорядоченным (например, в семь лет он прочел книгу о Риме историка Евтропия). Но все же образование детям давалось первоклассное, нанимали гувернанток, учителей. В итоге к семи годам Танеев умел читать по-русски, бегло говорить на французском и немецком языках, изъяснялся по-латыни (отец на латинском писал письма!). В остальном его воспитание никак не соотносилось с тем, что узнавал он из книг.

Отсутствие общения, невозможность поделиться сокровенным, сопровождавшие его детство, тем не менее, выглядят достаточно благостно по сравнению с тем, что ему пришлось пережить позже — в училище правоведения¹. Пребывание там затмило все, что было раньше. Палочная дисциплина, насмешки товарищей друг над другом, взаимная неприязнь учеников и преподавателей в сочетании с его закомплексованностью, боязнь показаться неловким и смешным превратили эти семь лет в ад. Взаимоисключающие чувства формировали в эти годы его личность — самомнение и самоуничижение. Первое рождало презрение к окружающим, которые не обладали такими знаниями, как он; второе подпитывалось постоянным страхом уронить собственное достоинство, показаться смешным. Спасало чтение, хотя бывали месяцы, когда он не брал книг в руки. Но они сменялись периодами запойного чтения. Помогало и то, что он часто болел. Во время первого пребывания в лазарете он упивался романом «Айвенго». Второй раз он наслаждался чтением «странного, нелепого» вельтмановского «Чудодея» [Танеев В. И.: 174].

¹ В училище правоведения в Петербурге он поступил, по-видимому, в 1853 г. и в 1861 г. его закончил. По окончании училища состоял с перерывами на службе (1865–1897) в петербургской и московской адвокатах.

Как видим, его чтение в училище было разнообразным, но бессистемным. Поэтому и вырывается у Танеева такое признание: «читал все без толку и без всякой охоты <...>» [Танеев В. И.: 450]. В этих словах слышится даже некоторое разочарование в книжной премудрости. В училище легко проникала и запрещенная литература. Читались «Полярная звезда», «Голоса из России», но «Герцен был строжайше запрещен» [Танеев В. И.: 347]. И тем не менее «Колокол» ходил по рукам, а при встрече с директором его надо было тщательно прятать. Преподаватель же словесности мог на всю залу крикнуть: «На каком номере “Колокола” вы остановились? Читали ли последний номер? Интересно, очень интересно» [Танеев В. И.: 370].

Но усвоенное из книг глубоко внедрялось в его сознание, по сути, формировало его личность, выработало безразличие к чиновничьей карьере. Вот почему он впоследствии служил с перерывами и не стремился сделать карьеру. В качестве подкрепления такого решения Танеев указал на то место в «Одиссее», когда Гомер «называет свинопаса Эрмия богоравным» [Танеев В. И.: 452], и довольно ядовито заметил, что нелепо было бы применить такое определение к действительному статскому советнику.

Хорошее знание литературы, владение словом способствовали тому, что Танеев буквально прославился написанием сочинений: к нему обращались ученики самого разного уровня, разных классов, русские и немцы (которых в училище было немало). Страницы, где цитируются его опусы, принадлежат к одним из наиболее остроумных, так как он, желая позабавиться над своими однокашниками, иногда и очень зло, создавал нелепые тексты или стилизовал их под произведения известных писателей, что сами «заказчики» не всегда могли распознать. Иногда впросак попадали и учителя. Преподавание словесности, как и многих других наук, в училище было поставлено из рук вон плохо, хотя изучались русская, немецкая и французская литературы. Танеев подробно останавливается на «методах» отдельных педагогов, рисует их колоритные фигуры, дает меткие характеристики. Он явно отличался наблюдательностью, умением выявить отличительные особенности людей. За исключением очень немногих все преследовали внешнюю благопристойность: за длинные волосы могли посадить в карцер, наложить взыскание. Зато приветствовались раболепство, чиновничество, а суть дела никого не интересовала.

Танеев вспоминает случай, когда наделавший шум роман Тургенева «Накануне» привлек внимание студентов и о нем попросили рассказать преподавателя русской словесности, который заверил, что прочел эту вещь. Но вышел казус. Поговорив о чем-то в течение пятнадцати минут, тот признался, что произведение не читал, а мельком проглядел о нем фельетон в «Петербургских ведомостях» и вот его-то и изложил...

Уморительный, живой и искрометный портрет профессора французской литературы Сен-Жюльена оставлен на страницах воспоминаний:

Маленький, сторбленный, улыбающийся, с длинными седыми, или лучше сказать, — ярко-белыми кудрями, с чрезвычайно сластолюбивыми глазами и губами, в лакированных сапожках, в пестрых рубашках, с лорнетом в руках, вообще, отчаянный франт. Он был совершенно лишен голоса. Разбирать то, что он читал, можно было только с первой скамейки. Он входил, улыбался, кланялся, выделял всей своей фигурой какие-то круги, вставляя в глаз лорнет, и начинал без всякой связи, без всякого толку. Он постоянно перевирал собственные имена, беспрестанно говорил: “*Le nom m'èchappe*”. Посреди его хрипоты можно было разобрать разве то, с каким писателем он завтракал, с каким обедал, с каким просто разговаривал <...> манера речи его была такова, как будто бы он постоянно жлет [Танеев В. И.: 370].

Это давало возможность ученикам задавать ядовитые вопросы относительно уже умерших творцов. Однажды его спросили, не обедал ли он с Шатобрианом, на что Сен-Жюльен ни капли не смущаясь ответил, что с ним он только ужинал. Этот преподаватель еще и делал переводы на французский, не зная русского языка... Ясно, что при этом он безбожно перевирал фамилии, в результате чего у него знаменитым русским писателем оказался некто Чирий!

Возможно, такое отношение учителей к своим обязанностям и порождало «полное презрение» к ним. «Нас учили, но не образовывали», — вот резюме, которым заключает Танеев описание преподавания литературы [Танеев В. И.: 355]. Правда, встречались исключения. Прекрасны были лекции немца Шнеринга, который преобразался, рассказывая о Лессинге, Гете и Шиллере, сделавшимися в итоге любимыми писателями Танеева. Но даже лучшему лектору редко удавалось про-

будить внимание в «отупевшем, одеревеневшем воспитаннике», ибо «привычка не слушать профессоров была <...> сильна» [Танеев В. И.: 354], и Шнеринга слушали от силы трое учеников.

Но именно любовь к литературе становилась для Танеева основанием для дружбы: «Буланин читал не меньше моего и чрезвычайно умно рассуждал о прочитанном. Мы сейчас же подружились <...>» [Танеев В. И.: 175]. И даже когда Танеев сочинил шутивное стихотворение по поводу наказания друга, тот «нисколько не обиделся. Он так любил литературу и стихи, что даже был доволен этим стихотворением» [Танеев В. И.: 213].

Приблизительно в это время у юноши рождается восторженное отношение к писателям. Они виделись ему «сверхъестественными существами» [Танеев В. И.: 181]. О том, чтобы войти в их ряды, нельзя было и мечтать¹. Мемуарист приводит случай, когда преподаватель усомнился в самобытности творчества Жуковского на том основании, что тот делал в основном переводы, а он бросился горячо защищать русского пиита, хотя внутренне сознавал, что доля истины в словах преподавателя имеется. Однако поскольку в мемуарах наличествуют и оценочные суждения, автор замечает, что в жизни писатель может быть совсем не идеальным человеком. Таков был Апухтин, с которым они вместе учились, чей неприглядный портрет встает со страниц воспоминаний. Описание соученика он завершает литературным сравнением: «Никто в мире не мог бы лучше его сыграть роль Тараса Скотинина в “Недоросле” Фонвизина. Точно эта роль была специально написана для него» [Танеев В. И.: 209].

Вообще литературные аналогии пронизывают повседневную жизнь юноши. О знакомой девице он мог выразиться так: «По остроумию, по блеску ее речи Ольгу можно сравнить с Беатриче Шекспира (в комедии “Много шуму...”» [Танеев В. И.: 217]. А поскольку с немногими друзьями считал себя умнее других, то «без всякого затруднения, без всякой церемонии, без всякого стыда» эти молодые люди называли «себя Чацками, как будто бы мы испытывали горе от ума» [Танеев В. И.: 210].

В результате у Танеева сложилось странное представление о сущности русской литературы. Парадоксальным образом он считал произведе-

¹ Он сочинял стихи, но скорее их можно назвать виршами, писавшими-ся «по случаю». Вероятно, он сам сознавал их несовершенство.

дения русских классиков «легким чтением». «Чтобы читать В. Гюго и даже Дюма, надо иметь хоть какое-нибудь понятие об истории. Гоголя, Тургенева, Салтыкова может читать без всякого затруднения самый невежественный человек» [Танеев В. И.: 206], — замечал мемуарист. И далее дает разъяснение такого умозаключения: «...я считал Дюма, Сю, Гюго писателями натянутыми, лживыми, неестественными» (тем не менее «Собор Парижской богородицы» произвел на него «сильное впечатление») [Танеев В. И.: 206]). У русских же писателей «естественный тон», они «так хорошо, так верно изображают русскую действительную жизнь» [Танеев В. И.: 206], закладывают в душу «добрые начала», что в итоге в ней формируется «одобрение всего доброго» и «порицание всего дурного», «сдавленная железной властью» литература не могла нападать на власть «открыто, но она обнажала, порицала, проклинала все проявления этой власти и внушала к ней презрение, ненависть, ожесточение» [Танеев В. И.: 207]. Следовательно, важным для него было в первую очередь этическое содержание русского словесного творчества. Становится понятно, что имел в виду Танеев под «легким чтением»: подспудно чувствуемый общественный подтекст, призыв, философское звучание, улавливаемое эмоционально. То есть русская литература дает не знание, а обращается к душе и сердцу, она рассчитана на сопереживание.

Казалось бы, художественные достоинства книги отходят на задний план. Но со временем у Танеева отточился и эстетический вкус. Он, например, с насмешкой отзывается о стихотворных переводах покровителя училища Петра Георгиевича Ольденбургского. Не распространяясь об их недостатках, он приводит всего несколько строк и ограничивается ядовитым замечанием, что в виде брошюрок они автором раздавались только воспитанницам казенных женских институтов, видимо, потому что он знал, что «молодые люди насмешливее молодых девиц» [Танеев В. И.: 250].

Однако его литературные предпочтения не распространялись далее XIX в. Новейшую русскую литературу он не воспринимал. Поэтому Софья Мотовилова, приехавшая после революции делать опись его библиотеки, боялась произнести имя пославшего ее Брюсова. И в разговоре с владельцем убедилась, что он просто «ненавидел» новую литературу, а Брюсова в особенности, что не мешало ему приобретать книги презираемых им писателей. Так, в его библиотеке отыскалось даже

несколько томов символиста и оккультиста Сара-Пеладана и даже его портрет, что просто поразило Андрея Белого, у которого он выпросил сборник «Золото в лазури», признавшись, что ничего не понимает в опубликованных стихах.

Мотовилова вспоминает, что «в столовой его дома висел большой плакат с изображением величайших писателей мира. Последним был Толстой, после него был изображен череп — это означало, что литература умерла» [Мотовилова: 118]. Но и с Толстым у него были непростые отношения (возможно, потому что у них в характерах было много общего: резкость высказываний, непримиримость, противоречивость суждений). Андрей Белый уверял, что к Толстому он испытывал «совершенно исключительную ненависть», называл его «неграмотным и тупым фарисеем» [Белый 1989: 159] и всячески уклонялся от возможного знакомства. А когда увидел его в бане, то утвердился в своем мнении о его «безобразности» [Белый 1989: 159]. Но и к своим кумирам он был невероятно строг: у Пушкина насчитывал только десяток безукоризненных в художественном плане стихотворений. Когда все преследовали Фета, он его превозносил. Но стоило перемениться общественному мнению, как он стал «колоть» Фета его крепостничеством. В целом же предпочитал чтение научной литературы, преклоняясь перед деятелями Великой Французской революции. Но и к ученым он подходил очень избирательно. Когда захотел узнать о сути социализма, начал читать Герцена, но «извлечь» из его сочинений «последовательного изложения социалистических учений» [Белый 1989: 373–374] не смог. Зато он высоко ценил как «самого замечательного, умного, талантливого русского человека» [Белый 1989: 153] Пугачева, чей портрет повесил как икону перед входом в свою библиотеку. И каждый проходящий, прежде чем переступить порог залы, должен был выслушать о Пугачеве лекцию.

Но если восприятие Танеевым художественной литературы можно назвать непоследовательным, причудливым и неровным, то сам феномен книги вызывал у него благоговейное чувство едва ли не с самых юных лет. «Я стал любить книгу не только за ее содержание, но и за ее внешний вид, формат, печать, переплет» [Белый 1989: 115]. Окружавший его с юных лет книжный мир привил ему не только любовь к чтению, но породил буквально обоготворение книги как таковой: собственную библиотеку Володя начал собирать довольно рано. В один-

надцать лет ему была для нее дана маленькая темная комната, где он мог распоряжаться своими сокровищами, с которыми, однако, легко расстался, когда подбор книг не одобрил его старший товарищ. Более обдуманное собрание книг началось в училище. Основу ее составили русские беллетристы. Первыми купленными Танеевым книгами были тома Пушкина, изданные Анненковым. Он был так рад приобретению, что, вернувшись, не раздеваясь, сразу же стал читать стихи, которые уже знал наизусть. Следующей покупкой стали сочинения Гоголя. В итоге набралось 200–300 книг, которые и составили основу танеевской библиотеки. Потом к ним прибавились книги по истории, социологии, которые он привез из-за границы.

Описанию разного рода библиотек отведено немало места в мемуарах. Читатель ничего не узнает про экзамен по словесности, зато прочитает, что он проводился в библиотеке, в окружении наполненных книгами шкапов и бюстов «плешивых греков и римлян» [Танеев В. И.: 145]. В канцелярии крупного чиновника, дядюшки Танеева, была библиотека, в которой, однако, хранились только адрес-календари, памятные книжки, печатные списки сенаторов по департаментам за многие годы и прочее, а из художественной литературы представлен был только Мольер. Про «сосланную» библиотеку отца говорилось выше.

В итоге Танеев стал обладателем собственной грандиозной библиотеки приблизительно в 20000 томов. Но постепенно собирательство превратилось в манию. С. Мотовилова писала, что сама «мысль, что мы будем снимать его книги, трогать их, так напугала Танеева» [Мотовилова: 120], что он сразу предоставил в ее владение все имеющиеся у него каталоги. Попутно она приводит сведения о Танееве, которые бродили среди ее знакомых: «Я знала, что над книгами своими Танеев дрожит, и если даст кому-нибудь прочесть, то затем проверяет, ставит книгу то на один бок, то на другой — смотрит, не перекосилась ли она, и, если найдет малейший изъян, дарит книгу тому, кто ее брал, а себе покупает новую». Она приводит и рассказ самого владельца библиотеки:

как-то купил он в Париже полное собрание сочинений Фурье и заказал переплетчику очень дорогой переплет. Когда книги принесли, оказалось, переплет-то очень хорош, но книги плохо раскрываются. Танеев показал это переплетчику, и тот с негодованием сказал:

— Как! Вы заказали такой дорогой переплет и еще хотите читать эти книги!

Это так насмешило Танеева, что он купил еще одно полное собрание сочинений Фурье и заказал более дешевый, но хорошо раскрывающийся переплет [Мотовилова: 118].

На совершенствование библиотечного дела, собирание книг и их расстановку по особой системе были потрачены последние двадцать лет жизни Танеева, когда он со своими сокровищами переехал в Подмоскowie, в имение Демьяново. Там он занимался и бесконечным реконструированием оснащения библиотеки: придумывал прилавки и «какие-то выдвигные, полувывдвигные и невыдвигные столики, пюпитры, откидные доски для работы стоя, сидя, ходя, полулежа» [Белый 1989: 157], предполагая, что посетитель библиотеки буквально в ней поселится.

В конце жизни он составил «Заметки о книгах». Это эссе, ставшее своего рода духовным завещанием ученого, включает в себя очень широкий диапазон тем. Здесь и положения-наказы о чтении книг, и советы молодым читателям и исследователям, и раздумья об устройстве публичных и домашних библиотек. Чувствуется преклонение ученого перед печатным словом, которое, как он считает, может изменить жизнь. При этом Танеев показывает, что именно правильный подход к чтению помогает вырабатывать самостоятельное мышление, не идти на поводу даже у признанных авторитетов. Он дает рекомендации по систематизации чтения, учит вырабатывать критический взгляд на прочитанное.

«Заметки о книгах» — это не рекомендательный список литературы, а именно свод методических правил, следование которым призвано помочь достичь не только «высшего умственного развития», но приобрести действенный инструментарий для «воздействия на окружающих с целью улучшения и облагораживания их природы» [Танеев В. И.: 690]. Характеристику восприятия Танеевым феномена книги лучше всего иллюстрируют изречения, вошедшие в «Заметки...»: «Книги — наследие, которое оставляется гением человечеству и переходит от поколения к поколению <...>» [Танеев В. И.: 690] и «Кто родился и вырос среди книг, тот их любит всю жизнь» [Танеев В. И.: 694].

Для многих его отношение к книге выглядело как чудачество. Одним из самых ядовитых описаний этого «полусумасшедшего поэта»

[Белый 1989: 152] поделился Белый, признававший, однако, в нем и ум, и смелость. По мнению поэта, собирательство книг обнажило «темное дно жизни» [Белый 1989: 155] Танеева, который оказался «самоарестованным» [Белый 1989: 153] среди несметного богатства, воплотив в своем облике «мрачную помесь из Плюшкина и Иоанна Грозного» [Белый 1989: 155]. Белый был уверен, что «библиотека до основания разрушила бытие Танеева» [Белый 1989: 155], что он, начиная «странно и жадно дрожать», выпрашивал «ненужное книжное дрянцо» [Белый 1989: 156]. «Огнем и мечом» [Танеев В. И.: 169], — считал он, — библиофил истребил в себе все человеческое. «Книжная паутина» оплела все, породив в его голове «странный туман», который Белый счел «настоящей болезнью» [Белый 1989: 156].

Верен ли этот диагноз? Действительно ли изничтожение или, правильнее, искажение личности Танеева произошло потому, что книги стали для него «живыми существами» [Танеев В. И.: 693], заменили, по сути, весь мир? Как ни ответить на этот вопрос, результат его собирательства оказался бесценен. Библиотека Коммунистической Академии, в основу которой положено его собрание, оказалась одной из лучших библиотек в России по социально-политическим наукам. А знакомство с самим «библиотекарем» отозвалось созданием яркого литературного образа. Сам Белый утверждал, «в несколько перефасоненном виде он неожиданно для меня выявился в “Серебряном голубе”, где Танеев фигурирует под маской сенатора-чудака, Граабена» [Белый 1990: 298]. Эти слова были, собственно, развитием упоминания о Танееве в «берлинской» редакции «Начала века», где указывалось, что сенатор «спи-сан» с Танеева, воссозданы его «идеология, странности, голос, манера держаться» [Белый 2014: 599]¹. Но следует напомнить, что творческий процесс сложен, и сам Белый указывал, что «все типы “Голубя”, складывались из разных штрихов очень многих людей, мною виданных в жизни — в несуществующих сочетаниях <...>» [Белый 2014: 598]. Поэтому не стоит удивляться, что ошеломляющее впечатление от библиотеки Танеева отозвалось в описании книжных полок дачника

¹ Однако почему-то в примечаниях к публикации романа В. М. Пискунова утверждается, что в «сенаторе» отразился облик М. В. Коваленского (см.: [Белый 1995: 311]), в то время как у Белого речь шла о В. М. Коваленском, и он записал в берлинской редакции «Начала века», что «яркий сенатор», о котором он думал вначале, «сознательно был заменен другим типом» [Белый 1995: 598], то есть Танеевым.

Шмидта-барина. Да и его поведение многими своими чертами напоминает поведение этого чудака: он тоже уже в конце марта «переселялся в глухие наши места», а уезжал «в дни, когда уже над селом ветер бурные пронесил ревы первых метелей» [Белый 1995: 134]. Да и генерала Чижикова (он же граф Гуди-Гудай-Затрубинский и агент третьего отделения Матвей Чижов) автор наделил непоказным танеевским аристократизмом. Известно, что Танеев любил запах цветов и подносил к носу розу при всяком удобном случае. Вот и Чижиков «вынет платок, а от платка в нос вам кер-де-жанет, убиган или даже сами парижские флёр-ки-мёр» [Белый 1995: 88].

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что помимо неоценимого вклада, который Танеев внес в библиотечное дело, неоднозначность и противоречивость его личности сыграли значительную роль и непосредственно в сфере литературы, дав импульс к рождению запоминающихся персонажей романа Андрея Белого «Серебряный голубь». Чуковский назвал его «одним из самых выдающихся неудачников» [Петровский: 66]. И все-таки в этом определении верен лишь эпитет.

Список литературы Источники

Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания: в 3 кн. М.: Худож. лит., 1989. Кн. 1 / редкол.: В. Вацуру, Н. Гей, Г. Елизаветина и др. / вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. Лаврова. 542 с.

Белый А. Начало века. Воспоминания в 3 кн. М.: Худож. лит., 1990. Кн. 2. / редкол.: В. Вацуру, Н. Гей, Г. Елизаветина и др., подгот. текста и коммент. А. Лаврова. 686 с.

Белый А. Начало века: Берлинская редакция (1923) / сост., подгот. текста, ст., примеч., указ., подбор ил. А. В. Лавров. СПб.: Наука, 2014. 1063 с.

Белый А. Собр. соч. Серебряный голубь. Рассказы / сост., предисл., коммент. В. М. Пискунова. М.: Республика, 1995. 333 с.

Записки Михаила Васильевича Сабашникова / предисл., примеч., указ. имен А. Л. Паниной; подгот. текста А. Л. Паниной и Т. Г. Переслегиной. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. 590 с.

Мотовилова С. Минувшее // Новый мир. 1963. № 12. С. 75–127.

Петровский М. Читатель // Воспоминания о Корнее Чуковском / сост. К. И. Лозовская, З. С. Паперный, Е. Ц. Чуковская. М.: Сов. писатель, 1977. 472 с.

Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М.: БРЭ, 2019. Т. 6: С–Ч / гл. ред. Б. Ф. Егоров. 655 с.

Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 714 с.

Танеев П. В. Из воспоминаний о Владимире Ивановиче Танееве // Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 697–707.

Исследования

Баскин М. П. В. И. Танеев // Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 3–45.

Евстигнеева Л. А. Из воспоминаний В. И. Танеева // Литературное наследство. Т. 71. Василий Слепцов, неизвестные страницы. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 513–526.

Козьмин Б. П. Социально-политические и философские взгляды В. И. Танеева // Из истории социально-политических идей / ред.-сост. В. В. Альтман. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 664–673.

Морозов П. М. Владимир Иванович Танеев: жизнь и деятельность: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2011. 22 с.

Шкуринов П. С. Философские взгляды В. И. Танеева. М.: Изд-во Московского ун-та, 1962. 131 с.

Шкуринов П. С. Критика позитивизма В. И. Танеевым. М.: Изд-во Московского ун-та, 1965. 104 с.

Шкуринов П. С. Поэтическое наследие публициста и философа В. И. Танеева // Вестник Московского университета. Серия: Филология. 1966. № 5. С. 71–80.

References

Baskin, M. P. “V. I. Taneev” [“V. I. Taneyev”]. Taneev, V. I. *Detstvo. Iunost'. Mysli o budushchem* [Childhood. Youth. Thoughts About the Future]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1959, pp. 3–45. (In Russ.)

Evstigneeva, L. A. “Iz vospominanii V. I. Taneeva” [“From the Memoirs of V. I. Taneyev”]. *Literaturnoe nasledstvo* [Literary Heritage], vol. 71: Vasilii Sleptsov, neizvestnye stranitsy [Vasily Sleptsov, Unknown Pages]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1963, pp. 513–526. (In Russ.)

Koz'min, B. P. “Sotsial'no-politicheskie i filosofskie vzgliady V. I. Taneeva” [“Socio-Political and Philosophical Views of V. I. Taneyev”]. Al'tman, V. V., editor. *Iz istorii sotsial'no-politicheskikh idei* [From the History of Socio-Political Ideas]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1955, pp. 664–673. (In Russ.)

Morozov, P. M. *Vladimir Ivanovich Taneev: zhizn' i deiatel'nost'* [Vladimir Ivanovich Taneyev: Life and Work: PhD Dissertation]. Saratov, 2011. 22 p. (In Russ.)

Shkurinov, P. S. *Filosofskie vzgliady V. I. Taneeva* [Philosophical Views of V. I. Taneyev]. Moscow, Moscow State University Publ., 1962. 131 p. (In Russ.)

Shkurinov, P. S. *Kritika pozitivizma V. I. Taneevym* [Taneyev's Criticism of Positivism]. Moscow, Moscow State University Publ., 1965. 104 p. (In Russ.)

Shkurinov, P. S. “Poeticheskoe nasledie publitsista i filosofa V. I. Taneeva” [“The Poetic Legacy of the Publicist and Philosopher V. I. Taneyev”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya: Filologiya*, no. 5, 1966, pp. 71–80. (In Russ.)

© 2025. Н. И. Крижановский

Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Россия

**М. О. Меньшиков и Н. С. Лесков:
эволюция взаимоотношений критика и писателя**

Аннотация: В статье на материале переписки, дневников, статей проанализированы взаимоотношения М. О. Меньшикова и Н. С. Лескова в 1892–1895 гг. Уделено внимание причинам сближения критика и писателя, особенностям их отношения к творчеству классиков, специфике взаимодействия. Показано, что стремление Лескова влиять на критические отклики о своем творчестве воплотилось в речевой стратегии писем к Меньшикову: писатель пытался без особого успеха воздействовать на систему представлений критика, убеждая в истинности своих оценок. Комплементарная статья Меньшикова «Художественная проповедь» (1894) была критически воспринята писателем, но не стала причиной для разрыва отношений с Меньшиковым, которого Лесков очень ценил. При рассмотрении некролога «Памяти Н.С. Лескова» (1895) Меньшиков не изменил своих высоких оценок личности и творчеству писателя. Однако в статье «Прикрытый грех» (1899) проявилось принципиальное ценностное несовпадение Меньшикова и Лескова. В исследовании выявлено изменение восприятия критиком творчества писателя: от отсутствия интереса — к глубокому постижению художественного мира и частичному идейному совпадению, а далее — к проявлению ценностного несовпадения, восприятию Лескова в качестве жертвы либеральной критики.

Ключевые слова: Н. С. Лесков, М. О. Меньшиков, критика, переписка, дневники, взаимоотношения, эволюция восприятия.

Информация об авторе: Николай Игоревич Крижановский, кандидат филологических наук, доцент, Кубанский государственный университет, ул. Ставропольская, 149, 350040 г. Краснодар, Россия, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2764-7117>

E-mail: nicolaykri@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 20.06.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 05.08.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Крижановский Н. И. М. О. Меньшиков и Н. С. Лесков: эволюция взаимоотношений критика и писателя // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 234–271. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-234-271>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 234–271. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 234–271. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Nikolay I. Krizhanovskiy

Kuban State University

Krasnodar, Russia

M. O. Menshikov and N. S. Leskov:

The Evolution of the Relationship Between the Critic and the Writer

Abstract: This article analyzes the relationship between M. O. Menshikov and N. S. Leskov from 1892 to 1895, using correspondence, diaries, and articles. The research discusses the reasons for the rapprochement between the critic and the writer, the particularities of their attitudes toward the works of classic writers, and the specifics of their interaction. The article shows that Leskov's desire to influence critical responses to his work was embodied in the verbal strategy of his letters to Menshikov: the writer attempted, without much success, to influence the critic's system of ideas, convincing him of the truth of his assessments. Menshikov's complementary article "Artistic Sermon" (1894) was critically received by the writer, but did not lead to a breakdown in relations with Menshikov, whom Leskov held in high esteem. When reviewing the obituary "In Memory of N. S. Leskov" (1895), Menshikov maintained his high assessment of the writer's personality and work. However, the article "Veiled Sin" (1899) revealed a fundamental value mismatch between Menshikov and Leskov. The study reveals a shift in the critic's perception of the writer's work: from a lack of interest to a profound understanding of the artistic world and a partial ideological overlap, and then to a manifestation of this value mismatch, perceiving Leskov as a victim of liberal criticism.

Keywords: N. S. Leskov, M. O. Menshikov, criticism, correspondence, diaries, relationships, evolution of perception.

Information about the author: Nikolay I. Krizhanovskiy, PhD in Philology, Associate Professor, Kuban State University, Stavropolskaya St., 149, 350040 Krasnodar, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2764-7117>

E-mail: nicolaykri@mail.ru

Received: June 06, 2025

Approved after reviewing: August 05, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Krizhanovskiy, N. I. "M. O. Menshikov and N. S. Leskov: The Evolution of the Relationship Between the Critic and the Writer." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 234–271. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-234-271>

Русский критик и публицист М. О. Меньшиков (1860–1918) в течение ряда лет не только был близко знаком с ведущими литераторами эпохи заката Золотого века отечественной словесности Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, Я. П. Полонским, Н. С. Лесковым, М. Горьким, но и выступал как их критик. В отечественной науке уже есть обстоятельные исследования различных аспектов взаимоотношений Л. Н. Толстого и Меньшикова [Жирков; Жаворонков], Чехова и Меньшикова [Антон Чехов и его критик...], Полонского и Меньшикова [Крижановский 2022a], Горького и Меньшикова [Крижановский 2014], Д. С. Мережковского и Меньшикова [Крижановский 2024]. Взаимоотношения Меньшикова и Лескова в 1890-е гг. до сего дня глубоко не рассматривались, хотя А. С. Мелкова [Антон Чехов и его критик...], С. М. Санькова и А. С. Орлов [Санькова], М. А. Кучерская [Кучерская] и др. в своих работах затрагивали ее разные стороны [см.: Крижановский 2025a; Крижановский 2025b]. Однако исследований собственно этой темы на сегодняшний день не предпринято.

Осмысление взаимоотношений Н. С. Лескова и М. О. Меньшикова тесно связано с анализом документов, в которых эти отношения зафиксированы: писем писателя к публицисту и другим адресатам, дневников Меньшикова, его статей о творчестве Лескова и некролога. Послания Меньшикова к писателю не сохранились, поэтому реакцию критика на корреспонденцию приходится отслеживать по лесковским письмам и другим источникам.

Близость к толстовским идеалам стала значимым фактором, подтолкнувшим двух литераторов к общению в начале 1890-х гг. Для М. О. Меньшикова вторая половина 1880 – начало 1890-х гг. — время поиска прочной ценностной опоры. Он активно интересовался литературой, сотрудничал с «Кронштадтским вестником», другими изданиями. Благодаря протекции С. Я. Надсона с 1884 г. работал в «Неделе» П. А. Гайдебурова [Крижановский 2022a] и постепенно входил в круг

русских литераторов. В 1880-е гг. он много читал, писал в отдельной тетрадке критические заметки о литературных героях¹, продумывал литературно-издательские проекты (например, проект издания для народа книги с важными цитатами выдающихся русских писателей о пьянстве, религии и прочее²). Публицист отмечал в дневнике, что вторая половина 1880-х гг. — время формирования его мировоззрения³.

В середине 1880-х гг. будущий критик и публицист увлекся учением Л. Н. Толстого. В дневниковых записях начала 1886 г. Меньшиков указывал на совпадение многих своих идеалов с идеалами великого писателя:

Л. Толстой говорит великую святую правду о счастье человека: для меня его мысли — мои мысли, и тем яснее я понимаю их глубину. Те же элементы счастья у него, что у меня: приближение к природе, здоровье, любовь к жене и детям, любовь к людям. В его снисходительных осторожных строках читаешь полнейшее осуждение теперешней цивилизации, полнейшее к ней презрение⁴.

Значимость идей Толстого для эпохи и страны, величие их поражали Меньшикова:

И подумаешь, есть на свете человек, который мог бы оживотворить Россию почти чудесным образом, мог бы вдунуть в нее целебный дух жизни, радости, счастья... У этого человека почти космическая, великая сила в руках, творческая сила масс...⁵

Эти размышления венчал вывод, проявлявший убежденность будущего известного публициста и критика в истинности толстовского понимания мира:

¹ Отдел хранения документов личных собраний Москвы Центрального государственного архива г. Москвы (далее — ОХДЛСМ). Ф. 202. Оп. 1. Д. 22.

² ОХДЛСМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 20. Л. 42 об.–43.

³ См., например, запись от 1 января 1886 г.: ОХДЛСМ Ф. 202. Оп. 1. Д. 16. Л. 108.

⁴ ОХДЛСМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 16. Л. 113 об.

⁵ ОХДЛСМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 16. Л. 114.

Я считаю за несомненное, что если бы правитель, пользуясь своею абсолютною властью, действовал по религии Толстого — он произвел бы огромный переворот, какой только когда-либо видело человечество, и этот переворот ему легко бы удался, так как он совершенно отвечает потребностям человечества, насущной, назревшей потребности. Правительству пришлось бы не создавать что-либо новое, а очищать лишь от того, что именно было создано ошибками людей. Истинную, естественную жизнь выдумывать нечего, она не требует хитрых соображений, вычленений, расчетов и планов: ее план вычерчен и начерчен самой природой (подчеркнуто М. О. Меньшиковым. — Н. К.) в ее законах, записан в устройстве организма человека в формуле его естественных потребностей¹.

15–16 декабря 1886 г. Меньшиков сделал небольшой набросок работы «О пределах счастья (по поводу учения Л. Н. Толстого)»², соответствовавший тезисам процитированной выше записи. Однако по-настоящему к этой теме публицист вернется только в 1894 г. в опубликованной в нескольких номерах журнала «Книжки “Недели”» статье «Думы о счастье».

Общение с людьми из окружения Толстого во второй половине 1880-х гг. также способствовало идейному сближению Меньшикова с писателем. Об этом свидетельствуют, например, письма редактору издательства «Посредник» И. И. Горбунову-Посадову, датированные 1885–1892 гг.³

К исходу 1892 г. критик посвятил творчеству Толстого и опубликовал две большие статьи в «Книжках “Недели”» («Тринадцатый том сочинений графа Л. Н. Толстого» (1891), «Великое детство. По поводу 40-летия литературной деятельности гр. Л. Н. Толстого» (1892)), а также несколько малых работ в газете «Неделя» («Злоба дня» (1891), «Заметки» (1891), «Комментарий к “Крейцеровой сонате”» (1892)).

Думается, именно близость к Толстому определила интерес Лескова к Меньшикову. Ведь сам писатель в 1880-е гг. все больше стал «совпадать» с Л. Н. Толстым, что подтверждают как его публицистические

¹ ОХДЛСМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 16. Л. 114 об.

² ОХДЛСМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 20. Л. 23–24 об.

³ См. переписку М. О. Меньшикова и И. И. Горбунова-Посадова с 1885 г. по 1892 г.: РГАЛИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 900.

выступления, так и ряд современных исследований [Филимонова; Федотова 2018; Федотова 2016; Федотова 2017].

Однако о Лескове вплоть до 1892 г. дневниковых записей у Меньшикова нет. Даже упоминание о нем при неоднократном перечислении в дневнике фамилий выдающихся писателей-современников отсутствует.

Тем не менее, на наш взгляд, можно практически наверняка утверждать, что Меньшиков до конца 1892 г. уже познакомился с Лесковым. Доказать это можно двумя аргументами, связанными с поэтом С. Я. Надсоном. Во-первых, начиная с 1884 г., публицист работал в редакции в «Недели», где в 1887–1888 гг. были опубликованы пять рассказов Лескова. Следовательно, вероятность встречи с писателем в редакции издания в это время была достаточно высока. Во-вторых, и Лесков, и Меньшиков присутствовали 3 мая 1892 г. на официальном открытии памятника С. Я. Надсону на Волковом кладбище. На участие писателя в этом мероприятии обратила внимание автор хроники его жизни К. П. Богаевская: «Был на открытии памятника Надсону на его могиле на Волковом кладбище» [Богаевская: 832]. Из дневниковой записи Меньшикова от 3 мая 1892 г. можно чуть более подробно узнать, как все происходило: публицист нарисовал «довольно холодную» церемонию открытия мемориала с дежурными и бездушными речами ораторов¹. И хотя о Надсоне Меньшиков не упоминает, не вызывает сомнения, что именно с его памятника на Волковом кладбище Меньшикову вместе «с каким-то технологом пришлось сдернуть белое покрывало»². Возможно, Меньшиков, зная о тесных взаимоотношениях Лескова с яснополянским старцем, на открытии памятника поэту попросил писателя достать фото Л. Н. Толстого. О хлопотах, связанных с его получением, говорится в первых дошедших до нас письмах Лескова к Меньшикову от 8 и 15 декабря 1892 г.³

Думается, инициатором более тесного общения был именно Лесков. Интерес писателя к Меньшикову мог возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, он не мог не заметить близости к толстовству в публикациях критика. Сам Лесков также переживал период следования за толстовскими [см.: Сидяков] и либеральными идеями [см.: Гирфано-

¹ ОХДЛСМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 26. Л. 52.

² Там же.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 14.

ва; Котельников]. Об увлечении Меньшикова идеями Толстого мы сказали выше, а либеральные идеи часто звучали в публицистике Меньшикова начала 1890-х гг., например, в публикациях в газете «Неделя»: «Маленькая столица» (1891), «Газетное наводнение» (1891), «Соседские союзы» (1892). Во-вторых, Лесков был крайне недоволен состоянием современной критики, о чем писал еще в 1883 г. в статье «Литературное бешенство». В ней, опираясь на мнения критика-француза Э. Каро, и проводя параллель между состоянием словесности во Франции и в России, он подчеркивал, что в обществе доминирует «партийная, недобросовестная, легкомысленная и легковесная критика, неспособная ничего выяснить и оценить» [Лесков 1883: 159]. Используя цитаты из работы Каро, Лесков обрисовал печальную ситуацию, сложившуюся в области литературной критики в России: «...и у французов, и у нас писатели жаждут не похвал, а просто указания им “своего места”, но и у нас, и у французов такое желание оказывается, по-видимому, совершенно невозможным» [Лесков 1883: 155]. Причину писатель видел в том, что «политика со всеми ее несправедливостями перенесена в литературу», а критика являет собой или «бешенство литературного отлучения», или «манию апофеозов» [Лесков 1883: 156]. В набирающем популярность Меньшикове, явно не примыкавшем ни к каким партиям, писатель мог увидеть ожидаемого оракула «здорового смысла, разума и науки», который способен верно установить «общественное мнение по отношению к новым произведениям» [Лесков 1883: 156]. В-третьих, Лесков не мог не заметить широты интересов, оригинальности и самостоятельности аналитической мысли критика, окончательно вступившего на профессиональное литературное поприще в начале 1890-х гг. Не мог не заметить он и симпатий широкой публики и литературной общественности к мнениям Меньшикова о литературе и жизни¹.

Еще одним важным или даже главным фактором, повлиявшим на интерес Лескова к Меньшикову, могло стать желание писателя иметь в ближайшем окружении «своего» талантливого критика, способного правильно, как хотелось самому писателю, отозваться о его творче-

¹ Об этом с восторгом сам публицист писал в дневнике 27 июня 1892 г., упоминая о положительных отзывах о своих статьях, полученных от Н. Н. Ге, И. Л. Леонтьева (И. Щеглова), А. М. Скабичевского, В. Л. Величко, И. Н. Потапенко, Н. Н. Страхова, А. С. Суворина, Н. С. Лескова и др. См.: ОХДЛСМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 23. Л. 36.

стве. В пользу нашей версии свидетельствует статья Т. Б. Ильинской, в которой рассмотрен характер критических отзывов В. И. Бибикова о Лескове, а также показаны особенности взаимодействия опытного писателя с молодым беллетристом и критиком на рубеже 1880–1890-х гг. Исследователь сделала вывод о фельетонном подходе Бибикова к решению критической задачи, обнаружив, что посвященные творческой биографии писателя «литературно-критические фельетоны Бибикова несут в себе черты поэтики этого “легкого” жанра» [Ильинская: 29]. Наиболее интересный результат работы Т. Б. Ильинской — обоснование причастности «автора “Соборян” к посвященным ему критическим фельетонам» [Ильинская: 29]. Ильинская приоткрыла значимую черту лесковского отношения к критикам в поздний, до сих пор слабо изученный период его жизни и выяснила: писатель правил статьи Бибикова о себе, с их помощью выстраивая свой «медиаобраз».

Стремление использовать критическое слово «себе на благо» было у Лескова и в более ранний период его творчества. Так, после выхода в 1867 г. на сцену лесковской пьесы «Расточитель», он сам написал о ней положительный отклик и опубликовал его в журнале «Литературная библиотека», а вскоре был разоблачен [Кучерская: 280]. Была и полемика с Ф. М. Достоевским в 1873 г. по поводу «Запечатленного ангела», закончившаяся разоблачением Лескова, скрывавшегося за псевдонимами «Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский» [Кучерская: 317–318].

Нельзя сказать, что у Меньшикова совсем не было желания тесно общаться с Лесковым. В начале мая 1893 г. критик писал в дневнике, что планирует переехать в Петербург и организовать кружок знакомых литераторов. Открывали список намеченных для кружка знакомых фамилии Лескова и Полонского [Летопись: 188].

Первые сохранившиеся письма Лескова к Меньшикову, датированные декабрем 1892 г., содержали живой отклик писателя на просьбу публициста достать фотокарточку Л. Н. Толстого. Здесь же было высказано желание Лескова встретиться с критиком: «Я был бы очень рад, если бы захотели дать мне возможность с Вами познакомиться»¹. 4 апреля 1893 г. Меньшиков получил самое короткое и выразительное письмо от Лескова: «“Две правды” превосходны!»².

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 14.

² Там же.

В 1893 г. Лесков в письмах постоянно хвалил, даже захваливал Меньшикова:

Я люблю Ваши лит<ературные> работы и со вниманием и радостью слежу за Вашим успехом...¹;

«Две правды» превосходны!²;

При получении 2-й части статьи Вашей «Две правды» я хотел сейчас же выразить Вам мое сочувствие и мою радость по тому случаю, который так хорошо обнаруживает силу и рост Вашего серьезного ума и его благородное направление...³;

Очень благодарен Вам, уважаемый Михаил Осипович, за ответ Ваш на мое письмо по поводу Ваших прекрасных статей, доставляющих мне большое и чистое удовольствие. Я уверен, что не преувеличиваю ваших литературных сил, хотя и имею к ним давнюю любовь и пристрастие. Вы умны, даровиты и хорошо настроены, и притом у вас есть опыт, которого у многих из нас (и у меня в том числе) — не было. Вам «дано много», и, конечно, с Вас «много спросится». Я вполне верю в Вас, что Вы подадите счет хорошо оправданный. Мне лично (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.) Вы приносите огромное утешение, п<отому> ч<то> я любил правду и независимость, и вижу человека, который любит то же самое и отлично умеет разобраться в сплетениях, в которых мы (по новости дела) часто путались, а иные и совсем запутались (напр. Писемский, Достоевский, Всевол. Крестовский и еще кое-кто)⁴;

Он (Л. Н. Толстой. — Н. К.) Вас оч. высоко ценит, и в самом деле у Вас способности редкие...⁵;

«Пределы критики» — превосходно! Это по обыкновению оч. умно и справедливо, но особо тепло и благородно, даже трогательно. (Напр<имер> 223 стр.) Очень радуюсь Вашим работам⁶;

По уходе Вашем вчера я прочитал Вашу статью. Она превосходна. Такого простого и ясного разъяснения «тенденциозности» и «самодовольного

¹ Там же.

² Там же.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 15.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 16.

⁵ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 28.

⁶ Там же.

искусства» еще никто не написал. Оч<ень> хорошо! Л. Н., конечно, будет обрадован, и я радуюсь за то, как Вы растете и крепнете¹.

С одной стороны, Лесков при общении обнаружил много общего в биографии и взглядах с Меньшиковым:

У нас с Вами, оказывается, одинаковое происхождение по линии плотского родства (попы и дворянская захудаль), и есть сходство или, лучше сказать, сродство в росте духовном: врожденное ощущение реальности в важности веры; искание ее; порывание к монашеству и т.д. Я это все проделал и понимаю это в другом человеке².

Близость взглядов Лесков заметил и в понимании отсталости русской жизни при сравнении с европейской: «Выводы о нашей отсталости делаете превосходно: ясно, сильно, вразумительно и в память вхоже»³.

С другой стороны, писатель видел в работах Меньшикова непоследовательность, противоречивость. Так, он в целом хвалил статьи критика, но резко критиковал отдельные высказывания, мысли. Например, размышляя о консерватизме художников в статье «Две правды», Лесков писал критику: «Статья эта превосходна и особенно полезна, но есть что-то, к<ак> б<удто> не выясненное: “Хижина дяди Тома”, ведь, воспитывала умы и сердца, и “Записки охотника” тургеневские — тоже»⁴. Писатель хотел убедить критика в том, что мысль, будто все истинные художники слова консервативны, не всегда справедлива. Эпистолярный ответ Меньшикова на это замечание неизвестен, однако свою следующую статью «Литературная хворь»⁵ он начал с возражения Лескову. По мнению публициста, произведения Бичер-Стоу и Тургенева консервативны, поскольку «явились продуктом долгой нравственной культуры, голосом весьма прочной, хотя и не господствующей традиции» [Меньшиков 1899b].

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 30.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 18.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 22.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 15.

⁵ Опубликовано: Книжки «Недели». 1893. № 6. С. 183–215.

В одиннадцатом номере журнала «Книжки “Недели”» за 1893 г. вышла статья Меньшикова «Работа совести. (По поводу статьи “Неделание” гр. Л. Н. Толстого)». Откликаясь на нее в послании от 8 ноября 1893 г., писатель, как обычно, выразил свой восторг:

Теперь я прочел статью оч. внимательно и получил от этого чтения давно неиспытанное удовольствие и пользу (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.). <...> Статья превосходна во всех отношениях, но всего более она мила мне своим человеколюбивым тоном. Лучшего изъяснителя Л. Н. не мог бы и придумать...»¹. После похвал Лесков указал, что в одном только не согласен с критиком: «видными защитниками» Толстого Меньшиков вместе с Лесковым назвал Н. Н. Страхова и В. П. Буренина. Они, по мнению писателя, «упомянуты напрасно, особенно Б<уренин>»².

Предвидя возражения Меньшикова и понимая, что названные критики упомянуты неслучайно, автор «Соборян» в нескольких письмах упорно приводил разные аргументы и убеждал своего визави в серьезности сделанной ошибки. Главные доводы Лескова таковы: названные критики «не разделяют его (Л. Н. Толстого. — Н. К.) симпатий»³; «...нужно с ним (с Л. Н. Толстым. — Н. К.) вести одну и ту же “работу совести”. Ни Стр<ахов>, ни Б<урени>-н этого не делают: Стр<ахов> и православист, и гегельянец, и государственный, и воитель, и патриот, и националист, и наказатель. Он Т<олсто>-го хвалит за пригожество и остроумие <...> он Т<олсто>-му не брат и не сотрудник в важнейшем деле. А что касается Б<урени>-на, то этот употребляет Т<олсто>-го как “палку на других людей”»⁴.

По мнению Лескова, упоминать надо было «таких, которые продолжают вводить в народ то, что он (Л. Н. Толстой. — Н. К.) открывает и благовествует»⁵. Среди этих авторов Лесков назвал в первую очередь близких к «левому» движению А. И. Эртеля, П. В. Засодимского,

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 32.

² Там же.

³ Там же.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 33.

⁵ Там же.

Е. М. Гаршина¹, а также декадентствовавшего Х. Л. Флексера (А. Л. Волынского), который «за Льва Николаевича очень искренне и разумно заступался»². Писатель утверждал, что Страхов и Буренин «не защищали, а только величали или славили (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.) и ублажали, как попы ублажают угодника, которому поют, чтобы себе на молитвы собрать»³. Особо отметим, что в последней цитате ярко проявилась не только неприязнь к консерваторам, но и антицерковность автора послания.

Мнение Лескова, как свидетельствуют последующие его письма, не нашло поддержки в ответных, но не известных нам посланиях Меньшикова. Поэтому, чтобы убедительнее доказать критику ошибочность упоминания Страхова и Буренина в качестве защитников Толстого, Лесков обратил внимание даже на отклики о статье Меньшикова своих знакомых — мадам Борхсениус (жена доктора, лечившего Лескова) и ее окружения⁴. А в добавление к этому, отвечая на неизвестные нам тезисы Меньшикова, Лесков послал критику свои статьи о писателе со словами: «...я в самом деле не хочу нести обвинения в том, будто я не высказывался за Толстого. <...> посылаю Вам две мои статьи в “Новостях” (апрель 1883 г.)»⁵. Последний аргумент Лескова в споре с Меньшиковым таков: «Упоминание Б<уренина> всем, кого я вижу, не нравится»⁶.

Подлинные причины возмущения автора «Соборян», на наш взгляд, достаточно прозаичны: Лесков старался убедить Меньшикова в истинности только своего взгляда на творчество Толстого, только своей его защиты. Кроме того, писатель наверняка не хотел, чтобы в статье набравшего популярность критика его фамилия стояла в одном ряду с деятелями «правого» лагеря, с теми, кого он назвал «православистами», «государственниками», «патриотами» и «националистами»⁷, поскольку либерально-демократическая общественность могла опять подверг-

¹ Там же.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 36.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 34.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 35.

⁷ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 33.

нуть его обструкции и сделать «неприкасаемым», непубликуемым автором. От таких, как от огня, шарахались управлявшие в конце XIX в. литературой, критикой и печатью либералы-редакторы Н. К. Михайловский, М. М. Стасюлевич, В. А. Гольцев, В. В. Давыдова, Л. Я. Гуревич и др. Надо также признать, что мировоззрение Лескова со времени написания романов «Некуда» (1864), «На ножах» (1870), «Соборяне» (1872) изменилось: он стал по многим вопросам единомышленником Л. Н. Толстого, выражавшего антицерковные и антигосударственные взгляды, усвоив при этом некоторые либеральные идеи, что проявилось и в письмах Меньшикову.

Об отказе от Православия и о принятии идеалов Толстого Лесков написал Меньшикову 11 июня 1893 г. Писатель отметил, что не желает «возвращения себе той, старой веры, “когда идя с народом в храм одним я кланялся богам”»¹, поскольку он уже знает, «что те боги не истинные»², зато теперь ему «истина несколько яснее, чем было в дни <...> церковной набожности»³. Так Лесков подводил к главному — средоточию своего понимания веры:

Из всех разнотчений Евангелия я считаю толстовское чтение наилучшим и чувствую, что оно ближе всего к тому, в каком духе учил Х<ристо>с, и верю по этому Евангелию⁴.

В этом же письме писатель выразил свое отношение к Толстому:

Л<ьва> Н<иколаеви>-ча я не только уважаю и почитаю как «сосуд Божий», но я его люблю и благословляю, как светильник, при свете которого я мог ясно прочесть то, чего не мог разобрать и вычитать ни при каком ином освещении⁵.

В качестве последователя Толстого Лесков ждал от великого писателя главного — переложения и перетолкования Евангелия: «Величай-

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 18.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

шее значение из всех его трудов будет за “Изложением Евангелия”, которое надо бы дать всем людям...»¹. Отвержение традиционного текста и толкования Евангелия и ожидание нового подхода к ним особо подчеркнуто и в письме Лескова от 20 июня 1893 г. В нем писатель выразил согласие с мыслью философа У. Дрэйпера (в письме он назван Лесковым «Дрэппером»), что «мир еще ждет единственной (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.) и важной книги, в которой определленно и точным языком сказано, что такое Бог, что такое мир, что такое душа, имеет ли человек критериум истины, что он нам объясняет...»².

При осмыслении системы ценностей Толстого Лесков не мог принять лишь отношения Льва Николаевича к браку и чадорождению, о чем сообщал Меньшикову:

Здесь я чувствую какую-то несогласимость с законами природы и с очевидною потребностью для множества душ явиться на земле и проявить себя в исполнении воли Творца³.

Свое понимание этого вопроса писатель сближал с идеями купца-старообрядца И. А. Ковылина, «который думал и учил, что “естественно есть мужа к жене соизволение, и в том есть тайна Создавшего”; а “установление к сему человеческое: да отец будь чадом, а не прелюбодей”»⁴.

В переписке критика и писателя порой можно обнаружить отклики о неизвестной нам их полемике о религиозных основах бытия. Так, важнейший вопрос веры — понимание смерти и дальнейшего пути человеческой души — Лесков в письме Меньшикову от 18 февраля 1894 г. разъяснял следующим образом:

«Вера» в возможность «возрождения» совсем не «жалостная черта». Вы этого ничем не докажете. Если возможно одно рождение, то почему невозможно второе, пятое, десятое проявление духа (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.) в иных условиях действия? Иначе и одно рождение невероятно и бессмысленно. Но мы этого не решим⁵.

¹ Там же.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 21.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 18.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 18–19.

⁵ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 42.

Позиция Лескова, сочувственно отзывавшегося о теории реинкарнации душ и все более удалявшегося от Православия, свидетельствовала о тождественности его воззрений с идеями Л. Н. Толстого: автор «Войны и мира» был «ближе отнюдь не к представлению об уникальности человеческой личности, которое характерно для целого ряда религий (ислам, христианство, иудаизм), а к реинкарнации, которую исповедуют индуисты и буддисты» [Прокопчук: 225]. Poleмика с Меньшиковым проявила несогласие критика и писателя по этому вопросу. В письме автора «Соборян» Толстому от 21 августа 1894 г. есть интересное свидетельство о религиозной жизни Меньшикова. Рассказывая о том, как в Меррекюле жила и чем занималась Л. И. Веселитская, писатель упомянул и о Меньшикове:

Она прожила в Меррекюле 18 дней и пела в церкви 7-й № «херувимскую» и «многая лета». Одновременно был там и Меньшиков и херувимскую с многолетием слушал. Лидия Ивановна все та же, как и была, а Меньшиков все томится по «положительным верованиям», а этого рода томления и тоска, по моему наблюдению, ведут на тот путь, которым пошел Алехин и Ругин <...> Я иногда их «отпрукиваю» <...> но слово мое не искусно и не сильно, а порывы желающих найти «приют веры» очень сильны, и никакое «растворение в разуме» им не мешает производить смущение в умах [Лесков 1958: 588–589].

В письмах Меньшикову Лесков через оценку явлений литературы и общественной жизни открыто демонстрировал свои идейные ориентиры. При знакомстве с посланиями писателя за 1893 г. даже возникает ощущение, что он с помощью оценок тех или иных явлений постоянно стремился обратить в «свою веру» набравшего авторитет критика. Так, в письме, датированном 16 апреля 1893 г., Лесков, соглашаясь с мыслью Меньшикова о консервативной природе творчества поэтов-классиков (из статьи «Две правды») и, в частности, А. С. Пушкина, отмечал: «...о Пушкине и вообще о поэтах, т. е. “стихотворцах”, высказана благородная правда»¹. Здесь же писатель как бы невзначай вспоминал обращенную к либеральному редактору и литератору А. К. Шеллеру свою шутку, о том, что Пушкину «всего сподручнее» было бы встречать Новый год в гостях не у либералов, а у консерваторов: «у Мещерского

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 15.

с Тertiem (имеется ввиду Тертий Иванович Филиппов. — Н. И.), или у Победоносцева “внимать в священном ужасе арфе серафима”¹. По словам Лескова, услышав это, Шеллер «взбесился до судорог»². Таким образом, писатель выявлял консерватизм Пушкина, иронично показывая его выбор. В подтексте этого шуточного рассказа, на наш взгляд, ощутимо неприятие Пушкина-консерватора, ставшего в зрелый период творчества патриотом-монархистом и близким к Православию человеком. На наш взгляд, особенно Лескова раздражало второе — близость великого поэта идеям митрополита Филарета (Дроздова). Доказательство этого — дважды повторенная неполная цитата из стихотворения «В часы забав иль праздной скуки...»: «...а мне все думается, что Пушкин к нему (либеральному А. К. Шеллеру. — Н. К.) бы не поехал, а был бы при “арфе”»³. В конце цитируемого нами письма Лесков вспомнил о суждении Толстого по этому вопросу:

Л. Н. Т. в отношении Пушкина высказывал те же мнения, как и Вы, но от Лермонтова он не отнимал надежд на вступление в лучшие отношения к жизни. Я, однако, думаю, что Вы правее, и Л<ермон>-тов был, конечно, понатурнее П<ушки>-на, но в конце концов он все-таки удержался бы от близкого общения с «проклятыми вопросами»⁴.

Думается, что «вступление в лучшие отношения», как и близкое общение с «проклятыми вопросами» — это, в понимании Лескова, проявление более свободного, либерального взгляда на государство и религию, противостояние консервативной традиции.

В анализируемом письме Лесков, открыто не заявляя, указал Меньшикову на свой выбор между православным государственным консерватизмом (с Пушкиным, Лермонтовым, Победоносцевым, Филипповым, Мещерским, традиционной религией) и анархическим либерализмом (с отрицанием православия, центральной роли церкви и государства), к которому по-своему были причастны Л. Н. Толстой, А. К. Шеллер.

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 15–16.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 16.

³ Там же.

⁴ Там же.

Пушкинская тема сходным образом звучит и в послании Меншикову от 26 июня 1893 г. Знакомство с напечатанными в журнале «Русский архив» записками А. О. Смирновой-Россет, в которых великий русский поэт показан не только как представитель высшего света, но и как православный человек, консерватор, сильно огорчило Лескова, что выразилось в словах: «Я читаю <...>, но во мне сердце переворачивается за Пушкина, и я не могу на него радоваться (подчеркнуто Н. В. Лесковым. — Н. К.), каков он выходит»¹. Здесь же писатель отметил, что еще раз удостоверился в правоте своего ироничного суждения о Пушкине, который «“встречал бы Новый год” у Мещерского или у Лампадоносцева»². Однако эти попытки Лескова убедить критика в справедливости осуждения консерватизма Пушкина не нашли отклика в дневнике и работах Меншикова. Достаточно вспомнить статью «Клевета обожания», в которой он защищал Пушкина-консерватора от декадента и нищепанца Мережковского [Меншиков 1899a] и его последующие работы о поэте.

Кроме А. С. Пушкина мишенью для идейных «уколов» Лескова становится Ф. М. Достоевский. По мнению Николая Семеновича, выраженном в письме от 27 мая 1893 г., Достоевский относится к тем литераторам, которые «совсем запутались» в хитросплетениях современности³. Пользуясь эзоповым языком, писатель пояснил: «...если бы Достоевский пережил событие, случивш^еея вскоре после его смерти, то *этот* (Курсив мой. — Н. К.) в своем попятном движении был бы злее и наделал бы огромный вред по своему значению на умы, покорные авторитету и несостоятельные в понимании влияний»⁴. Мысль Лескова проста: если бы Достоевский-консерватор живым застал насильственную смерть государя Александра II от рук террористов, он мог бы своим авторитетом в обществе нанести либеральному движению «огромный вред». Особенно показательно в приведенной цитате слово «*этот*» по отношению к автору «Братьев Карамазовых». Оно указывает на полную отстраненность автора письма от личности и идеалов Достоевского. Свое неприятие этих идеалов Лесков предельно ясно по-

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 25.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 25.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 16.

⁴ Там же.

казал еще в 1886 г. в статье «О куфельном мужике и проч.», иронично отобразив безрезультатность стремления «писателя-православиста» (прозвище, придуманное Лесковым) с помощью авторитета «куфельного мужика» обратиться в Православие великосветскую протестантку Ю. Д. Засецкую [Лесков 1958: 156]. Думается, такое отношение к Достоевскому впоследствии, в мае 1894 г., повлияло на восприятие Лесковым статьи Меньшикова «Художественная проповедь», где было указано, что творческое дарование автора «Соборян» стоит в одном ряду с талантами Достоевского и Салтыкова-Щедрина [Меньшиков 1899d].

В этом же послании «запутавшимися» вместе с Достоевским названы А. Ф. Писемский, В. В. Крестовский «и еще кое-кто»¹. Последний, по мнению Лескова, написал «самый социалистический» роман на русском языке² — «Петербургские трущобы», а после, как выразился писатель, «не устоял и запел “Трубят голубые гусары”»³, то есть пошел в военные, стал монархистом и патриотом. Это изменение Крестовского Лесков охарактеризовал так: «Теперь он пропал для всего доброго...»⁴.

Неприязнь к консерваторам-славянофилам доходила в посланиях Меньшикову до того, что Лесков готов был распространять нелепые сведения о них. Так, в одном из писем, размышляя о голоде 1848 г., Лесков как бы невзначай, но с явным желанием опорочить воспроизвел фантастические слухи о помещиках-славянофилах, будто бы заставлявших крестьянок заниматься проституцией:

А в Москве (где-то писано), что Кошелев не то Хомяков в голодный (1848 г.) год посылали молодых баб в Москву «у бань ходить» (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.)⁵.

Совсем иначе, литературным авторитетом, представлен в письмах к Меньшикову мировоззренчески близкий Лескову И. С. Тургенев. Одна из причин этого — солидарность мнений Тургенева, Толстого и Лескова о Православной церкви и ее священстве:

¹ Там же.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 24.

Тургенев-то ведь терпеть не мог «поповского воя и хныканья», а мы только эту «противность» и знаменуем, и выражаем свои к нему (Тургеневу. — Н. К.) чувства. Нам пора отделаться и отделяться от этого мерзкого лицемерия, пошлости и притворства¹.

В статье Лескова «О кувельном мужике и проч.» Тургенев получил звание «писателя-гуманиста» [Лесков 1958: 156]. Само по себе это определение является предельно точным, поскольку соответствует либеральной ориентации писательского мировосприятия Тургенева и значительной части его художественного творчества [см.: Новикова; Тургенев; Головки]. Отметим, что наше понимание термина «гуманизм» и его производных основано не на обыденном восприятии в качестве синонима «человеколюбия», а на его исконном, европейском значении, которое осмыслено в работах А. Ф. Лосева [Лосев], Ю. И. Селезнева [Селезнев], С. В. Перевезенцева [Перевезенцев] и других отечественных ученых.

В отличие от Достоевского, Тургенев для Лескова — большой авторитет. Мечтавшего порой о жизни в деревне и в уединении Меньшикова Лесков вдохновлял на литературно-публицистическую борьбу, цитируя (правда, не точно) повесть Тургенева «Помещик»: «...сильному не нужно счастье: в борьбе таится наслаждение неистощимое»².

Писатель по-разному стремился вовлечь критика в свою литературную орбиту. Например, он предлагал Меньшикову найти точки соприкосновения Тургенева и любимого Меньшиковым Толстого:

Отчего Вы молчите о Тургеневе? Отчего не провести сравнения между огромными силами Л. Толстого и «благоустроенным» умом и талантом Тургенева? Это было бы оч<ень> благопотребно...³.

Однако Меньшиков не внял призыву старшего товарища и не написал ничего с подачи Лескова или по его заданию.

В поздней, вышедшей к 25-летней годовщине смерти Тургенева статье «Забывтый гений» (1908) публицист цитировал предсмертное

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 28.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 26.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 28.

примирительное письмо Тургенева к Толстому, в котором выразились восхищение художественным талантом писателя-современника, а также призыв оставить публицистику и вернуться в большую литературу: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! <...> Друг мой, великий писатель земли русской, внимлите моей просьбе...» [Меньшиков 1908]. В 1908 г. Меньшиков, уже будучи основателем консервативного движения «Всероссийский национальный союз», противопоставляя Тургенева и Толстого, с сожалением констатировал: «Л. Н. Толстой не внял этой просьбе...» [Меньшиков 1908].

Свидетельством того, что влияние Лескова на Меньшикова было незначительным, стала статья критика «Художественная проповедь» (1894), посвященная одиннадцатому тому издававшегося А. С. Суворинным собрания сочинений писателя. Лесков ждал выхода этой статьи и, возможно, возлагал на нее большие надежды. Познакомившись со статьей, 12 февраля 1894 г. он написал Меньшикову:

Сразу я увидел, что Вы человек смелый и искренний, и ставите меня значительно выше, чем я стою. Я был очень обрадован Вашей смелостью и искренностью, которые, к сожалению, встречаются оч. редко. Потом я увидел, что эта милая мне по своей доброжелательности статья написана в самом деле как бы не Вашей рукой и даже не в Вашей манере <...> И мне стало больно и смешно: раз за всю мою рабочую жизнь (за 35 л.) один только истинно умный, честный и мужественный человек захотел и решился говорить обо мне без «картавки», и тут надо было, чтобы у него «рука развелась»!..¹

По мнению Лескова, в статье есть два главных недостатка: неверная общая тональность («она написана М-вым больным, усталым»²) и отсутствие указания на то, что в произведениях писателя есть не только «низкие типы нигилистов», но и высокие (Лиза, Райнер, Помада), «каких не писал ни один апологет нигилизма»³. Последняя «несправедливость» была для Лескова особенно «уязвляющей», поскольку эти образы «нехотя замечали» даже его клеветники⁴.

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 44.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

На наш взгляд, от статьи Меньшикова Лесков ожидал укрепления своего положения в либеральной литературной среде, то есть в восприятии либералов хотел окончательно «выйти» из лагеря «правых». Но критик, вопреки ожиданиям, эту задачу выполнил не до конца. Он в первую очередь обратил внимание на стилевые особенности лесковской прозы:

Лесков обладает избытком оригинальности, не совсем естественной, переходящей в причудливость [Меньшиков 1899d: 332];

Стиль его неправилен, но богат и даже страдает пороком богатства: пресыщенностью [Меньшиков 1899г: 333];

...своеобразный язык Лескова соответствует оригинальности содержания [Меньшиков 1899d: 334].

Затем подчеркнул двойственность творчества писателя:

Сатирик по преимуществу, он большой мастер и в идиллии <...> Самые крайние настроения в Лескове как-то загадочно переплетаются: тончайший, смертельный яд злобы в сатире и нежное умиление в идиллии... [Меньшиков 1899d: 335].

Отдельно в статье был показан конфликт писателя и либеральной критики, ненавидевшей Лескова за «неумеренность, едкость и пряность таланта» [Меньшиков 1899d: 336], которые были использованы Лесковым-сатириком и «беспощадным карателем» [Меньшиков 1899d: 337] при обрисовке нигилизма и нигилистов. По мнению Меньшикова, справедливую критику либералы напрасно ставили в вину Лескову, поскольку как сатирик «он преувеличил и должен был преувеличить уродливые черты нигилизма» [Меньшиков 1899d: 336].

Близкий в первой половине 1890-х гг. к либеральной идее Меньшиков разделил в своей статье нигилизм на «возвышенный» и «низменный» [Меньшиков 1899d: 336] и отметил, что «возвышенный» — это «вполне чистое явление», «тоска по недостижимому идеалу, отвержение всех кумиров во имя Бога» [Меньшиков 1899d: 336], а «низменный», нашедший «благоприятную почву в наших крепостных нравах» [Меньшиков 1899d: 337], — это «торжество зла». Генеалогию «низшего» нигилизма Меньшиков связал с нравственно растленными крепост-

ным правом людьми, привыкшими «к насилию, разврату, паразитизму, грабежу» [Меньшиков 1899d: 337]. Нигилисты-материалисты, по логике критика, — это «та же татарщина», это перерождение «наших больших нравов» [Меньшиков 1899d: 337], связанных с крепостничеством.

В статье Меньшиков утверждал: поскольку как сатирик Лесков «не всегда был разборчив в борьбе», то «бичи его <...> иногда падали на типы смежные, сравнительно, а иногда и вполне невинные» [Меньшиков 1899d: 337], а этого «не поняла» и не простила писателю ультралиберальная критика 1860-х гг. [Меньшиков 1899d: 337].

Таким образом, Меньшиков выступил и как защитник умеренно-либеральных идей «высшего нигилизма», и как защитник Лескова-сатирика, страстно разоблачившего в антинигилистических произведениях мерзости эпохи, и как либерал, осудивший «татарщину», «крепостничество» и «больные нравы» нигилистов и русской жизни.

Совершенно игнорируя идеологическое несовпадение писателей, критик в «Художественной проповеди» поставил Лескова в один ряд с Достоевским и Салтыковым-Щедриным, находя у них общее в сатирическом взгляде на мир, в темпераменте и стиле, а также «в пристрастии к причудливому, чрезмерному, резкому и курьезному» [Меньшиков 1899d: 339].

При анализе поздних произведений Лескова, вошедших в 11-й том суворинского собрания сочинений, Меньшиков увидел не только характерный для ряда русских писателей (Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой) «осенний расцвет идеализма», снижение «обличительного характера» «нравственный подъем» [Меньшиков 1899d: 340], но и авторскую идейную эволюцию:

Прежний «реакционер» и «мракобес», как его называли, переходит в либеральные журналы, становясь на защиту гуманных и просвещенных начал против заскорузлого византизма [Меньшиков 1899d: 341].

В целом это утверждение верно: объектами обличения Лескова в 1880-е гг. стали русская жизнь в целом, а также Православная церковь со священством и государственная система с чиновничеством. Сострадание писателя было направлено на народ: в произведениях он сообщал «неприкрашенную правду о народном горе, о вековечном его унижении и нищете» [Меньшиков 1899d: 341]. Но главное, что Лесков,

«как и Толстой», «старается пробуждать» в людях «чувства добрые» в народе («присущее ему стремление к божеской правде») и в образованных людях («сострадание к народу») [Меньшиков 1899d: 341].

Размышляя о произведениях, вошедших в 11-й том собрания сочинений (в первую очередь, о притче «Час воли Божией» и повествовании «Юдоль»), Меньшиков сделал глубокое замечание: «...Лесков <...> в общем нравственном мирозерцании давно совпал с Толстым, или точнее — пошел с ним параллельно...» [Меньшиков 1899d: 343]. Впрочем, это наблюдение было верно и для самого Меньшикова: он тоже во многом совпадал с Толстым.

«Художественная проповедь» Лескова, по мнению критика, направлена не на исправление общественных учреждений, а на возвышение человеческих душ: «...начинать надо с людей, с усовершенствования их душ, и все остальное к этому приложится» [Меньшиков 1899d: 345]. Эта мысль Лескова и Толстого о создании нравственного общества ненасильственным путем была близка Меньшикову, так же, как и критический пафос автора «Юдоли». Критик, вслед за Лесковым характеризовал эпоху Николая I и русский народ следующим образом:

Народ тогда, как и теперь, погрязал в невежестве и был беспомощен против всякого бедствия [Меньшиков 1899г: 347];

Беспомощный народ, как и теперь, не имевший никаких средств борьбы с засухой, никаких запасов, чтобы пережить черный день... [Меньшиков 1899d: 347].

По мнению Меньшикова, ««Юдоль», помимо автобиографического и литературного значения, составляет настоящий вклад в историю провинции Николаевской эпохи». Критик не ставил под сомнение ни сам факт не имеющего в историографии документального подтверждения голода 1840-х гг. в Орловской губернии, прикрытый словами Лескова, будто в то глухое время «о голоде “могли знать лишь министры да разве сама голодающая масса”» [Меньшиков 1899d: 346], ни фантастические его проявления в виде людоедства, кровавых убийств, повальной проституции молодых крестьянок, бредовых суеверий и т. п. Нам же необходимо помнить, что реалист И. С. Тургенев в своих «Записках охотника», также рисующих жизнь крестьянской массы в Орловской губернии в 1840-е гг., ни словом не обмолвился о голоде или неурожае.

Критик воспринимал «Юдоль» как лесковское былинное сказание, в котором противопоставлена голодная дикая, полуязыческая Русь и две образованных праведницы — русская княгиня Полли и англичанка-квакерша Гильдегарда, посланница «старой высокой культуры, хотя и чуждой нам, но полной любви и благочестия» [Меньшиков 1899d: 351]. По мысли Меньшикова, все повествование «Юдоли» свидетельствовало, что Лесков — «строго-правдивый бытописатель, отмечающий явления с ученой точностью; тонкий сатирик <...> художник-мечтатель, страстно ищущий в природе и воображении образ идеального человека <...> царства Божьей правды» [Меньшиков 1899d: 351].

И все же это внешнее единодушие критика с писателем в «Художественной проповеди» не имело под собой твердого основания. Так, накануне написания этой статьи в письме Лескова от 11 ноября 1893 г. сначала содержится рассказ, как в один из вечеров вместе с мадам Борхсениус он успешно защищал критика от его «ненавистника»¹. Но далее тон резко сменился и автор послания, как бы отвечая адресату на неизвестное нам утверждение, заявил: «“Загон” не находится в противоречии ни с чем: он просто “картинка с натуры” в фельетонной форме...»². В этой внезапной перемене выразился укор Лескова в адрес Меньшикова: мол, я выступаю его защитником, а он меня не понимает. Что конкретно стало предметом недопонимания, нам неизвестно, но стоит вспомнить: «Загон» создавался в том числе и как реакция Лескова на осуждающую политику изоляционизма статью Меньшикова «Китайская стена», о чем писатель сообщал 8 октября 1893 г. Л. Н. Толстому: «Написал я всего листка 2–3 иллюстраций к превосходной статье Меньшикова о “китайской стене”. Статья называется “Загон”. <...> Там все картины, что были в “загоне” “у своего корыта”, когда мы обобились, и что опять заводится теперь» [Письма: 146].

Отметим, что в течение последних полутора десятилетий Лесков все больше отдалялся от традиционных консервативных идеалов. В середине XX в. исследователи творчества писателя П. Громов и Б. Эйхенбаум показали, что эволюция позиции Лескова активно шла с конца 1870-х гг. и ярко отобразилась уже в сказе «Левша», написанном в 1881 г.: «Движение Лескова “влево”, насыщение его творчества крити-

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 34.

² Там же.

ческими элементами по отношению к действительности самодержавной России очень отчетливо выступает в повествовании о тульском умельце» [Громов: XLV]. Это движение «влево» уловил и Меньшиков в статье об 11-м томе сочинений Лескова.

Но вернемся к письмам. Трижды, 12, 14 и 16 февраля 1894 г. Лесков писал Меньшикову о своей неоднозначной реакции на статью «Художественная проповедь». В заключении первого послания выражена резкая ее оценка, сочетающаяся с неожиданной благодарностью:

...Вам не задался литературный очерк обо мне. <...> благодарен за то, что Вы говорили обо мне с такою искренностью...¹.

Во втором — похожая реакция:

Я очень Вам благодарен и считаю Ваши одобрения выше всех моих заслуг, но мне жаль, что Вы не были строже, но справедливее и не защитили меня в том, где моя правота ясна и бьет в глаз всякому, у кого не помрачено око².

В третьем Лесков просил прощения у Меньшикова за то, что сказал «что-то такое, чего не стоило говорить»³, и объяснял это так:

...попался во власть воспоминаний и разбередил в себе старые раны. <...> ...мне больно было от долгих и вновь помянутых клевет, и я говорил глупые слова...⁴.

Одновременно с этими укорами писатель выразил высокую оценку таланта Меньшикова, еще более подчеркивавшую его разочарование в критике:

Вы самый смелый, самый честный и самый умный человек из всех, занимающихся русской критикою, прошли это мимо, как и другие <...>

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 44.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 45.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 46.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 46.

Я уже, значит, не услышу голоса, который бы возвысился до той правды за человека, которой я ждал всю мою жизнь! (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.)¹.

После трех достаточно раздраженных, но заканчивавшихся мирно писем в послании Лескова от 18 февраля 1894 г. и намек на обиду на статью «Художественная проповедь» не осталось. Напротив, трагическая смерть поэта, публициста и критика В. А. Гайдебурова, родного брата владельца «Недели» П. А. Гайдебурова, вызвала размышления Лескова о допустимости самоубийства и отклик о проблеме переселения душ². Заканчивалось послание замечаниями о Льве Львовиче Толстом и приглашением критика к себе в гости³.

Статья, не оправдавшая надежд писателя, тем не менее, по мнению одного из ведущих современных лескововедов В. А. Котельникова, стала серьезной работой, точно отобразившей черты творчества писателя [Котельников: 8–9]. Да и сам Лесков три месяца спустя, в августе 1894 г., в письме Толстому признавал истинность мыслей, выраженных в «Художественной проповеди»:

...Меньшиков это отлично подметил, понял и истолковал, сказав обо мне, что я «совпал с Толстым». Мои мнения все почти сродные с Вашими, но они менее сильны и менее ясны... [Лесков 1958: 592].

В 1894 г. Лесков переписывался с Меньшиковым как минимум до июня. Количество посланий писателя критику по сравнению с 1893 г. уменьшилось, но тон их общения даже после выхода меньшевской статьи не поменялся: Лесков с добротой и приятностью обращался к критику за помощью, делился своими размышлениями о текущей литературе и откликался на его работы. Так, особую реакцию писателя вызвала работа Меньшикова «Старые и молодые таланты»⁴. В архивной перепечатке письма указано, что послание написано 8 апреля 1894 г., однако материал Меньшикова вышел в майском номере жур-

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 45.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 42.

³ Там же.

⁴ Опубликовано впервые: Книжки «Недели». 1894. № 5.

нала, поэтому наиболее вероятной датой написания мы считаем 8 мая 1894 г.

Критик в своей работе резко напал на молодых писателей, упрекая новое поколение от имени старших литераторов в том, что оно «бездарно, необразованно, грубо, оно писать не умеет, у него нет ни чувства, ни мысли <...> Года бегут, <...>, а гг. Чеховы да Короленки выжимают из себя какие-то отрывочки да кусочки...» [Меньшиков 1899с: 255]. После этого смоделированного упрека от старших Меньшиков встал на другую сторону и выступил защитником молодых писателей:

...да имеете ли вы-то, господа, какое-нибудь право предъявлять такие требования к молодёжи? <...> Пусть она не пишет крупных вещей, — а вы разве их пишете? <...> ...почему же вы не даёте великих произведений, в которых так нуждается общество? [Меньшиков 1899с: 255].

В финале статьи Меньшиков обвинил талантливых старших и младших беллетристов в отсутствии «верховного нравственного сознания того, что нужно, что серьезно, что достойно искусства» [Меньшиков 1899с: 259] и в ничтожности их деятельности [Меньшиков 1899с: 261]: «Таланты есть <...>, но нет истинного благородства, нет нравственной воли. <...> нет у этих дарований совести...» [Меньшиков 1899с: 261]. За грань полемики с литераторами-современниками Меньшиковым был выведен лишь Л. Н. Толстой, который, по его мнению, справедливо указал в статье «Царство Божие внутри вас» на мелкотемье всей современной литературы, на ее нравственное оскудение и падение до языческого уровня, до состояния дикости при внешнем богатстве мыслей, красок, форм [Меньшиков 1899с: 260].

Критик дважды и, как нам видится, неслучайно назвал Н. С. Лескова среди старых литераторов вместе с прозаиками Д. В. Григоровичем, Вс. В. Крестовским, Н. Н. Златовратским, а также поэтами Я. П. Полонским, А. Н. Майковым, А. М. Жемчужниковым. К пожилым литераторам критик обратился с вопросом: «...почему же вы не даёте великих произведений, в которых так нуждается общество?» [Меньшиков 1899с: 255]. И, самостоятельно отвечая на него, констатировал: находясь в наиболее выгодных условиях по сравнению с молодыми, старые таланты «не дают уже в течение многих лет ни одной значительной вещи» [Меньшиков 1899с: 257], а если что-

то и пишут, то «перед вами несколько страничек “из старых бумаг”, какой-нибудь отрывок, набросок, предисловие к чужой статье или воспоминания <...> однообразно и жидко текут какие-то сплетни и анекдоты [Меньшиков 1899с: 257]. Возможно, острие критики было направлено и на Лескова, писавшего в начале 1890-х гг. небольшие рассказы «кстати» и другую «малую» прозу. Но это не отменяет того, что статья Меньшикова была написана невнятно, без конкретики, и в ней заметна недоработанность мысли.

Свой отклик на статью «Старые и молодые таланты» Лесков начал с согласия с мыслью критика о «несправедливых требованиях», предъявляемых молодым талантам¹. И тут же задал прямой вопрос Меньшикову: «...кто же это из старых писателей их унижает?»². Отвечая на него, писатель называл одного Буренина. Кроме этого, Лесков не понял сущности пожелания критика писателям: «Жаль и то, что Вы оставили необозначенным: в каком настроении надо бы писать, чтобы выходило “то, что нужно”»³. Отношение к действительности Лесков обозначил по-библейски образно:

...прежде всего надо выгнать торгующих в храме и вымести за ними их мусор, и тогда, когда горница будет подметена <...>, придет в нее Тот, кому довлеет чистота, и нет Ему общения с продающими и покупающими. И я взял метлу, и выметаю мусор, и гоню к выходу торговцев, и почитаю это за мое дело, которое я умею и могу делать...⁴.

В итоге — справедливый приговор писателя: «Вы в этой статье неясны и едва ли справедливы»⁵. Другой пожилой знакомый Меньшикова, поэт Я. П. Полонский, в письме⁶ также упрекал критика в несправедливости обвинений в адрес старых литераторов [см.: Крижановский 2022а: 97].

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 49.

² Там же.

³ Там же.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 49. Отметим, что такой же идеал деятельности Лесков отобразил и в своем письме Толстому, датированном также 8 апреля 1894 г. [Письма: 165].

⁵ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 49.

⁶ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 1. Д. 8. Л. 15.

Письмо Лескова от 8 мая 1894 г. стало одним из последних в сохранившейся переписке. Оно хоть и содержит в себе писательское недоумение от непроясненной позиции Меньшикова, но начинается мирным обращением «уважаемый Михаил Осипович» и заканчивается фразой «преданный Вам Н. Лесков»¹. Все двенадцать разных по настроению посланий Лескова за 1894 г., как и предыдущие письма, содержат много комплиментов, просьб к критику и благодарностей ему:

Я был оч<ень>. обрадован Вашим вчерашним письмом, Михаил Осипович! <...> Очень Вам благодарен. Не дай Бог нам расходиться и не доверять друг другу²;

Я Вам очень благодарен за то, что Вы не скучаете давать мне ответы и известия о себе, уважаемый Михаил Осипович!³;

...я высоко ценю Вашу дружбу и люблю Вас и оч<ень>. Вам благодарен за то, что Вы говорили обо мне с такою искренностью, какой я не позабуду⁴;

Друг мой сердечный! Если есть что-либо такое — простите меня и, пожалуйста, верьте, что я горячо люблю Вас и Ваше превосходное дарование⁵;

...мне было бы оч<ень>. больно огорчить Вас, а Вам непристойно быть на меня в досаждении⁶;

Искренно Вас любящий Н. Лесков⁷;

...бесценный друг Михаил Осипович!⁸;

Очень Вам благодарен за то, что обещаете мне...⁹;

Очень Вам благодарен за все знаки Вашей ко мне приязни¹⁰.

О благородстве Лескова свидетельствует следующий факт: даже несмотря на то, что писателю не удалось повлиять на Меньшикова, он

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 49.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 41.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 42.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 44.

⁵ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 45.

⁶ Там же.

⁷ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 46.

⁸ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 47.

⁹ Там же.

¹⁰ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 48.

видел в нем умнейшего человека, глубокого критика и интересного собеседника, поэтому часто звал к себе на дачу в Меррекуле или в гости на Фурштадтскую в Петербурге:

Когда зайдете ко мне, я буду оч<ень> обрадован¹;
Не придете ли навестить меня? Я очень хотел видеться с Вами²;
В Меррекуле теперь очень хорошо <...> Свободная дача есть одна...³.

Особо стоит выделить выраженные в письме переживания Лескова о визите Меньшикова в цензурный комитет вместо редактора «Недели» В. П. Гайдебурова:

Отчего Вас (здесь и далее подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.), а не Гайдебурова звали в комитет? Они не имеют права <...> призывать лиц, не имеющих официального редакторского значения. <...> Мне думается, Вам совсем не надо было ходить к ним⁴.

Несмотря на такой возвышенный тон обращений к критику, Лесков в предпоследнем письме Меньшикову (от 18 мая 1894 г.) вынужден был констатировать: «Оказывается, у меня была ошибка: я думал, что мы гораздо солидарнее, чем это выяснилось, а спорить напрасно»⁵.

Лесков был очень проницательным человеком и в 1893 г. предсказал творческую и жизненную судьбу Меньшикову. Во-первых, он советовал в ближайшие годы оставаться в «Неделе» Гайдебурова. А во-вторых, пророчил и дальнюю перспективу:

Ввиду того, как Вы шли прошлою зимою, я думаю, что в скором времени Вы получите в литературе спокойное и удобное для себя положение, которого Вы заслуживаете преимущественно по силе Ваших дарований и по прекрасному настроению Ваших чувств. Поверьте, что я ошибаюсь, но

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 42.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 46.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 50.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 43.

⁵ Там же.

не часто и не в том, о чем я много думал, как о Ваших литерат<урных> силах. Вы должны быть бодры и смотреть вперед без боязни; а что до всего остального, то «сильному не нужно счастье: в борьбе таится наслаждение неистощимое»... <...> Тут Ваше и дело, и дай Вам Бог для этого поработать и в свое время сложить за этой работой свою умную голову¹.

Меньшиков и поработал, без протекций заняв с 1901 г. в газете «Новое время» положение «по силе» своего дарования, и в 1918 г. «сложил голову». Только погиб он не в борьбе с «чиновником» и «пошlostью» (подчеркнуто Н. С. Лесковым. — Н. К.), которую развел чиновник², как прочил Лесков, а в борьбе с разгулом либерально-революционных, русофобских сил. И здесь интуиция писателя не сработала.

Общение Лескова и Меньшикова проявило их разные стороны. Писатель, увидев большой потенциал талантливого критика, поначалу стремился расположить его к себе, идейно сблизиться с ним, найти точки соприкосновения, чтобы сделать впоследствии его статьи рупором своих мыслей, как это было с В. И. Бибиковым. Однако желанию Лескова не суждено было исполниться: Меньшиков оказался самостоятельным и неподатливым человеком, оценивавшим многое не так, как предполагал автор «Соборян».

Прагматизм Лескова по отношению к критику не дал ожидаемых результатов: статья, написанная Меньшиковым, не устроила писателя, поскольку не совпала с его чаяниями. Тем не менее, думается, именно прагматизм «сработал», когда Лесков, осознав нежелание Меньшикова менять свои взгляды, продолжил с ним доверительное, дружеское общение. Писатель, почувствовав, что его усилия, потраченные на влияние на критика в нужном ему русле, могут дать обратный эффект, прекратил давление. А возможно, уважительность, искренность и вдумчивость Меньшикова сделали свое дело: Лесков, прекратив давление, платил тем же. Так, после высказанного резкого неудовольствия от содержания статьи Меньшикова «Художественная проповедь», в нескольких письмах писателя за февраль-март 1894 г. звучит теплое христианское желание примирения с критиком:

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 26.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 26.

Я хотел бы, чтобы Вы только верили, что я высоко ценю Вашу дружбу, люблю Вас оч<ень>. Вам благодарен за то, что Вы говорили обо мне с такой искренностью, какой я не позабуду¹;

...боюсь, что я огорчил Вас и обидел моими словами Вашу ко мне доброжелательность и расположенность. Друг мой сердечный! Если есть что-либо такое — простите меня...²;

Все-таки мне кажется, что я сказал Вам что-то такое, чего не следовало говорить! Искренно прошу простить мне это!³;

Очень Вам благодарен за все знаки Вашей ко мне приязни⁴.

Как показала переписка, при всех указанных нами разногласиях писателя и критика общий вектор их внутреннего развития к середине 1890-х гг. был совместим: и Меньшиков, и Лесков шли вслед за Толстым. При этом они воспринимали действительность противоречиво: в основном с «левых» позиций, хотя христианское начало порой ставилось во взаимоотношениях выше личного.

В некрологе, написанном всего через год после выхода статьи об одиннадцатом томе Лескова, Меньшиков кратко повторил ее основные тезисы, добавив к ним лишь несколько личных черт писателя: «светлый и гордый ум», «гневное, но в существе своем очень доброе сердце» [Меньшиков 1895: 283], «был необыкновенно для всех доступен и со всеми одинаково прост и любезен», «для друзей же своих он был верный и честный друг, пока не разочаровался в них» [Меньшиков 1895: 284]. В финале некролога, написанного с неподдельной любовью к Лескову, критик, проявляя близкую ему христианскую сущность писателя, привел две значимые для характеристики писателя цитаты. Первая — из завещания Лескова с просьбой ко всем, кого обидел, о прощении и личном прощении всего своим обидчикам [Меньшиков 1895: 285]. Вторая — отрывок из послания апостола Павла, на котором было раскрыто Евангелие на столе писателя: «...знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный...» [Меньшиков 1895: 285].

¹ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 44.

² РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 45.

³ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 46.

⁴ РГАЛИ. Ф. 2169. Оп. 2. Д. 1. Л. 48.

Несогласие Меньшикова с воплотившимся в некоторых произведениях 1880–1890-х гг. идеалами Лескова впоследствии лишь единожды проявилось в его творчестве, когда сам критик начал постепенно «праветь». В 1899 г. он опубликовал статью «Прикрытый грех», в которой показал свой однозначный выбор между заветами христианской совести Достоевского (совестью) и правдой гуманистического индивидуализма Лескова (практицизмом), о чем подробно писал В. А. Котельников [Котельников: 14–17].

После этого в творчестве Меньшикова упоминаний о Лескове крайне мало. В 1900–1910-е гг. Лесков для критика останется прежде всего автором антинигилистических романов и жертвой либерального террора. Так, в марте 1907 г., отображая жестокое противостояние «правых» и «левых» в Государственной Думе, Меньшиков, отсылая читателя к лесковскому повествованию, назвал свою статью «На ножах» [Меньшиков 1907]. Через пять лет, в 1912 г., публицист, в личном разговоре размышляя о своей судьбе и положении консервативных литераторов в целом, предупреждал молодого журналиста, пришедшего в «правое» «Новое время»:

Всероссийская критика приговаривает нас к гражданской смерти. К такой расправе, например, над Лесковым открыто призывал в печати Писарев, прося критиков не писать о Лескове абсолютно ничего, ни хорошего, ни плохого. И вы, наверно, замечаете, что этот прекрасный писатель, в силу отсутствия благожелательных отзывов, сравнительно мало читается [Ренников: 150].

Таким образом, постепенная идеологическая эволюция критика влияла на его восприятие писателя. Кроме того, через знакомство и общение с Лесковым и другими литераторами Меньшиков входил в большую литературу, узнавал особенности взаимодействия в ней. В свою очередь Лесков, как мы полагаем, стремился получить определенную выгоду от общения с набирающим популярность критиком. Письма Лескова Меньшикову являются свидетельством проявления особой речевой и поведенческой стратегии отношения писателя к критику. Она заключалась в том, чтобы с помощью тесного общения на объединяющие темы (например, обсуждение идей Л. Н. Толстого, обнаружение общих черт в биографии и схожих взглядов на литературные и

иные явления и прочее), похвал, небольших услуг, а также прибегая к активному убеждению в истинности своих мнений, приблизить к себе входящего в литературу талантливого автора, повлиять на его идейно-творческие установки, а после получить от него критическую статью о своем творчестве, в которой были бы в соответствии с представлениями самого Лескова раскрыты его лучшие черты. Однако разность взглядов с критиком, самостоятельность Меньшикова в суждениях о литературно-критическом процессе и его личный поиск истины не позволили осуществиться желаниям писателя. От частичной идейной близости с Лесковым в первой половине 1890-х гг. Меньшиков постепенно пришел к негативному осмыслению лесковского практицизма [Крижановский 2025а: 563–664], а последние упоминания о писателе в публицистике 1900–1910-х гг. связаны с восприятием его в качестве жертвы либеральной критики 1860–1870-х гг.

Проявившиеся в период общения с Меньшиковым черты Лескова дают возможность увидеть некоторые тенденции его развития и не исчерпывают всей многогранности личности русского писателя, ставшего автором укорененных в православной традиции произведений «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник». Анализ творческого диалога критика и писателя заставляет в дальнейших исследованиях обратить пристальное внимание на проблему взаимодействия Лескова с другими корреспондентами и на его творческую эволюцию в последние годы жизни.

Список литературы

Источники

Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков: переписка, дневники, воспоминания, статьи / сост., статьи, подгот. текстов, примеч. А. С. Мелковой. М.: Русский путь, 2005. 480 с.

Богаевская К. П. Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С. Лескова // Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М.: Худож. лит., 1958. Т. 11. С. 799–834.

Громов П., Эйхенбаум Б. Н. С. Лесков (Очерк творчества) // Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 1. 508 с. С. V–LX.

Кучерская М. Прозванный гений. М.: Молодая гвардия, 2021. 622 с.

Лесков Н. С. Литературное бешенство // Исторический вестник. 1883. Т. 12. № 4. С. 154–160.

Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1958. Т. 11: Автобиографические заметки. Статьи, воспоминания. Письма. 862 с.

Летопись жизни и творчества М. О. Меньшикова / Н. И. Крижановский, С. М. Санькова, Е. В. Алехина и др. М.: Знание-М, 2022. 572 с.

Меньшиков М. О. Забытый гений // Новое Время. 1908. № 11653 (21 августа / 3 сентября). С. 2.

Меньшиков М. О. Клевета обожания // Книжки «Недели». 1899а. № 10. С. 178–213.

Меньшиков М. О. Литературная хворь // Меньшиков М. О. Критические очерки: в 2 т. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899b. Т. 1. С. 119–157.

Меньшиков М. О. На ножах // Меньшиков М. О. Письма к ближним. Год VI. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1907. С. 193–196.

Меньшиков М. О. Памяти Н. С. Лескова // Неделя. 1895. № 9. Стб. 282–285.

Меньшиков М. О. Старые и молодые таланты // Меньшиков М. О. Критические очерки: в 2 т. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899с. Т. 1. С. 245–261.

Меньшиков М. О. Художественная проповедь // Меньшиков М. О. Критические очерки: в 2 т. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899d. Т. 1. С. 330–352.

Письма Толстого и к Толстому. М., Л.: Гос. изд-во, 1928. 311 с.

Ренников А. М. Минувшие дни. Нью-Йорк: Rossiya Publishing, 1954. 353 с.

Исследования

Гирфанова К. А. Нравственно-философская проблематика в публицистике позднего периода творчества Н. С. Лескова (1880 – начало 1890-х гг.) // Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей. Томск: Изд-во ТПУ, 2016. Ч. 2. С. 49–54.

Головкин В. М. «Постепеновство снизу» как выражение позиций демократического просветительства И. С. Тургенева // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2017. № 2 (26). С. 8–17.

Жаворонков Д. В. Писатель и его критик: письма М. О. Меньшикова Л. Н. Толстому 1890-х – начала 1900-х гг. // Филология: научные исследования. 2018. № 3. С. 75–89.

Жирков Г. В. Се человек...: публицистическое слово Л. Н. Толстого к человеку и человечеству. М.: ФЛИНТА, 2019. 767 с.

Ильинская Т. Б. Роль фельетонной критики в формировании репутации писателя: Н. С. Лесков и Виктор Бибииков // Верхневолжский филологический вестник 2020. № 2 (21). С. 29–34. <https://doi.org/10.20323/2499-9679-2020-2-21-29-34>

Котельников В. А. Между ареной и пантеоном. Н. С. Лесков в критике 1890-х–1900-х годов // Н. С. Лесков: классик в неклассическом освещении. СПб.: Владимир Даль, 2011. С. 3–34.

Крижановский Н. И. Михаил Меньшиков и Максим Горький: непрямой диалог // Вопросы литературы. 2014. № 2. С. 66–93.

Крижановский Н. И. Михаил Меньшиков и Яков Полонский: история взаимоотношений // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2022а. № 3 (110). С. 87–103.

Крижановский Н. И. М. О. Меньшиков и Н. С. Лесков: осмысление контактов критика и писателя в современных исследованиях 2000–2010-х гг. // Фило-

логические науки. Вопросы теории и практики. 2025a. Т. 18. № 2. С. 558–566. <https://doi.org/10.30853/phil20250081>

Крижановский Н. И. М. О. Меньшиков и С. Я. Надсон: человеческая взаимопомощь и идейная близость в 1880-е годы // Наследие Ю. И. Селезнёва и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2022. С. 50–59.

Крижановский Н. И. Осмысление взаимодействия М. О. Меньшикова и Н. С. Лескова в научно-критических работах 2020-х гг. // Казанская наука. 2025b. № 2. С. 221–226.

Крижановский Н. И. Polemica М. О. Меньшикова с Д. С. Мережковским о А. С. Пушкине: к пониманию статьи «Клевета обожания» // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 174–195. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-174-195>

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. 623 с.

Новикова А. А. И. С. Тургенев в творческом наследии Н. С. Лескова 1880-х–1890-х годов // Спасский вестник. 2004. № 11. С. 174–178.

Перевезенцев С. В. Гуманизм или консерватизм? // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2024. Т. 30, № 2. С. 88–113.

Прокончук Ю. В. Лев Толстой и индийская религиозно-философская мысль: точки соприкосновения // Лев Толстой и время. Серия «Русская классика: Исследования и материалы». Томск: Томский гос. ун-т, 2010. Вып. 5. С. 221–231.

Санькова С. М., Орлов А. С. Михаил Меньшиков. СПб.: Наука, 2017. 250 с.

Селезнев Ю. И. Глазами народа: размышления о народности русской литературы. М.: Современник, 1986. 347 с.

Сидяков Ю. Христианское учение в восприятии Н. С. Лескова // Latvijas Universitātes Raksti. 748. Sējums. Latviešu literatūra un reliģija. Latvijas Universitāte, 2010. С. 53–62.

Федотова А. А. Л. Н. Толстой и Н. С. Лесков в полемике вокруг «Страшного вопроса» 1891 года // Вестник Костромского государственного университета. 2016. № 5. С. 135–139.

Федотова А. А. Повесть Л. Н. Толстого «Крейцера соната» в рецепции Н. С. Лескова: неосуществленные замыслы // Вестник Костромского государственного университета. 2017. № 4. С. 78–83.

Федотова А. А. Рецепция Н. С. Лесковым народных рассказов Л. Н. Толстого // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 3. С. 21–28.

Филимонова Н. Ю. В защиту Л. Н. Толстого (Из публицистики Н. С. Лескова 1870–1880 годов) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2017. № 3. С. 130–137.

References

Girfanova, K. A. “Nравstvenno-filosofskaia problematika v publitsistike pozdnego perioda tvorcestva N. S. Leskova (1880 – nachalo 1890-kh gg.)” [“Moral and Philosophical Issues in the Journalism of N. S. Leskov’s Late Period (1880 – Early 1890s)”].

Iazyk i mirovaia kul'tura: vzgliad molodykh issledovatelei [Language and World Culture: A View of Young Researchers], part 2. Tomsk, Tomsk Pedagogical University Publ., 2016, pp. 49–54. (In Russ.)

Golovko, V. M. “‘Postepenovstvo snizu’ kak vyrazhenie pozitsii demokraticeskogo prosvetitel'stva I. S. Turgeneva” [“‘Gradualism from Below’ as an Expression of I. S. Turgenev’s Democratic Enlightenment Positions”]. *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serii: Filologiya. Teoriia iazyka. Iazykovoie obrazovanie*, no. 2 (26), 2017, pp. 8–17. (In Russ.)

Zhavoronkov, D. V. “Pisatel' i ego kritik: pis'ma M. O. Men'shikova L. N. Tolstomu 1890-kh – nachala 1900-kh gg.” [“The Writer and His Critic: Letters from M. O. Menshikov to L. N. Tolstoy in the 1890s – Early 1900s”]. *Filologiya: nauchnye issledovaniia*, no. 3, 2018, pp. 75–89. (In Russ.)

Zhirkov, G. V. *Se chelovek...: publitsisticheskoe slovo L. N. Tolstogo k cheloveku i chelovechestvu* [Behold the Man...: L. N. Tolstoy's Publicistic Words to Man and Humanity]. Moscow, FLINTA Publ., 2019. 767 p. (In Russ.)

Il'inskaia, T. B. “Rol' feletonnoi kritiki v formirovanii reputatsii pisatel'ia: N. S. Leskov i Viktor Bibikov” [“The Role of Feuilleton Criticism in Shaping a Writer's Reputation: N. S. Leskov and Viktor Bibikov”]. *Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik*, no. 2 (21), 2020, pp. 29–34. <https://doi.org/10.20323/2499-9679-2020-2-21-29-34> (In Russ.)

Kotel'nikov, V. A. “Mezhdru arenoi i panteonom. N. S. Leskov v kritike 1890-kh–1900-kh godov” [“Between the Arena and the Pantheon. N. S. Leskov in Criticism of the 1890s–1900s”]. *N. S. Leskov: klassik v neklassicheskom osveshchenii* [N. S. Leskov: A Classic in a Non-Classical View]. St. Petersburg, Vladimir Dal' Publ., 2011, pp. 3–34. (In Russ.)

Krizhanovskii, N. I. “Mikhail Men'shikov i Maksim Gor'kii: nepriamoi dialog” [“Mikhail Menshikov and Maxim Gorky: An Indirect Dialogue”]. *Voprosy literatury*, no. 2, 2014, pp. 66–93. (In Russ.)

Krizhanovskii, N. I. “Mikhail Men'shikov i Iakov Polonskii: istoriia vzaimootnoshenii” [“Mikhail Menshikov and Yakov Polonsky: A History of Relationships”]. *Vestnik Rossiiskogo fonda fundamental'nykh issledovani. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki*, no. 3 (110), 2022a, pp. 87–103. (In Russ.)

Krizhanovskii, N. I. “M. O. Men'shikov i N. S. Leskov: osmyslenie kontaktov kritika i pisatel'ia v sovremennykh issledovaniakh 2000–2010-kh gg.” [“M. O. Menshikov and N. S. Leskov: Understanding the Contacts Between a Critic and a Writer in Contemporary Research of the 2000s–2010s”]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, vol. 18, no. 2, 2025a, pp. 558–566. <https://doi.org/10.30853/phil20250081> (In Russ.)

Krizhanovskii, N. I. “M. O. Men'shikov i S. Ia. Nadson: chelovecheskaia vzaimopomoshch' i ideinaia blizost' v 1880-e gody” [“M. O. Menshikov and S. Ya. Nadson: Human Mutual Assistance and Ideological Affinity in the 1880s”]. *Nasledie Iu. I. Selezneva i aktual'nye problemy zhurnalistiki, kritiki, literaturovedeniia, istorii* [The Legacy of Yu. I. Seleznev and Current Problems of Journalism, Criticism, Literary Studies, and History]. Krasnodar, Kuban State University Publ., 2022, pp. 50–59. (In Russ.)

Krizhanovskii, N. I. “Osmyslenie vzaimodeistviia M. O. Men'shikova i N. S. Leskova v nauchno-kriticheskikh rabotakh 2020-kh gg.” [“Understanding the Interaction Between

M. O. Menshikov and N. S. Leskov in Scientific Critical Works of the 2020s”]. *Kazanskaia nauka*, no. 2, 2025b, pp. 221–226. (In Russ.)

Krizhanovskii, N. I. “Polemika M. O. Men’shikova s D. S. Merezhkovskim o A. S. Pushkine: k ponimaniu stat’i ‘Kleveta obozhaniia”] [“Menshikov’s Controversy with D. S. Merezhkovsky on A. S. Pushkin: Understanding the Article ‘The Slander of Adoration.”] *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 174–195. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-174-195> (In Russ.)

Losev, A. F. *Estetika Vozrozhdeniia* [*Aesthetics of the Renaissance*]. Moscow, Mysl’ Publ., 1978. 623 p. (In Russ.)

Novikova, A. A. “I. S. Turgenev v tvorcheskom nasledii N. S. Leskova 1880-kh–1890-kh godov” [“Turgenev in the Creative Heritage of N. S. Leskov of the 1880s–1890s”]. *Spasskii vestnik*, no. 11, 2004, pp. 174–178. (In Russ.)

Perezentsev, S. V. “Gumanizm ili konservatizm?” [“Humanism or Conservatism?”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriiia 18. Sotsiologiia i politologiia*, vol. 30, no. 2, 2024, pp. 88–113. (In Russ.)

Prokopchuk, Iu. V. “Lev Tolstoi i indiiskaia religiozno-filosofskaiia mysl’: tochki soprikosnoveniia” [“Leo Tolstoy and Indian Religious and Philosophical Thought: Points of Contact”]. *Lev Tolstoi i vremia. Seriiia “Russkaia klassika: Issledovaniia i materialy”* [*Leo Tolstoy and Time. Series “Russian Classics: Research and Materials”*], issue 5. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2010, pp. 221–231. (In Russ.)

Sani’kova, S. M., A. S. Orlov. *Mikhail Men’shikov* [*Mikhail Menshikov*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2017. 250 p. (In Russ.)

Selznev, Iu. I. *Glazami naroda: razmyshleniia o narodnosti russkoi literatury* [*Through the Eyes of the People: Reflections on the National Character of Russian Literature*]. Moscow, Sovremennik Publ., 1986. 347 p. (In Russ.)

Sidiakov, Iu. “Khristianskoe uchenie v vospriiatii N. S. Leskova” [“Christian Doctrine as Perceived by N. S. Leskov”]. *Latvijas Universitātes Raksti. 748. Sējums. Latviešu literatūra un reliģija. Latvijas Universitāte*, 2010, pp. 53–62. (In Russ.)

Fedotova, A. A. “L. N. Tolstoi i N. S. Leskov v polemike vokrug ‘Strashnogo voprosa’ 1891 goda” [“L. N. Tolstoy and N. S. Leskov in the Controversy Around the ‘Terrible Question’ of 1891”]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 5, 2016, pp. 135–139. (In Russ.)

Fedotova, A. A. “Povest’ L. N. Tolstogo ‘Kreitserova sonata’ v retseptsii N. S. Leskova: neosushchestvlennye zamysly” [“L. N. Tolstoy’s Novel ‘The Kreutzer Sonata’ in the Reception of N. S. Leskov: Unfulfilled Plans”]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 4, 2017, pp. 78–83. (In Russ.)

Fedotova, A. A. “Retseptsiiia N. S. Leskovym narodnykh rasskazov L. N. Tolstogo” [“N. S. Leskov’s Reception of L. N. Tolstoy’s Folk Stories”]. *Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik*, no. 3, 2018, pp. 21–28. (In Russ.)

Filimonova, N. Iu. “V zashchitu L. N. Tolstogo (Iz publitsistiki N. S. Leskova 1870–1880 godov)” [“In Defense of L. N. Tolstoy (From the Journalism of N. S. Leskov 1870–1880)”]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriiia: Russkaia filologiia*, no. 3, 2017, pp. 130–137. (In Russ.)

© 2025. А. С. Александров, Э. К. Александрова

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
г. Санкт-Петербург, Россия

К истории третейского литературного суда по делу В. В. Крестовского и А. А. Измайлова

Аннотация: В статье на основе архивных материалов освещена история третейского литературного суда 1913–1914 гг. по делу Вл. Вс. Крестовского и А. А. Измайлова. Критик был призван к суду сыном писателя за статью «Быль, а не легенда», в которой воскрешал слухи 1860-х гг. об авторстве «Петербургских трущоб». Измайлов утверждал, что роман написан на основе рукописи Н. Г. Помяловского. В настоящей работе прослежена историография вопроса: рассмотрены работы предшественников — специалистов по творчеству Помяловского и Крестовского, дело о плагиате впервые проанализировано со стороны Измайлова — инициатора инцидента. Третейское разбирательство, последовавшее за публикацией статьи, породило ряд уникальных материалов — важных свидетельств литературного быта эпохи. История освещена с учетом всех имеющихся архивных документов, не обнародованных ранее, включая деловую корреспонденцию, свидетельские показания и новонайденные личные дневниковые записи Измайлова.

Ключевые слова: А. А. Измайлов, В. В. Крестовский, Н. Г. Помяловский, третейский суд, плагиат, фельетон, газета, критика, рецепция.

Информация об авторах: Александр Сергеевич Александров, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, наб. Макарова, д. 4, 199034 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8611-6490>

E-mail: aspiros.83@mail.ru

Эльмира Камильевна Александрова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, наб. Макарова, д. 4, 199034 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3009-1794>

E-mail: egumerova@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 22.06.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 30.09.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Александров А. С., Александрова Э. К. К истории третейского литературного суда по делу В. В. Крестовского и А. А. Измайлова // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 272–303. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-272-303>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 272–303. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 272–303. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. **Alexandr S. Alexandrov, Elmira K. Alexandrova**

Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences
St. Petersburg, Russia

On the History of the Literary Arbitration Court in the Case of V. V. Krestovsky and A. A. Izmailov

Abstract: Based on archival materials, the article covers the history of the literary arbitration court of 1913–1914 in the case of Vl. Vs. Krestovsky and A. A. Izmailov. The critic was summoned to court by the writer’s son for the article “Byl’, a ne legenda,” in which he resurrected rumors from the 1860s about the authorship of “Peterburgskikh trushchoby.” Izmailov claimed that the novel was written based on the manuscript of N. G. Pomyalovsky. This work traces the historiography of the issue, considering the works of predecessors — specialists in the works of Pomyalovsky and Krestovsky — and analyzing the plagiarism case for the first time from the perspective of Izmailov, the incident’s initiator. The arbitration proceedings that followed the publication of the article generated a number of unique materials, which are important evidence of the literary life of the era. The story of the accusation is told “from the inside,” taking into account all available archival documents, including previously unpublished business correspondence, witness testimony, and newly discovered personal diary entries of Izmailov.

Keywords: A. A. Izmailov, V. V. Krestovsky, N. G. Pomyalovsky, arbitration court, plagiarism, feuilleton, newspaper, criticism, reception.

Information about the authors:

Alexandr S. Alexandrov, PhD in Philology, Senior Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, Makarova Emb., 4, 199034 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8611-6490>

E-mail: aspiros.83@mail.ru

Elmira K. Alexandrova, PhD in Philology, Senior Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkin House) Russian Academy of Sciences, Makarova Emb., 4, 199034 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3009-1794>

E-mail: egumerova@mail.ru

Received: June 22, 2025

Approved after reviewing: September 30, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Aleksandrov, A. S., and E. K. Aleksandrova. “On the History of the Arbitration Literary Court in the Case of V. V. Krestovsky and A. A. Izmailov.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 272–303. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-272-303>

Профессиональная деятельность популярного пародиста, известного критика начала XX в. Александра Алексеевича Измайлова (1873–1921) была насыщена самыми разнообразными событиями, в том числе сопряженными с неприятностями и разочарованиями. Одним из таких инцидентов был литературный третейский суд 1913–1914 гг. между Измайловым и наследниками Вс. Вл. Крестовского.

В 1913 г. общественность готовилась почтить память видного реалиста-шестидесятника Николая Герасимовича Помяловского (1835–1863), жизненный путь которого оборвался очень рано: писатель скончался, не достигнув и 30 лет. Все написанное Помяловским помещалось буквально в один том, самым главным произведением были «Очерки бурсы», задуманные как масштабное полотно из двадцати очерков; при жизни писателя вышли лишь четыре из запланированных, пятый — посмертно. В 1913 г. — в 50-летие со дня смерти Помяловского — в газетах и журналах вспоминали талантливого прозаика, Измайлов на это событие откликнулся фельетоном в газете «Русское слово» «Быль, а не легенда» [Измайлов 1913], воскрешающим старую дискуссию, основанную на домыслах и слухах об авторстве романа «Петербургские трущобы».

Это событие, получившее в свое время большой резонанс, рассматривалось историками литературы прошлых поколений, главным образом исследователями творчества Крестовского и Помяловского, интересовавшимися лишь отдельными фактами. Так, в 1935 г. И. Г. Ямпольский обратился к проблеме в комментариях к роману Помяловского «Брат и сестра» [Ямпольский 1935: 336–341]. В 1959 г. М. М. Орлов, прибегнув к лингвостилистическому анализу, пришел к выводу об имеющемся заимствовании [Орлов 1968: 248]. Его результаты были подвержены критике со стороны Ямпольского [Ямпольский 1968: 222–223], что не переубедило оппонента [Орлов 1974: 5–6]. В. А. Викторович в обстоятельной статье обращался к источникам легенды о пла-

гиате [Викторович: 48–52]. Несмотря на столь долгое бытование этой темы в литературоведении, в названных работах лишь кратко отмечены вехи истории и приведены отдельные выкладки из статьи Измайлова и решения третейского суда. Со стороны Измайлова — инициатора инцидента — история анализировалась в наименьшей степени. Между тем, сам факт обращения критика к литературной легенде, уходящей корнями в середину XIX в., крайне примечателен. Названные исследователи не останавливались подробно на ходе судебного разбирательства, не обращались к сохранившимся материалам суда, что побуждает нас в настоящей работе проследить историю с обвинением, учитывая все имеющиеся архивные документы (РО ИРЛИ, НИОР РГБ, РГАЛИ), не обнародованные ранее, включая деловую корреспонденцию, свидетельские показания и новонайденные личные дневниковые записи Измайлова. Третейское разбирательство, последовавшее за публикацией статьи «Быль, а не легенда», породило ряд уникальных материалов — важных свидетельств литературного быта эпохи.

Очертим кратко предысторию событий. Впервые устно бытующие в литературной среде многолетние слухи об авторстве «Петербургских трущоб» были печатно озвучены 28 января 1895 г., через десять дней после смерти Крестовского. Анонимный фельетонист на страницах «Сына отечества», называя две версии авторства (Решетникова и Помяловского), призвал родных, старых друзей и близких знакомых писателя откликнуться и прояснить вопрос об истории создания романа:

Нельзя допускать, чтобы мрачное обвинение навсегда осталось невыясненным. Между тем время идет, выяснение делается все труднее и труднее. Через какой-нибудь десяток лет оно, пожалуй, станет и совершенно невозможным [Б. п. 1895а]¹.

В начале февраля последовала заметка историка и журналиста С. Н. Шубинского, близкого знавшего Крестовского в бытность его работы над романом. Шубинский привел некоторые подробности, связанные со сбором материала для «Петербургских трущоб», в частности, отмечал, что Крестовский заходил «после своих экскурсий в так

¹ Заметка был перепечатана в «Северном вестнике», что в свою очередь породило череду рассуждений о плагиате, ср.: [Б. п. 1895б].

называемую Вяземскую лавру и другие притоны, одетый в грязную блузу и смазные сапоги, дававшие ему возможность проникать в эти места <...> Я помню, с каким увлечением он передавал свои приключения и вынесенные впечатления; несколько раз он читал мне в рукописи еще не вполне отделанные отрывки из своего романа» [Шубинский].

На следующий день в «Новом времени» были напечатаны письма М. В. Шевлякова и Ф. Н. Берга. Сотрудник «Исторического вестника» Шевляков в своем письме сообщал о беседах с И. Д. Путилиным, квартальным надзирателем 3-ей Адмиралтейской части, к которой относилась Сенная площадь с примыкающими к ней трущобами. Путилин, по свидетельству Шевлякова, категорически отрицал слухи о плагиате и свидетельствовал, что он Крестовского «сопровождал по трущобам, вместе с ним переодевался в нищенские костюмы; <...> присутствовал на облавах в различных притонах; при нем, нарочно <...> допрашивал в своем кабинете многих преступников и бродяг, которые попали потом в его роман» [Шевляков]. Товарищ Крестовского прозаик, переводчик Ф. Н. Берг в кратком письме осудил появление в печати «непроверенных слухов» и засвидетельствовал, что «роман <...> из главы в главу писан при нем, хоть он и не посещал с Крестовским трущобы, но хорошо знал весь ход работы» [Берг].

С возмущением о появившихся в печати слухах отозвался Н. С. Лесков в интервью «Петербургской газете», удостоверив, что «многие страницы «<Петербургских> трущоб» были написаны» непосредственно у него «на квартире» [В. П. (Лесков): 1]. Лесков вспомнил ряд примечательных моментов, связанных с написанием романа, его личное общение с Крестовским и назвал еще ряд свидетелей, которые могли бы подтвердить непреложность авторства романа (среди них А. С. Иероглифова, М. О. Микешина, А. Н. Майкова, В. А. Тимирязева и С. Н. Шубинского).

Из перечисленных лиц (кроме Шубинского, уже откликнувшегося до выхода интервью) отозвался художник М. О. Микешин:

...втроем Всеволод Крестовский, Н. С. Лесков <...> и я ходили в «Вяземскую лавру» и в Малинник, изучали трущобы и намеревались издать их иллюстрированными, для чего мною была уже и зачерчена небезынересная коллекция разных несчастных типов, но отъезд мой тогда за границу оставил дело иллюстрации к «Трущобам» не осуществленным [Б. п. 1895с].

В дополнение к свидетельствам 1895 г. становятся вышедшие в 1900 г. воспоминания стенографа И. К. Маркузе [Маркузе], работавшего с Крестовским в период написания романа, — еще одно крайне важное доказательство в пользу несостоятельности слухов о плагиате.

Несмотря на внушительную ответную реакцию сторонников Крестовского, Измайлов не был удовлетворен приведенными свидетельствами и на протяжении многих лет придерживался особого мнения относительно авторства романа. Личность и творчество Помяловского вызывали в критике особый интерес, что связано, по-видимому, с автобиографическими перекличками. Измайлов, как и автор «Очерков бурсы», был выпускником Александро-Невского духовного училища и семинарии, где в бытность его учебы сохранялись предания о знаменитом ученике. Так, по сообщениям Измайлова, один из его учителей хорошо помнил Помяловского, а на некоторых книгах в библиотеке училища можно было найти подпись легендарного бурсака. Измайлов в некотором роде был продолжателем дела Помяловского: автобиографическая повесть «В бурсе» (СПб., 1903), рассказывающая о среднем бурсаке, а затем и семинаристе, быте и нравах закрытых духовных учебных заведений, создана с явной ориентацией на литературного предшественника. Не случайно в рецензиях произведения Измайлова часто сравнивали с очерками Помяловского.

В пору обучения в Александро-Невском духовном училище Измайлов и сам застал и легенду, уходящую корнями в 1860-е гг., согласно которой роман «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского является плагиатом недописанного романа Помяловского. Измайлов вспоминал, что еще в семинарии слышал рассказы о том, что «в один день к матери Помяловского, вдове-дьяконице, жившей на Малой Охте, явились два писателя (называли Воронова и Левитова), которые предложили ей, после появления романа Крестовского, начать с их помощью дело по обвинению романиста в плагиате» [Измайлов 1913]. Однако «женщина простая и некнижная», Помяловская от тяжбы отказалась.

Под впечатлением легенд и слухов, Измайлов еще в 1902 г. наводил справки, пытаясь отыскать факты, проливающие свет на литературную легенду. 6 марта 1902 г. он получил письмо от священника А. Смирницкого, служившего в Успенской церкви в селе Феофилова пустынь Петербургской губернии:

Сию минуту видел того священника, который кое-что сообщил о Помяловском. Сей богодуховный муж, иерей, фамилии Семенов <...> Когда о<тец> Семенов учился в семинарии (14 л<ет> тому назад), то многие семинаристы и академисты ходили в гости к родной сестре Помяловского (кажется, Марии Герасимовне), которая была замужем за свящ<енником> села Смолянки (за П<етер>б<ургом>) Тихомировым Павлом, и вот здесь-то все читали и видели целую главу «Чуха» — черновик Помяловского. Здесь же на иждивении зятя жил брат Помяловского, алкоголик, <...> он и сестра были свидетели, как Помяловский продал за 40 к<опеек> все «Петербургские трущобы» Крестовскому [Измайлов 1913].

Письмо священника А. Смирницкого немного добавляло к уже имеющимся сведениям и слухам. Наиболее ценными оказались сообщения о свидетелях, которые могли бы пролить свет на эту историю. Единственный человек, связанный с семьей Помяловского, которого Измайлову удалось разыскать, был указанный Смирницким протоиерей Павел Тихомиров. После обращения к нему был получен следующий ответ (11 июня 1902 г.):

На Ваше письмо от 28 мая могу сообщить Вам следующее: мать, братья и сестры Н. Г. Помяловского были твердо уверены, что «Петербургские трущобы» написаны им, а не Крестовским, так как он много рассказывал им о своих похождениях по трущобам и иногда даже читал им отрывки из этого сочинения. Нужно заметить, что мать Помяловского была просфирня. Квартира ее состояла из 2-х маленьких комнат, а семья была большая, а потому Н<иколай> Г<ерасимович> дома ничего не писал, а все написал у разных своих товарищей и приятелей и дома после его смерти не осталось от него ни одного лоскута его рукописей. Нужно еще заметить, что так как он нередко злоупотреблял спиртными напитками, то многое из своих работ он или растерял, или забыл, где писал. Это, вероятно, случилось и с «Петербургскими трущобами».¹

Кроме передачи устойчивой легенды, жившей в семье покойного Помяловского, каких-то дополнительных доказательств Измайлову

¹ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 324. Л. 1.

собрать не удалось. По-видимому, именно это обстоятельство стало причиной отложить сюжет на неопределенное время.

По прошествии лет Измайлов все же вернулся к литературной легенде: подступом критика к обвинению Крестовского в плагиате стал обстоятельный очерк о Помяловском 1911 г. для приложения «Нивы», в заключении которого приводятся его размышления о справедливости домыслов о плагиате:

Возникший в конце 60-х гг. в литературных кружках слух о том, что для своего романа «Петербургские трущобы» В. В. Крестовский использовал попавшие каким-то случаем в его руки черновые <рукописи> романа Помяловского «Брат и сестра», — со временем не только не погас, но разросся в совершенно определенное обвинение. Крестовский не мог его не знать при жизни, но он никогда не находил нужным выступить против него. Время от времени легенда эта получала более острую постановку, и спор из чисто литературного становился общественным. С особенною силою он возник над свежеею могилой Крестовского и в течение долгого времени горячо и взволнованно обсуждался газетною и журнальною печатью [Измайлов 1911]¹.

То, что в 1911 г. было высказано Измайловым еще как робкая догадка, в его юбилейной статье 1913 г. явилось главной темой, получив уже всестороннее освещение и подтверждая обоснованность опасения анонимного автора заметки в «Сыне отечества» о грядущем обвинителе. Во время 50-летия со смерти Помяловского, когда о писателе заговорила широкая общественность, устраивались вечера памяти, Измайлов, поддавшись профессиональному соблазну дать в юбилейном материале нечто сенсационное, встряхнуть общественность, в противовес повсеместно господствующей в материалах подобного рода «старой жвачке»,² решился воскресить легенду о плагиате.

Статья Измайлова «Быль, а не легенда» строится во многом на известных и опубликованных в 1895 г. сведениях: в пересказе и дослов-

¹ Очерк основан на ранней измайловской статье к тридцатипятилетию со дня смерти Помяловского для «Биржевых ведомостей» [Измайлов 1898].

² Ср. с высказываниями самого Измайлова о провокационной речи Брюсова в дни гоголевских юбилейных тожеств [Измайлов 1909a], [Измайлов 1909b] [Измайлов 1909c].

ных цитатах он использует ряд фрагментов из статьи «Сына отечества»; приводит собственные семинаристские воспоминания о легендах, курсировавших в годы его обучения, дает выдержки из письменных свидетельств Смирницкого и Тихомирова. В статье переданы слухи, бытовавшие в литературных кругах после смерти Помяловского в устной форме и не высказанные печатно:

Будто незадолго до смерти сам Помяловский, находившийся в больнице, подарил свою неотделанную рукопись Крестовскому, чаще других его навещавшему <...> только развязка присочинена Крестовским, а первые пять частей самостоятельно написаны автором «Бурсы». Помяловский, будто бы, поверил Крестовскому передать рукопись в «Отечественные записки», затем умер, и рукопись осталась у Крестовского. Говорили даже и так, что все свои наброски Н<иколай> Г<ерасимович> продал собрату за 40 копеек [Измайлов 1913].

В дополнение Измайлов приводил некоторые психологические и филологические соображения, сведенные им в пункты:

1) Всякий писатель, в особенности среднего размера, каким был Крестовский, изучив одну область быта, неизбежно влечется к ней в новых и новых сочинениях. <...> *Ни разу он не возвратился к жизни петербургского дна, к бывшим людям, к Фомушкам блаженным и Макридам-странницам.* 2) В «Петербургских трущобах», романе вообще в высшей степени неровном, с поверхностным, легковесным рассказом о великосветских интрижках находятся в совершенной дисгармонии густые, сочные описательные главы <...> «Ерши», «Малинник», «Вяземская лавра», «Спас на Сенной», «Колтовская». Среди беглых, карандашом зарисованных портретов, хотя иногда и метких портретов и жанровых картинок, совершенно особняком стоит превосходно выписанная фигура Фомушки-блаженного. <...> Народно-церковный язык Фомушки прямо великолепен. <...> Подробность очень понятная в Помяловском, необъяснимая в Крестовском. 3) Тот, кто терпеливо проследил бы язык названных глав, сопоставляя его с обычным языком, стилем фельетонной манерой рассказа Крестовского, почувствовал бы странную неродственность фразы [Измайлов 1913].

Заканчивается статья следующими выводами:

Нет сомнения, что сданная в «Отечественные записки» рукопись «Петербургских трущоб» была написана собственною рукою Крестовского с начала и до конца, что Крестовский изучал падших и голодных на месте их падения и голодания, что на всем его романе лежит печать его меткого воображения. Но нет также сомнения, по крайней мере, для пишущего эти строки, что некоторые, и лучшие главы, — и нетрудно угадать какие, — только переписаны, может быть с известной переделкою, не служащею их улучшению, с рукописи художника, гораздо более талантливого и гораздо более зоркого, чуткого и глубокого [Измайлов 1913].

Обвинения, выдвинутые Измайловым, при всех оговорках, звучали внушительно и затрагивали литературную репутацию покойного писателя, за которого, как оказалось, было кому вступиться. Последствия не заставили себя ждать. 6 ноября 1913 г. в газету «Русское слово» было направлено письмо Владимира Всеволодовича Крестовского, сына писателя, высказавшего свое категорическое несогласие. Он отметил, что большинство доводов Измайлова были развеяны авторитетными авторами еще в 1895 г., когда слух о плагиате проник в печать, а приведенные новые данные (главным образом, письма Смирницкого и Тихомирова), содержат противоречивые и бездоказательные суждения.¹ Не соглашался Крестовский с филологическими и психологическими соображениями критика, полагая, что все это «субъективные предположения»:

Мне дорого выяснение общественной правды, и я преклонился бы перед серьезными, неопровержимыми фактами, данными объективного исследования, но я не могу примириться с тенденциозными бездоказательными обвинениями².

9 ноября 1913 г. М. В. Новорусский, «известный писатель-шлиссельбуржец», участник покушения на Александра III, упомянутый в статье Измайлова как посетитель священника Тихомирова, также направил в газету письмо с опровержением:

¹ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 6. Ед. хр. 21. Л. 1.

² Там же. Л. 8.

Заявляю, что ничего подобного никогда со мною не бывало. Было бы весьма желательно, чтобы авторы, дающие экскурсии в область истории, проверяли свои сведения, *пока живы современники*, из первых рук и не распускали легенды, которые будучи написаны, станут признаваться за факты¹.

Письма были переданы редакцией «Русского слова» Измайлову, 14 ноября он сделал лаконичную запись в личном дневнике: «Вечером пришли письма по поводу м<оего> “Помяловского-Крестовского” из “Р<усского> с<лова>”. Неприятно. Сделал и свое письмо, отослал».² Критик предполагал дать в газете письма с комментариями:

Находил бы, что в таком виде письма должно напечатать. Надо всем давать право голоса. Из письма Крест<овского> я удалил 3-ю часть, — доказательства хождения Всеv. Крестовского по «дну», — в силу того, что ничего этого я не отрицаю. Если, впрочем, редакция не тяготится размерами письма и не склонна на примечание, какое я сделал от нее, то, пожалуйста, сохраните и эту часть. Потом под цифрой II — письмо Новорус<ского>, а под III — не откажите мое³.

В III части письма Измайлов подробно разъяснял свою точку зрения, указывая на превратно понятые его оппонентом положения статьи:

Решаясь печатно выступить с итогом психологических и фактических соображений о легенде «Помяловский-Крестовский» <...> автор «Были, а не легенды» ясно видел заранее, что его мнение так же найдет поддержку одних, как и встретит протест и возражение других. Предвидя возражения, автор угадывал и их характер, и не ошибся <...> с первых строк отверг с осуждением ту вульгарную версию, которая говорит о присвоении Крестовским чужой рукописи в смысле грубой кражи <...> Речь шла лишь о некоторых, названных главах и типах и общем замысле, до мелочей совпадающем с замыслом Помяловского, который он, несомненно, осуществил. Если вещь бесследно исчезает в одном месте и со всеми признаками обретается в другом — есть место для справедливого недоумения и нескромных догадок⁴.

¹ РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 19.

² ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 7. Ед. хр. 51. Л. 586.

³ РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 10.

⁴ Там же. Л. 20.

Отвечая М. В. Новорусскому, Измайлов подчеркнул, что беспокоить его справкою не считал необходимым, поскольку нигде не ссылался на него, как на свидетеля:

Да он и не мог быть свидетелем событий, разрешившихся задолго до него. Извиняясь перед ним, нахожу, однако, что бывал ли он в названной семье, — для дела вовсе безразлично. Как велика периферия испуга в пору существования Шлиссельбургской могилы, — да еще в патриархальной духовной среде, — мы все знаем. Для моего корреспондента¹ было важно указать, что сожжение рукописи «Чухи» стояло в каком-то, — теперь видим, что фиктивном — соотношении с процессом г. Новорусского. Так вместе указывалась и причина, и момент уничтожения последнего вещественного доказательства. Только это и важно².

Первоначальный сценарий событий, по которому инцидент бы приобрел форму газетной полемики, еще более привлечшей внимание публики и тем сыгравшей на руку падкой на сенсации газете, по-видимому, по некотором размышлении был отвергнут наследниками писателя. 16 ноября Владимир Крестовский отправил в редакцию уведомление об отзыве своего письма: «Сданную мною в Вашу редакцию рукопись “Быль, а не легенда (статья Измайлова)” прошу пока не печатать. Зайду в редакцию для личных переговоров».³ Семья писателя обратилась в газету официально при посредничестве присяжного поверенного. А. Н. Вознесенский 19 ноября 1913 г. отправил уведомление на имя редактора Ф. И. Благава:

Вдова и наследники покойного Крестовского, считая статью бездоказательной и порочащей честь и доброе имя покойного писателя, обратились ко мне с просьбой предложить Вам устроить третейский суд для выяснения правдоподобности слухов, переданных Измайловым, и для возможности реабилитации литературного имени Крестовского. Думая, что это и в интересах самой редакции, которой важно добыть истину в этом темном вопросе, позволяю предложить Вам третейский суд, о со-

¹ Священник А. Смирницкий.

² Там же.

³ РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 1.

ставе коего с Вашей стороны в случае согласия не откажите уведомить в *семидневный срок*¹.

Редакция уклонилась от участия в суде, возложив все бремя ответственности на автора фельетона². Ср. письмо Измайлову от 22 ноября: «Редакционное собрание поручило мне <...> сообщить, что по мнению собрания решение вопроса о принятии или отказе от предполагаемого г. Вознесенским третейского суда в данном случае всецело принадлежит Вам, как автору подписанной Вами статьи»³. Измайлов был вынужден согласиться на судебное разбирательство. 23 ноября он отправил в редакцию телеграмму: «Считаю долгом лично принять третейский суд. Сообщите мой адрес Вознесенскому. Извиняюсь <за> беспокойство»⁴, — и сделал в личном дневнике запись: «Письмо с неприят<но-стями> из “Р<усского> с<лова>” о Крестовском. Третейский суд»⁵.

Возвращаясь к моменту публикации измайловского фельетона, следует оговориться, что столь решительные оборонительные действия со стороны родственников Крестовского стали реакцией не на одну лишь измайловскую статью. Его фельетон вызвал в печати несколько откликов, и один из них — очень резкий, беспепелляционный выпад в «Московской газете» под оскорбительным названием «Литературный вор» — и явился катализатором вызова со стороны Крестовского. Его автор, драматург и издатель Ф. Д. Гривнин, солидаризируясь с позицией Измайлова, подчеркивал, что у большинства представителей левых шестидесятников была уверенность в «похищении» рукописи Крестовским, передавал разговоры об этом с народником-якобинцем

¹ Подчеркнуто красным карандашом — РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 2–3; копия письма — ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 6. Ед. хр. 9. Л. 1.

² Что не противоречило требованиям заявителя, ср. в письме Вознесенского: «Если ред<акция> сочтет почему-либо для себя неудобным участие в третейском разбират<ельстве> и снесясь с Измайловым предоставит это ему, мои доверители ничего против этого не имеют, т. к. им нужны не люди, причастные к взводимому на их отца ложному обвинению, и не кара виновных, а только восстановление поруганного честиного имени покойного» (ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 6. Ед. хр. 9).

³ РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 1.

⁴ Там же. Л. 3.

⁵ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 7. Ед. хр. 51. Л. 587.

П. Н. Ткачевым, пересказывал эпизод о собрании в редакции «Искры» с обсуждением слухов о плагиате, описывал трагичную стычку между Крестовским и поэтом Д. Минаевым [Гри-ъ (Гриднин)]. По-видимому, упоминание Гридниним литературного суда над Крестовским, обсуждавшегося на собрании в «Искре», и подтолкнуло наследников писателя к действиям.

Это подтверждается и письмом поверенного Крестовского к Измайлову от 27 ноября 1913 г.:

Редакция газеты «Русское слово» уведомила меня, что Вы изъявили желание лично принять участие в третейском суде, предл<оженном> насл<едниками> Всеволода Крестовского. Автор статьи «Литературный вор» Фед<ор> Гриднин также согласился и избрал своим судьей прис<яжного> пов<еренного> и журн<алиста> Сергея Георгиевича Кара-Мурза. Полагаю, что третейский суд должен быть один и техника его составления выразится в том, что Вы выберете также одного судью, насл<едники> Крестовского — 2-х судей, а избранные, как всегда бывает, уже сами наметят суперарбитра¹.

Формат третейского суда (который составлялся для каждого отдельного случая, не имел судебного опыта, где обвиняемый сам мог выбрать судей — ср.: [Кауфман: 4–6]), был предпочтительнее для Измайлова, в отличие от суда чести, в котором судейский состав заранее сформирован. Однако поворот, который приобретало дело при объединении с другими «обвиняемыми», оказался для критика совершенной неожиданностью, т. к. переводил обвинение в достаточно серьезное русло. 30 ноября он категорически отказывался от объединения дел:

Я действительно выразил согласие редактору «Русского слова» лично понести перед третейским судом ответственность за свой фельетон о Крестовском, и я не отказываюсь и сейчас дать ответ не только за каждое слово, но за каждую запятую моей статьи. Но в пересланном мне письме Вашем в редакцию не было ни одного слова о каких-либо других лицах Вами привлекаемых кроме меня, ни о каких иных статьях. В личном письме ко мне Вы связываете с моим именем другое. Решаясь выступить со своим фельетоном, я ни с кем не входил ни в какие соглашения. Г. Гриднина я

¹ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 67. Л. 1.

не имею чести знать. О статье его я имею понятие только по телеграфной газетной цитате, которая даже может быть не буквальной. Ее название «Литературный вор» я узнаю только из Вашего письма. Что она содержит в целом, я не знаю — могу только, судя по ее заглавию, предполагать, что автор, по-видимому, далек в ней от моей сдержанности выражений и, может быть, поддерживает как раз ту резкую версию о краже целого романа, какую я сам первый буду отвергать. Впрочем все, что касается этой статьи, в связи с третейским судом, меня совершенно не интересует, ибо вовсе меня не касается¹.

Есть основания полагать, что Измайлов был знаком с текстом заметки Гриднина, т. к., по-видимому, именно на нее он ссылается 14 ноября в своем неопубликованном комментарии к письму сына Крестовского (ср.: «В печати уже появились подтверждения одного писателя, вспомнившего о назревавшем в 60-х гг. протесте литераторов против Крестовского, показании Ткачева не в пользу В<сеголода> В<ладимировича> и столкновении с Крестовским Минаева на фоне обвинения»)².

В своем письме Вознесенскому Измайлов обращал внимание и на происходящую в делопроизводстве подмену понятий:

...не могу не высказать пожелания, чтобы в процедуре вызова на третейский суд и его производстве, сторона, Вами представляемая, держалась терминологии, соответствующей столь юридически ответственному делу, как третейский суд. В официальном письме Вы обращаетесь к редактору «Русского слова» с заявлением, что сущность моего фельетона сводится к утверждению, что Крестовский «мог быть только переписчиком, а не автором романа Петербургские трущобы». Нельзя — а в особенности при вызове на третейский суд — считать сущностью статьи то, что автор в ней явно отрицает. Кто сколько-нибудь внимательно отнесся бы к моему фельетону, тот не мог бы просмотреть в нем моего осуждения той вульгарной версии, какая настаивает на краже Крестовским романа Помяловского. <...> Принять ответственность за все написанное мною — мой долг и моя

¹ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 1–3.

² РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 20. Все перечисленное наличествует в заметке Гриднина, ср.: [Гри-ъ (Гриднин)].

обязанность, но позвольте мне отвечать по тем обвинениям, какие я сам выставляю, а не по тем, какие мне совершенно произвольно навязываются¹.

Отказываясь от объединения дел, Измайлов упоминал и других потенциальных обвинителей:

...в С<анкт>-П<етербурге> есть лицо, в скором времени печатно выступающее с мотивированным исследованием на ту же тему «Помяловский — Крестовский». С первыми газетными известиями о третейском суде с мнениями по тому же делу может выступить еще несколько лиц. Вы можете пожелать, имея в виду удобство Ваших доверителей, присоединить к моему суду еще и всех этих лиц. Но то, что пишут и напишут о Крестовском другие — меня может не интересовать. С удобствами стороны, вызывающей меня, я не обязан считаться. Быть объединенным в одной подсудности с людьми, выставляющими, быть может, гораздо более широкое обвинение, чем мое — мне вовсе не может быть приятным. Я мог бы пойти на это в интересах выяснения исторической истины, но этой истине такое обобщение ничего не даст. Да историко-литературные истины и не выясняются на третейских судах. В данном случае задачей третейского суда было бы только решить, имел я нравственное право, располагая моими данными, высказать то, что я высказал, или нет — не более².

Не называя имен, Измайлов, без сомнения, имел в виду сообщение, появившееся на следующий день после отклика в «Московской газете»: 5 ноября в «Биржевых ведомостях» прошла заметка самого Измайлова (под псевдонимом Аякс) об «интересном сообщении» профессора Ф. Д. Батюшкова «по поводу вновь возникшего разговора о присвоении Крестовским некоторых рукописей Помяловского, вкрапленных в его нашумевший роман». В заметке передан рассказ Батюшкова о расследовании офицера русской службы В. И. Тевельгильдина. Тот сделал выводы, что сбор материалов для романа «Петербургские трущобы» велся Крестовским уже после написания романа, задним числом. Как

¹ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 1–3.

² Там же.

уточнялось, «рукописи этого исследователя-добровольца переданы Батюшковым критику одного толстого журнала» [Аякс (Измайлов)]¹.

Рукопись Тевельгильдина сохранилась в ИРЛИ в архиве издательства «Огни». Она представляет собой машинописные листы, скрепленные в две тетради с рукописными пометами и вклейками (123 л.) с названием на обложке чернилами «Сенсационный роман “Петербургские трущобы”». Последний предсмертный труд Николая Герасимовича Помяловского, но не В. Крестовского. Заметка в 2-х частях В. Те-на. С.-Петербург. 1913 г.. По всей видимости, неназванным критиком, планирующим выступить в печати (о котором говорит Измайлов), был А. Г. Горнфельд, сотрудник «Русского богатства», о чем свидетельствует карандашная помета на обороте второй части документа².

В своем расследовании Тевельгильдин пишет, что «еще в шестидесятых годах циркулировали слухи, что роман сочинен не Крестовским и даже поднят был против него поход. Поход этот не принес никакого положительного результата, так как автор бежал от него в 1868 году под защиту военного мундира, и полемика вскоре должна была прекратиться»³. В первой части заметки обильно процитированы материалы периодической печати с показаниями современников-свидетелей, биографа Крестовского Ю. Л. Ельца, записки стенографа И. К. Маркузе, письма самого Крестовского А. В. Жиркевичу. Тевельгильдин строит свое утверждение на вскрытии временных несостыковок в показаниях защитников Крестовского с документами о послужной деятельности полицейских чиновников, оказавших Крестовскому помощь в сборе материала (К. К. Галатова, И. Д. Путилина, генерал-губернатора Санкт-Петербурга кн. А. А. Суворина), анализирует переезд

¹ В этот период критики тесно сотрудничали по делам Литературного фонда. В письмах Батюшкова Измайлову нет упоминаний этой истории (ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. 30. 19 л.).

² Ср.: «Баскова ул., д. 9. “Русское богатство”. Г. Горнфельд» (ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 59. Л. 123 об.). Рукопись была подготовлена к печати: на титуле имеется надпись синим карандашом: «Проредактировано». На титуле планировалось поместить и портрет автора. Слева вверху помета карандашом «6 <печ.> листов», внизу адрес: «ст. Удельная, Костромской просп., д. 40, кв. 3. Василий Иванович Тевельгильдин» (ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 59. 122 л.).

³ ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 59. Л. 1.

Крестовского в дом Тура, и приходит к выводу о том, что сбор информации производился писателем задним числом. Вторая часть заметки построена на сравнении стилистического, содержательного, идейного плана «Петербургских трущоб» с произведениями Помяловского, в частности, с его неоконченным романом «Брат и сестра».¹

Сыну Вс. Крестовского, по всей видимости, в определенный момент стало известно содержание исследования Тевельгильдина, и он даже предпринял меры по развенчанию его доказательств. Забегая вперед, отметим, что в письме Измайлову от 1 марта 1914 г., перечисляя материалы, переданные в суд, Крестовский уточнял:

В показаниях Ив<ана> Карл<овича> Маркузе имеется пункт 5), который не имеет отношения к разбираемому третейским судом вопросу и объясняется вот чем: чтобы не тревожить напрасно Ив<ана> Карл<овича>, я просил его сразу ответить и на другие вопросы, которые важны для меня, как возражения на нападки появившиеся уже после Вашей статьи².

Указанный пункт показаний Маркузе касается помощи Галатова в сборе материалов, стенограф, не называя имени обвинителя, практически дословно воспроизводит обвинение Тевельгильдина.

Родственники Крестовского отказались от объединения дел, о чем Вознесенский сообщал 4 декабря, соглашаясь с соображениями Измайлова о «недопустимости совместительства разных ответчиков»

¹ Автор подытоживает: «Проанализировав роман, мы улавливаем черты глубокого единства между обрисованными в нем картинами страданий и личными настроениями Помяловского, искавшего забвения от своей “ноющей боли” в жилище ужаса и порока. Все это могло быть подлинным основанием для осуществления романа, во всяком случае, неизмеримо более серьезного, чем поверхностные рассказы, приводимые В. Крестовским в его вступлении к “Петербургским трущобам” <...> было бы весьма неосновательным и в высшей степени несправедливым со стороны литературы и со стороны читающего общества не признать автором романа Николая Герасимовича Помяловского <...> Надо было быть Помяловским, надо было самому окунуться в эти вертепы: разврата, порока и преступления, дабы создать вторую бурсу, бурсу жизни, жертвой которой он был сам!» (ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 59. Л. 120, 121, 122).

² ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. 161. Л. 106.–2.

в одном разбирательстве. Критику был предложен третейский суд в пределах его статьи, «преимущественно» резолютивной ее части», в составе не менее пяти членов суда.¹ В качестве судей со стороны Крестовского были намечены С. П. Ордынский и И. Н. Игнатов, в качестве суперарбитра предложена кандидатура А. Е. Грузинского. 14 января 1914 г. Вознесенский уведомлял ответчика об этом окончательно утвердившемся составе суда.

Происходящее ввело Измайлова в замешательство, что отразилось в его первоначальном выборе арбитров для третейского разбирательства, запланированного в Москве. Не имея в этом городе близких литературных знакомств и стремясь из соображений непредвзятости и объективности не привлекать авторов «Русского слова», изначально Измайлов надеялся задействовать в суде известных москвичей И. А. Бунина и В. Я. Брюсова. 30 декабря 1913 г. обоим были направлены типовые письма, излагающие суть вопроса.² Бунин, находившийся к тому времени за границей, ответил отказом. Брюсов отвечал только 12 января 1914 г. из санатория Майоренгофа (ныне Дзинтари):

...нездоровье заставило меня покинуть Москву и поселиться на Рижском взморье. По той же причине я принужден, как Вы догадываетесь, ответить отказом на Ваше лестное для меня предложение. Мне это весьма жаль, так как в поднявшемся споре я вполне на Вашей стороне. Статью Вашу о «Петербургских трущобах» я читал, но уже раньше, на основании некоторых известий, слухов и «критики текста», держался того же взгляда, как и Вы [Измайлов 2017: 170–171].

Не дождавшись ответа Брюсова, Измайлов вынужден был обратиться к давнему коллеге С. В. Потресову-Яблоновскому. 12 января 1914 г. критик писал:

¹ См.: ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 67. Л. 2–2об.

² Письма (от 30 декабря 1913 г.) отпечатаны на машинке, с рукописными вставками: Брюсову — НИОР РГБ. Ф. 386. Карт. 88. Ед. хр. 14. Л. 17–17 об., опубл.: [Измайлов 2017: 170–171]; Бунину — ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 1–1об. (Черновик письма, машинопись, типовое, как Брюсову, с рукописными вставками чернилами, первоначально адресовано Бунину, затем правка карандашом с адресацией Яблоновскому).

За мой фельетон в «Русском слове», где я на основании некоторых документов и психологических соображений высказался в пользу правдивости легенды, будто бы в руках Крестовского были некоторые рукописи Помяловского, коими он воспользовался для романа «Петербургские трущобы», — родственники Крестовского вызывают меня на третейский суд. Суду едва ли предстоит установить исторический факт заимствования Крестовского. Невозможное невозможно. Ближайшей его задачей будет только признать, имел ли я нравственное право сказать то, что сказал, располагая своими данными. Таким образом, со стороны содержания суд не может быть очень сложным и обременительным. Если бы дело происходило в С<анкт->П<етер>б<урге>, я не побеспокоил бы Вас, но в Москве, за исключением «Русского слова», я почти не имею литературных знакомств. Обратился к Бунину, — он за границей. Писал Брюсову, — его или нет, или он на письма не считает нужным отвечать. Я старался избежать писателей, прикосновенных к «Русскому слову», но, видимо, без этого не обойтись. Будьте же так ласковы и не откажитесь принять участие в суде в качестве лица, мною названного. <...> Второе лицо с моей стороны, может быть, вы будете добры посоветовать. Не подойдет ли Мельгунов, или он перегружен делом? Если бы Вы были склонны оказать мне эту большую дружескую услугу, я просил бы Вас взглянуть инкриминируемый фельетон (номер от 23 <так!> окт<ября>), из коего Вы увидели бы, что я отнюдь не отстаиваю грубую версию кражи Крестовским труда Помяловского. В связи с показаниями родственников Помяловского, видевшими <так!> рукопись «Чухи», писанную рукою Помяловского, я утверждаю только, что некоторые части романа выдают прикосновенность к «Трущобам» автора «Бурсы». Конечно, мне не нужно прибавлять, что я ищу от Вас только Вашего искреннего и авторитетного мнения, отнюдь не рассчитывая увидеть в Вас непременно своего сторонника. И каков бы ни был приговор, изнесенный членами суда, — я сохранил бы к Вам только старинные чувства искренней благодарности, любви и глубокого уважения. В интересах обеих сторон — скорейшее устройство суда. Сын Кр<естовского> уже был у меня и торопил меня. Кстати, когда я указывал ему трудность для меня искать судей по Москве, указал на Вас. Он сказал: «Вот это было бы прекрасно». Он знает Вас и уважает¹.

¹ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 1–1об.

Сотрудник «Русского слова» ответил согласием и предложил кандидатуры других судей, среди которых были члены суда чести при Московском обществе деятелей периодической печати: юристы Н. В. Давыдов, Н. К. Муравьев, П. Н. Малянтович, а также А. А. Кизеветтер¹. 20 января Яблоновский подтвердил согласие историка и публициста С. П. Мельгунова быть судьей: «Состав суда очень приятен в том отношении, что все друг друга <знают> и относятся друг к другу весьма дружелюбно. Это в значительной мере поможет столкнуться»².

Личное участие Измайлова в мероприятии не требовалось. Утвержденный, наконец, состав суда, позволил провести предварительное заседание, о котором Вознесенский уведомлял ответчика 14 февраля:

Вам, вероятно, уже писал С. В. Яблоновский о том, что на днях состоялось заседание третейского суда, который решил рассмотреть дело в пределах след<ующих> двух вопр<осов>: 1) Представляются ли суду данные, легшие в осн<ову> ст<атьи> А. А. Измайлова «Быль, а не легенда», достаточно убедительными и позволяющими г<осподину> Измайлову утверждать факт принадлежности некоторых мест «Петерб<ургских> трущоб» перу Помяловского? 2) Если данные г<осподина> Измайлова представляются объективно недостаточными, то может ли инкриминируемая ему статья считаться поступком, несогласным с добрыми литерат<урными> нравами? Суд постановил сообщить Вам в копии все представ<енные> насл<едниками> Крестовского материалы и просить Вас в ближайший срок представить копии писем и документов, упоминаемых в Вашей статье (целиком) и письменное объяснение Ваше, если Вы его найдете нужным представить³.

Измайлов, отдавая себе отчет в несостоятельности своего материала, понимал еще до намеченного разбирательства, что по первому пункту без каких-либо дополнительных убедительных доказательств вопрос будет решен не в его пользу. Требуемые подлинники документы и свое личное письменное объяснение критик передал через А. В. Ру-

¹ См.: ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 388. Л. 2–2об.

² Там же. Л. 4. См. также Письмо Мельгунова к Измайлову (Там же. Оп. 3. Ед. хр. 205. 2 л.).

³ ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 67. Л. 4–4об.

манова, сотрудника «Русского слова», с письмом от 19 февраля, подчеркивая «исключительную важность» «направляемых бумаг, где есть подлинники писем, реабилитирующие меня на третейском суде по делу о Крестовском-Помяловском»¹.

Обширный документооборот между Москвой и Петербургом не способствовал ускорению процесса. 17 февраля 1914 г. сын Крестовского отправил Измайлову копии материалов, представленных им в суд: статей из «Сына отечеств» и ответов на эту статью; копию записной книжки писателя, также уведомил о представленных в суд изданиях. 1 марта он отправил подлинники документов о варшавском периоде Крестовского и копии свидетельских показаний его сотрудников: стенографа Маркузе и биографа Ельца². 4 марта Измайлов, возвращая документы, уведомлял адресата об их прочтении³. Судя по обширной переписке участников разбирательства, итоговое заседание часто откладывалось и переносилось вследствие «чрезвычайной занятости членов суда»⁴. Оно состоялось 8 мая 1914 г.

Владимир Крестовский тщательно подготовился к суду и представил важные свидетельства и доказательства несостоятельности выдвинутых Измайловым обвинений. Так, сын писателя, опираясь на объективные данные, сообщил суду, что роман был задуман еще в 1858 г., с 1860 г. сохранились многочисленные свидетельства изучения Крестовским труппного мира Петербурга, в то время как произведений Помяловского на эту тему неизвестно, а существующие свидетельства о заинтересованности автора «Очерков бурсы» жизнью деклассированных жителей столицы или даже работы его над второй частью романа «Брат и сестра», потенциально относящегося к этой теме — отрывочны и трудно верифицируемы. Крестовским была отмечена существенная фактическая ошибка: в статье Измайлов утверждал, что роман начал печататься спустя несколько лет после смерти Помяловского, на самом же деле — с октября 1864 г. в «Отечественных записках», отрывок

¹ РГАЛИ. Ф. 1694. Оп. 1. Ед. хр. 279. Л. 18.

² ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 161. Л. 1–1об., 4.

³ ИРЛИ. Ф. 129. Ед. хр. 22. Л. 1–1об.

⁴ Ср. письмо И. Н. Игнатова В. В. Крестовскому от 30 марта 1914 г. (ИРЛИ. Ф. 129. Ед. хр. 18. Л. 1). См. также письма о согласовании времени заседания С. П. Ордынского (Там же. Ед. хр. 19. Л. 1), А. Е. Грузинского (Там же. Ед. хр. 20. Л. 1), С. П. Мельгунова (Там же. Ед. хр. 21, Л. 1–1 об.).

«Ерши» появился через два месяца после смерти Помяловского в январе 1864 г. в журнале «Эпоха». К суду были привлечены и подлинные материалы из архива Крестовского (записная книжка, стенограммы романа и прочие документы), свидетельские показания.

Гвардии полковник, полковой историограф Ю. Л. Елец в своих показаниях от 10 января 1914 г.¹ уведомлял о свидетельствах посещения Крестовским трущоб зимою 1860 г., знакомстве с записными книжками писателя и других подробностях работы, описанных им в биографии Крестовского. Помимо сведений, касающихся непосредственно «Петербургских трущоб», Елец писал о тщательной подготовке и других произведений Крестовского: так, писатель со скрупулезностью изучал местность, готовя материал к романам «Две силы» и «Панургово стадо»; к циклу «Тьма Египетская», «Тамара Бендавид» и «Торжество Ваала» подходил, «ревностно изучая древнееврейский язык и ведя обширное знакомство с раввинами, знатоками Талмуда и других книг. С этими лицами он имел терпение перечитывать, переводить и делать нужные для его романа выписки»². Кропотливым собирателем показал себя Крестовский и в путешествии по Тихому океану («В дальних водах и странах»), и в Сибирь (в книге «Об Южно-Уссурийском крае»). «То же рвение показал Всеволод Владимирович и при раскопках в Самарканде, — свидетельствовал Елец, — уходя под землю на глубину двух сажен и вызвав своею лихорадочною деятельностью из летаргического сна наше Императорское археологическое общество времен 80 годов». Свидетель назвал писателя «рыцарем без страха и упрека» «по глубокому убеждению, что ни на какой мало-мальски некорректный, не только недобросовестный поступок»³ Крестовский не был способен.

Еще одним важным доказательством несостоятельности версии о плагиате стало свидетельство И. К. Маркузе, стенографа. В письме от 13 февраля 1914 г. он подтверждал основные положения своих воспоминаний о Крестовском 1900 г.:

¹ ИРЛИ. Ф. 129. № 17. Автограф (Л. 1–7 об.) и машинописная копия (Л. 8–10 об.).

² Там же.

³ Там же.

Вот, что устанавливаю я в своей статье и что прошу Третейский суд принять во внимание как мое по делу показание: 1) В 1866 г. с мая по ноябрь (приблизительно) В. В. Крестовский диктовал мне «Петербургские труппы». Из сохранившейся стенограммы, которую представляю на рассмотрение Суда, видно, что диктовка началась с первых страниц II главы Шестой части романа. 2) Диктуя роман, автор пользовался материалом, заключавшимся в записных книжках, довольно несвежих на вид, в которых заключались записи и рисунки. В числе последних я видел наброски типов «Чухи», «Капельника», «Сашеньки-матушки», «Морденки». 3) В той части романа, которую мне диктовал В. В. Крестовский, изображены типы «Фомушки» и «Макриды-странницы». Автор мастерски передавал их разглагольствования на церковно-народном языке. Он владел этим языком совершенно свободно. <...> 4) В. В. Крестовский в совершенстве владел воровским арго и изображал при мне типы кабацких забулдыг, причем однажды, случайно, в разговоре со мною, говорил мне, что лично наблюдал воров и пьяниц в их вертепах¹.

Измайлов, кроме изложенных в статье соображений, не смог представить суду каких-то дополнительных аргументов в качестве доказательств выдвинутой им версии. С его стороны были представлены два письма (Смирницкого и Тихомирова), цитированные в статье, и письменное объяснение, свидетельствующее о раскаянии по ряду пунктов:

1. Мне хотелось бы, чтобы стороною обвинения было учтено то, что статья в целом носит характер попытки чистого историко-литературного обследования вопроса, имеющего почти 50-летнюю давность. Самое появление ее в пятидесятую годовщину одного из участников тяжбы и в пятнадцатую — другого, самый тон ее, вовсе чуждый порицания, полемики или грубого вызова, — устанавливают настроение автора, видевшего здесь старое литературное недоразумение и пытавшегося посылить его разрешить. По существу, в такой попытке, если она сделана в строго-литературных тонах, нет ничего несогласного с добрыми литературными нравами и приличиями. <...> Такого рода обследование — есть право и обязанность истории литературы. Такие попытки могут и должны вызвать журналь-

¹ ИРЛИ. Ф. 129. Ед. хр. 15.

ную полемику, возражения, опровержения, но было бы напрасно искать в основе таких работ «злую волю» автора. Не будь в данном случае лиц, родственно близких автору «Петербургских трущоб», — никто не взглянул бы на инкриминируемый фельетон как на явление, оскорбляющее общественную совесть и порядочность.

2. Хотелось бы подчеркнуть в моем фельетоне те места, которыми я прямо отрицаю вульгарную версию, утверждающую, что роман В. В. Крестовского — есть сплошной плагиат. <...> Автор статьи принимал другую, более утонченную версию, сводящуюся к тому, что в распоряжении Крестовского, по-видимому, были некоторые рукописи Помяловского, что некоторые фигуры романа (как Фомушка-блаженный), некоторые описания, густотой письма выделяющиеся на общем фоне, могли быть перенесены «с рукописей художника, гораздо более талантливого, гораздо более зоркого, чуткого и глубокого».

3. В силу таких соображений автор позволял себе не считать опровержением его догадок заявления друзей и знакомых Крестовского, единогласно устанавливавших факт изучения им на месте петербургского дна. От настоящего писателя, каким был Крестовский, нельзя было бы требовать иного отношения к доставшемуся ему материалу, который он хотел возможно удачнее использовать. И такое личное изучение может не разрушать предположения, что тема романа, план его и некоторые главы могли быть заимствованными. Приведенные в фельетоне проспекты романа Помяловского, воззвание Благовещенского об исчезнувших его рукописях и факт непоявления за 50 лет после смерти автора «Молотова» ни одной новой страницы его произведений, могут достаточно объяснять, почему мысль историка литературы, без всяких с его стороны личных и неблагородных намерений, могла бы связать имена Крестовского и Помяловского.

4. Психологические догадки, составляющие центральную часть фельетона и в некоторой своей части только резюмирующие ранее выдвигавшиеся в литературе догадки (почему, например, Крестовский никогда позднее не возвращался к описанному в «Трущобах» быту), как и соображения о разности стилей романа Крестовского — есть дело субъективных восприятий, которых для одного достаточно и для другого мало. <...>

6. <Записная книжка Крестовского> дает несомненно убеждение в личном собирании Крестовским материалов для «Петербургских трущоб», т. е. утверждает то, что я никогда не отрицал. Правда, здесь есть и значитель-

ная деталь, — бегло зарисованный замысел именно спорного Фомушки («мазурик, играющий роль блаженного», стр. 7). Таким образом, записная книжка могла бы иметь бесспорную силу, если бы было с безусловностью доказано, что она завершена в год смерти Помяловского — 1863. Лично я должен был бы полагаться в этом заключении только на простое заявление сына покойного писателя, что «все записи по тщательному исследованию сделаны до 1863 г. включительно». Однако, его же заявление, что «адрес г<осподина> Маркузе, по личному его удостоверению, внесен его рукой уже весной 1866 г.», — в год окончания печатания «Трущоб», — не позволяет ли думать, что книжка служила Крестовскому и в более поздние годы, уже после смерти Помяловского¹.

Несмотря на то, что в заключительной части объяснения Измайлов продолжил отстаивать потенциальную вероятность своей правоты, по многим позициям статьи «Бль, а не легенда» критик отступил. Главный акцент его защитительной речи сделан на том, что появление фельетона связано исключительно с историко-филологическим интересом литературного обозревателя, в намерения которого не входило оскорблять «общественную совесть и порядочность» покойного автора.

Резолютивная часть решения, вынесенного третейским судом 8 мая 1914 г. гласила:

Суд нашел, что г<осподин> Измайлов не обследовал подробно и критически весь относящийся сюда разнородный и разноценный материал, не установил относительную вескость фактов и слухов и не разобрался в противоречиях и затруднениях <...>: 1) Чем подтверждается самый факт знакомства Помяловского и В. Крестовского? 2) Видел ли Благовещенский лично в рукописи хотя что-нибудь из той именно части романа «Брат и сестра», где должна была изображаться трущобная жизнь? — другими словами, подтверждается ли компетентным очевидцем, что Помяловский успел положить на бумагу эту часть своего замысла. 3) Приведенные в статье два письма 1902 г. <...> писаны по вызову г. Измайлова и представляют новый материал, но они не подверглись в статье внимательной и критической разработке <...> не отметил и <не> разобрал противоречий между первым и

¹ ИРЛИ. Ф. 129. Ед. хр. 14. Л. 1-2 об.

вторым письмом. Напр<имер>, свящ<енник> С. (учившийся в семинарии в конце 80-х годов) говорит, что тогда ходившие к Тихомировым семинаристы «все видели и читали целую главу “Чуха” — черновик Помяловского», — факт крупной важности, так как именно это заглавие носит сейчас одна глава «Петербургских трущоб». Но сам прот<оиерей> Тихомиров в письме своем ни слова не говорит об этой, якобы хранившейся у него главе и определенно заявляет, что Помяловский дома ничего не писал и после его смерти дома не осталось ни одного лоскутка рукописей¹.

Психологические и филологические соображения Измайлова также не были признаны судом «ни полными, ни убедительными». Филологические доказательства, основывающиеся на «превосходной фигуре Фомушки-блаженного с его безукоризненной славянской речью, обладание которой, понятное у Помяловского, совершенно, по мнению Измайлова, необъяснимо и невероятно у В. Крестовского», разбиваются, по заключению судей, о следующий факт: «весь свой большой церковнославянский рассказ о старце и враче Фомушка дословно повторяет вслед за Евграфом Степановичем, лицом из раннего рассказа Крестовского “Не первый и не последний”, относящегося к 1860 г. (Помяловский умер в конце 1863 г.)».

Суд имел в своем распоряжении подлинную записную книжку Крестовского с материалами к «Петербургским трущобам», первые записи которой с большой вероятностью следует отнести ко времени, когда Помяловский был еще жив, а содержание многих заметок использовано как раз в тех главах, которые приписываются Помяловскому. Но, признавая выходящим за пределы поставленной суду задачи подобный анализ этого важного документа и считая его делом специальной разработки, суд оставался в границах тех данных, какими располагал или мог располагать Измайлов. По первому вопросу суд признал в статье Измайлова «совершенную недостаточность оснований для сделанных в конце ее категорических выводов». По второму вопросу: «Признавая, что важность выставленного г<осподином> Измайловым обвинения требовала большой осторожности, которой г<осподин> Измайлов не проявил, Суд вместе с тем находит, что своей статьей г<осподин> Измайлов не преследовал никаких личных и неблагород-

¹ ИРЛИ. Ф. 129. Ед. хр. 11. Л. 1–8.

ных намерений и руководился чисто литературными интересами»¹. Решение третейского суда было опубликовано в крупных газетах², широким обнародованием этой истории были удовлетворены сын писателя и поддерживающие его.

Ситуация, в которой оказался Измайлов, была типичной для литературного быта начала XX в. К этому времени сложилась обширная практика третейского литературного суда, а при многих общественных организациях сложились постоянно действующие суды чести, призванные быть инструментом защиты литературной репутации и площадкой для установления исторической истины (в тех случаях, когда это требовалось). Само третейское разбирательство по делу Крестовского-Измайлова стало не просто мероприятием по защите чести покойного автора, но и явилось попыткой внести ясность в многолетний спор именно с историко-литературной точки зрения. Формат судебного процесса, когда выступления сторон были тщательно задокументированы, сделал его ценным источником информации для историков литературы последующих поколений: благодаря высказыванию Измайлова наследники Крестовского, наконец, дали возможно полный, систематизированный ряд доказательств несостоятельности слухов, привлекли ценные показания еще живых свидетелей, заставших процесс создания романа, пресекли на долгое время попытки спекуляции на теме плагиата³.

Появление фельетона «Быль, а не легенда» закономерно и симптоматично: Измайлов в силу специфики газетной работы тяготел к сенса-

¹ Там же.

² См., напр.: Новое время. 1914. 18 мая. № 13714. С. 4; перепечатано рядом ведущих изданий, в том числе газетами «Русское слово», «Русские ведомости».

³ И хотя резонанс дела о плагиате не охладил пыл некоторых сомневающихся (так, А. В. Амфитеатров откликнулся на решение третейского суда: «печать Крестовского ясно лежит на всем романе <...> печать эта наложена очень поверхностно, так сказать, облицовочно, и под нею иногда прозрачно сквозит подслы письма совсем другой манеры, гораздо более сильной, резкой и глубокой <...> нижний сильнее, и то и дело сквозь мишуру Крестовского сквозит какое-то таинственное, грубое, страшно правдивое тело... Молва говорит, что это — Помяловский» [Амфитеатров]), развернувшаяся против Измайлова кампания, по всей видимости, была причиной отмены публикации обширного исследования Тевельгильдина, уже подготовленного к печати.

ционности, не подкрепленной конкретными фактами. В погоне за оперативностью и мгновенным эффектом журналист порой не заботился о скрупулезности и глубине анализа рассматриваемого материала, стремясь вызвать эмоциональный отклик у читателя, и в этом отношении статья достигла цели. Фельетон, воскресивший забытое предание, взбудоражил литературное сообщество, вызвал ряд печатных откликов, привел к третейскому разбирательству. Измайлов в сложившейся ситуации повел себя достойно, осознавая всю меру ответственности, он предоставил суду все имеющиеся в его распоряжении материалы, не прибегая к каким-либо уловкам и обширным связям в литературных кругах. По-видимому, для критика это событие стало уроком, впредь он стал более осторожен в развитии сенсационных сюжетов и более не был замечен в подобного рода скандалах.¹

¹ Ранее такие скандальные темы, как литературное воровство или мистификация не раз были освещены критиком в его профессиональной деятельности журналиста и пародиста, см. об этом подробнее: [Александров]; [Александров, Александрова].

Список литературы

Источники

Амфитеатров А. В. Крестовский, Помяловский, Измайлов // Киевская мысль. 1914. 17 июня. № 164. С. 2.

Аякс (Измайлов А.). Литературная вечеринка // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1913. 5 ноября. № 13840. С. 4.

Б. п. Кто написал «Петербургские трущобы?» // Сын отечества. 1895а. 28 января. № 27. С. 2.

Б. п. Среди газет и журналов // Новое время. 1895б. 2 февр. № 6800.

Б. п. Еще о «Петербургских трущобах» // Петербургская газета. 1895с. 10 февраля. № 40. С. 1.

Б. п. Решение третейского суда по делу В. В. Крестовского и А. А. Измайлова // Новое время. 1914. 18 мая. № 13714. С. 4.

Берг Ф. К истории «Петербургских трущоб» // Новое время. 1895. 5 февраля. № 68003. С. 3.

В. П. (Лесков Н. С.). «Петербургские трущобы» // Петербургская газета. 1895. 8 февраля. № 38. С. 1–2.

Гри-ъ Ф. (Гридин Ф.). Литературный вор: (Из воспоминаний прошлого) // Московская газета. 1913. 4 ноября. № 281. С. 2.

Измайлов А. Литературное обозрение // Биржевые ведомости. 1898. 2 (14) октября. № 268. С. 2–3.

Измайлов А. Испорченный молебен // Русское слово. 1909а. 28 апреля. С. 4.

Измайлов А. Скандал на гоголевском празднике // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1909б. 29 апреля. С. 4.

Измайлов А. На отмени: (Итоги литературного года) // Новое слово. 1909с. № 12. С. 74.

Измайлов А. Воинствующее плебейство: (Жизнь и книги Н. Г. Помяловского): Очерк // Литературное и популярно-научное приложение «Нивы». 1911. Декабрь. С. 4. Стб. 610.

Измайлов А. Быль, а не легенда // Русское слово. 1913. 25 октября. № 246. С. 2.

Кауфман А. Е. О суде чести: Доклад Общему собранию Общества взаимопомощи литераторов и ученых // Вестник литературы: Орган Общества взаимопомощи литераторов и ученых. 1919. № 1/2. С. 4–6.

Маркузе И. К. Воспоминания о В. В. Крестовском // Исторический вестник. 1900. № 3. С. 979–1003.

Шевляков М. К истории «Петербургских трущоб»: (Письма в редакцию) // Новое время. 1895. 5 февраля. № 68003. С. 3.

Шубинский С. Крестовский ли написал «Петербургские трущобы» // Новое время. 1895. 4 февраля. № 68002. С. 2.

Исследования

Александров А. С. О плагиате в начале XX в. и пародии А. А. Измайлова «Гордик и его сыновья: (Не из Мицкевича)» // Русская литература. 2025. № 3. С. 64–86. <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2025-3-64-86>

Александров А. С., Александрова Э. К. Позитивисты vs. символисты: (К истории восприятия одного блоковского стихотворения) // Филологические науки: Научные доклады высшей школы. 2015. № 5. С. 33–41.

Викторович В. А. Всеволод Крестовский: Легенды и факты // Русская литература. 1990. № 2. С. 48–52.

Измайлов А. А. Переписка с современниками / сост., вступ. ст. А. С. Александрова; предисловия, подгот. текстов и примеч. А. С. Александрова, Э. К. Александровой, Н. Ю. Грякаловой. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. 728 с.

Орлов М. М. Язык Н. Г. Помяловского. Ростов н/Д.: [Б. и.], 1959. Ч. 2. 250 с.

Орлов М. М. Разыскания в области словарного состава сочинений Н. Г. Помяловского: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1974. 23 с.

Ямпольский И. Г. Комментарии // *Помяловский Н. Г.* Полн. собр. соч.: в 2 т. М.; Л.: Academia, 1935. Т. 2. С. 309–370.

Ямпольский И. Г. Н. Г. Помяловский: Личность и творчество. М.; Л.: Сов. писатель, 1968. 268 с.

References

Aleksandrov, A. S. “O plagiate v nachale XX v. i parodii A. A. Izmailova ‘Gordik i ego synov’ia: (Ne iz Mitskevicha).” [“On Plagiarism in the Early 20th Century and A. A. Izmailov’s Parody ‘Gordik and His Sons: (Not from Mickiewicz).’”] *Russkaia literatura*, no. 3, 2025, pp. 64–86. <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2025-3-64-86> (In Russ.)

Aleksandrov, A. S., and E. K. Aleksandrova. “Pozitivisty vs. simvolisty (K istorii vospriiatia odnogo blokovskogo stikhotvoreniia)” [“Positivists vs. Symbolists (On the History of the Perception of one Blok Poem)”]. *Filologicheskie nauki: Nauchnye doklady vysshei shkoly*, no. 5, 2015, pp. 33–41. (In Russ.)

Viktorovich, V. A. “Vsevolod Krestovskii: Legendy i fakty” [“Vsevolod Krestovsky: Legends and Facts”]. *Russkaia literatura*, no. 2, 1990, pp. 48–52. (In Russ.)

Izmailov, A. A. *Perepiska s sovremennikami* [Correspondence with Contemporaries], comp. and introd. article by A. S. Aleksandrov, preface, texts prep. and notes by A. S. Alexandrova, E. K. Alexandrova, and N. Yu. Gryakalova. St. Petersburg, Pushkin House Publ., 2017. 728 p. (In Russ.)

Orlov, M. M. *Iazyk N. G. Pomialovskogo* [N. G. Pomyalovsky’s Language], part 2. Rostov on Don, [S. n.], 1959. 250 p. (In Russ.)

Orlov, M. M. *Razyskaniia v oblasti slovarnogo sostava sochinenii N. G. Pomialovskogo* [Research in the Field of N. G. Pomyalovsky’s Works’ Vocabulary: DSc Thesis, Summary]. Leningrad, 1974. 23 p. (In Russ.)

Iampol’skii, I. G. “Kommentarii” [“Commentaries”]. Pomialovskii, N. G. *Polnoe sobranie sochinenii: v 2 t.* [Complete Works: in 2 vols.], vol. 2. Moscow, Leningrad, Academia Publ., 1935, pp. 309–370. (In Russ.)

Iampol’skii, I. G. *N. G. Pomialovskii: Lichnost’ i tvorchestvo* [N. G. Pomyalovsky: Personality and Creative Work]. Moscow, Leningrad, Sovetskii pisatel’ Publ., 1968. 268 p. (In Russ.)

© 2025. Ю. В. Шевчук

Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук,
г. Москва, Россия

Лирика А. Ахматовой конца 1910-х – начала 1920-х гг.: трагизм и героика

Аннотация: В статье анализируется лирика А. Ахматовой переходного периода конца 1910-х – начала 1920-х гг., когда поэт сознательно сосредоточивает свою мысль и поэтическое слово на размышлениях об истории и судьбе России. Новое чувство жизни воплощается в трагических и героических формах авторской эмоциональности. Катарсический эффект лирики переходного периода во многом связан с христианскими установками Ахматовой — ее обращением к молитве, библейской образности, соборности как состоянию коллективного переживания катастрофы. В произведениях усиливаются мотивы родного дома, памяти, нравственной вины, одиночества, страха, веры в чудо. Подробно анализируется цикл «Три стихотворения. 1919», стихотворения «Петроград, 1919», «Все расхищено, предано, продано...», «За озером луна остановилась...», «Причитание», «Лотова жена», «Многим», а также тематические циклы произведений, связанные с судьбами эмигрировавшего из России Б. Анрепа и казненного Н. Гумилева. Поэтику недоговоренности у Ахматовой сменяет поэтика намека на автобиографические обстоятельства трагедии. Погрузиться в страдания людей, поддержать их веру, напомнить о незыблемости личностных ценностей, оправдать жизнь — все это становится, по Ахматовой, миссией поэта нового времени.

Ключевые слова: А. Ахматова, гражданская лирика, трагизм, христианская героика, поэтика намека, автобиографические обстоятельства.

Информация об авторе: Юлия Вадимовна Шевчук, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3784-2100>

E-mail: julyshevchuk@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 12.08.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.10.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Шевчук Ю. В. Лирика А. Ахматовой конца 1910-х – начала 1920-х гг.: трагизм и героика // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 304–325. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-304-325>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 304–325. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 304–325. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Yuliya V. Shevchuk

A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

A. Akhmatova's Lyrics in the Late 1910s and Early 1920s: Tragedy and Heroics

Abstract: The article analyzes A. Akhmatova's lyrics of the late 1910s and early 1920s, when the poet deliberately focuses his thought and poetic word on reflections on the history and fate of Russia. A new sense of life is embodied in tragic and heroic forms of the author's emotionality. The cathartic effect of the lyrics of the transition period is largely due to Akhmatova's Christian attitudes — her appeal to prayer, biblical imagery, and collegiality as a state of collective experience of disaster. In her works, the motifs of the native home, memory, moral guilt, loneliness, fear, and faith in a miracle are strengthened. The article provides a comprehensive analysis of the cycle *Three Poems. 1919*, poems "Petrograd, 1919," "Everything is Plundered, Betrayed, Sold...," "The Moon Stopped behind the Lake...," "Lament," "Lot's Wife," "To Many," as well as thematic cycles of works related to the fate of B. Anrep, who emigrated from Russia, and executed N. Gumilyov. Akhmatova's poetics of reticence is replaced by a poetics of a hint of tragic autobiographical circumstances. Immersing in the suffering of people, supporting their faith, reminding them of the inviolability of personal values, and justifying life — all this becomes, according to Akhmatova, the mission of the poet of modern times.

Keywords: A. Akhmatova, civic lyrics, tragedy, Christian heroism, poetics of a hint, autobiographical circumstances.

Information about the author: Yuliya V. Shevchuk, DSc in Philology, Director of Research, Deputy Director for Scientific Work, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3784-2100>

E-mail: julyshevchuk@yandex.ru

Received: August 12, 2025

Approved after reviewing: October 23, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Shevchuk, Yu. V. "A. Akhmatova's Lyrics in the Late 1910s and Early 1920s: Tragedy and Heroics." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 304–325. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-304-325>

Войны и революции в России начала XX в. сыграли решающую роль в формировании нового чувства жизни у русской интеллигенции. Трагические события истории, несомненно, приблизили и скоропостижный конец культурной эпохи Серебряного века. Осенью 1916 г. в Петроградском университете выступает с докладом о поэтах, преодолевших символизм, В. М. Жирмунский — будущий классик отечественной филологической науки. Он говорит о том, что русской поэзии подобает «стать более широкой — не индивидуалистической, литературной и городской, а общенародной, национальной» [Жирмунский: 56]. Современникам запомнился возглас одобрения Анны Ахматовой, прозвучавший сразу по окончании выступления: «Он прав!» [Эткинд: 7]. В данной статье анализируется ахматовская лирика переходного периода, когда поэт сознательно оставляет жанр «любовного дневника», в котором, по ее же словам, она не знала соперников. Теперь главные темы поэта и идейно-эмоциональная направленность лирики — размышления о времени, трагическое переживание истории («моего века», «моего поколения», «моей эпохи») и христианская героика. В произведениях Ахматовой усиливаются мотивы родного дома, памяти, нравственной вины, страха.

В 1916 г. О. Мандельштам в одной из рецензий отметил: «<...> для Ахматовой настала иная пора. Я бы сказал, после женщины настал черед жены. Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России» [Мандельштам: 260]. Горькие предчувствия и порыв к самопожертвованию у Ахматовой претворяются в устойчивое героико-трагическое миропонимание только в 1917 г., после февральских и октябрьских событий. Поэт осознает необратимость случившегося, невозможность «все исправить», вернуть обратно на свои места. Характерным признаком нового чувства жизни в ее лирике является острое переживание *неуверенности в завтрашнем дне*

(«Я в этой церкви слушала Канон...», 1917; «Я спросила у кукушки...», 1919; «Здравствуй, Питер! Плохо, старый...», 1922), *одиночества* («И вот одна осталась я...», 1917; «Я гибель наклкала милым...», 1921; «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду...», 1922), *призрачности прошлого* («Призрак», 1919), *ужаса* настоящего момента («Пятым действием драмы...», 1921; «За озером луна остановилась...», 1922; «Памяти Сергея Есенина», 1925) и *веры* в «никому не известное» чудо («Все расхищено, предано, продано...», 1921).

Масштаб исторической трагедии, невольным свидетелем которой стала Ахматова и ее поколение, конечно, начинает проясняться не сразу. Предчувствия и размышления поэта звучат в отдельных произведениях, и только спустя годы некоторые из них объединяются в циклы. В одном из машинописных собраний стихотворений (РГА-ЛИ)¹ цикл «Три стихотворения. 1919» включает в себя «Чем хуже этот век предшествующих? Разве...», «Призрак» и «Я спросила у кукушки...», в нем Ахматовой (до 1936 г.) подводятся определенные итоги восприятия исторического времени. В первом стихотворении цикла поэт отмечает, что трагизм неизбежен для эпохи, на которую выпадает момент расплаты за накопившиеся в обществе проблемы. Автор понимает, что в начале XX в. мера страдания уже превышена.

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог [Ахматова 1: 330].

Во второй части время как бы «заземляется», от исторического цикла (век) осуществляется переход к природному ритму (сутки), но при этом расширяется масштаб человеческого горя в современной трагедии. Образ ночи, наступающей на нашей планете постепенно, нагнетает мысль о неизбежности мировой социально-исторической катастрофы. Восток уже погрузился во тьму — скоро «земное солнце» отвернется и от Запада:

¹ Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).
Ф. 13. Оп. 4. Ед. хр. 2.

Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят [Ахматова 1: 330].

В поздние годы (1961 и 1958) поэт восстанавливает два текста, в которых также реализован прием лирического перемещения с востока на запад («В промежутки между грозами...», 1910-е гг.; «Как вышедший из западных ворот...», 1910-е гг.). Возможно, теперь Ахматова, расширяя свои молодые предчувствия, вкладывала в них новые смыслы, связанные с размышлениями о метафизике истории. Колесница Святого пророка Ильи символизирует вечное движение по кругу событий мировой истории — периоды гроз сменяются недолгими затишьями («В промежутки между грозами, / Мрачной яркостью богатые, / Над притихшими березами / Облака стоят крылатые. / Чуть гроза на запад спрячется / И настанет тишь чудесная, / А с востока снова катится / Колесница поднебесная» [Ахматова 1: 345]). Человек, не ограниченный рациональным видением ситуации, понимает, что жизнью всех людей на земле управляет высшая сила, но на земле уловить ее знаки бывает непросто («Как вышедший из западных ворот / Родного города и землю обошедший / К восточным воротам смущенно подойдет / И думает: “Где дух, меня так мудро ведший?” — / Так я... /» [Ахматова 1: 346]). Таким образом, поэт сближает понятия истории и судьбы.

Метафору бега времени Ахматова разворачивает в стихотворении «Призрак». До революции «бессчетное» количество раз она встречала в Царском Селе императора Николая II [Ахматова 1: 855]. Праздничное, маскарадное, «раззолоченное» пространство прошлого видится с точки зрения настоящего момента 1919 г., из которого уже можно понять, что блеск дореволюционной жизни был иллюзией, скрывающей силу нарастающей катастрофы. Царские кони несутся вперед и увлекают государя, не способного справиться с надвигающейся стихией («И странно царь глядит вокруг / Пустыми светлыми глазами» [Ахматова 1: 331]). Значимые детали образного ряда отсылают читателя к проблематике «Медного всадника» Пушкина. Ахматова осознает случившееся в России как неотвратимую катастрофу, постепенно приближающуюся к своему трагическому разрешению.

И, ускоряя ровный бег,
Как бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони [Ахматова 1: 331].

В третьем стихотворении «Я спросила у кукушки...» поэт пишет о времени от лица лирического «я». Для человека, существование которого совпало с эпохой катастроф и великих потрясений, настоящий момент не обещает личного счастья и продолжительной жизни. Молчание кукушки в ответ на вопрос героини, по народному поверью, означает близкую смерть женщины.

Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу...
Сосен дрогнули верхушки,
Желтый луч упал в траву.
Но ни звука в чаще свежей...
Я иду домой,
И прохладный ветер нежит
Лоб горячий мой [Ахматова 1: 332].

В цикле «Три стихотворения. 1919» поэт совмещает две точки зрения на события настоящего — позицию наблюдателя, способного отстраниться от происходящего здесь и сейчас, и взгляд человека, находящегося внутри сложившейся исторической ситуации. Сочетание этих ракурсов станет со временем ведущим принципом организации автором лирических произведений, посвященных теме истории. Например, в стихотворениях, написанных в 1921 г., сразу после смерти А. Блока и незадолго до казни Н. Гумилева, лирическая героиня то испытывает страх и оплакивает убиенных («Страх, во тьме перебирая вещи...», «Не бывать тебе в живых...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Пятым действием драмы...», «Бежецк», «В том доме было очень страшно жить...»), то благодаря вере в Бога и творчеству обретает особое духовное зрение и отстраняется от трагического момента настоящего («Все расхищено, предано, продано...», «Не чудо ли, что знали мы его...», «А Смоленская нынче именинница...», «Все души милых на высоких звездах...»).

Одним из первых стихотворений, в которых одновременно звучит трагизм и героика, является «Петроград, 1919» (1920). Автор развивает в нем мотив «кровавого» круга, «жестокой истомы», одолевающей отказавшихся от эмиграции сограждан. Дом стал тюрьмой для тех, кто не оставил родной город, сохранил «для себя его дворцы, огонь и воду» [Ахматова 1: 348]. Люди, оставшиеся один на один со смертью, открывают в себе «священное» чувство Родины. В стихотворении возникает лирическое «мы» (см.: «Думали: нищие мы, нету у нас ничего...», 1915), людей объединяет общая беда и ответственность.

Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,

За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду [Ахматова 1: 348].

Психологической приметой предельно напряженного состояния людей является потеря памяти как физическая реакция на страдание («И мы забыли навсегда, / Заключены в столице дикой, / Озера, степи, города / И зори родины великой»). Ахматова пишет об одолевающем современников ужасе, но в последней строфе страх неожиданно перекрывается верой в непрерывную связь поколений, которая осуществляется религией и культурой. Голос хора звучит как соборная молитва:

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет [Ахматова 1: 348].

Ахматова считала, что «писание лирических стихов, в сущности, занятие неприличное», поэт «предстает перед публикой одетый и раздетый одновременно», «служит сам себе материалом искусства» [Герштейн: 458]. В качестве главной лирической темы, вместившей в себя переживания поэта за судьбу страны в конце 1910-х гг., выступают *отношения мужчины и женщины*.

Поэтическое обращение к Б. Анрепу, навсегда покинувшему Россию в марте 1917 г., имело особый статус в творчестве Ахматовой. В посвященных ему произведениях глубокое интимное чувство героини постепенно перерастает в порыв жертвенного патриотизма, лирическое «я» одерживает победу в нравственном поединке с «отступником» («Высокомерьем дух твой помрачен...», 1917; «А ты теперь тяжелый и унылый...», 1917; «Ты — отступник: за остров зеленый...», 1917; «Когда в тоске самоубийства...», 1917; «Нам встречи нет. Мы в разных странах...», 1921). Стихотворения, посвященные проблеме эмиграции и веры в истинность русского пути, отражают глубокие личные переживания Ахматовой по поводу возможного отъезда из страны. В них лирическое «я» ведет активную, контратакующую борьбу против позиции своего оппонента: дискредитируются мотивы оценки противника, ставятся под сомнение ценности, из которых он исходил, и наконец — обвинение бросается в адрес самого оппонента.

Главным вопросом для героини становится вера в Бога («Ты говоришь, что вера наша — сон / И марево — столица эта» [Ахматова 1: 288]). «Высокомерным» герой назван потому, что выбрал в качестве убежища английскую цивилизацию, в русском сознании связанную с культом разума («Высокомерьем дух твой помрачен...»).

Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Все искупить и все исправить можно [Ахматова 1: 288].

Цель существования человека, даже целого народа, по мнению героини, заключается в познании «света», в исполнении Божьего Замысла, что умом совершить невозможно, однако, заглянув в свое сердце, можно почувствовать приближение судьбы. «Нищая грешница» верит в то, что личный и общий грех можно искупить, она не воспринимает катастрофу в настоящем как конец пути нации, напротив, именно испытания, по ее мнению, и освятят русскую историю, принесут желанное очищение и свет. Внешний достаток и комфорт только подталкивают героя к смерти, от которой его пока отвращает инстинкт самосохранения. Таким образом, отсрочка смерти становится самой страшной казнью для безбожника.

Вокруг тебя — и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжело болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься [Ахматова 1: 288].

В последующих стихотворениях голос героя слабеет, так же как и его воля («Все чаще ветер западный приносит / Твои упреки и твои мольбы»; «Для чего ж ты приходишь и стонешь / Под высоким окошком моим?» [Ахматова 1: 309, 310]). Ахматова разворачивает сюжет беспочвенного существования и деградации личности эмигранта, который, отрекаясь от «славы и мечты», губит свой внутренний мир, перестает различать сон и явь, а также изводит плоть вином и «нечистыми» ночами («А ты теперь тяжелый и унылый...»). Со слов лирической героини становится ясно, что он зовет ее вернуться, напоминает о любви и просит молить за него Господа. Она остается милостивой к тому, чей взгляд мучителен и беспокоен («Но зелены мучительные очи, — / Покоя, видно, не нашел в вине» [Ахматова 1: 311, 309]), признает «непоправимость» своей любви, однако считает необходимым отказаться от духовной близости с возлюбленным, возможной в пространстве памяти:

Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей [Ахматова 1: 309].

Личная свобода героя, ради которой он оставляет Родину, сводится лирическим «я» к комфорту. Россия противопоставляется Западу как страна, обладающая не материальными ценностями, а благодатью, не аристократической («королевской»), а народной культурой («Ты — отступник: за остров зеленый...»).

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома? [Ахматова 1: 310].

Отступничество «кощунствующего» героя и его устремленность к «пышному» комфорту, по Ахматовой, заслуживает наказания бессмертием Агасфера («Знаешь сам, ты и в море не тонешь, / И в смертельном бою невредим»; «И сердце только скорой смерти просит, / Кляня медлительность судьбы» [Ахматова 1: 310, 309]). В легенде о грешнике, пораженном таинственным проклятием и пугающем одним своим видом как привидение и дурное знамение, присутствует мотив неожиданной и странной встречи. По словам С. Аверинцева, Агасфер «необходимо выступает (по самой структуре мотива) то жутким и опасным, то готовым на помощь и добрым» [Аверинцев: 34]. В стихотворениях «Когда в тоске самоубийства...» и «Нам встречи нет. Мы в разных станах...» героиня отвечает на «голос» призрака, желающего ей помочь.

В связи с темой эмиграции интерпретируется стихотворение Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...». В качестве канонического исследователи приводят два текста, один состоит из трех, другой — из пяти стрóf. Возникает проблема статуса текста произведения. Н. Королева предполагает, что первая и вторая стрóфы были написаны в начале 1918 г., накануне заключения Брестского мира, когда немцы наступали, приближаясь к Петрограду [Ахматова 1: 846]. По мнению Н. Тропкиной, воспроизводимый сегодня пятистрóфный вариант — контаминация текстов, составленная из двух вариантов, каждый из которых имеет законченный смысл [Тропкина: 51]. Итак, можно говорить о слиянии в произведении мотивов общей виновности и личной ответственности за происходящее.

В первых двух стрóфах («Когда в тоске самоубийства...») значимым является образ грехопадения города, который восходит к Книге Пророка Исаяи: «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы» (Ис. 1: 21).

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее... [Ахматова 1: 316].

В варианте «Мне голос был. Он звал утешно...» (3–5 строфы) Ахматова пишет о ситуации личного выбора героини, живущей с чувством причастности к национальной трагедии и «черного стыда» в сердце. Зовущий «голос» воспринимается ею как искушение. Исследователь считает, что возникает ситуация выбора пути в момент духовного кризиса художника (в контексте западной литературы она соотносима с «Божественной комедией» Данте, а в русской — с «Пророком» Пушкина). Отмечается, что «пушкинский мотив призыва поэта к высокой миссии в стихотворении Ахматовой оборачивается мотивом искушения, соблазна отказа от жертвенного пути поэта», голос звучит сатанинским искушением [Тропкина: 53–54].

Необходимо подчеркнуть, что голос с небес прозвучит и в других ахматовских стихотворениях. С темой эмиграции связаны образы праведника Лота из Содома и его жены, а также Данте, изгнанного из Флоренции («Лотова жена», 1924; «Данте», 1936). В 1920-е гг. автор однозначно становится на сторону женщины, не сумевшей оставить родной дом. Понимание драмы того, кто ушел и не оглянулся, придет к Ахматовой позже («Этот, уходя, не оглянулся, / Этому я эту песнь пою. / <...> Но босой, в рубахе покаянной, / Со свечой зажженной не пошел / По своей Флоренции желанной, / Вероломной, низкой, долгожданной...» [Ахматова 1: 431]). В произведении «Мне голос был. Он звал утешно...» величие жеста («руками я замкнула слух») выдает решительную позицию героини, которая не собирается оставлять на произвол судьбы родной город:

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух [Ахматова 1: 316].

Отсутствие эпического плана в стихотворении «Нам встречи нет. Мы в разных станах...» позволяет героине прямо назвать своего собеседника «наглецом», а любовь объявить «счастливейшей» в ее нераздельности и принадлежности одной только женщине. Таким образом, диалогическая форма переживания перестает быть актуальной для трагической героини Ахматовой, твердо занявшей позицию *христианского героизма* [См. об этом: Булгаков: 1990].

И ни молящие улыбки,
Ни клятвы дикие твои,
Ни призрак млеющий и зыбкий
Моей счастливейшей любви
Не обольстят... [Ахматова 1: 350].

В 1920-е гг. Ахматова обращается к глубоко личным ценностям человеческой души, которые могли бы стать твердой моральной опорой для современников, столкнувшихся с ситуацией тотального трагизма. Художественное воплощение в ее творчестве получает религиозное чувство. Идея «самостоянья» человека как залог «величия» его личности перерастает в лирике Ахматовой в переживание национального подъема и подвижнического героизма.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

<...>

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам [Ахматова 1: 351].

В свое время эмигрантской и советской критикой стихотворение «Все расхищено, предано, продано...» (1921) было ошибочно воспринято как прославление революции: настолько обязательной казалась современникам поэта социально-политическая направленность литературного произведения. Вообще, прямая оценка действий тех или иных исторических сил звучит в лирике Ахматовой довольно редко («Пива светлого наварено...», 1921; «Не с теми я, кто бросил землю...», 1922; «Здравствуй, Питер! Плохо, старый...», 1922). Поэт ориентируется на идею безусловной ценности *родного дома* и *общего переживания беды*. Эмигранты осуждаются за то, что «бросили землю на растерзание врагам» [Ахматова 1: 389], комиссары приняли участие в разрушении фундаментальных принципов человеческого общежития («Пора-

ботали пожары, / Почудили коммунары, / Что ни дом — в болото щель» [Ахматова 1: 391]), идиллия народной жизни разрушается авторским неприятием «умной» позиции невмешательства простых людей в происходящее («Пива светлого наварено, / На столе дымится гусь... / Поминать царя да барина / Станет праздничная Русь <...> И несутся речи шумные / От гульбы да от вина... / Порешили люди умные: / — Наше дело — сторона» [Ахматова 1: 378]). Сферой реализации трагических настроений автора остается лирическая поэзия. Выходя за границу любовной темы, Ахматова касается проблем «домашнего пространства» в широком понимании, пишет о стремлении русского человека к «непорочности», высокой духовности и одновременно о стихийности, разрушительной импульсивности его натуры.

Стихотворение «Чугунная ограда...» (1921), видимо, является откликом на известие о гибели Гумилева, которого после 1914 г. Ахматова представляла в своем творчестве в образе земного и небесного «воина», с которым героиню связала сама судьба. Сюжет выстраивается противоположно по отношению к действительным событиям биографии поэта: погребальный обряд совершают над женщиной и монолог ведется голосом умершей. На первый взгляд смерть становится разрешением любовного поединка, и в доме воцаряется «покой», а возлюбленный, замученный женской ревностью, получает свободу. Сквозь метафорическое описание положения покойника во гроб («сосновая кровать») просматривается другой ритуал — свадебный (постель застилается к брачной ночи). Состояние смерти лирического «я» совмещается с рождением нового отношения к мужу. Настроение лирической героини, пережившей желание буквальной близости с возлюбленным, обиду и чувство вины перед ним, в последних словах смешавшей иронию с покаянием, отличается особой напряженностью. Стихотворение выдает желание автора взглянуть на произошедшее в жизни с качественно новой высоты, осознать настоящее с позиции человека, «очистившего» любовь трагедией. В жизни Ахматова называла себя вдовой Гумилева и содействовала сохранению и популяризации его поэтического наследия.

Теперь твой слух не ранит
Неистовая речь,
Теперь никто не станет
Свечу до утра жечь.

Добились мы покою
И непорочных дней...
Ты плачешь — я не стою
Одной слезы твоей [Ахматова 1: 358].

Дом в стихотворении «Страх, во тьме перебирая вещи...», созданном в дни тревоги за судьбу Гумилева (25 или 27–28 августа 1921 г.), является тем пространством, в котором страх буквально овеществляется. Лирическую героиню охватывает ужас неизвестности («Что там, крысы, призрак или вор?» [Ахматова 1: 357]), привычная обстановка мифологизируется («Страх, во тьме перебирая вещи, / Лунный луч наводит на топор»; «В душной кухне плещется водою, / Половицам шатким счет ведет»). В 1920-е гг. стихотворение публикуется без 4-й строфы, которая вводила в произведение образ публичной казни и выдавала автобиографическую природу чувств героини. Выходом из состояния страха, разрушающего человека изнутри, лирическому «я» представляется насильственная смерть. Один вариант — быть расстрелянной:

Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок <...> [Ахматова 1: 357].

Другой возможный финал жизни — быть позорно казненной топором, но при этом сохранить свое человеческое достоинство:

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашенный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь [Ахматова 1: 357].

Дурное предчувствие, тревогу женщина пытается преодолеть молитвой («Боже, мир душе моей верни!»). Страх изменяет взгляд человека даже на самые привычные вещи, так что они видятся иначе: прохладная от бессонницы простыня оборачивается саваном («Запах тленья обморочно сладкий / Веет от прохладной простыни»). До предела сгустив ситуацию ужаса и оцепенения, Ахматова все же находит силу, способную противостоять страху и смерти. Распятие («прижи-

маю к сердцу крестик гладкий»), молитва, простыня-саван являются знаками присутствия в стихотворении образов и мотивов Евангелия. Через крест (символ страдания и смерти праведника) и простыню («лежащие пелены») героиня соприкасается (устанавливается почти физический контакт) с ситуацией Христова Распятия и последующего за ним Воскрешения (см. описание пустого гроба: Мф. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ин. 20).

Мотив предчувствия «страшной беды» и в то же время невозможности осмыслить случившееся автор развивает в стихотворении «За озером луна остановилась...» (1922). Исследователи выдвигают гипотезы о том, что произведение является «поэтической парафразой» главы «В темноте» из романа Достоевского «Братья Карамазовы» [Лосев], обнаруживают в нем «чеховские» мотивы, соотнося лирический сюжет с пьесами и театральными постановками «Чайки», «Вишневого сада», «Иванова» [Давтян]. Столь конкретные предположения филологов, вероятно, не лишены основания. Лирическая героиня и ее спутник действительно воображают нечто ужасное, и их представления о страшном соответствуют тем, которые существовали в литературе XIX в. Страхи Достоевского и Чехова еще не кажутся им откровенно наивными, слишком частными и неубедительными на фоне происходящего в реальности, однако герои уже начинают понимать ограниченность собственного взгляда на мир. Луна представляется им «отворенным окном» в «притихший, ярко освещенный дом, где что-то нехорошее случилось» [Ахматова 1: 399]. Почувствовав «страшную беду», они не могут осмыслить трагизм настоящего момента: «С земли не видно». Обратная сторона луны остается загадкой так же, как долгое время не поддается расшифровке глубинная суть исторических явлений (см. стихотворение «Предыстория», 1940–1943, в котором «Россия Достоевского» соотнесена с образом луны, «почти на четверть скрытой колокольней» [Ахматова 1: 485]).

Хозяина ли мертвым привезли,
Хозяйка ли с любовником сбежала,
Иль маленькая девочка пропала
И башмачок у заводи нашли...

С земли не видно. Страшную беду
Почувствовав, мы сразу замолчали.
Заупокойно филины кричали,
И душный ветер буйствовал в саду [Ахматова 1: 399].

Попытка разобраться в происходящем, передать через жест всматривания волевой порыв лирического «я», мужество женщины «заглянуть правде в глаза» заметна во многих стихотворениях Ахматовой начала 1920-х гг., поэтому одной из существенных деталей в них становится *взгляд героини* или ее «двойника»-отражения («Как лунные глаза светлы, и напряженно / Далеко видящий остановился взор» [Ахматова 1: 359]). «Единственный взгляд» выдает ценностную установку поэта, связанную с лирическим освещением проблемы эмиграции, в стихотворении «Лотова жена» (1924).

В 1962 г. Ахматова отметила особо: «“Клеопатра”, “Данте”, “Мелхола”, “Дидона” — сильные портреты. Их мало, они появляются редко. Но они очень выразительны. Исполнены каждый по-своему. Горчайшие» [Ахматова 5: 192]. Стихотворения «Рахиль» и «Лотова жена» в сборнике «Из шести книг» Ахматова объединила в цикл «Из Книги Бытия», в книге «Бег времени» — в «Библейские стихи» (третье в цикле — «Мелхола»). Некоторые литературоведы склоняются к тому, что стихи посвящены теме любви. В частности, А. Найман пишет: «И не прообразы любви небесной <...> проясняет поэт через образцы любви в этом мире, а как раз психологические, чувственные, «всем понятные» стороны любви плотской, пусть и самой возвышенной» [Найман: 53]. Р. Тименчик и Л. Кихней считают, что со знанием об адресате открываются библейские аллюзии — исследователи полагают, что им был А. Лурье [Тименчик, Кихней: 66–70].

Выражение отношения героини к семейным ценностям позволяет Ахматовой создать лирическую эмоциональность социально-исторического конфликта. Все «сильные портреты» так или иначе варьируют тему судьбы отдельного человека в трагических обстоятельствах. Женщина сталкивается с Волей, Роком, и в этом поединке торжествует право личности на круг «домашних» ценностей, единственных и неповторимых человеческих привязанностей. Поэт заставляет нас по-новому прочитать Святое Писание, увидеть в нем полноту человеческих переживаний.

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд [Ахматова 1: 402].

В «Лотовой жене» звучит не только ответ русской эмиграции, но и понимание Ахматовой особенностей женской психологии. Поведение жены противоположно тому, как ведет себя праведник Лот («И праведник шел за посланником Бога, / Огромный и светлый, по черной горе»). Муж, послушно покидающий родной очаг, является белым пятном на фоне черной горы: время и грехи окружающих людей не запятнали его, ему чужды человеческие слабости. Образ праведника задает точку зрения на происходящее «извне», она оправдана Божьей волей, но недоступна женщине, которая буквально приросла душой к своему прошлому. Жест оглядки в ахматовском творчестве означает «память-верность», невозможность оторваться от земных привязанностей и переживаний, от дорогого сердцу пространства и времени (ср. «Кое-как удалось разлучиться...», 1921; «Все ушли, и никто не вернулся...», 1930-е гг.).

Лирическая героиня понимает, что чудо воскрешения былого не произойдет и следует научиться жить снова, сознательно захлопнув дверь в прошлое («Заплаканная осень, как вдова...», 1921; «Пятым действием драмы...», 1921; «Бежецк», 1921). После трагической гибели Гумилева Ахматова, понимающая, в какой опасности оказался их сын, все чаще обращается к образам распятого Христа и страдающей Богородицы. Следы библейского сюжета обнаруживаются в последних строфах произведений «Страх, во тьме перебирая вещи...», «Кое-как удалось разлучиться...» («Как подарок, приму я разлуку / И забвение, как благодать. / Но, скажи мне, на крестную муку / Ты другую посмеешь послать?») [Ахматова 1: 361] и в «Предсказании» («Туго согнутой веткой терновою / Мой венец на тебе заблестит. / Ничего, что росую багровою / Он изнеженный лоб освежит» [Ахматова 1: 386]). Образ матери, которой предстоит принести в жертву собственного сына, присутствует в финале эсхатологического стихотворения «Причитание» (1922). Колокол «заговорил» не «набатным, грозным голосом», а «прощаясь навсегда».

И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим — в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна — в Кашин, уж не княжити,
Лен колючий теребить.
Провожает Богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой оброненный
У Господнего крыльца [Ахматова 1: 387].

Примечательно, что в начале 1940-х гг. в Ташкенте Ахматова начала писать киносценарий со странной фабулой, в духе психологического детектива. В основе незаконченного произведения «О летчиках, или Слепая мать» [Ахматова 3: 294–304] лежит сюжет о возвращении бойца с фронта. Под видом летчика-победителя является человек, убивший настоящего героя, присвоивший его документы, биографию, славу. Жена делает вид, что узнала мужа, но слепая мать категорически не признает чужого. Одна из авторских ремарок передает масштаб славы мнимого героя: «Вокруг все гремит его славой: город переименован в его честь. Выходят книги о нем, ему посвящена симфония» [Ахматова 3: 295]. Все верят (или притворяются, что верят), только мать обмануть невозможно, она, по глубокому убеждению поэта, даже слепая, не может не узнать родного сына, внутреннее зрение помогает ей безошибочно различать героев истинных и мнимых. Тем же внутренним чувством мать угадывает опасность, предчувствует беду.

В начале 1920-х гг. приходит осознание того, что дом разрушен («мой навсегда опустошенный дом» [Ахматова 1: 390]) и погибли те, кого она любила («Я гибель накликала милым, / И гибли один за другим. / О, горе мне! Эти могилы / Предсказаны словом моим» [Ахматова 1: 369]). Судьба распорядилась так, что встреча с близкими теперь возможна только после смерти («Заболеть бы как следует, в жгучем бреду / Повстречаться со всеми опять <...> Даже мертвые нынче согласны прийти, / И изгнанники в доме моем. / Ты ребенка за ручку ко мне приведи, / Так давно я скучаю о нем» [Ахматова 1: 388]). И тогда поэт рас-

творяется в переживании «многих», именно с ними устанавливается связь, которая крепче брачных уз и дружеских привязанностей. В сущности, передать голос хора, погрузиться в страдания людей, уязвленных веком в самых сокровенных, интимных чувствах, и становится, по Ахматовой, миссией поэта нового времени, его человеческой трагедией проживания чужой жизни как своей собственной («Многим», 1922).

Я — отраженье вашего лица.

<...>

И говорят — нельзя теснее слиться,
Нельзя непоправимее любить...

Как хочет тень от тела отделиться,
Как хочет плоть с душою разлучиться,
Так я хочу теперь — забытой быть [Ахматова 1: 390].

В «Новогодней балладе» (1922) о судьбе художника сообщает взгляд и голос мертвого друга («А друг, поглядевши в лицо мое / И вспомнив Бог весть о чем, / Воскликнул: “А я за песни ее, / В которых мы все живем!”» [Ахматова 1: 396]). Ахматова считала, что поэту предстоит сыграть в жизни людей роль «великого утешителя в море горя» [Чуковская: 344]. Смысл искусства она находила в неприменном оправдании жизни, напоминании людям о незыблемости личностных ценностей. В сонете «Художнику» (1924) героиня сама выступает в роли зрителя, возрожденного к жизни и вдохновленного на творчество картиной мастера:

Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведет меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы.

Войду ли я под свод преображенный,
Твоей рукою в небо превращенный,
Чтоб остудился мой постылый жар?..

Там стану я блаженною навеки
И, раскаленные смежая веки,
Там снова обрету я слезный дар [Ахматова 1: 404].

В конце 1920-х гг. Ахматова пишет о том, что истинный творец сквозь «невозвратимое» прошлое и трагедию настоящего должен разглядеть «дикую свежесть и силу» будущего («Тот город, мной любимый с детства...», 1929).

Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал...
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной [Ахматова 1: 417].

Установка поэта на вечное обновление переживания, думается, и помогла Ахматовой к середине 1930-х гг. выйти из состояния молчания, найти слова, чтобы написать о трагической судьбе сына («Реквием») и о той эпохе «неистового цветения» культуры Серебряного века, которую она пережила («Поэма без Героя»).

Итак, трагическое мировосприятие поэта с установкой на христианскую героику конца 1910-х – начала 1920-х гг. проясняет и упорядочивает систему образов и мотивов ранней ахматовской поэзии, развивавшей тему предчувствий беды, смерти, разлуки, неизбежности самопожертвования. На смену приему ситуативной недоговоренности, интуитивного переживания приходит понимание исторического перелома и необходимости личностного выбора. Поэтику недоговоренности у Ахматовой сменяет поэтика (разумеется, не внезапно возникшая) намек на автобиографические обстоятельства, сопряженные с острой исторической ситуацией (пребывание в революционном Петрограде, биография Гумилева, отъезд Анрепа и проч.).

Ахматовский трагизм психологичен, а ее лиризм можно назвать пафосным: в нем заложена такая сила утверждения нравственных ценностей, какая чаще обнаруживается не в лирике, а в драме или эпосе. Поэт создает «двойную» точку зрения на время, посылающее великие страдания в настоящем ради славы и бессмертия в будущем. Судьба возвышает героиню, отстаивающую непреходящую ценность внутрен-

него мира человека, его право на жизнь и творчество. Сам факт сохранения духовных основ личности (памяти, веры, любви) в катастрофических обстоятельствах истории расценивается поэтом как подвиг. Трагическое, таким образом, дает возможность проявиться героике человеческого духа. В дальнейшем Ахматова создаст образ христианки, героини-подвижницы, сумевшей много раз возродиться из пепла, имеющей мужество жить в «это» время и в «этой» стране.

Список литературы

Источники

- Ахматова А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Эллис Лак, 1998–2005.
- Булгаков С. Героизм и подвижничество // Вехи: сб. ст. о русской интеллигенции. 1909–1910. М.: Международная ассоциация деятелей культуры «Новое время» и журнал «Горизонт», 1990. С. 23–69.
- Герштейн Э. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. 528 с.
- Мандельштам О. Э. О современной поэзии (К выходу «Альманаха Муз») // Мандельштам О. Э. Соч.: в 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 258–260.
- Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой: Из книги «Конец первой половины XX века». М.: Худож. лит., 1989. 302 с.
- Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. 1938–1941. М.: Согласие, 1997. Т. 1. 544 с.

Исследования

- Аверинцев С. С. Агасфер // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 34.
- Давтян Л. А. Мотивы чеховской драматургии в стихотворении А. А. Ахматовой «За озером луна остановилась...» // Чеховиана. Чехов и «серебряный век». М.: Наука, 1996. С. 133–138.
- Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Поэзия Александра Блока. Преодолевшие символизм. М.: Автограф, 1998. С. 25–56.
- Кихней Л. Г. Поэзия Анны Ахматовой: Тайны ремесла. М.: Диалог МГУ, 1997. 148 с.
- Лосев Л. «Страшный пейзаж»: маргиналии к теме Ахматова / Достоевский // Звезда. 1992. № 8. С. 148–156.
- Тименчик Р. О «библейской» тайнописи у Ахматовой // Звезда. 1995. № 10. С. 201–207.
- Тропкина Н. Е. «Чужое слово» в стихотворении А. Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно...» // Гумилевские чтения. СПб.: Изд-во С.-Петербург. гуманитар. ун-та профсоюзов, 1996. С. 51–58.
- Эткинд Е. Г. Память и верность (Вместо предисловия) // Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л.: Наука, 1973. С. 3–20.

References

Averintsev, S. S. “Agasfer” [“Agasphere”]. *Mify narodov mira. Entsiklopediia: v 2 t. [Myths of the Peoples of the World. Encyclopedia: in 2 vols.]*, vol. 1. Moscow, Sovetskaia entsiklopediia Publ., 1980, p. 34. (In Russ.)

Davtian, L. A. “Motivy chekhovskoi dramaturgii v stikhotvorenii A. A. Akhmatovoi ‘Za ozerom luna ostanovilas’...” [“The Motifs from Chekhov’s Dramaturgy in A. A. Akhmatova’s Poem ‘Behind the Lake, the Moon Stopped...’”] *Chekhoviana. Chekhov i “serebrianyi vek” [Chekhoviana. Chekhov and the “Silver Age”]*. Moscow, Nauka Publ., 1996, pp. 133–138. (In Russ.)

Zhirmunskii, V. M. “Preodolevshie simvolizm” [“Overcoming Symbolism”]. Zhirmunskii, V. M. *Poeziia Aleksandra Bloka. Preodolevshie simvolizm [Poetry of Alexander Blok. Overcoming Symbolism]*. Moscow, Avtograf Publ., 1998, pp. 25–56. (In Russ.)

Kikhnei, L. G. *Poeziia Anny Akhmatovoi: Tainy remesla [Poetry of Anna Akhmatova: Secrets of the Craft]*. Moscow, Dialog MGU Publ., 1997. 148 p. (In Russ.)

Losev, L. ““Strashnyi peizazh’: marginalii k teme Akhmatova / Dostoevskii” [““Terrible Landscape’: Marginals to the Theme of Akhmatova / Dostoevsky”]. *Zvezda*, no. 8, 1992, pp. 148–156. (In Russ.)

Timenchik, R. “O ‘bibleiskoi’ tainopisi u Akhmatovoi” [“About ‘Biblical’ Cryptography at Akhmatova”]. *Zvezda*, no. 10, 1995, pp. 201–207. (In Russ.)

Tropkina, N. E. ““Chuzhoe slovo’ v stikhotvorenii A. Akhmatovoi ‘Mne golos byl. On zval uteshno...’” [“‘Someone Else’s Word’ in the Poem by A. Akhmatova ‘I Heard a Voice. He Called Consolingly...’”] *Gumilevskie chteniia: Materialy mezhdunarodnoi konferentsii filologov-slavistov [Gumilev Readings: Materials of the International Conference of Slavic Philologists]*. St. Petersburg, St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions Publ., 1996, pp. 51–58. (In Russ.)

Etkind, E. G. “Pamiat’ i vernost’ (Vместо predisloviia)” [“Memory and Fidelity (Instead of Preface)”]. Zhirmunskii, V. M. *Tvorchestvo Anny Akhmatovoi [Creative Work of Anna Akhmatova]*. Leningrad, Nauka Publ., 1973, pp. 3–20. (In Russ.)

© 2025. С. Б. Королева

Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова
г. Нижний Новгород, Россия

«Медный всадник» в англо-американской пушкинистике XX в.: символика пространства и сюжета

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00706 «Пушкин в западноевропейском каноне русской литературы: динамика и варианты осмысления (период 1920-х-1960-х годов)»

Аннотация: В статье исследуются способы осмысления поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» в англо-американской пушкинистике XX в. Изученные тексты позволили выявить четыре периода научного освоения пушкинского произведения в англо-американской славистике и связать их с социально-политическим и культурно-историческим контекстом. Для первого периода (1910–1930-е гг.) значима акцентуация описаний Петербурга в поэме в связи с тезисом о воспевании высокой европеизированной дворянской культуры. Второй период (1950-е–1960-е гг.) отмечен преимущественно социально-историческим вектором интерпретации «Медного всадника». Третий период (1970–1980-е гг.) связан с появлением исследований комплексного характера, опирающихся на достижения и советской, и зарубежной пушкинистики и в то же время воспроизводящих уже устоявшиеся имагологические параллели. Для четвертого периода (с 1990-х гг.) характерна тенденция восприятия поэмы в русле буквального мифологизма.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, «Медный всадник», англо-американская пушкинистика, М. Бэринг, Д. С. Мирский, Э. Уилсон, В. Ледницкий, Дж. Бейли, Э. Бриггс, этнокультурная интерпретация, имагологический миф.

Информация об авторе: Светлана Борисовна Королева, доктор филологических наук, доцент, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, ул. Минина, д. 31 а, 603155 г. Нижний Новгород, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7587-9027>

E-mail: svetlakor0808@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 10.06.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.09.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Королева С. Б. «Медный всадник» в англо-американской пушкинистике XX в.: символика пространства и сюжета // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 326–351. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-326-351>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 326–351. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 326–351. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Svetlana B. Koroleva

Linguistics University of Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod, Russia

“The Bronze Horseman” in Anglo-American Pushkin Studies of the 20th Century: Symbolism of Space and Plot

Acknowledgements: The study was supported by a grant of the Russian Science Foundation, project no. 24-28-00706 “Pushkin in the Western European Canon of Russian Literature: Dynamics and Variants of Understanding (The Period Between the 1920s and the 1960s).”

Abstract: This article explores approaches to understanding A.S. Pushkin’s poem “The Bronze Horseman” in 20th-century Anglo-American Pushkin studies. The examined texts allowed us to identify four periods of scholarly engagement with Pushkin’s work in Anglo-American Slavic studies and to link them to their socio-political and cultural-historical contexts. The first period (1910s–1930s) is characterized by a significant emphasis on the poem’s descriptions of St. Petersburg, bolstered by the thesis of glorifying a highly Europeanized noble culture. The second period (1950s–1960s) is marked by a predominantly socio-historical approach to interpreting the poem. The studies of the third period (1970s–1980s), although complex in their methodology, recreated established imagological parallels. The fourth period (since the 1990s) is characterized by a tendency to perceive the poem in terms of literal mythologism.

Keywords: A. S. Pushkin, “The Bronze Horseman,” Anglo-American Pushkin studies, M. Baring, D. S. Mirsky, E. Wilson, V. Lednicky, J. Bailey, E. Briggs, ethnocultural interpretation, imagological myth.

About the author: Svetlana B. Koroleva, DSc in Philology, Associate Professor, Linguistics University of Nizhny Novgorod, Minina St., 31a, 603155 Nizhny Novgorod, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7587-9027>

E-mail: svetlakor0808@gmail.com

Received: June 10, 2025

Approved after reviewing: September 23, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Koroleva, S. B. “The Bronze Horseman’ in Anglo-American Pushkin Studies of the 20th Century: Symbolism of Space and Plot.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 326–351. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-326-351>

Формирование англо-американской пушкинистики приходится на начало XX в., и этим во многом определяется ее своеобразие: формирование научных представлений о Пушкине в Англии и США освещено живыми биографическими, культурно-языковыми и социально-политическими связями Англии с Россией и связано преимущественно с двумя именами — Д. С. Мирского¹ и М. Бэринга².

Морис Бэринг (Maurice Baring) — английский дипломат, журналист, поэт, писатель, переводчик [Володько]; [Королева 2024]; [Супрун], проживший в России с 1905 по 1912 гг. и написавший о Пушкине главу в монографии «Очерк русской литературы» (*An Outline of Russian Literature*, 1914), а также фрагменты в «Вехах русской литературы» (*Landmarks in Russian literature*, 1910) и предисловии к «Оксфордской антологии русской поэзии» (*The Oxford book of Russian Verse*, 1925) — прекрасно владел русским языком и имел широчайший круг общения:

¹ Имеется в виду князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. Эмигрировав в Англию и начав там печататься как D. S. Mirsky или D. S. Mirski, он стал известен в англоязычной славистике именно под этим именем, которое, по всей видимости, использовал как более соответствующее нормам «принимающей» культуры.

² В США в 1920-е гг. основным популяризатором русской поэзии, в том числе поэзии пушкинской, становится А. Ярмолинский — выходец из еврейско-малороссийской семьи, влиятельный американский литературовед и историк, преподававший в Колумбийском университете и заведовавший славянским отделом публичной библиотеки Нью-Йорка. В 1921 г. (репринтное издание датируется 1968 г.) вышла в свет составленная А. Ярмолинским антология «Современная русская поэзия» (*Modern Russian Poetry. An Anthology*, 1921) [Deutsch, Yarmolinsky]; в 1923 г. (переиздания в 1936 г. и 1964 г.) — «Поэзия, проза и драматургия А. Пушкина» (*The Poems, Prose and Plays of Alexander Pushkin*) под его же редакцией [Yarmolinsky]. Однако ни по глубине, ни по влиянию на англоязычную пушкинистику вступительные заметки Ярмолинского о Пушкине в этих книгах не сопоставимы с работами Бэринга и Мирского.

от крестьян и солдат до семьи русского посла в Англии графа Бенкендорфа и других представителей русской (либеральной) политической элиты. В этот круг общения входил и сын министра внутренних дел Российской империи князь Дмитрий Святополк-Мирский — будущий известный критик и литературовед, ставший впоследствии «автором лучших на английском языке книг по истории русской литературы» [Казнина: 218]. Участник белогвардейского движения, эмигрировавший в 1920 г. и обосновавшийся в Англии в 1921 г., Д. С. Мирский практически сразу начал публиковать в английской периодике статьи о русской литературе¹. С 1922 г. он стал «первым и единственным штатным академическим специалистом по русской литературе в Великобритании» [Smith 2000: 94] в качестве преподавателя в Школе славянских исследований Лондонского университета; начал регулярно печататься в «Славянском обозрении» (*The Slavonic Review*) [Ефимов: 24]. В 1926 г. он опубликовал сразу две литературоведческие книги, и первой из них стала монография «Пушкин» (*Pushkin*, 1926) — результат его длительного профессионального интереса к поэту, начавшегося, вероятно, с посещений Пушкинского семинария С. А. Венгерова [Ефимов: 125]. О поэте немало сказано и в «Истории русской литературы...» (*A History of Russian Literature from the Earliest Times to the Death of Dostoyevsky (1881)*, 1927) — наиболее значительном его труде, оказавшем существенное влияние на восприятие русской литературы в англо-саксонском мире².

В целом, в этих первых литературоведческих англоязычных работах о Пушкине — несомненно, самостоятельных и во многом отличных друг от друга — прослеживаются некоторые существенные совпадения в подходе и оценках. На неслучайность этих совпадений указывает, в частности, исключительно положительная характеристика, которую Мирский дает пушкиноведческим трудам Бэринга. В своем обзоре критической литературы о Пушкине, приложенном к основному тексту монографии 1926 г., русско-английский пушкинист указывает: «Из всего, написанного о Пушкине на английском (и, собственного говоря, любом другом иностранном языке), безусловно лучшее — это

¹ Его первая статья была посвящена поэзии русского символизма и напечатана в журнале «Лондон Меркьюри» (*London Mercury*) в 1921 г. См.: [Mirski 1921].

² См. подробнее: [Смит: 5].

страницы, посвященные ему мистером Морисом Бэрингом» (“By far the best thing on Pushkin in English (and in fact in any foreign language) is the pages devoted to him by Mr. Maurice Baring”) [Mirsky 1926: 239]¹. Для интеллектуала, который признавал основным полем своих интересов вопросы «историко-литературные и методологические» [Smith 1995: 19], такого рода характеристика — проявление методологической и литературно-критической солидарности.

Мирского объединяет с Бэрингом и соединение литературоведческого описания с эстетической оценкой, характерной для литературной критики, и сочетание выраженного биографизма с культурно-историческим (и местами сравнительно-историческим) подходом, и стремление приблизить Пушкина к английскому читателю. Но многое, конечно, и отдаляет: в частности, глубина вхождения в контекст русской жизни рубежа веков, профессиональные интересы, внимание к методологии формалистов (со стороны Мирского). Общие для Бэринга и Мирского черты проявлены, в том числе, в характеристике поэмы «Медный всадник» — «вершинного произведения Пушкина 1830-х годов» [Тойбин: 19].

Причины особого внимания Мирского к поэме очевидны: с одной стороны, в этом внимании сфокусирован отзвук суждений о «Медном всаднике» близких ему (по «духу», как и по времени) поэтов-символистов Брюсова, Мережковского, Белого (о чем он практически прямо говорит в монографии). С другой — в нем прослеживается способ улавливания глубокой соотнесенности всего творчества Пушкина с высокой дворянской культурой и во многом европоцентричной имперской Россией.

Как для большинства других «белоэмигрантов», для Мирского Пушкин в 1920-е гг. представился гениальным воплощением потерянной России — в первую очередь, ее веками формировавшейся дворянской культуры. Характерно в этом отношении пронзительное суждение о поэте в англоязычном обзоре Мирского 1922 г. «Новые книги о Пушкине и его эпохе»: «... и впрямь сегодня Пушкин символизирует русскую цивилизацию, Пушкин отождествляется со всем наследием прошлого, которое быстро исчезает, с потерянным раем духовным» [Мирский 2014: 35]. Характерно и другое историсофски окрашенное высказы-

¹ Здесь и далее перевод мой. — С. К.

вание: «Пушкин — это последний цвет <...> специфической цивилизации, <которая> зачата Петром Великим <...> и начала разлагаться при Николае I. <...> Гений Пушкина был создан высокой и специфической космополитической цивилизацией русского дворянства» (“Pushkin is the last flower of a civilization, <...> conceived by Peter the Great <...>; it <...> went to seed under Nicolas I <...> The genius of Pushkin was produced by the high and peculiar cosmopolitan civilization of the Russian nobility”) [Mirsky 1989: 120, 122].

В подчеркнутом культурно-эстетическом восприятии творчества Пушкина Мирский не совпадал с этнокультурной интерпретацией Пушкина как выразителя духа русского народа — линией, зачинателем которой в английском пушкиноведении стал Морис Бэринг, вдохновителем — Достоевский («Пушкинская речь»), ближайшим же продолжателем — выдающийся английский славист Янко Лаврин¹. В соответствии с общей концепцией Мирского «Медный всадник» представлял произведением, в котором нашли полное и точное поэтическое выражение зрелые взгляды поэта на «специфическую цивилизацию Петра» и Петербург как ее наиболее выпуклое воплощение.

В «Очерке русской литературы» Бэринга о знаменитой пушкинской поэме сказано всего несколько строк, и в них встречается хронологическая ошибка (явная опечатка): «В 1833 г. он закончил поэму “Медный всадник” — историю об одном человеке, который теряет свою любимую в большом петербургском наводнении 1834 г. и который, сойдя с ума, представляет, что его преследует статуя Петра Великого, созданная Фальконе в виде всадника. Поэма содержит великолепное описание Санкт-Петербурга» (“In 1833 he finished a poem called *The Brazen Horseman*, the story of a man who loses his beloved in the great floods in St. Petersburg in 1834, and going mad, imagines that he is pursued by Falconet’s equestrian statue of Peter the Great. The poem contains a magnificent description of St. Petersburg”) [Baring 1915: 85].

При всей своей тривиальности эта весьма скупая характеристика обнаруживает три акцента, обремененных ассоциациями: новеллистическая фабула, в центре которой — «обычный человек» (некий “Every Man”) в борьбе со стихией (наводнение), культурно-исторический контекст (статуя Фальконе, Петербург) и описание города. Последнему в

¹ Подробнее об этом см.: [Королева 2025].

характеристике дается выделенная и весьма положительная эстетическая оценка; связка же «Петр Великий — Фальконе» задает «культуроцентричную» парадигму прочтения образа преследующей юношу статуи. Эта парадигма особенно очевидна в сопоставлении с суждением, практически заключающим собой главу о Пушкине в книге и представляющим вариацию идеи Мережковского о Петре как «первообразе самого поэта»¹: «Пушкин — национальный поэт России, Петр Великий в поэзии, создавший из иностранного нечто новое, национальное и русское, оставивший будущим поколениям нетленные эталоны [творчества]» (“Pushkin is Russia’s national poet, the Peter the Great of poetry, who out of foreign material created something new, national and Russian, and left imperishable models for future generations”) [Baring 1915: 95–96]. Не разворачивая характеристику поэмы, Бэринг в подтексте оставляет устойчивую для английского интеллектуала ассоциацию Петра Великого с европеизацией русской культуры, с одной стороны, и с борьбой против «русского варварства», с другой². «Великолепные описания» Петербурга в этой связи прочитываются как гимн торжеству высокой культуры, а сюжет поэмы может быть понят как сюжет борьбы пересаженной из Европы на русскую почву цивилизации с природной стихией и с обыденным (проекцией «варварского») сознанием.

В «Истории русской литературы» Мирского эстетическую оценку получает «Вступление» поэмы — «пышный гимн Петру и Петербургу» (“a splendid hymn to Peter and Petersburg”); в его же монографии о Пушкине — вся поэма. При этом в этой эстетической характеристике выделены черты «классичности» и «реалистичности» стиля: «“Медный всадник» — в высшей степени классическая поэма <...> Ее богатая, даже избыточная выразительность избегает любых романтическую украшательства. Ее образность строго реалистична и точна. Открывающий поэму гимн Петербургу, также как описание наводнения почти прозаичны в своей бытовой конкретности...» (“*The Bronze Horseman* is an eminently classical poem <...> Its rich and abundant expressiveness forbears all romantic ornament. Its imagery is strictly realistic and exact. The opening encomium of Petersburg and the description of the inundation are almost prosaic in their matter-of-factness...”) [Mirsky 1926: 212].

¹ См. подробнее: [Королева 2024].

² О Петре I в восприятии британцев см: [Королева 2023: 81–91].

Не это, однако, составляет центральный элемент характеристики, которую поэме дает Мирский. И в его книге о Пушкине, и в его «Истории русской литературы» речь в первую очередь идет о конфликте между «бедным» Евгением и Медным Всадником (ипостасью Петра). При этом если в монографии он близок той третьей линии интерпретации конфликта, о которой Брюсов в эссе «Медный всадник» (1909) говорит со ссылкой на Йозефа Третьяка, что ее сторонники «видели в Петре воплощение самодержавия, а в “зломном” шепоте Евгения — мятеж против деспотизма» [Брюсов: 423], то в «Истории» прямо проводится первая линия понимания конфликта, восходящая к Белинскому. Ср.: («Пушкин»): «Трагическая тема поэмы — противоборствующие права индивида и Империи. Медный всадник — воплощение амбиций и устремлений Империи, которым отдельные человеческие жизни приносятся в жертву — для того, чтобы этот великий, искусственно созданный город стоял и процветал» (“The tragic theme of the poem is the opposed and irreconcilable rights of the individual and the Empire. The Bronze Emperor is the incarnation of the ambitions and aspirations of the Empire, to which are sacrificed individual lives in order that the great and unnatural city might stand and thrive”) [Mirsky 1926: 210]. Подчеркнем, что в этой характеристике между словами «Империя» и «великий город» фактически ставится знак равенства, тем самым пушкинский Петербург прямо прочитывается как величайшее воплощение замыслов Петра и продукт специфической «петровской» цивилизации. Более того, ассоциативно он оказывается в одном ряду с другим городом-цивилизацией — Древним Римом.

В «Истории» же «философская концепция» поэмы описана как «непримиримый конфликт между обществом, воплощенным в *genius loci* города — бронзовой статуе Петра Великого на Сенатской площади, — и индивида (частного человека), представленного в образе жалкого Евгения» (“the irreconcilable conflict of the rights of the community, as incarnate in the *genius loci* of the city, the bronze statue of Peter the Great on the Senate Square — and of those of the individual, as represented by the wretched Evgeny”) [Mirsky 1949: 94]. При этом в обеих книгах подчеркнуто отличие образа Петра, созданного в этой поэме, и образа Петра в «Полтаве» — отличие, подразумевающее сформированность ко времени создания «Медного всадника» двойственного отношения поэта к самому Петру Великому и его реформам. Ср.: в книге «Пушкин»: «...Его

[Императора] победа над бедным мятежником ужасна, бесчеловечна, полна бесовщины. <...> Несмотря на весь очевидный имперский пафос и преклонение перед Императором, она [поэма] подняла вопросы, которые могли быть приятны только адвокату Дьявола» (“... His [the Emperor’s] triumph over the poor rebel is terrible, demoniac, and inhuman. <...> For all its apparent Imperialism and Emperor-worship it [the poem] raised questions that could be pleasant only to the Devil’s advocate”) [Mirsky 1926: 211]. В «Истории...»: «хотя <...> фигура великого Императора доминирует в ней как полубог, она резко отличается от человеческого Петра «Полтавы» и «Пира Петра Великого» — это, скорее, бесчеловечный и могущественный демон, не ведающий жалости...» (“though <...> the figure of the great Emperor dominates it in semi-divine proportions, it is a strikingly different figure from the human Peter of *Poltava* and of *The Feast of Peter the Great* — an inhuman and potent demon who knows no mercy”) [Mirsky 1949: 94]. В конечном итоге разговор о поэме в обеих книгах Мирского замыкается на сложном, неоднозначном отношении поэта к деспотизму «русского толка» и к России Петра Великого.

Заключением же рассуждений Мирского о «Медном всаднике» становится на первый взгляд неожиданный пассаж о роли поэмы в формировании мифа о Петербурге: не вдаваясь в дальнейшие разъяснения, Мирский замечает, что она «стала отправной точкой для целой петербургской мифологии. [Ее роль] особенно возросла в нашем восприятии с формированием символизма» (“*The Bronze Horseman* <...> became the starting point of a whole Petersburg Mythology. It has especially grown in our eyes since the times of the Symbolist movement”) [Mirsky 1926: 212]. Во внимании к красоте и великолепию описаний города, в финальном повороте от преимущественно социально-исторического к «культурно-историческому» прочтению петербургской темы Пушкиным (в терминологии М. Н. Виролайнен) [Виролайнен: 209] Мирский сближается с Бэрингом. Формирование этих двух направлений интерпретации «Медного всадника» и пушкинского образа Петербурга на раннем этапе английской пушкинистики задало два вектора дальнейшему восприятию в ней пушкинской поэмы; проникновение же в толкование поэмы элементов этнокультурной интерпретации обусловило возможность вхождения в научную дискуссию о ней западного имагологического мифа о России.

В 1950-е гг. — период «холодного» противостояния между Западом и СССР — англо-американская пушкинистика стала во многом единой

в связи с международной (американо-английской) издательской практикой. Видимо, под воздействием социально-политического контекста в научной полемике о «Медном всаднике» был актуализован преимущественно социально-исторический вектор интерпретации поэмы. Более того, он был политизирован и модифицирован специфическими имагологическими параллелями и суждениями, соотносящими современную политическую ситуацию с социально-политическим укладом «петровской» России, самодержавие — с деспотией и русским национальным характером, а Петербург, соответственно, — с воображаемой склонностью русских к выстраиванию насильственных (неестественных) отношений между человеком и природой, равно как между властью и народом.

Все англо-американские работы о пушкинском «Медном всаднике» в период 1950–1960-х гг. охватить в рамках одной статьи, разумеется, невозможно. Однако для того, чтобы очертить «интерпретативный путь» англо-американской пушкинистики в отношении этого произведения, широкий охват многих текстов и не требуется: достаточно тех, которые цитируются, на которые ссылаются авторы в последующие периоды. К таким авторам относятся Эдмунд Уилсон (Edmund Wilson) — американский публицист и один из «ведущих литературных критиков» своего времени [Edmund Wilson] и Вацлав Ледницкий (Wacław Lednicki) — польско-американский исследователь, чьи работы о Пушкине и Мицкевиче получили широко признанное как в западной, так и в отечественной академической среде¹.

Эдмунд Уилсон в книге, вышедшей в 1952 г. в одном из центральных лондонских издательств, посвящает «Медному всаднику» отдельную главу. В ней он описывает основной конфликт поэмы как «трагическое противостояние между правом обычного человека на мир и счастье и правом государства на конструктивное доминирование» (“The poem deals with the tragic contradiction between the right to peace and happiness of the ordinary man and the right to constructive domination of the state”) [Wilson: 52]. Абстрактная формулировка «права государства», и еще более — включение в «права человека» «права на мир» подчеркнута соотносили сюжет поэмы с контекстом «холодного» противостояния

¹ См. опору на Ледницкого, в частности, этих работах: [Briggs]; [Evdokimova]; [Цявловский]; [Науменко].

между СССР и Западом, грозящего перейти в противостояние «горячее».

Дальнейшая интерпретация сюжета поэмы приводит Уилсона к отождествлению протеста «бедного клерка Евгения» против «Вечного Порядка» самодержавия с безуспешными попытками советских инакомыслящих противостоять тоталитарному режиму Сталина, а Медного всадника, преследующего Евгения, — с государственной советской машиной. При этом он искаженно воспроизводит фабулу поэмы, указывая, что Евгений тонет «в водах Финского залива»: «Инакомыслящие и дерзающие протестовать, как Евгений, слышат позади себя всадника, только не медного, а стального; не имеет значения, куда они направляются, они не могут спастись: он бросает их в тюрьмы ГПУ так же неотвратно, как Евгений оказался поглощенным водами Финского залива» (“The dissident and the irreverent, like Evgeni, hear behind them a horseman, not of bronze but of steel, and no matter where they go, they cannot escape him; he drives them into the prisons of the GPU just as surely as he drove Evgeni into the Gulf of Finland”) [Wilson: 55–56].

Оправдывая буквализм этой параллели, как и одностороннюю оценочность своей антиисторически-политизированной интерпретации сюжета пушкинской поэмы, Уилсон размышляет о том, что русский народ в целом есть общество, рожденное (вместе с) деспотией и что, в связи с этим, попытки построить социализм в России неизбежно упираются во вневременной насильственный характер отношений между властью и народом. Насколько прочно это суждение связано с британским (а шире — западным) имагологическим мифом о России, насколько точно оно воспроизводит одно из стереотипных представлений о русских, можно судить хотя бы по тому, с каким постоянством тема деспотии власти в России в связи со склонностью русского народа к насилию возникает в английской литературе, начиная с записок путешественников XVI в. и продолжая, в частности, «Дон Жуаном» Байрона, «Из России с любовью» Яна Флеминга и «Подснежником» Э. Миллера [Королева 2023: 54–345].

Уилсон, разумеется, не рефлексировал над имагологическим подтекстом своего суждения, но находит в «Медном всаднике» оправдание ему в соответствии действительности: «...эта повесть в стихах — одно из тех произведений русского о русских, которое в высшей степени отчетливо освещает русский характер» (“...this tale in verse is certainly

one of the most enlightening things ever written about Russia by a Russian”) [Wilson: 55]. Как мы понимаем, за русским характером в эссе закреплена склонность к неестественной насильственности, причем как в отношениях между обществом и властью, так и в отношениях между человеком и природой. В заключение Уилсон, упоминая о соотносительности вызова, который Евгений бросает Медному всаднику, с восстанием декабристов (через место — Сенатскую площадь), в свою очередь соотносит оба эти сюжета (литературный и исторический) с октябрьской революцией 1917 г.

Петербург с его историей восстаний и революций, с его историей «противоестественного» основания и строительства «на болотах» прочитывается как ярчайшее воплощение склонности русских к противоестественной насильственности. Неслучайно в осмыслении Уилсоном пушкинской поэмы в пушкинском образе Петербурга выделены три топографических акцента, обремененных политико-имагологическими смыслами и объединенных общим вектором трактовки русского национального характера в векторе склонности к противоестественному насилию и к насильственному преодолению природы — будь то природа человеческая или собственно природа: статуя Медного всадника, Сенатская площадь, Нева — то покоренная, то разъяренная.

Остается отметить, что в попытке прочесть «Медного всадника» как выражение «русского духа» исследователь, как мы понимаем, актуализует этнокультурную линию интерпретации пушкинского творчества, восходящую в английской (англо-американской) пушкинистике к трудам М. Бэринга и приобретающую в социополитических условиях Холодной войны особый имагологический вектор.

В отличие от эссе Уилсона, работа о пушкинской поэме Вацлава Ледницкого отличается неоднозначной оценочностью и разносторонностью характеристик. Кроме того, социально-политическая интерпретация поэмы вовлекает в себя и признаки культурно-исторического вектора ее понимания. При этом в книге проявлена имагологически окрашенная однобокость в освещении отношения поэта к Европе (в целом) и Польше, в частности; категоричны и откровенно негативны суждения о политических взглядах поэта.

Известно, что Ледницкий родился и учился в Москве, в 1920-е гг. переехал в Польшу, с 1940 г. преподавал в университетах США (в том числе, в Калифорнийском и Гарвардском университетах) [Waclaw

Lednicki]. Итогом его многолетних исследований «Медного всадника» стала англоязычная монография «“Медный всадник” Пушкина. История одного шедевра» (*Pushkin's "Bronze Horseman". The Story of a Masterpiece*, 1955), опубликованная в издательстве Калифорнийского университета.

Несомненны научные достижения Ледницкого в отношении дружбы Пушкина и Мицкевича, а также литературной полемики между ними, играющей значительную роль и в формировании образности и сюжета «Медного всадника». При этом монография в целом трактует поэму как «своеобразное философское оправдание и защиту исторического развития России» (“a kind of philosophical justification and defense of Russia's historical development”) в контексте полемики Пушкина с Чаадаевым и Мицкевичем о России, Европе и русском европеизме [Lednicki: 37]. В этом отношении обращает на себя внимание следующее: в целом в сюжете, стилистическом и жанровом разногласии (полифонии), реалистической образности поэмы прослеживается хрупкий баланс между интонациями вступления и основной части, как и неоднозначность в изображении Петра и его величайшего создания — Петербурга.

Ледницкий указывает, что «Медный всадник» есть одновременно форма исследования русского европеизма (“a gauge of Russian Europeanism”), «картина тяжелого, изматывающего, трагичного пути России к европеизму» (“a picture of the hard, weary, and tragic road which leads Russia to this Europeanism”) и «триумфальный гимн, посвященный величию Российской Империи» (“a triumphal hymn devoted to the greatness of the Russian Empire”) [Lednicki: 40]. Исследователь уделяет внимание контрастности описаний Петербурга (“the poem offers a dualistically conceived Petersburg”), вовлечение в его образ элементов фантастики (“Pushkin was the first to feel and show this fantastical aspect of Petersburg”) [Lednicki: 52]. Особо он выделяет сложное соотношение между символикой и пафосом вступления, с одной стороны, и гуманистическим пафосом основной части, с другой.

Во вступлении, по наблюдению Ледницкого, Петр предстает в образе бога, преодолевающего хаос (“in the shape of a god against the background of chaos”), символизирующего собой «сверхчеловеческую волю судьбы, закона истории» (“superhuman will of fate, of the law of history”); Петербург же изображен чудесно возникающим в результате действия этой

воли (“Petersburg is the magical, miraculous result of this will”) [Lednicki: 50]. В основной же части изображение «унылой, мрачной и трагичной стороны Петербурга» (“the gloomy, sullen, and tragic side of Petersburg”) рождает не только жалость и сочувствие к бедным мечтам и смерти маленького человека, но и отрицание права на социально-исторический оптимизм (“The pitiable end of the ‘poor’ hero’s dreams of happiness and the equally pitiable end of his life are silent negations of the very right to optimism”) [Lednicki: 51].

Все эти вполне справедливые и точные наблюдения получают специфическое имагологическое освещение в связи с муссированием высокомерного и даже враждебного отношения зрелого Пушкина к Европе, его «ненависти» к Польше (“Pushkin hated Poland”) [Lednicki: 39] и его имперско-империалистических убеждений. Так, о патриотических декларациях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» говорится, что они «бросали вызов Европе и были выражением непризнания ее авторитета» (“they defied Europe and were an expression of the nonrecognition of its authority”); что Пушкин в них высказал «открыто враждебное отношение к Европе» (“he adopted a frankly hostile attitude toward Europe”) и что, возможно, в связи с «латинизмом, европеизмом» и католицизмом Польши поэт ее «ненавидел» и считал наиболее «опасным препятствием <...> на пути расширения «русского моря» (“who knows whether it was not especially because of her Latinism, her Europeanism, that Pushkin hated Poland, that most dangerous obstacle <...> to the expansion of the shores of the *Russian sea*”) [Lednicki: 39]. В подтексте этих суждений прочитывается европоцентризм самого исследователя, безусловный авторитет Европы и европеизма в его глазах и, соответственно, осуждение позиции поэта.

Эти имагологически ориентированные взгляды очевидно сказались в обобщенном суждении Ледницкого о концепции истории, воплощенной в поэме Пушкина. «В пушкинской концепции сохранение этой автократии [самодержавия петровского типа] было необходимостью, поскольку автократия была связана с исторической судьбой России. Она [автократия] способствовала тому, что Россия <...> изолировала себя от Европы — той Европы, которая родилась в недрах католицизма» (“In Pushkin’s conception the preservation of this autocracy was a

¹ Выделено курсивом Ледницким.

necessity, since this autocracy was bound up with the historical destiny of Russia. It also contributed to the fact that Russia <...> had isolated herself from Europe — the Europe born to Catholicism”) [Lednicki: 40]. В этом суждении Европа очевидно предстает центром мира, к которому следует стремиться, точно так же как католицизм явлен как религия, объединяющая «свободный» мир Истиной. «Оторванность» же России от Европы с ее католичеством и демократией предстает тяжелой исторической судьбой России, связанной, в том числе, с автократией петровского типа.

Петербург в прочтенном Ледницким «Медном всаднике», таким образом, обременен многими социальными, политическими, эстетическими, имагологическими ассоциациями, которые в целом можно описать в терминах социально-нравственного дуализма, остановленного на бегу европеизма русской культуры и внеисторического «имперско-империалистического» формата русского государства, оправдываемого поэтом.

Культурно-исторический вектор трактовки «Медного всадника» в англо-американской пушкинистике получил точечное развитие, начиная с 1970-х гг. Степенью воздействия на последующие англоязычные исследования о Пушкине выделяется в этом ряду книга известного английского слависта, профессора Оксфордского университета Джона Бейли (John Bayley) «Пушкин. Сравнительное исследование» (*Pushkin. A Comparative Study*, 1971). Интерпретация философии истории и мифологии Петербурга и «Медного всадника» в этой монографии в целом стереоскопична, строго академична. При этом подобно тому, как в социально-политические интерпретации Уилсона и Ледницкого проникают признаки имагологического дискурса о России и элементы культурно-исторической трактовки «Медного всадника», в культурно-историческую трактовку пушкинской поэмы у Бейли оказываются вовлечены как имагологические стереотипы, так и представления о творчестве Пушкина этнокультурной направленности.

Выдвигая в качестве опорного тезиса мысль о том, что «Медный всадник» «видит историю <...> в терминах исторического детерминизма» (“*The Bronze Horseman* [sees history] in terms of historical determinism”), исследователь постулирует не столько историзм, сколько «антиисторизм» поэмы (“*The Bronze Horseman* might be called an anti-historical poem”) в связи с тем, что прошлое втянуто в нем в настоящее

(“It <...> brings the past into the present”) и предстает в самом облике современного поэту города [Bayley: 130].

В этом облике (во вступлении) Бейли выделяет не только соответствие Петербурга историческому замыслу Петра, не только множество самых разнообразных, пестрых, индивидуальных черт города (мороз и яркий румянец девичьих лиц, Марсово поле и военные парады, скучные балы и береговой гранит Невы и т. п.), но и особую «семейственную» интонацию, которой пронизано и описание города, и эпическая преамбула о Петре Великом: «Пушкин не восхваляет столицу в прямом смысле. Вместо этого он причисляет читателя к “одному из нас” <...>, жителям города Петра, для которых он сам есть и жизнь, и природа» (“Pushkin is not celebrating the capital in a straightforward sense. Instead he enlists the reader as ‘one of us’ <...>, the beau monde of Peter’s city, to whom it is life and nature itself”) [Bayley: 135].

И далее: «Даже фигура Петра вовлечена в эту особую близость [поэту]»; «Во Вступлении героическое и лирическое не отдельные элементы стиля, но переплетающиеся <...>, потому что мы заодно с Пушкиным, объединенные общим семейственным звучанием» (“Even the figure of Peter is drawn into this participatory intimacy”; “In the Prologue the heroic and the lyrical are not separate elements of style but interchangeable <...>, because we are at one with Pushkin in the familial mood”) [Bayley: 135, 138]. Петербург во вступлении поэмы, с точки зрения Бейли, в первую очередь, пространство родное, любимое, в котором все дорого потому, что это пространство, обжитое не только самим поэтом, но и русской историей, культурой, народом.

В связи с этим наблюдением особое внимание исследователя в основной части «петербургской повести» привлекает смена интонации: «После этого единства мы теперь испытываем отчуждение и беспокойство» (“After this unanimity we are now to experience alienation and disquiet”) [Bayley: 138]. Бейли вполне справедливо прочитывает эту смену как знак проблематизации семейственно-родственных отношений не только в выстроенной Петром I государственной системе, но и в созданной в связи с этим новой системе ценностей, — проблематизации, которая стала, в представлении исследователя, глубинной смысловой основой поэмы, объединяющей вступление и основную сюжетную ее часть. Петербург Евгения в понимании Бейли страшен именно потому, что он не обжит, не присвоен, не связан семейственно-

стью: в нем есть место только мечтам о семейном счастье, на практике же родовые связи, семейственные отношения вытеснены из этого пространства общим служебным образом жизни¹.

При этом ценностью родовой семейственности, по мысли Бейли, пронизана не только пушкинская поэма, но вся русская культура, что сказывается и на восприятии русским человеком исторического и политического процесса. Эта мысль выводит книгу Бейли из сферы собственно литературоведческого дискурса, подключая ее через имагологические, социально-политические подтексты к дискурсу о национальном характере. Фактически Бейли в этом оказывается наследником этнокультурного осмысления творчества Пушкина, столь характерного для Бэринга, равно как и носителем британского коллективного сознания, частью которого является имагологический миф о России.

Логико-интуитивный ход «от Пушкина к русскому менталитету», приводит ученого, в частности, к следующему утверждению: «Для русского человека патриотизм отнюдь не мрачное чувство, потому что <...> [оно] освобождает его от внутренней тирании. Его [патриотизма] атавизм безответствен и весел, и не требует никакого почитания или справедливости» (“To the Russian, patriotism is not a gloomy feeling, because... it is a relief from internal tyranny. Its atavism is irresponsible and gay, and has no need of reverence and justice to support it”) [Bayley: 136]. Соответственно звучит и вывод об основном содержании пушкинской поэмы: «... в «Медном всаднике» <...> он [Пушкин] дает голос фаталистичному молчаливому согласию русского человека на абсолютные формы правления — согласию, имеющему историческое значение. Даже его [Пушкина] увлеченность феноменом Петра Великого обна-

¹ Ср.: В глубокой статье М. Н. Виролайнен о символике Петербурга в «Медном всаднике» говорится об «ограниченности» «петербургского космоса», не вместившего «важнейшие ценности русской жизни»: «Отринутое имперским регламентом, частное, «домашнее», «московское» начало русской жизни именно на территории Петербурга — то есть новой цивилизации — лишалось защиты обращенного к нему спиной (поза бронзового кумира относительно Евгения в финале первой части) государственного принципа. Теплое, человеческое, ни в коей мере не соприродное петербургскому граниту и меди, <...> оказывалось отданным в жертву хаосу». См.: [Виролайнен: 212, 213].

руживает не только интеллектуальную независимость и пронизательность, но и глубинное, почти суеверное благоговение русского народа перед его наиболее энергичными тиранами, будь то Петр или Сталин» (“...in *The Bronze Horseman* <...> he gives a voice to Russia’s historic and fatalistic acquiescence in absolute rule. Even his fascination with the phenomenon of Peter the Great reveals not only his own emancipation and quick intelligence of insight, but the deeper and almost superstitious awe and admiration of Russia for her most dynamic tyrants — a Peter or a Stalin”) [Bayley: 145].

Буквальным мифологизмом отмечен культурно-исторический вектор интерпретации пушкинской поэмы в англоязычных исследованиях конца 1990–2010-х гг. В частности, цитируемая¹ в более поздних работах монография Светланы Евдокимовой, преподавателя Йельского университета, «Историческое воображение Пушкина» (*Pushkin’s Historical Imagination*, 1999) характеризуется вычитыванием «имплицитной» мифологии, которое влечет за собой «редукционизм», то есть исключение из поля зрения как творческой биографии и эстетической позиции автора, так и отношения между его текстом и «социально-исторической обстановкой» [Мелетинский: 160–161]. Свою главу о «Медном всаднике» Пушкина (с красноречивым названием «История как миф: «Медный всадник») (*History as Myth: “The Bronze Horseman”*) Светлана Евдокимова начинает с отсылок к исследователям, которые во вступлении к поэме обнаружили сюжетные модели «космогонического мифа»². Космогоническому мифу «Медного всадника» в исследовании Евдокимовой противопоставлен миф эсхатологический. В это противостояние в исследовании Евдокимовой встроены такие архаические мифообразы, как хаос и порядок, центр мира (Петербург) и мировое древо (статуя Медного всадника). Сюжет же о потере Евгением Параша, его сумасшествии и смерти трактуется как вариация на тему ритуала инициации. Анализ поэмы Пушкина в главе сводится к сопоставлению «двух ясно выделенных сюжетных линий <...>: «истинной истории», которая воплощает [основание Петербурга как] космогони-

¹ См., в том числе: [Foxcroft 2014]; [Foxcroft 2015].

² В мифологическом прочтении «Медного всадника» Евдокимова, по ее собственному утверждению, опирается на работы Н. П. Анцыферова [Анцыферов] и Р. Грегга [Gregg].

ческий миф и «ложной истории», которая описывает не пройденный ритуал инициации» (“two clearly definable plot lines <...>: a “true story” that portrays a cosmogonic myth and a “false story” that describes the failed ritual of initiation”) [Evdokimova: 231]. При этом ситуация не пройденного Евгением испытания-инициации предстает в работе следствием его равнодушия к прошлому (“Eugeny fails this initiation because he does not recognize the importance of the past”) [Evdokimova: 231].

Показательны такие мало соотносимые с пушкинским текстом суждения С. Евдокимовой: «“Хаотичная” Москва уступает место “космическому” Петербургу», что означает начало нового порядка и новой истории» (““Chaotic” Moscow gives way to ‘cosmic’ Petersburg, which marks the beginning of the new order and new history”); «Пушкин изображает Петербург не только как центр России <...>, но и как сакральный центр мира» (“Pushkin depicts Petersburg not only as the center of Russia <...>, but as a sacral center of the world”) [Evdokimova: 212].

Уходя от биографического, литературного, культурно-исторического и социально-политического контекстов, С. Евдокимова фактически редуцирует идейно-образное содержание поэмы до создания Пушкиным «настоящего “мифа племени”» (“a real ‘tribal myth.’”), то есть до осмысления им процесса формирования «новой европеизированной России» (“the new europeanized Russia”) в категориях героико-космогонического мифа [Evdokimova: 217].

Подводя черту под рассказом о развитии двух векторов трактовки «Медного всадника» в англо-американской пушкинистике, отметим, что эти векторы преимущественно развивались в разное время и разных работах; и однако же они зачастую взаимопроникали друг в друга на почве этнокультурной трактовки литературы и вхождения в строгий научный дискурс структурных элементов имагологического (западного) мифа о России. Остановимся в связи с этим утверждением на заключительном примере — монографии «Александр Пушкин. Критическое исследование» (*Alexander Pushkin. A Critical Study*, 1983) Энтони Бриггса (A. D. Briggs), профессора Бирмингемского и Бристольского университетов, признанного переводчика русской классической литературы, автора научных изданий о Пушкине, Толстом, Достоевском, Чайковском.

Книга Ледницкого, как и работы о Пушкине Д. С. Мирского и Бейли, признаются Бриггсом опорными для формирования его научного

восприятия как «Медного всадника», так и пушкинского творчества в целом. При этом, ставя перед собой двойную цель: рассказать о пушкинских произведениях как таковых, об их «устройстве» и, в то же время, объяснить английскому читателю, что есть такого в пушкинской поэзии, чем она в течение столетий завораживает русских читателей, — Бриггс фокусируется собственно на форме и содержании поэмы, оставляя за рамками своего нарратива всевозможные ее контексты.

В «петербургской повести», соответственно, он отмечает смысловую «плотность» текста, разнообразие способов их выражения — от прямых суждений до «новой системы» символизма (“a quite new system of symbolism”), антитетичность высказываемых идей (соответствующих, в целом, спору между славянофилами и западниками), их соответствие основным смысловым векторам русской истории и культуры (“the main <...> preoccupations of Russian history and culture”), отсутствие прямого ответа на поднимаемые национальные и общечеловеческие вопросы [Briggs: 120–121].

Среди аллюзивно затрагиваемых в поэме национальных русских вопросов, по мнению Бриггса, центральные — вопросы о сближении России с Европой или дистанцировании от нее; соперничество Москвы и Петербурга; исторический смысл декабристского восстания; взаимоотношение власти и народа; отношения между частным человеком и государством (в которых первый становится жертвой второго). В этой последней точке, как подчеркивает исследователь, национальная русская проблематика размыкается на общечеловеческую, фундаментальную. Озвучивает же ее Бриггс следующим образом: «Евгений <...> может быть <...> понят как воплощение любого частного человека, захваченного большим движением истории. Его судьбой повелевает она, и она же разрушает его простые мечты, как и мечты любого простого человека» (“Yevgeniy <...> may <...> be taken to represent any ordinary man caught up in the great movements of history. His destiny is controlled for him, and his simple dreams are destroyed like those of any common citizen”) [Briggs: 122].

Через изображение наводнения, как и через вступление, посвященное Петербургу и Петру, национальная проблематика пушкинской поэмы, по мысли ученого, размыкается снова в общечеловеческую. Бриггс подчеркивает, что в «Медном всаднике» поднимается вопрос о

том, каково положение человека по отношению к природе, имеет ли он право противостоять ей, реализуя собственные планы (“What is man’s position in relation to nature? Has he the right to confront her with his own <...> schemes?”). Сопоставление двух частей и сюжетных линий поэмы приводит его и к формулировке третьего фундаментального вопроса, составляющего вместе с другими, обозначенными выше, смысловую основу текста: вопроса об исторической судьбе и судьбе частного человека — о предначертанности судьбы, а также возможности ее воплощения в историческом гении (“Is there such a thing as destiny? Peter invokes that force himself <...> Yevgeniy seems destined for tragedy throughout, his Fate is said to await him”) [Briggs: 124].

Стройность и тщательная аргументированность размышлений Бриггса над пушкинским текстом отличается совмещением *общечеловеческой* и *национальной* направленности. При этом когда он обращается к национально-историческому содержанию поэмы, то в русле англо-американской пушкинистики высказывает суждения о русском народе столь же имагологически окрашенные (и поэтому вполне узнаваемые), сколь исторически, политически неточные. «Пушкинская поэма, — указывает исследователь, — призывает к размышлению над политическим вопросом, который волновал его соплеменников веками: о самодержавии и народе» (“Pushkin’s poem invites consideration of a general political issue which has bedeviled his countrymen for centuries, that of the autocracy vis-à-vis the common people”) [Briggs: 121]. И утверждает далее, фактически озвучивая стереотипное представление носителя западного коллективного сознания: «Проблема в том, что Россия, кажется, нуждается в сильном, решительном лидере. <...> С другой стороны, как насчет прав обычных людей, управляемых диктатурой? <...> Мы [читатели поэмы] остаемся с дилеммой выбора между двумя противоположными принципами, автократии и демократии» (“The problem here is that Russia seemed to need a strong, decisive leader. <...> On the other hand, what about the rights of ordinary people under a dictatorship? <...> We are left with the two opposing principles, autocracy and democracy”) [Briggs: 121].

Поразительно в такого рода суждениях не только системность вхождения имагологических стереотипов в научный дискурс (как формата социально-политической интерпретации художественного текста, так и формата культурно-исторической его трактовки), но и то

постоянство, с которым установление Петром в России абсолютизма *европейского типа* воспринимается как проявление собственно русской формы исторического (цивилизационного) бытия.

Таким образом, в англо-американской пушкинистике XX в. выделяются по крайней мере четыре периода осмысления «необъятной сложности, проблемной глубины и многозначности» [Тойбин: 19] поэмы «Медный всадник». Эти периоды ясно очерчиваются хронологически и содержательно-методологическими границами.

Первый период может быть описан хронологически 1910–1930 гг.; персонально: именами М. Бэринга и Д. С. Мирского; содержательно — акцентуацией описаний Петербурга в поэме в связи с имплицитно или эксплицитно вовлекаемым тезисом о воспевании в ней высокой (европеизированной) дворянской культуры.

Второй период (1950-е гг.) связан с именами Э. Уилсона и В. Ледницкого и преимущественно с социально-историческим вектором интерпретации «Медного всадника». Полемически-литературный подтекст пушкинской поэмы, жанровые ее особенности, черты композиции, образности, сюжета не ускользают от внимания исследователей. При этом имагологические параллели задают в этих работах соотношение современной политической ситуации с социально-политическим укладом «петровской» России, а образ Петербурга — со склонностью к насилию как этнической чертой русского человека.

Третий период (1970–1980-е гг.) — занимает особое место в пушкинистике XX в. Он связан с именами Дж. Бейли и Э. Бриггса и появлением (за их авторством) глубоких и объемных монографических исследований о Пушкине, выполненных в русле синтеза сравнительно-исторического и герменевтического методов исследования литературы. Однако и в эти культурно-исторические интерпретации пушкинской поэмы проникает имагологический миф: у Бейли интерес Пушкина к Петру Великому объясняется «благоговением русского народа» перед одаренными тиранами; схожим образом Бриггс прочитывает сюжет пушкинской поэмы как вопрос о выборе между автократией и демократией, который поэт якобы ставит перед читателем.

С конца XX в. (период 1990–2010-х гг.) в англо-американской пушкинистике (С. Евдокимова, Н. Фокскрофт) обнаруживается тенденция прочитывать пушкинскую поэму в русле буквального мифологизма, что приводит к исключению из поля зрения исследователя истори-

ко-философской и эстетической позиции автора, отношений между текстом и социально-историческим контекстом, полемической ориентации на литературную традицию и факт.

В целом можно утверждать, что в английской пушкинистике XX в. прослеживается стремление к синтезу социально-исторического и культурно-исторического понимания «Медного всадника»; в то же время значимыми факторами, моделирующими понимание символики поэмы англо-американскими исследователями, выступают этнокультурная интерпретация литературы, а также западные имагологические представления о России и русских.

Список литературы

Источники

Мирский Д. Новые книги о Пушкине и его эпохе // *Мирский Д.* О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922–1937. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 35–37.

Baring M. An Outline of Russian Literature. New York: H. Holt and Co; London: Williams and Norgate, 1915. 256 p.

Bayley J. Pushkin. A comparative commentary. Cambridge: CUP, 1971. 368 p.

Briggs A. D. P. Alexander Pushkin. A Critical Study. London, Canberra, Totowa: Croom Helm, Barnes and Noble books, 1983. 257 p.

Deutsch B., Yarmolinsky A. (ed. and tr.). Modern Russian Poetry; an Anthology. New York: Harcourt, Brace and Company, 1921. 181 p.

Evdokimova S. Pushkin's Historical Imagination. New Haven and London: Yale University Press, 1999. 320 p.

Foxcroft N. Dynamic Conflict in Alexander Pushkin's *Boris Godunov* and *The Bronze Horseman* // New UK Research, Russian Literature Symposium, 2014. URL: <https://core.ac.uk/reader/188253712> (дата обращения: 23.04.2025).

Foxcroft N. Visions of History: Chance and Certainty in A.S. Pushkin's *The Bronze Horseman* and *Boris Godunov*. *Proceedings of the ICCEES IX World Congress*, 2015. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/188254367.pdf> (дата обращения: 28.04.2025).

Lednicki W. Pushkin's *Bronze Horseman*. The Story of a Masterpiece. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1955. 163 p.

Mirsky D. S. A History of Russian Literature. L.: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1949. 518 p.

Mirsky D. S. Pushkin. L.: G. Routledge and Sons, LTD. NY: E.P. Dutton and Co, 1926. 266 p.

Mirsky D. S. Pushkin // *Mirsky D. S.* Uncollected Writings on Russian Literature. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989, pp. 118–131.

Mirski D. S. A Russian Letter: The Symbolists – I. // *The London Mercury*. 1921 (February), vol. III, no. 16, pp. 427–429.

Wilson E. The Triple Thinkers. Twelve Essays on Literary Subjects. L.: John Lehmann, 1952. 275 p.

Исследования

Брюсов В. Я. Медный всадник // Брюсов В. Я. Избранные сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1955. Т. 2. С. 421–452.

Виралайнен М. Н. «Медный всадник. Петербургская повесть» // Звезда. 1999. № 6. С. 208–219.

Ефимов М. В. Д. П. Святополк-Мирский — историк русской литературы и литературный критик. Годы эмиграции (1920–1932): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2017. 390 с.

Королева С. Б. Миф о России в британской культуре. М.: Флинта, 2023. 384 с.

Королева С. Б. «Полтава» в английской пушкинистике XX века: канон, парадигма, механизмы // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. 2024. № 2. С. 148–161. <https://doi.org/10.47388/2072-3490/2024-66-2-148-161>

Королева С. Б. «Пушкинская речь» Достоевского как архетекст английской пушкинистики XX века // Достоевский и мировая культура. 2025. № 1. С. 197–219. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2025-1-197-219>

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература РАН, 2000. 407 с.

Науменко Г. А. С Гомером и с Мицкевичем («Мицкевичский подтекст» в творчестве Пушкина последних лет) // Studia Humanitatis. 2014. №1–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/s-gomerom-i-s-mitskevichem-mitskevichskiy-podtekst-v-tvorchestve-pushkina-poslednih-let> (дата обращения: 09.06.2025).

Смит Дж. Параболы и парадоксы Д. Мирского // Мирский Д. О литературе и искусстве: статьи и рецензии, 1922–1937. М.: НЛЮ, 2014. С. 5–32.

Тойбин И. М. Философско-историческая поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» // Курский педагогический институт. Ученые записки. 1968. Вып. 55. С. 19–112.

Цявловский М. А. «Он между нами жил...»: (По поводу статьи В. Ледницкого) // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 178–194.

Edmund Wilson, American critic / Britannica. URL: <https://www.britannica.com/biography/Edmund-Wilson> (дата обращения: 14.04.2025).

Smith G. S. D. S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939. Oxford: Oxford University Press, 2000. 398 p.

Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii, 1922–1931 / comp. and ed. by G. S. Smith. Birmingham: University of Birmingham, 1995. 238 p.

Waclaw Lednicki, expert on Slavs; Ex-Professor at California and Harvard Dies at 76 // The New York Times. 1967. October 31. P. 45. URL: <https://www.nytimes.com/1967/10/31/archives/waclaw-lednicki-expert-on-slavs-exprofessor-at-california-and.html> (дата обращения: 12.04.2025).

References

Briusov, V. Ia. “Mednyi vsadnik” [“The Bronze Horseman”]. Briusov, V. Ia. *Izbrannye sochineniia: v 2 t.* [Selected Works: in 2 vols.], vol. 2. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1955, pp. 421–452. (In Russ.)

Virolainen, M. N. “Mednyi vsadnik. Peterburgskaia povest” [“The Bronze Horseman. A Petersburg Tale”]. *Zvezda*, no. 6, 1999, pp. 208–219. (In Russ.)

Efimov, M. V. D. P. *Sviatopolk-Mirskii — istorik russkoi literatury i literaturnyi kritik. Gody emigratsii (1920–1932)* [D. P. Svyatopolk-Mirsky, *Historian of Russian Literature and Literary Critic. Years of Emigration (1920–1932): PhD Dissertation*]. St. Petersburg, 2017. 390 p. (In Russ.)

Koroleva, S. B. *Mif o Rossii v britanskoi kul'ture* [Myth of Russia in British Culture]. Moscow, Flinta Publ., 2023. 384 p. (In Russ.)

Koroleva, S. B. “‘Poltava’ v angliiskoi pushkinistike XX veka: kanon, paradigma, mekhanizmy” [“‘Poltava’ in English Pushkin Studies of the 20th Century: Canon, Paradigm, Mechanisms”]. *Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta im. N. A. Dobroliubova*, no. 2, 2024, pp. 148–161. <https://doi.org/10.47388/2072-3490/2024-66-2-148-161> (In Russ.)

Koroleva, S. B. “‘Pushkinskaia rech’ Dostoevskogo kak arkhitekst angliiskoi pushkinistiki XX veka” [“‘Pushkin Speech’ by Dostoevsky as an Archetext of English Pushkin Studies of the 20th Century”]. *Dostoevskii i mirovaia kul'tura*, no. 1, 2025, pp. 197–219. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2025-1-197-219> (In Russ.)

Meletinskii, E. M. *Poetika mifa* [Poetics of the Myth]. Moscow, Vostochnaia literatura RAN Publ., 2000. 407 p. (In Russ.)

Naumenko, G. A. “S Gomerom i s Mitskevichem (‘Mitskevichskii podtekst’ v tvorchestve Pushkina poslednikh let)” [“With Homer and with Mickiewicz (The ‘Mickiewicz Subtext’ in Pushkin’s Works of Recent Years)”]. *Studia Humanitatis*, no. 1–2, 2014. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/s-gomerom-i-s-mitskevichem-mitskevichskiy-podtekst-v-tvorchestve-pushkina-poslednikh-let> (Accessed 09 June 2025). (In Russ.)

Smit, Dzh. “Paraboly i paradoksy D. Mirskogo” [“Parabolas and Paradoxes of D. Mirsky”]. Mirskii, D. *O literature i iskusstve: stat'i i retsenzii, 1922–1937* [On Literature and Art: Articles and Reviews 1922–1937]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2014, pp. 5–32. (In Russ.)

Toibin, I. M. “Filosofsko-istoricheskaiia poema A. S. Pushkina ‘Mednyi Vsadnik’” [“Philosophical and Historical Poem by A. S. Pushkin ‘The Bronze Horseman.’”] *Kurskii pedagogicheskii institut. Uchenye zapiski*, issue 55, 1968, pp. 19–112. (In Russ.)

Tsiavlovskii, M. A. “‘On mezhdz nami zhil...’: (Po povodu stat'i V. Lednitskogo)” [“‘He Lived Among us...’ (Regarding the Article by W. Lednicky)”]. Tsiavlovskii, M. A. *Stat'i o Pushkine* [Essays About Pushkin]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1962, pp. 178–194. (In Russ.)

“Edmund Wilson, American Critic.” *Britannica*. Available at: <https://www.britannica.com/biography/Edmund-Wilson> (Accessed 14 April 2025). (In English)

Smith, Gordon S. D. S. *Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939*. Oxford, Oxford University Press Publ., 2000. 398 p. (In English)

Русская литература XVIII–XIX столетий
С. Б. Королева. «Медный всадник» в англо-американской пушкинистике XX в.:
символика пространства и сюжета

Smith, Gordon S. *The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii, 1922–1931*, ed. by G. S. Smith. Birmingham, University of Birmingham Publ., 1995. 238 p. (In English)

“Waclaw Lednicki, expert on Slavs; Ex-Professor at California and Harvard Dies at 76.” *The New York Times*, October 31, 1967, p. 45. Available at: <https://www.nytimes.com/1967/10/31/archives/waclaw-lednicki-expert-on-slavs-exprofessor-at-california-and.html> (Accessed 12 April 2025). (In English)

© 2025. И. А. Киселева

Государственный университет просвещения
г. Москва, Россия

Проблема выбора источника для публикации и реконструкции текстов стихотворений М. Ю. Лермонтова 1840 г.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 24-28-00207 «Лирика М. Ю. Лермонтова 1840 года:
текстология, аксиология, поэтика»)*

Аннотация: В статье ставится вопрос о выборе источника для публикации и проблеме аутентичности текста корпуса стихотворений М. Ю. Лермонтова 1840 г. Обозначены некоторые несоответствия в научных изданиях. Ставится под сомнение приоритет первого сборника стихотворений Лермонтова перед автографом и прижизненной журнальной публикацией. Предпочтение отдается тексту автографа, который наиболее полно выражает интонационно-смысловое содержание стихотворений. Особое внимание уделено критике редакторских конъектур в стихотворениях Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен...», «На светские цепи...», «Благодарность», «Есть речи — значенье...». Доказана необходимость пересмотра сложившейся традиции в их публикации. В качестве ведущего обосновывается принцип подлинности текста, который с большой осторожностью может быть скорректирован принципом грамматической правильности.

Ключевые слова: аутентичный текст, интонационно-смысловое целое, М. Ю. Лермонтов, автограф, стихотворения.

Информация об авторе: Ирина Александровна Киселева, доктор филологических наук, профессор, Государственный университет просвещения, ул. Фридриха Энгельса, д. 21 а, 105005 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0164-0371>

E-mail: 79099227849@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 11.08.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.10.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Киселева И. А. Проблема выбора источника для публикации и реконструкции текстов стихотворений М. Ю. Лермонтова 1840 г. // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 352–373. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-352-373>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 352–373. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 352–373. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Irina A. Kiselyova
State University of Education,
Moscow, Russia

The Problem of Choosing a Source for the Reconstruction and Publication of M. Yu. Lermontov's Poems of 1840

Acknowledgments: This work was carried out with financial support of the Russian Science Foundation, project no. 24-28-00207 “The Lyrics of M. Yu. Lermontov in 1840: Textual Criticism, Axiology, Poetics.”

Abstract: The article raises the question of choosing a source for the publication of M. Yu. Lermontov's 1840 poems. The research highlights discrepancies between the text of these sources and the poems' publication in scientific journals. It discusses the priority of the first collection of Lermontov's poems over an autograph and a lifetime magazine publication. Preference is given to the text of the autograph; the manuscript most fully expresses the intonation and the semantic content. Special attention is paid to criticism of editorial conjunctures in Lermontov's poems “How Often Surrounded by a Motley Crowd...”, “On Secular Chains...”, “Gratitude”, “There Are Speeches — Meaning...”. The article demonstrates the need to revise the established tradition in its publication. The principle of text's authenticity is substantiated, which can be adjusted by the principle of grammatical correctness.

Keywords: authentic text, intonation-semantic whole, M. Yu. Lermontov, autograph, poems.

Information about the author: Irina A. Kiseleva, DSc in Philology, Professor, State University of Education, Friedrich Engels St., 21 a, 105005 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-0035>

E-mail: 79099227849@yandex.ru

Received: August 11, 2025

Approved after reviewing: October 23, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Kiseleva, I. A. “The Problem of Choosing a Source for the Reconstruction and Publication of M. Yu. Lermontov's Poems of 1840.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 352–373. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-352-373>

Изучение творчества М. Ю. Лермонтова имеет много трудностей. Это связано как со сложностью его мышления, которое диалогично, так и с предметами вполне конкретными, а именно со скудостью документов, касающихся биографии Лермонтова. Многие письма поэта утрачены, автографы стихотворений сохранились не в полном объеме, воспоминания современников противоречивы и чаще всего содержат налет мифологизации. До сих пор актуальны вопросы датировки отдельных стихотворений, в самых авторитетных собраниях сочинений встречаются неточности разного характера, ведущее место среди которых отводится пунктуационным искажениям, часто нарушающим интонационный рисунок стихотворения. В большинстве случаев эти проблемы обусловлены выбором источника для публикации и редакторской правкой, также возможны ошибки переписчиков и наборщиков, редакторские конъектуры. В настоящее время по отношению к стихотворениям Лермонтова остро стоит вопрос точности передачи аутентичной пунктуации, выполняющей интонационно-смысловую роль, и собственно выбора источника для публикации. Проблему дефинитивности текстов поэта достаточно четко обозначил уже Б. М. Эйхенбаум в статье 1936 г. «О текстах Лермонтова»: «Положение и в самом деле было бы не очень сложным, если бы оно не было запутано целым рядом более или менее кустарных изданий, накопивших огромное количество всякого рода ошибок и недоразумений» [Эйхенбаум: 487]. Среди причин этого «и методологическая неопытность, и теоретическое неумение, и простая небрежность, и откровенная фальсификация (у П. А. Висковатова)» [Эйхенбаум: 487].

Сопоставление сведений об источниках публикации стихотворений 1840 г. и наличия на тот или иной период времени иных источников (о составе корпуса текстов 1840 г. см. подробнее: [Киселева, Поташова 2025]) по наиболее научным авторитетным изданиям [Лермонтов 1935–1937], [Лермонтов 1954–1957], [Лермонтов 2014] позво-

лило составить синопсис, представленный в Таблице 1. Редакторы используют для печати стихотворений 1840 г. следующие типы источников: публикация в первом и единственном прижизненном сборнике «Стихотворения М. Лермонтова» (в таблице 1 — *Лермонтов, 1840*), публикация в «Отечественных записках» (в таблице 1 — *ОЗ*), автограф, копия.

Таблица 1.

Название стихотворения	<i>Лермонтов М. Ю. ПСС в 5 т. М.; Л., 1935–1937</i>	<i>Лермонтов М. Ю. Сочинения в 6 т. М.; Л., 1954–1957</i>	<i>Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4 т. СПб., 2014</i>
«Как часто, пестрою толпою окружен...»	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: <i>ОЗ, 1840.</i> Автограф не известен.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: <i>ОЗ, 1840.</i> Автограф не известен.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: <i>ОЗ, 1840.</i> Автограф неизвестен.
«Посреди небесных тел...»	_____	Печатается по автографу, РГАЛИ. Впервые опубликовано в «Библиогр. записках», 1858.	Печатается по автографу из Берлинской библиотеки
«И скучно и грустно»	Печатается по автографу, РГАЛИ. Впервые: <i>ЛГ, 1840.</i> Перепечатано в: <i>Лермонтов 1840.</i>	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: <i>ЛГ 1840</i>	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: <i>ЛГ, 1840.</i>
«К портрету»	Печатается по беловому автографу, РГАЛИ. Впервые: <i>ОЗ, 1840.</i>	Печатается по: <i>ОЗ, 1840.</i> Имеется беловой автограф.	Печатается по: <i>ОЗ, 1840.</i> Имеется беловой автограф.
«И. П. Мятлеву»	Печатается по: <i>ОЗ, 1842.</i> Автограф не найден.	Печатается по: <i>ОЗ, 1842.</i> Имеется автограф.	Печатается по автографу, РГАЛИ. Впервые: <i>ОЗ, 1842.</i>
«На светские цепи...» [М. А. Щербатовой]	Печатается по автографу, ИРЛИ. Впервые: <i>ОЗ, 1842.</i>	Печатается по автографу, ИРЛИ. Впервые: <i>ОЗ, 1842.</i>	Печатается по: <i>ОЗ, 1842.</i>
«Воздушный корабль»	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: <i>ОЗ, 1840.</i> Автограф не найден.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Автограф не известен. Впервые: <i>ОЗ, 1840.</i>	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: <i>ОЗ, 1840.</i> Автограф неизвестен.

Название стихотворения	<i>Лермонтов М. Ю.</i> ПСС в 5 т. М.; Л., 1935–1937	<i>Лермонтов М. Ю.</i> Сочинения в 6 т. М.; Л., 1954–1957	<i>Лермонтов М. Ю.</i> Собр. соч. в 4 т. СПб., 2014
«Журналист, Читатель и Писатель»	Печатается по автографу, ИРЛИ. Впервые: ОЗ, 1840. Включено: <i>Лермонтов 1840.</i>	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: ОЗ, 1840.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: ОЗ, 1840.
«Соседка»	Печатается по автографу, ИРЛИ. Впервые: ОЗ, 1842.	Печатается по автографу, ИРЛИ. Впервые: ОЗ, 1842.	Печатается по автографу, ИРЛИ. Впервые: ОЗ, 1842.
«Пленный рыцарь»	Печатается по копии, ИРЛИ. Впервые: ОЗ, 1841.	Печатается по: ОЗ, 1841.	Печатается по: ОЗ, 1841.
«Над бездной адскою блуждая...» [М. П. Соломирской]	Печатается по: ОЗ, 1842. Автограф не найден.	Печатается по: ОЗ, 1842. Автограф не известен. Имеется копия.	Печатается по: ОЗ, 1842.
«Отчего»	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: ОЗ, 1840. Автограф не найден.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Автограф не известен, Впервые: ОЗ, 1840.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: ОЗ, 1840. Автограф неизвестен.
«Благодарность»	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Автографы в ИРЛИ, ГИМ.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Автографы в ИРЛИ, ГИМ. Впервые: ОЗ, 1840.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: ОЗ, 1840. Автографы в ИРЛИ, ГИМ.
«Из Гете»	Печатается по: <i>Лермонтов, 1840</i> Впервые: ОЗ, 1840. Автограф не найден.	Печатается по: <i>Лермонтов, 1840.</i> Автограф не известен. Впервые: ОЗ, 1840.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Впервые: ОЗ, 1840. Автограф неизвестен.
«Тучи»	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Имеется копия. Автограф не известен.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Имеется копия. Автограф не известен.	Печатается по: <i>Лермонтов 1840.</i> Автограф не известен.
«Валерик»	Печатается по черновому автографу, НИОР РГБ.	Печатается по черновому автографу, НИОР РГБ.	Печатается по черновому автографу, НИОР РГБ.
«Есть речи — значенье...»	Печатается по: ОЗ, 1841. Автограф в ИРЛИ.	Печатается по: ОЗ, 1841. Автограф в ИРЛИ.	Печатается по: ОЗ, 1841. Автограф в ИРЛИ.

Название стихотворения	<i>Лермонтов М. Ю.</i> ПСС в 5 т. М.; Л., 1935–1937	<i>Лермонтов М. Ю.</i> Сочинения в 6 т. М.; Л., 1954–1957	<i>Лермонтов М. Ю.</i> Собр. соч. в 4 т. СПб., 2014
«Завещание»	Печатается по: ОЗ, 1841. Автограф не известен.	Печатается по: ОЗ, 1841. Автограф не известен.	Печатается по: ОЗ, 1841. Автограф не известен.

Сверка изданий показывает, что сборник «Стихотворения М. Лермонтова» явился ведущим источником для публикации произведений. Сборник был издан в 1840 г. тиражом 1000 экземпляров при непосредственном участии А. А. Краевского и сразу же получил высокую оценку. Однако сведений о том, как велась подготовка этого издания (одобренного цензором А. Никитенко 13 августа 1840 г., во время нахождения поэта на Кавказе), насколько был причастен к этой работе сам Лермонтов, был ли он знаком с предпечатным вариантом, не сохранилось. Из написанного к тому времени «несравненно более полтора-раста страничек» (30 поэм и порядка 400 стихов) сборник объединил только 2 поэмы («Мцыри» и «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова») и 26 стихотворений 1837–1840 гг. Из вошедших в первый прижизненный сборник, к 1840 г. относятся 9 стихотворений: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «И скучно и грустно...», «Отчего», «Благодарность», «Из Гете», «Воздушный корабль», «Журналист, Читатель и Писатель», «Пленный рыцарь», «Тучи». Два из них «1-е января» <«Как часто пестрою толпою окружен...»> и «И скучно и грустно...» были опубликованы ранее, первое в «Отечественных записках» (1840, № 1), второе в «Литературной газете» (1840, № 6). Публикации не идентичны. Расстановка знаков препинания была довольно вариативна и не всегда соответствовала первоисточнику. Четыре стихотворения из девяти имеют автографы («И скучно и грустно...», «Отчего», «Благодарность», «Журналист, Читатель и Писатель»), пунктуация некоторых из них также несколько разнится от текста прижизненного сборника.

Н. В. Измайлов отмечает, что «первым и основным источником окончательного (основного) текста издаваемого произведения являются прижизненные авторские издания» [Измайлов: 557], однако именно рукопись является ценнейшим первоисточником, позволяющим

очистить текст от искажений, опечаток, редакторских вмешательств. А. А. Краевский очень бережно относился к рукописям Лермонтова, ему принадлежал самый большой корпус автографов поэта. Рукопись в качестве основного источника декларируется в издании под редакцией Б. М. Эйхенбаума, в котором, несмотря на существующие первые прижизненные публикации, стихотворения «И скучно и грустно...», «Журналист, Писатель и Читатель», «К портрету», «На светские цепи...» указаны как публикующиеся по автографам. Исключение было сделано для стихотворения «Есть речи — значенье...», напечатанного по первой публикации в «Отечественных записках». В качестве источника для публикации Б. М. Эйхенбаум обозначает и копии, как в случае с «Пленным рыцарем», хотя эта копия и идентична публикации в «Отечественных записках».

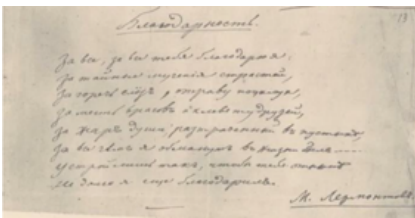
При том, что к изданию под редакцией Б. М. Эйхенбаума есть некоторые вопросы, нельзя не признать его желание приблизиться к аутентичному тексту и понять Лермонтова. Так, например, публикация Б. М. Эйхенбаумом стихотворения «Журналист, Писатель и Читатель» представляется намного точнее отражающей интонационный рисунок, выстроенный Лермонтовым, чем в других изданиях. Редактор сохраняет исконные восклицательные и вопросительные знаки («Так мы их слышать не хотим!» [Лермонтов 1935–1937. 2: 72]) вместо поставленных в первом издании и сохраненном в дальнейшем многоточия, искажающего саму суть высказывания. В стихе «Хотя б забавно было свету! — » [Лермонтов 1935–1937. 2: 72] пунктуационное сращение, интонационно предполагающее дальнейшее пояснение, что и наблюдается в следующем стихе, сохранено только Б. М. Эйхенбаумом, тогда как в последующих изданиях на этом месте обнаруживается иное сращение «!...» [Лермонтов 1954–1957. 2: 147; Лермонтов 2014: 318], уже не поясняющего, а скорее прерывающего характера. Не сохранены в издании под редакцией Б. М. Эйхенбаума и прописные буквы в названии персонажей диалога в названии, что характерно для всех послереволюционных научных изданий. Представляется, что прописную букву следует восстановить, так как это соответствует не только нормам дореволюционного правописания, но важности персонафикации.

Следует отметить, что в издании под редакцией Б. М. Эйхенбаума даже при декларации приоритета автографа полноты соответствия

с ним часто нет, это касается и публикации стихотворения «Журналист, Читатель и Писатель», и других стихотворений, указанных как публикующихся по первоисточнику. Однако следует отдать ученому должное: при наличии автографа Б. М. Эйхенбаум почти всегда выбирал именно его. Только для двух стихотворений в издании под его редакцией сделано исключение: не по автографу, при его наличии, публикуются стихотворения «Благодарность» и «Есть речи — значение...», хотя все же редактор с автографами знакомился, что подтверждают изменения, внесенные в текст по сравнению с текстом первой публикации.

Стихотворение «Благодарность», как отмечает Б. М. Эйхенбаум, печатается по прижизненному сборнику, однако редактор пытается произвести «селекцию текстов», например, он ставит (абсолютно верно) после 4 стиха запятую, как в автографе, тогда как в прижизненном сборнике стоит знак точки с запятой. Знак запятой после 4 стиха сохраняется лишь при издании стихотворения Б. М. Эйхенбаумом (см. Таблица 2).

Таблица 2

Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: в 5 т. М.; Л., 1935–1937. Т. 2. С. 81.	Лермонтов М. Ю. Благодарность. Автограф. РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 15. Л. 13.
<p style="text-align: center;">Благодарность</p> <p>За всё, за всё тебя благодарю я: За тайные мучения страстей, За горечь слез, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей, За жар души, растроченный в пустыне, За всё, чем я обманут в жизни был — — — — Устрой лишь так, чтобы тебя отныне Недолго я еще благодарил.</p>	

При некоторой критике предлагаемого Б. М. Эйхенбаумом варианта текста заслуживает особого внимания одно оригинальное решение для передачи эмоционального состояния Лермонтова в момент написания текста. Редактор пытается воспроизвести лермонтовскую графику и вместо традиционной замены многоточия в виде пяти точек на многоточие в виде трех точек в конце 6 стиха (что встречается во всех иных изданиях стихотворения) ставит четыре последовательных тире, хотя

в рукописи можно увидеть пять последовательных коротких (?) тире и точку. Можно прочесть эти знаки и как знаки математические — минусы. Примечательно, что их количество соответствует пяти стихам, в которых названы конкретные блоки причин, которые привели поэта к состоянию утраты жизненной энергии, желанию прекратить жизненные мытарства: 1) «за тайные мучения страстей»; 2) «за горечь слез, отраву поцелуя»; 3) «за смех врагов и клевету друзей» 4) «за жар души, растраченный в пустыне»; 5) «за все чем я обманут в жизни был» [Лермонтов 1935–1937. 2: 81].

Насколько тире в данном случае выполняют интонационную функцию знаков, можно ли их заменить многоточием, как делают большинство редакторов, или же устранив, оставить точку (что представляется целесообразным, но не имеющим прецедента в издании стихотворения «Благодарность») ответить сложно, но смысловую нагрузку, даже на уровне графики, поставленные тире, безусловно, несут значимую. В подготовленной в конце XVIII в. «Российской грамматике» А. А. Барсова тире или «молчанка», означающая прерывание речи, паузу, зафиксировано, что она выполняла, в том числе, функцию «приготовления читателя к какому-нибудь чрезвычайному и неожиданному слову или действию» [Барсов: 76], что можно наблюдать и в данном случае. Наверное, логичнее все же отказаться от многоточия. «Многоточие есть апелляция к подтексту» [Гачев: 269], тогда как перед нами в действии «принцип исчерпывающего деления» [Пумпянский: 204]; поэт максимально полно обозначил все то, что явилось причиной его трагического состояния и дерзостно обращается к Богу с просьбой о смерти. Если руководствоваться нормами пунктуации современного русского языка, то в конце первого предложения (6 стиха) следует поставить знак точки, после которого будет стоять тире, они соединяют два самостоятельных предложения, где второе резко противостоит первому, являет неожиданный вывод. Однако для передачи полноты авторского замысла вернее оставить авторскую графику — пять тире и точку.

То есть Б. М. Эйхенбаум не в комментариях, но в практике издания выражает сомнения в верности выбора прижизненного сборника как источника для публикации, даже несмотря на то, что в примечаниях декларирует свое следование именно тексту сборника. Следующие советские научные издания текст стихотворения воспроизводят по сборнику, хотя целесообразность этого может быть подвергнута сомнению.

Авторское интонационно-смысловое целое стихотворения «Благодарность» в полноте не передается текстом из прижизненного сборника. Относительно автографа в тексте из прижизненного сборника можно наблюдать пунктуационные мены в 4, 5 (?) и 6 стихах, что сохраняется в изданиях 1954–1957, 2014 гг. Изменение в 5 стихе (?) — запятая вместо видимой в автографе точки с запятой — представляется оправданным. Это может быть объяснено не только правилами пунктуации: постановка запятой перед причастным оборотом, находящимся в постпозиции по отношению к определяемому слову («за жар души, растрченный в пустыне» [Лермонтов 1954–1957. 2: 159]) оправдана, но и иными причинами. Вероятно, что и сам Лермонтов в автографе ставит запятую, а знак точки с запятой прочитывается в силу помарки в автографе, тем более что обычно в его рукописях при постановке точки с запятой расстояние между двумя знаками меньше и высота знака равна высоте букв или немногим меньше (это хорошо видно в автографе стихотворения «Благодарность» при взгляде на двоеточие, стоящего в конце первого стиха). Целесообразность мены в 6 стихе, а именно постановки запятой после слова «все» («за все чем я обманут в жизни был» [Лермонтов 1954–1957. 2: 159]) также спорно, хотя и соответствует нормам пунктуации. Очевидно, что редакторы рассматривают часть 6 стиха как придаточное предложение, но интонационно-смысловое целое аутентичного текста стихотворения позволяет понять и отсутствие знака. Слово «чем» не столько несет в себе интенцию служебной части речи, сколько стремится к определенности, образуя своего рода сочетание «за все чем», находящееся в одной плоскости с предыдущими пятью анафорическими стихами, перечисляющими причины горечи поэта. После 4 стиха при первом и последующих авторитетных изданиях в конце стиха («за месть врагов и клевету друзей» [Лермонтов 1954–1957. 2: 159]) ставится точка с запятой, тогда как в автографе стоит оправданная синтаксически и эмоционально запятая.

Примечательно, что в автографе Лермонтова употребляется устаревшая форма слова «поцалуй». В научных послереволюционных изданиях ее впервые воспроизводят (в соответствии с автографом и с публикацией в первом прижизненном сборнике) в издании 2014 г. [Лермонтов 2014: 326]. В языке художественной литературы слово «поцалуй» употреблялось в пушкинско-лермонтовскую эпоху наряду со словом «поцелуй», хотя последняя форма была более частотна. В «Ка-

питанской дочке» Пушкин неоднократно использует именно эту норму написания, например: «Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплавав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцаловала» [Пушкин 8: 374]. Использование лексико-фонетического архаизма «поцалуй» в контексте содержания текста прибавляет стихотворению градус высокого трагизма, рождает евангельские аллюзии — отсылки к поцелую Иуды, предавшего Христа.

Еще один сложный вопрос касается употребления строчной или прописной буквы в местоимении «тебя». Передавая в этом стихотворении духовную скорбь от развращенного грехом падшего мира и приходя к состоянию ропота на данную ему жизнь, поэт в автографе пишет обозначающее Бога местоимение «тебя» со строчной буквы. Казалось бы, учитывая момент личного обращения поэта к Богу, следует признать необходимость корректировки и употреблять прописную букву. Возможно, что отказ Лермонтова и редактора прижизненного сборника от прописной буквы был вызван цензурными соображениями, хотя могут быть названы и иные причины. Вероятно, что в сложнейшем духовном состоянии поэт не решается упрекнуть Бога в Его Личности, которая априори страдает своему творению. Этот вопрос допустимо оставить открытым.

Проблемным представляется и особенность написания в 6 стихе наречия «недолго». Все приведенные выше издания сочинений Лермонтова пишут наречие «недолго» в одно слово, руководствуясь первой публикацией, однако в автографе написание раздельное «не долго»¹. К наречию «недолго» в случае его слитного написания можно подобрать синоним, например, «редко», «чуть-чуть», что искажает смысл текста. Раздельное написание наречия с отрицательной частицей «не долго» допускается при явном или скрытом противопоставлении, последнее в рассматриваемом стихотворении не просто присутствует, но определяет специфику текста с его доминирующим пафосом отрицания, поэтому публикация по автографу не просто позволяет воссоздать аутентичный текст, но и точнее почувствовать присущие ему смыслы.

Таким образом, ни один из опубликованных на сегодняшний день вариантов стихотворения «Благодарность» не может считаться дефи-

¹ Лермонтов М. Ю. Автографы и авторизованные копии. ОР ИРЛИ РАН. Ф. 524. Оп. 1. № 15. Л. 13

нитивным (в данной статье мы опустим вопрос старой орфографии, хотя он также представляется важным). Стихотворение следует печатать в соответствии с автографом, в котором отражены все интонационно-смысловые оттенки его содержания.

В случае отсутствия автографа стихотворения, но наличия его публикации и в первом сборнике, и в «Отечественных записках», преимущество в выборе источника для публикации всегда отдавалось сборнику. Таковы публикации стихотворений «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Отчего», «Из Гете», «Воздушный корабль». При отсутствии автографа выбор в качестве основного источника текста, опубликованного в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова», история создания которого остается недостаточно проясненной, а не в «Отечественных записках» представляется не всегда верным. Публикация в «Отечественных записках» скорее всего велась с автографа или с авторитетного списка, публикация в сборнике более вероятно осуществлялась именно по журналу, на это работает и тот аргумент, что А. А. Краевский вряд ли утерял рукопись при подготовке к сборнику, тогда как в свете подготовки номера журнала она могла быть потеряна. При печати стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», открывающего 1840 г., и в журнале, и в сборнике присутствуют знаки препинания, которые могли быть поставлены не Лермонтовым. Так, в журнальной публикации избыточными кажутся обособления, снятые затем при публикации стихотворения в сборнике: запятая, открывающая, вероятно, мыслимую редактором, уточняющую группу слов после 7 стиха (уточнение обособлено только с одной стороны), и запятая после слова «с небрежной» при характеристике рук светской красавицы («7 Когда касаются холодных рук моих, // 8 С небрежной, смелостью красавиц городских // 9 Давно бестрепетные руки» [Лермонтов 1840b: 140]). Излишним представляется и обособление в 28 стихе («28 С глазами, полными лазурного огня» [Лермонтов 1840b: 140]).

Нарушение синтаксической системы позволяет думать, что рукопись была несколько неверно прочитана, возможно, за знаки препинания приняты небольшие помарки, но нелогичность знаков может свидетельствовать и об отсутствии работы над текстом профессионального редактора. Эти ошибки исправляет редактор прижизненного сборника, но допускает ряд других неточностей. В 23 стихе («23 Глядит вечерний луч, — и желтые листы» [Лермонтов 1840b: 140]) устранивается

знак тире, добавляющий тексту экспрессии, жизненности, зато редакция сборника добавляет тире между 31 и 32 стихами («31 Так царства дивного всесильный господин – 32 Я долгие часы просиживал один» [Лермонтов 1840а: 87]), постановка которого может быть обоснована именно авторской волей, текст сам по себе грамматически его не требует. При этом редактор сборника снимает статус уточнения (убирая выделение запятыми) у приложения («царства дивного всесильный господин»), что представляется логически верным: слово «так» в данном случае выступает как наречие образа действия («Так <...> я долгие часы просиживал один»).

Учитывая, что Лермонтов зачастую мог опускать точки в своих стихах как нечто очевидное, но очень внимательно расставлял такие знаки препинания, как двоеточие, точку с запятой, тире, многоточие, вопросительные и восклицательные знаки, представляется более достоверной постановка в конце 23 стиха в варианте «Отечественных записок» точки с запятой (23 «Шумят под робкими шагами;» [Лермонтов 1840b: 140]), тогда как вариант сборника подразумевает точку. Одновременно в 18 стихе («И сад с разрушенной теплицей;») в редакции происходит замена точки на точку с запятой, тогда как поэт закончил свою мысль и далее пойдет следующая ступень ее развития.

При отдельных верных правках редактор сборника все же не всегда следует очевидной логике: не обособлено уточнение (это обособление есть в варианте «Отечественных записок») — запятая между 5 и 6 стихами («5 Мелькают образы бездушные людей // 6 Приличьем стянутые маски» [Лермонтов 1840: 85]), при этом 6 стих заканчивается точкой, что разрывает синтаксическое целое и ломает логику мысли лирического поэта. Предикативная основа 1–12 стихов расположена в 11 стихе («ласкаю я»), тогда как 1–10 стихи являют собой соподчиненные обстоятельства времени и условия, связанные с главной частью предложения союзами «когда» в 2 («Когда передо мной, как будто бы сквозь сон...») и 7 стихах («Когда касаются холодных рук моих...»).

Изменение коснулись и финального стиха. В сборнике стоит пунктуационное сращение — восклицательный знак и многоточие, при этом в тексте стихотворения больше нет восклицаний (ни в одном издании), оно в целом носит рефлексивный, а не патетико-декламационный характер. Стихотворение содержит два смысловых пласта: желаемое и действительное. Мечтаемое имеет значение процессуальности,

что в том числе выражается в глаголах несовершенного вида: «лечу», «вижу», «думаю», «ласкаю», «просиживал». Идиллические картины малой родины противопоставлены свету, что на языковом уровне подчеркнуто залоговыми конструкциями — субъектная действительная конструкция с активным «я» представляет ментальное пространство, пассивная бессубъектная конструкция обозначает пространство здесь и сейчас. Настоящее связано с миром физического пребывания, но бездействия лирического поэта, пассивом выражается духовно-душевное состояние: «окружен», «касаются», «спугнет». Последнее предложение являет собой попытку изменить ситуацию («смутить веселость их»), но при этом оно фиксирует не действие, а длежащее намерение («хочется смутить») с ее повествовательным модусом. Хотя, конечно, постановка восклицательного знака с многоточием может быть допустима исходя из содержания последнего предложения. Аргументом против восклицания может послужить и дневниковая установка текста, который снабжен пометой в правом верхнем углу (соблюдается в обоих прижизненных изданиях): «1-е января». Дневниковый характер стихотворения подразумевает ситуацию размышления, интонационным средством выражения которой является многоточие.

Отличием изданий является и именование текста, в «Отечественных записках» справа вверху стоит вариант эпитафия «1-е января», и стихотворение логично читается под заголовком «Как часто пестрою толпою окружен...», в прижизненном сборнике эпитафия «1-е января» хотя и смещен несколько вправо относительно классической центрированности заголовка, но в оглавлении сборника заглавие обозначено как «1-е января», что смещает читательское восприятие в сторону описания конкретного дня, а не основной идеи стихотворения, связанной с противопоставлением жизни истинной и мнимой.

Отличием публикаций является и строфическая организация текста. Если в «Отечественных записках» перед нами сплошной текст, то в сборнике он разделен на шестистишия. При разделении стихотворения на строфы Лермонтов всегда в рукописи оставлял заметные пробелы между ними, зачастую даже нумеруя строфы. Однако текст 42 стиха без строфической организации сложен для восприятия, возможно, отсутствие строфики было связано с желанием уместить весь текст на одну страницу журнала, тогда как в сборнике такой тенденции нет. Текст стихотворения логически, по смыслу и интонационно делит-

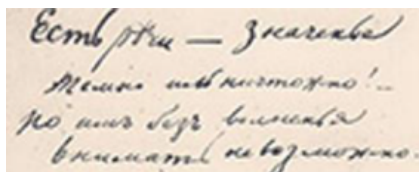
ся на шестистишия с нормированной рифмовкой (ааБвБв). Вариант «Отечественных записок» в силу соблюдения логики развития мысли поэта представляется более оправданным в качестве источника публикации, но правка откровенных синтаксических ошибок и разделение текста на строфы согласно норме репрезентации поэтического текста приемлемы.

Ряд стихотворений — «И. П. Мятлеву, «На светские цепи...» [М. А. Щербатовой], «К портрету», «Есть речи — значенье...», «Посреди небесных тел...» — известны по автографам и журнальным публикациям. Стихотворения «К портрету», «Есть речи — значенье...» были напечатаны при жизни поэта, остальные печатались по обнаруженным автографам позднее. В первом случае в качестве источника для собрания сочинений всеми издателями выбиралась не рукопись, а первая прижизненная публикация, отмеченная редакторской правкой, породившей дальнейшие неточности при публикации. Так, например, в стихотворении «К портрету» правка связана с отсутствием разграничения форм личного («ее») и притяжательного («ея») местоимений, изменением или привнесением пунктуационных знаков, накладывающих «штампы на восприятие стихотворения» [см. Киселева, Поташова 2024а]. Аналогично обстоят дела и со стихотворением «Есть речи — значенье...», при публикации которого по «Отечественным запискам» фиксируется «текст, соответствующий редакции позднего автографа ИРЛИ» [Лермонтов 2014: 628]. Однако сопоставление первой строфы в автографе и в публикации из «Отечественных записок» выявляет пунктуационные искажения смыслового характера (см.: Таблица 3).

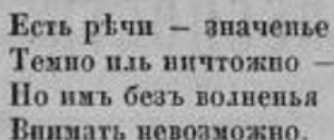
Таблица 3.

РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 15. Л. 20

ОЗ. 1841. Т. 14. № 1. Отд. 3. С. 2



Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно!...
Но имя без волненья
Внимать невозможно.



—
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно —
Но имя без волненья
Внимать невозможно.

Первая строфа в автографе стихотворения «Есть речи — значение...» построена в характерной для Лермонтова модальности размышления, первое простое предложение заканчивается пунктуационным сращением восклицательного знака и многоточия, эксплицирующим одновременно эмоцию и открытый характер размышлений, продолжающийся как во втором предложении этой строфы, так и во всех последующих строфах предложения. В «Отечественных записках» семантически весомое пунктуационное сращение заменяется на немотивированное контекстуально обособление, разрушающее исконное построение строфы из двух предложений и преобразующее ее в одно предложение с уточняющим приложением. Тем самым искажается суть этого первого предложения, в котором вторая часть («значение темно иль ничтожно» [Лермонтов 1841: 2]) не только выполняет функцию пояснения, но оказывается интонируемым смысловым центром высказывания. И если Б. М. Эйхенбаум только заменяет сращение восклицания с многоточием одним восклицательным знаком, сохраняя при этом членение строфы на два предложения [Лермонтов 1935–1937: 65], то в последующих изданиях редакторы возвращаются к варианту «Отечественных записок» [Лермонтов 1954–1957. 2: 144], дополняя и этот вариант излишней запятой («Есть речи, — значение // Темно иль ничтожно —» [Лермонтов 2014: 630]).

Традиционно по автографу печатается стихотворение «На светские цепи...» <М. А. Щербатовой>¹, но текст содержит грамматические правки редакторов, постановка части из которых вполне объяснима, их опущение Лермонтовым могло быть связано со скорописью, однако некоторые все же следует подвергнуть сомнению. Сравнение публикаций стихотворения с рукописью выявляет излишнюю запятую после 11 стиха («11 Как ночи Украины // 12 В мерцании звезд незакатных // 13 Исполнены тайны // 14 Слова ее уст ароматных,» [Лермонтов 1935–1937. 2: 63; Лермонтов 1954–1957. 2: 139; Лермонтов 2014: 324]). Постановка запятой не противоречит правилам современного русского языка, начиная с издания 1937 г., запятая всегда имела место, но ее нет ни в автографе, ни в первом издании «Отечественных записок» [Лермонтов 1842: 126], и сама постановка не является строго обязательной, так как в данном контексте союз как выполняет функцию не сравне-

¹ РГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. № 48. Л. 1.

ния, а уподобления. Та же ситуация в 7 строфе: запятая после 28 стиха, поставленная вопреки воле автора во всех изданиях, начиная с 1937 г., представляется излишней (28 Как племя родное 29 У чуждых опоры не просит 30 И в городом покое 31 Насмешку и зло переносит; [Лермонтов 1935–1937. 2: 63]). Вольностью представляется и постановка точки с запятой после 14 стиха, тогда как Лермонтов не ставит никаких знаков, но логично поставить запятую, тем более отсутствие может быть обусловлено скорописью (например, точки в конце предложения в автографах Лермонтов часто опускает, отсутствие запятой может быть обусловлено некоторой невнимательностью, связанной с очевидностью знака и поглощенностью поэта энергией стиха), но постановку точки с запятой, предполагающую значительную паузу, Лермонтов не игнорировал. Пятая строфа в собраниях сочинений Лермонтова воспроизводилась по автографу, она не имела никаких знаков препинания, кроме точек в конце, что в данном случае не представляется оправданным, запятая должна разделять 20 и 21 стих, так как разделяет два простых предложений в составе сложного. Издание 2014 г. этот недочет исправляет («19 И зреющей сливы // 20 Румянец на щечках пушистых, // 21 И солнца отливы // 22 Играют в кудрях золотистых» [Лермонтов 2014: 324]), но редакторы оставляют без внимания необходимость восстановления авторской воли в 8 строфе. После 35 стиха Лермонтов ставит тире, знак тире сохраняют и при издании стихотворения в «Отечественных записках», но начиная с академического издания 1935–1937 гг., тире заменяют запятой («35 Полюбит не скоро — 36 Зато не разлюбит уж даром» [Лермонтов 1935–1937. 2: 63]). Конструкцию с союзом «зато» Лермонтов употребляет в близком по времени создания к стихотворению «На светские цепи...» стихотворении «Портрет» («Понять невозможно ее, // Зато не любить невозможно!» [Лермонтов 1935–1937. 2: 86]), но ставит там знак запятой, вероятно, редакторы руководствовались и этим фактом. Однако утрата тире и замена ее запятой в стихотворении «На светские цепи...» ослабляет экспрессивность и категоричность лермонтовского поэтического высказывания, потому целесообразно в данном случае сохранять авторскую пунктуацию, тем более что это не противоречит нормам постановки знаков препинания в сложносочиненном предложении.

Анализ изданий показал, что лишь при отсутствии прижизненной публикации стихотворения издатели обращались к первоисточнику.

Однако при сравнении первоисточника с публикацией были выявлены некоторые редакторские конъектуры, это особенно актуально в случае со стихотворением «Валерик», сложности публикации которого уже были подробно рассмотрены в наших исследованиях. Например, восклицательный знак в конце пятого стиха «Что помню вас? — но, боже правый!» во всех изданиях был заменен на запятую, тем самым фразеологизм, важность смысла которого подчеркивается восклицанием, переводится на уровень малозначимого вводного словосочетания¹. Редакторы производили «селекцию» автографа и самаринского списка (см. подробнее: [Киселева, Поташова 2024b; Киселева, Поташова 2024c], что целесообразно может быть поставлено под сомнение. В случае наличия автографа более корректно соблюдать авторскую лексику, даже если по каким-либо причинам она кажется не совсем соответствующей привычной сочетаемости слов. Подобный подход должен распространяться и на интонационно-смысловое членение поэтической речи. В случае со стихотворением «Соседка» также во всех изданиях присутствует корректировка окончаний слов и изменения пунктуации, связанные с переносом запятых или добавлением лишних знаков [см.: Поташова]. Как показывает проведенный анализ, зачастую заявление редакторов о печати по автографу требует дополнительной сверки, так как редакторы нечасто, но допускают неоправданную «селекцию текстов», конъектурные изменения, тем самым отнимая у текста тот смысл, который вкладывал Лермонтов. Нельзя отрицать, что пунктуация, даже если она является авторской, «создает художественно значимый и эстетически выразительный ритм повествования» [Захаров: 356]. Как верно говорил В. Е. Чернышов, «Пунктуация — дополнение языка, и знаками препинания автор выражает оттенки мысли, не выраженные словами» [Чернышев: 134]. И сегодня встает вопрос о том, что пунктуация Лермонтова нуждается не в исправлении, а в изучении и восстановлении.

При наличии автографа необходимо руководствоваться рукописью поэта, которая отражает тончайшие интонационные смысловые нюансы его внутреннего мира. По автографу рекомендуется воспроизводить такие стихотворения Лермонтова 1840 г. как «Посреди небесных тел...», «И скучно и грустно...», «К портрету», «На светские цепи...», «Журналист, Читатель и Писатель», «Соседка», «Благодарность», «Валерик»,

¹ НИОР РГБ. Ф. 500 (Лермонтов). Ед. хр. 14. Л. 1.

«Есть речи — значенье...». Отдельной проблемой является выбор автографа при наличии нескольких авторских рукописей — это касается, прежде всего, стихотворения «Посреди небесных тел...», который по традиции печатался по автографу из тетради С. А. Рачинского¹, но в издании 2014 г. напечатан по тетради из Берлинской библиотеки². Сложной текстологической проблемой представляется вопрос о публикации стихотворений, автограф которых неизвестен — «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Пленный рыцарь», «Над бездной адскою блуждая...» [М. П. Соломирской], «Отчего», «Из Гете», «Тучи», «Завещание». Здесь необходимо делать выбор между первой публикацией в «Отечественных записках» и публикацией в прижизненном сборнике. При наличии публикации в «Отечественных записках», предшествующей публикации в сборнике, как показывает анализ текста, следует все же ей отдавать преимущество, хотя ее авторитет не представляется безусловным. При условии публикации стихотворений 1840 г. только в прижизненном сборнике (как со стихотворением «Тучи») или в журнале (стихотворение «Завещание» опубликовано при жизни поэта в № 2 «Отечественных записок» за 1841 г.) и отсутствия автографов вопрос выбора не может быть поставлен, даже если у редактора есть сомнения в аутентичности текста. Последнее касается стихотворения «Завещание», список которого, сделанный рукою Н. В. Гоголя³, отличается от первой публикации расстановкой знаков препинания.

Вольности редакторов, являющихся современниками поэта, можно объяснить достаточно лояльным отношением Лермонтова к редакторским правкам, его молодостью и частой удаленностью от столицы в связи со службой на Кавказе. Неточности в академических изданиях XX–XXI вв. объясняются как следованием традиции публикации, так и реформой русской орфографии и пунктуации, в связи с чем, вероятно, казалось возможным несколько «поправить» поэта. Поставленная в статье научная проблема не может считаться окончательно решенной, рамки научной статьи не позволяют представить все конкретные про-

¹ РГАЛИ. Ф. 427 (Рачинские). Оп. 1. Ед. хр. 986. Л. 66.

² Staatsbibliothek zu Berlin. Preussische Kulturbesitz. Handschriftenabteilung. Sammlung Autographa, acc.ms. 1957.18 — беловой, на листке из альбоме К. К. Павловой (Яниш).

³ НИОР РГБ. Ф. 74 (Гоголь). К. 2. Ед. 47.

блемы издания текстов 1840 г., но определяют принципы отбора источников для публикации. Основным принципом при публикации наследия Лермонтова должен быть принцип подлинности текста, который с чрезвычайной осторожностью может быть скорректирован принципом грамматической правильности при невозможности прочтения рукописи текста, при очевидном пропуске автором знаков препинания (особенно это касается опускаемой автором очевидной точки в конце строфы), при явном нарушении редакторами первых изданий (в том числе прижизненных) грамматики текста, не имеющего автографа.

Список литературы

Источники

- Барсов А. А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. М.: Изд-во МГУ, 1981. 776 с.
- Стихотворения М. Лермонтова. СПб.: Тип. Ильи Глазунова и К°, 1840. 108 с.
- Лермонтов М. Ю. «Как часто пестрою толпою...» // Отечественные записки. 1840. № 1. Отд. 3. С. 140.
- Лермонтов М. Ю. «Есть речи — значенье...» // Отечественные записки, 1841. № 1. Отд. 3. С. 2.
- Лермонтов М. Ю. «На светские цепи...» // Отечественные записки. 1842. Т. 20. № 1. Отд. 1. С. 126.
- Лермонтов М. Ю. Сочинения в 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957.
- Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: в 5 т. М.; Л.: Academia, 1935–1937.
- Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. СПб: Изд-во Пушкинского Дома, 2014.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.

Исследования

- Гачев Г. Д. Развитие образного сознания в литературе // Гачев Г. Д. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер. М.: АН СССР, 1962. Кн. 1. С. 186–311.
- Захаров В. Н. Канонический текст Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского: сб. научных трудов / отв. ред. В. Н. Захаров; Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т., 1994. С. 355–359.
- Измайлов Н. В. Текстология // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л.: Наука, 1966. С. 555–610.
- Киселева И. А., Поташова К. А. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840): поэтика текста и образа // Проблемы исторической поэтики. 2024а. Т. 22, № 2. С. 25–49. <https://doi.org/10.15393/j9.art.2024.13463>
- Киселева И. А., Поташова К. А. Текстологическая критика стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик» (1840) // Научный диалог. 2024б. Т. 13, № 7. С. 276–292. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2024-13-7-276-292>

Киселева И. А., Поташова К. А. Самаринский список стихотворения Лермонтова «Валерик» (1840): история и значение // Отечественная филология. 2024с. № 5. С. 84–94. <https://doi.org/10.18384/2949-5008-2024-5-84-94>

Киселева И. А., Поташова К. А. Формирование состава корпуса стихотворений М. Ю. Лермонтова 1840 года: проблемы источников и датировки // Отечественная филология. 2025. № 3. С. 98–110. <https://doi.org/10.18384/2949-5008-2025-4-98-110>

Поташова К. А. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Соседка» (1840): текстологическая критика и интерпретация // Язык и текст. 2025. № 3. С. 98–110. <https://doi.org/10.18384/2949-5008-2025-4-98-110>

Пумпянский Л. В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1982. Т. 10. С. 204–215.

Чернышев В. И. Заметки о знаках препинания у Пушкина // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб.: Имп. Акад. наук, 1907. Вып. 5. С. 130–139.

Эйхенбаум Б. М. О текстах Лермонтова // Литературное наследство. М.: Журнално-газетное объединение, 1935. Т. 19/21. С. 485–501.

References

Gachev, G. D. “Razvitie obraznogo soznaniia v literature” [“The Development of Figurative Consciousness in Literature”]. Gachev, G. D. *Teoriia literatury. Osnovnye problemy v istoricheskom osveshchenii. Obraz, metod, kharakter* [The Theory of Literature: Key Problems in Historical Interpretation. Image, Method, and Character], book 1. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1962, pp. 186–311. (In Russ.)

Zakharov, V. N. “Kanonicheskii tekst Dostoevskogo” [“The Canonical Text of Dostoevsky”]. Zakharov, V. N., editor. *Novye aspekty v izuchenii Dostoevskogo: sbornik nauchnykh trudov* [New Aspects in the Study of Dostoevsky: A Collection of Scientific Papers]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, pp. 355–359. (In Russ.)

Izmailov, N. V. “Tekstologiiia” [“Textual Criticism”]. *Pushkin: Itogi i problemy izucheniia* [Pushkin: Results and Problems of Study]. Moscow, Leningrad, Nauka Publ., 1966, pp. 555–610. (In Russ.)

Kiseleva, I. A., and K. A. Potashova. “Stikhotvorenie M. Iu. Lermontova ‘K portretu’ (1840): poetika teksta i obraza” [“M. Yu. Lermontov’s Poem ‘To the Portrait’ (1840): Poetics of Text and Image”]. *Problemy istoricheskoi poetiki*, vol. 22, no. 2, 2024a, pp. 25–49. <https://doi.org/10.15393/j9.art.2024.13463> (In Russ.)

Kiseleva, I. A., and K. A. Potashova. “Tekstologicheskaiia kritika stikhotvoreniia M. Iu. Lermontova ‘Valerik’ (1840)” [“Textual Criticism of M. Yu. Lermontov’s Poem ‘Valerik’ (1840)”]. *Nauchnyi dialog*, vol. 13, no. 7, 2024b, pp. 276–292. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2024-13-7-276-292> (In Russ.)

Kiseleva, I. A., and K. A. Potashova. “Samarinskii spisok stikhotvoreniia Lermontova ‘Valerik’ (1840): istoriia i znachenie” [“Samarinsky Copy of Lermontov’s Poem ‘Valerik’ (1840): History and Meaning”]. *Otechestvennaia filologiiia*, no. 5, 2024c, pp. 84–94.

<https://doi.org/10.18384/2949-5008-2024-5-84-94> (In Russ.)

Kiseleva, I. A., and K. A. Potashova. "Formirovanie sostava korpusa stikhotvoreniia M. Iu. Lermontova 1840 goda: problemy istochnikov i datirovki" ["Formation of the Composition of the Corpus of M. Yu. Lermontov's Poems of 1840: Problems of Sources and Dating"]. *Otechestvennaia filologiya*, no. 3, 2025, pp. 98–110. <https://doi.org/10.18384/2949-5008-2025-4-98-110> (In Russ.)

Potashova, K. A. "Stikhotvorenie M. Iu. Lermontova 'Sosedka' (1840): tekstologicheskaia kritika i interpretatsiia" ["M. Yu. Lermontov's Poem 'The Neighbor' (1840): Textual Criticism and Interpretation"]. *Iazyk i tekst*, no. 3, 2025, pp. 98–110. <https://doi.org/10.18384/2949-5008-2025-4-98-110> (In Russ.)

Pumpianskii, L. V. "Ob ischerpyvaiushchem delenii, odnom iz printsipov stilia Pushkina" ["On Exhaustive Division, One of the Principles of Pushkin's Style"] *Pushkin: Issledovaniia i materialy [Pushkin: Research and Materials]*. Leningrad, Nauka Publ., 1982, vol. 10, pp. 204–215. (In Russ.)

Chernyshev, V. I. "Zametki o znakakh prepiniia u Pushkina" ["Notes on Punctuation Marks in Pushkin"]. *Pushkin i ego sovremenniki: Materialy i issledovaniia [Pushkin and His Contemporaries: Materials and Research]*, issue 5. St. Petersburg, Imperatorskaia akademiia nauk Publ., 1907, pp. 130–139. (In Russ.)

Eikhensbaum, B. M. "O tekstakh Lermontova" ["On Lermontov's Texts"]. *Literaturnoe nasledstvo [Literary Heritage]*, vol. 19/21. Moscow, Zhurnal'no-gazetnoe ob"edinenie Publ., 1935, pp. 485–501. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-374-395>
<https://elibrary.ru/OWHWQG>
Научная статья
УДК 821.161.1.09"19"

© 2025. Г. Н. Ковалева
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

**«Се жених грядет...»: исторические источники записей
Л. Н. Толстого о Феофане Прокоповиче
в материалах к <Роману из времени Петра I>**

Аннотация: В статье рассматриваются записи Л. Н. Толстого о Феофане Прокоповиче из состава подготовительных материалов к незавершенному <Роману из времени Петра I> и исторические источники этих записей, установленные П. С. Поповым. Выявленные исторические источники интересующих нас записей позволяют уяснить смысл лаконичных выписок Толстого о Ф. Прокоповиче из фундаментальных исторических трудов, обогатить и расширить представления о замысле незавершенного петровского романа, его реально-исторической основе, круге действующих лиц, выяснить, какие конкретные события из жизни и деятельности архиерея писатель намеревался вовлечь в действие романа. Благодаря найденным источникам появляется возможность высказать предположения о путях и способах трансформации Толстым реальных фактов из жизни Ф. Прокоповича в факты художественные. Сопоставление записей Толстого с текстами фактических источников позволяет обнаружить следы творческой работы писателя с документальными материалами.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой; <Роман из времени Петра I>; подготовительные материалы, конспективные записи, исторические источники, Феофан Прокопович, Д. Н. Бантыш-Каменский, С. М. Соловьев, П. С. Попов.

Информация об авторе: Галина Николаевна Ковалева, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0004-9179-2417>

E-mail: galina-gnk@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 12.08.2025

Дата одобрения статьи рецензентами: 21.10.2025

Дата публикации статьи: 25.12.2025

Для цитирования: Ковалева Г. Н. «Се жених грядет...»: исторические источники записей Л. Н. Толстого о Феофане Прокоповиче в материалах к <Роману из времени Петра I> // Два века русской классики. 2025. Т. 7, № 4. С. 374–395. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-374-395>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 374–395. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 7, no. 4, 2025, pp. 374–395. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2025. Galina N. Kovaleva

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

“Behold, the Bridegroom Is Coming”: Historical Sources of Leo Tolstoy’s Writings on Feofan Prokopovich in the Materials for <A Novel from the Time of Peter the Great>

Abstract: This article examines Leo Tolstoy’s notes about Feofan Prokopovich, which are the part of the preparatory materials for his unfinished <Novel from the Time of Peter the Great>, and the historical sources for these notes, as established by P. S. Popov. The identified historical sources for these notes allow us to clarify the meaning of Tolstoy’s excerpts about Feofan Prokopovich from fundamental historical works, enrich and expand our understanding of the conception of Petrine’s unfinished novel, its historical basis, and the cast of characters, and elucidate the specific events from the bishop’s life and work that the writer intended to incorporate into the novel’s action. The discovered sources make it possible to speculate about the ways and means by which Tolstoy transformed real facts from Feofan Prokopovich’s life into fiction. Comparison of Tolstoy’s notes with the texts of factual sources reveals traces of the writer’s creative work with documentary materials.

Keywords: L. N. Tolstoy, <A Novel from the Time of Peter the Great>, preparatory materials, summary notes, historical sources, Feofan Prokopovich, D. N. Bantysh-Kamensky, S. M. Solovyov, P. S. Popov.

Author information: Galina N. Kovaleva, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0004-9179-2417>
E-mail: galina-gnk@mail.ru

Received: August 12, 2025

Approved after reviewing: October 21, 2025

Published: December 25, 2025

For citation: Kovaleva, G. N. “Behold, the Bridegroom Is Coming”: Historical Sources of Leo Tolstoy’s Writings on Feofan Prokopovich in the Materials for <A Novel from the Time of Peter the Great>.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 7, no. 4, 2025, pp. 374–395. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2025-7-4-374-395>

Записи Л. Н. Толстого о церковном и общественном деятеле, писателе, публицисте, богослове, философе, сподвижнике Петра I, Феофане Прокоповиче (в миру Елеазар Церейский <?>; в униатстве Елисей, Самуил; в 1702 г. принял постриг в православные монахи с именем Самуил; в 1705 г. сменил монашеское имя, назвавшись именем покойного дяди — Феофан¹; 1677 или 1681–1736), входящие в состав конспективных записей писателя о петровской эпохе, не были до сих пор предметом самостоятельного изучения, равно как и их печатные исторические источники. На протяжении почти девяти десятилетий, прошедших со времени их первой публикации в 17 томе Юбилейного собрания сочинений Толстого [Толстой 1928–1958. 17: 404–405], эти записи оставались незамеченными исследователями. Восполним этот пробел, обратившись к выяснению целого ряда вопросов, связанных с указанными записями. Среди них: вопрос о времени появления этих записей в конспектах Толстого или точнее, их датировке; анализ содержания и классификация записей, происхождение их фактических источников; сопоставление текстов записей Толстого о Прокоповиче с текстами их фактических источников; предположения о возможных путях и способах преобразования реальных фактов из жизни Прокоповича в факты художественные.

Интерес Толстого к реальным фактам из жизни и деятельности Феофана Прокоповича, одного из самых ярких представителей духовенства петровского времени, возник во время подготовки писателя к творческой работе над новым историческим романом, для которого он, по словам С. А. Толстой, «выбрал время Петра Великого» [Берс: 44–45]. Замысел этого романа, который печатается под условным заглавием <Роман из времени Петра I> [Толстой 2014: 157–222], возник у Толстого, по утверждению И. П. Видуэцкой, в самом начале 1872 г., но приступить к работе

¹ Феофан (Прокопович;? – 1689 или 1692), игумен, ректор Киево-Могилянской коллегии (1683–1684), настоятель Киево-Братского монастыря.

над ним писатель смог лишь в октябре того же года¹ [Видуэцкая: 436]. На протяжении полутора–двух месяцев — с октября по декабрь — Толстой был занят только изучением печатных исторических источников о времени правления Петра I и отбором материала для реально-исторической основы задуманного романа. Сведения о наиболее заинтересовавших его реальных событиях, лицах, фактах, явлениях петровского времени писатель фиксировал в своих конспективных записях. Со второй половины декабря 1872 или с января 1873 г., по предположению И. П. Видуэцкой [Видуэцкая: 440], этим подготовительным занятиям Толстого стала сопутствовать творческая работа над художественными началами петровского романа. В середине марта 1873 г. Толстой, как известно, прервал все виды работ над историческим романом из петровского времени, чтобы обратиться к сочинению романа «Анна Каренина»², романа из современной писателю жизни. Хотя первое обращение³ Толстого к петровской теме продолжалось всего четыре с половиной – пять месяцев, исследователи сходятся во мнении, что именно этот короткий период, который «пришелся на конец 1872–начало 1873 г.» [Гулин 2020: 216], был «временем наиболее интенсивной работы Толстого над романом из эпохи Петра I» [Видуэцкая: 435]. Именно в указанный период Толстой сделал большинство сохранившихся выписок из исторических сочинений, которые и составили рукописный фонд подготовительных материалов к петровскому роману⁴.

¹ Столь продолжительный интервал между временем возникновения замысла петровского романа и началом работы над ним объясняется тем, что до октября 1872 г. Толстой был занят завершением работы над «Азбукой».

² Замысел романа «Анна Каренина», по свидетельству самого Толстого в неотправленном письме к Н. Н. Страхову от 25 марта 1873 г. – возник у него под влиянием чтения незавершенной повести А. С. Пушкина «Гости съезжались на дачу» [Толстой 1928–1958. 62: 16].

³ Второе обращение к работе над петровским романом И. П. Видуэцкая датирует концом лета – началом осени 1879 г. [Видуэцкая: 447–448]. В это время, посетив несколько раз Московский архив Министерства юстиции для изучения секретных дел Преображенского приказа, и, написав, возможно, в два приема, 4 художественных «начала» [Толстой 2014: 157–161; 219–222], Толстой вновь оставил работу над петровским романом.

⁴ Рукописный фонд выписок Толстого из исторических сочинений на 79 листах разного размера составляют две группы материалов: 1) 19 от-

Авторские даты в рукописях подготовительных материалов отсутствуют, поэтому определить время появления в них записей о Ф. Прокоповиче можно только предположительно. Освещая в одной из своих статей этапы подготовительной работы Толстого, мы высказали предположение, имеющее прямое отношение к датировке записей о Ф. Прокоповиче: «в течение ноября 1872 года Толстой отбирал и выписывал материалы для фактической основы своего романа из двух источников: тт. 13–18 «Истории России с древнейших времен» Соловьева <...>; чч. 1–3 «Словаря достопамятных людей» Бантыш-Каменского <...> [Ковалева 2020: 26]. Между тем, интересующие нас записи о Ф. Прокоповиче, как выяснил П. С. Попов, были сделаны на основании двух печатных исторических источников. Одним из них была 3-я часть дополнительного издания «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (СПб., 1847). Другим — 16-й том первого издания «Истории с древнейших времен» С. М. Соловьева (М., 1866). В этой связи логично предположить, что записи о Прокоповиче появились в рукописях подготовительных материалов в ноябре 1872 г.

Все интересующие нас записи были сделаны Толстым чернилами черного и рыжеватого цветов на оборотной стороне листа большого формата, который в «Описании рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого» значится как «Лист 5»¹ [Описание рукописей: 244].

Приведем текст этих записей:

1. «Феофан Прокопович. В Риме воспитан. Математик. Два европейских <языка>, греческий, латинский, еврейский»² [Толстой 1928–1958. 17: 404].

2. *Шью рясу, а у меня шапка готова* [Толстой 1928–1958. 17: 404].

3. Стефан Яворский привел Петра. Он с бочком [нрзб]. «Се же них грядет». — Петр остался» [Толстой 1928–1958. 17: 405].

дельных листов большого и тетрадного формата в общей обложке с заголовком рукой Толстого: «Бумаги Петра»; 2) 59 листов различного формата с заголовками: «Города. Москва», «Кремль», «Общий вид города», «Духовенство», «Монастырские имения», «Петр, приближенные» и другими [Описание рукописей: 243, 246].

¹ Этот лист вложен в общую обложку с надписью рукой Толстого «Бумаги Петра» [Описание рукописей: 244].

² В Риме воспитан ~ еврейский. *вписано*

4. «Главо, главо! Разума упившись, куда ее приклонишь?» [Толстой 1928–1958. 17: 405].

Первая научная публикация приведенных записей была подготовлена П. С. Поповым для 17 тома Юбилейного собрания сочинений Толстого и увидела свет в составе всего свода выписок из исторических сочинений под условным заглавием «Материалы к роману из времен Петра I» [Толстой 1928–1958. 17: 386–444]. Ссылки на фактические источники записей о Прокоповиче в рукописи отсутствовали. В процессе подготовки этих записей к публикации в указанном издании П. С. Попов сумел установить, что записи о Ф. Прокоповиче были сделаны писателем, как мы уже отмечали выше, на основании двух фундаментальных исторических трудов. Напомним, что одним из этих трудов была 3-я часть дополнительного издания «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (СПб., 1847). Другим — 16-й том первого издания «Истории с древнейших времен» С. М. Соловьева (М., 1866). Источник одной записи, сообщающей о том, какими иностранными языками владел Ф. Прокопович, П. С. Попову обнаружить не удалось. Не удалось его определить и автору настоящей статьи.

Анализ содержания всех приведенных выше записей Толстого о Феофане Прокоповиче, ставший возможным только благодаря их выявленным историческим источникам, показал, что по своему содержанию они отчетливо делятся на четыре тематические группы. **Первую группу** составляют 4 лаконичные записи: о монашеском имени и фамилии архиерея; о Риме как месте, где был «воспитан» Феофан; о знании Феофаном нескольких европейских языков; о том, что Феофан был математиком. **Вторую группу** образует всего одна запись. Толстой зафиксировал в ней реплики, которыми обменялись Феофан Прокопович и Петр I по поводу регламента Духовной коллегии, составление которого было поручено архиерею. **В третью группу** также вошла одна запись, которая содержит сведения о реальном событии, действующими лицами которого были: царь Петр I, президент Святейшего Синода Стефан Яворский, второй вице-президент Святейшего Синода, Феофан Прокопович. **Четвертую группу** образует запись, являющаяся цитатой предсмертных слов Феофана Прокоповича. Толстой заключил эту запись в кавычки. Записи, входящие в *первую, третью и четвертую* тематические группы были сделаны Толстым на основании

сведений, которые восходят к 3-ей части «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (СПб., 1847). Запись из *второй* тематической группы была сделана на основании сведений, заимствованных Толстым из 16-го тома первого издания «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (М., 1866).

Обратимся к рассмотрению записей, а также их фактических источников из первой выделенной нами группы.

Запись — «Феофан Прокопович. В Риме воспитан. Математик» — сделана на основании сведений, содержащихся в словарной статье «Феофан Прокопович, Архиепископ Новгородский», помещенной в 3-ей части «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (СПб., 1847). По своему содержанию эта запись делится на три части. Первая часть, состоящая всего из двух слов, содержит указание как на монашеское имя архиерея — Феофан — принятое им в честь покойного дяди в 1705 г., так и на принятую им фамилию своего дяди: Прокопович. Слова — «Феофан Прокопович» — подчеркнуты прямой чертой. Вторая часть записи связывает Феофана с Римом, где он был «воспитан». Третья часть — аттестует архиерея как математика. Предварим знакомство с текстом источника первой части рассматриваемой записи некоторыми пояснениями. Учебе Прокоповича в римской академии предшествовал ряд ключевых событий его жизни, о которых рассказывается в тексте указанной выше словарной статьи. Среди них: окончание Киево-Могилянской коллегии¹, принятие унии с именем Елисей, преподавание риторики и пиитики (поэтики) во Владимир-Волыньском униатском коллегиуме [Бантыш-Каменский: 604–605]. Именно во время учительства Ф. Прокоповича в этом коллегиуме его выдающиеся ораторские способности заметил митрополит Киевский и Галицкий и всяя Руси Русской униатской церкви в Речи Посполитой Лев Заленский (Любич-Заленский, 1648–1708), отправивший молодого преподавателя за счет епархии на учебу в Рим, в иезуитскую греческую Коллегию св. Афанасия. В тексте фактического источни-

¹ Киево-Могилянская коллегия — высшее духовное учебное заведение, открыто в 1632 г. по инициативе Киевского митрополита Петра Могилы (1596–1647). Коллегия была организована в результате слияния двух школ: Киево-Братской школы и школы Киево-Печерской лавры. Права и титул академии Коллегия получила в 1701 г. по указу Петра I и стала называться Киево-Могилянской академией.

ка интересующей нас записи епископ Лев (Заленский) именуется как «Провинциал Базилианского Ордена». Базилианский орден, или Орден Святого Василия Великого — официальное название униатского монашеского ордена византийского обряда, следующего общежительному уставу Василия Великого. Вот текст источника: «...Провинциал Базилианского Ордена, усматривая необыкновенные способности в молодом преподавателе, отправил его в Римскую Академию. Там продолжал он учение три года¹, но, не кончив курса наук², возвратился через Венецию и Австрию в Польшу...» [Бантыш-Каменский: 605].

Сопоставление записи Толстого с текстом ее фактического источника показало, что Толстой не стал переносить в свою запись следующие подробности, сообщенные историком о Феофане. Например, о том, кто, усмотрев «необыкновенные способности в молодом преподавателе, отправил его в Римскую Академию», сколько лет продолжалось «учение» Феофана в Риме, и каким образом, он, «не кончив курса наук, возвратился через Венецию и Австрию в Польшу...». Опустив указанные подробности, Толстой сумел изложить информацию об обучении Феофана в римской академии в короткой фразе: «В Риме воспитан». Воспроизвел ли бы писатель эти подробности на страницах петровского романа, если бы он был написан? Ответа на этот вопрос у нас нет.

Неизвестно и то, каким образом намеревался Толстой описать учебу будущего архиепископа Феофана Прокоповича в римской академии, так как намерение изобразить этот факт из жизни архиерея в петровском романе, не было реализовано писателем. Возможно, данный факт мог стать предметом диалога Ф. Прокоповича с Киевским митрополитом Варлаамом Ясинским (1627–1707), пригласившим его в 1704 г. «учителем стихотворства» в Киево-Могилянскую академию. Сведения об этом событии Толстой мог почерпнуть из упомянутой выше словар-

¹ По сведениям Т. Е. Автухович, Феофан учился в Римской иезуитской греческой академии св. Афанасия с ноября 1698 по октябрь 1701 г. под именем Самуила Церейского [Автухович: 488]. Согласно разысканиям исследовательницы, «по данным регистров, Прокопович окончил курс блестящим публичным выступлением» [Автухович: 488].

² Это событие, по утверждению Т. Е. Автухович, произошло 28 октября 1701 г., когда «без единой на то причины, с большим скандалом» (по записи регистров) Прокопович покинул коллегия, не послушав и здесь курс теологии» [Автухович: 488].

ной статьи Бантыш-Каменского «Феофан Прокопович, Архиепископ Новгородский». Ср.: «...быв приглашен в Киев Митрополитом Варлаамом Ясинским, который определил его (1704 г.) в Академию учителем стихотворства» [Бантыш-Каменский: 605]. Позднее, в 1706 г. Прокопович стал преподавать в этой академии и риторику. Нельзя исключить предположение, что годы учебы Феофана Прокоповича в Риме могли быть запечатлены на страницах петровского романа в восприятии самого архиепископа, например, в его воспоминаниях.

Фактическим источником записи — «Математик» — стали сведения об успешной педагогической деятельности Ф. Прокоповича в Киево-Могилянской академии, где, наряду с философией, он преподавал и точные науки. Приведем текст источника: «Возведенный (1707 г.) в звание Префекта Академии и учителя философии, он заменял собою нескольких преподавателей: обучал физике, арифметике и геометрии, чему прежде не учили в Академии¹» [Бантыш-Каменский: 606].

Какую трансформацию претерпел бы этот реальный факт, если бы петровский роман был написан? Были ли упомянуты на его страницах те должности, которые занимал в Киево-Могилянской академии Прокопович — «Префект Академии, учитель философии» — и которые Толстой в своей записи не упомянул? Ответ на этот вопрос нам неизвестен. Возможно, Феофан предстал бы на страницах петровского романа, если бы он был написан, в роли учителя-универсала, обучающего слушателей Киево-Могилянской академии философии и физике, арифметике и геометрии. Не менее вероятно и другое предположение. Введение в программу обучения слушателей академии новых учебных предметов могли, по-видимому, обсуждать на страницах романа, если бы он был завершен, коллеги Феофана по академии или его ученики. Какую художественную форму избрал бы Толстой для введения этого

¹ Факт одновременного преподавания Прокоповичем гуманитарных и точных наук был позднее отмечен и Н. К. Гудзием. Ср.: «В 1708 г. Прокопович стал преподавать философию и одновременно физику, арифметику и геометрию — науки, до сих пор отсутствовавшие в академической программе» [Гудзий: 158]. Современный исследователь В. Е. Федотов также выделяет заслуги Прокоповича в преподавании математики: «...зложил основы преподавания в Академии (и всей тогдашней Российской империи) высшей математики» [Федотов: 27].

реального факта в сюжетное действие романа: художественную сцену, картину, или эпизод, неизвестно.

Обратимся к рассмотрению записи из второй тематической группы: «Шью рясу, а у меня шапка готова». Источник этой записи, установленный П. С. Поповым, как мы указывали выше, восходит к первому изданию 16-го тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, где историк рассказывает о том, как «царь уже объявил, что “для лучшего управления мнится быть удобно Духовной Коллегии”» [Соловьев 16: 361]. По словам историка, местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский «не разделял этого мнения царского; Феофан разделял его и потому он должен был принять на себя составление регламента для новой коллегии» [Соловьев 16: 361]. Опираясь на воспоминания современников царя и епископа, историк привел «следующий разговор Петра с Феофаном», ставший фактической основой рассматриваемой записи. Вот текст источника: «Петр: “Скоро ль наш патриарх поспеет (регламент?)” — Феофан: “Скоро, я дошиваю ему рясу”. — Петр: “А у меня шапка для него готова”» [Соловьев 16: 361]. Сопоставив рассматриваемую запись Толстого с текстом ее фактической основы, мы пришли к выводу, что писатель в своей записи воспроизвел реплики участников этого диалога, не обозначив их имена, и произведя в самом диалоге некоторые сокращения. Так, например, Толстой не стал переносить в свою запись первую реплику царя: «Скоро ль наш патриарх поспеет (регламент?)». Из ответной реплики Феофана в изложении Соловьева — «Скоро, я дошиваю ему рясу» — Толстой исключил слово «скоро», а слово «дошиваю» заменил словом «шью». В записи Толстого реплика Феофана стала выглядеть так: «Шью рясу». Из реплики царя в изложении Соловьева — «А у меня шапка для него готова» — Толстой исключил слова «для него», поэтому реплика Петра в записи Толстого выглядит так: «А у меня шапка готова».

Каким бы изменениям подвергся разговор царя Петра с Феофаном в процессе вовлечения его в сюжетное действие петровского романа? Возможно, с его помощью Толстой выстроил бы блистательную художественную сцену, в которой царь и епископ Псковский Феофан предстали бы единомышленниками, соратниками в деле «исправления чина духовного» [Соловьев 16: 361]. Вполне вероятно, что в процессе вовлечения этой сцены в художественную ткань петровского романа Толстой не ограничился бы только репликами царя и епископа, зафик-

сированными им в рассматриваемой нами записи. Беседа двух соратников могла быть дополнена писателем еще целым рядом конкретных сведений и фактов по поводу регламента, приведенных Соловьевым в 16 томе «Истории России с древнейших времен», которые могли быть преобразованы в факты художественные. Например, в беседе царя с Феофаном Прокоповичем могли быть затронуты следующие вопросы: об исправлениях текста регламента, предложенных царем, о примерной дате издания регламента, о том, кто возглавит Духовную коллегию и войдет в ее состав. Фактической основой предполагаемых нами бесед царя с Феофаном могли бы стать следующие реальные факты, приведенные Соловьевым: «В январе 1721 года издан регламент Духовной коллегии, исправленный и дополненный царем...» [Соловьев 16: 361]; «президентом Духовной коллегии, или Синода был назначен Стефан, митрополит рязанский; за ним по старшинству следовали члены: Феодосий (Яновский) — архиепископ Новгородский, Феофан — архиепископ Псковский¹...» [Соловьев 16: 363].

Допустимо и еще одно предположение. Предметом беседы царя с архиепископом Псковским могли бы быть и некоторые другие подробности, связанные, например, с первой частью регламента, сведения, основные положения которых Толстой мог также почерпнуть из указанного тома труда Соловьева. Поскольку в первой части регламента говорилось о причинах учреждения Духовной коллегии, объяснялась необходимость отмены патриаршества, есть основание предполагать, что именно эти две темы стали бы содержанием возможных бесед царя с Феофаном в петровском романе, если бы замысел его был осуществлен.

Какие же доводы и аргументы приводили бы в своих речах собеседники, объясняя необходимость учреждения Духовной коллегии и отмены патриаршества? Возможно, в беседе царя с Феофаном сначала были бы высказаны аргументы, подчеркивающие преимущество коллегиального управления церковными делами перед правлением единоличным, так как оба собеседника были убеждены в этом. Фактической основой для воссоздания подобного диалога в петровском романе могли послужить приведенные Соловьевым в своем труде «причины

¹ В сан архиепископа Псковского Феофан Прокопович был возведен 31 декабря 1720 г.

учреждения коллегии», сведения о которых историк позаимствовал из первой части регламента и изложил их в своем труде в шести пунктах. Познакомимся сначала с содержанием пяти пунктов, объясняющих, чем коллегиальное управление церковными делами предпочтительнее единоличного патриаршего правления, а затем — в виду его ключевой роли — обратимся к рассмотрению пункта шестого, где речь идет о недостатках патриаршего правления. Приведем текст первых пяти пунктов: «1) коллегиальное управление способнее для исследования истины, чем единоличное; 2) приговор соборный имеет более силы, чем приговор одного лица; 3) дела скорее решаются; 4) нет места пристрастию, коварству, лихоимному суду; 5) коллегиям свободнейший дух в себе имеет к правосудию...» [Соловьев 16: 361–362]. Попробуем предположить, какие пути и способы преобразования высказанных в этих пяти пунктах аргументов в пользу коллегиального управления духовными делами избрал бы Толстой для того, чтобы трансформировать их в художественные факты. Возможно, воссоздавая диалог между Петром и Феофаном о преимуществах коллегиального управления духовными делами, писатель распределил бы приведенные выше аргументы между собеседниками так, чтобы реплика одного из говорящих дополняла высказывания другого. Какие бы реплики при этом были вложены в уста царя, а какие — архиерея, неизвестно. Возможно, диалог с царем начинал бы Феофан как автор регламента, царь же дополнял и поддерживал бы выдвигаемые архиереем аргументы в поддержку коллегиального управления.

Нельзя исключить и другое предположение. В романе, если бы он был написан, инициатором разговора с Феофаном о преимуществах коллегиального управления духовными делами выступил бы царь. Рагуя за приоритет царской власти над властью патриарха, даже в церковных делах, Петр исходил как из опыта своего отца, царя Алексея Михайловича¹, так и из опыта своих личных, весьма сложных отношений с патриархом Адрианом и местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским. К тому же, по мнению Н. К. Гудзия, «це-

¹ О намерении Толстого воссоздать в петровском романе драматические подробности отречения Никона от патриаршего престола, о реакции царя Алексея Михайловича на это событие, которое произошло 10 июля 1658 г. см.: [Ковалева 2024: 207–210].

лесообразность коллегиального управления русской церковью взамен единоличного патриаршего управления подсказана была Петру практикой протестантской церкви, его стремлением уничтожить в русской церкви «папешский дух», привитый ей патриаршим институтом» [Гудзий: 162]¹.

Попробуем представить, как мог бы развиваться диалог между царем и архиереем при обсуждении вопроса о недостатках единоличного патриаршего правления. Фактической основой для возможных реплик царя и Феофана в этом случае, вероятно, стали бы приведенные Соловьевым в своем труде под пунктом «б» рассуждения, заимствованные им из регламента, касающиеся особенностей восприятия «простым народом» власти «самодержавной» и власти «духовной». Утверждая, что «простой народ не ведает, как различается власть духовная от самодержавной» [Соловьев 16: 362], авторы регламента полагали, что в силу этого неведения в сознании «простого народа» происходит некоторая подмена понятий. Она заключается в том, что патриарх воспринимается в сознании народном как «второй государь самодержцу равносильный, или еще и больше его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство...» [Соловьев 16: 362]. По этой причине, говорилось в регламенте, «простые сердца так мнением этим развращаются, что не столько смотрят на самодержца своего, сколько на верховного пастыря, и когда услышат между ними распрю, то все более духовному, чем мирскому правителю сочувствуют...» [Соловьев 16: 362]. Этому, сложившемуся «в народе мнению» относительно «верховного пастыря», по словам авторов регламента, «очень рады бывают коварные люди, враждующие на своего государя...» [Соловьев 16: 362]. В чем же заключается радость этих «коварных людей? Из объяснений авторов регламента следует, что «увидав ссору государя с пастырем, они пользуются этим случаем, чтоб под видом церковной ревности поднять руки на помазанника Божия, и на такое же беззаконие, как на дело Божие, подвигают простой народ» [Соловьев 16: 362]. Приведенным рассуждениям в тексте регламента

¹ О реформе русской церкви, осуществленной в 1721 г. «по инициативе царя и под руководством его ближайшего единомышленника» Феофана Прокоповича см. также работы О. А. Крашенинниковой: [Крашенинникова 2015; Крашенинникова 2016; Крашенинникова 2017].

предшествовал еще один аргумент, подчеркивающий преимущество коллегиального управления «духовными делами» над «единым правителем духовным». Этот аргумент сыграл, возможно, одну из ключевых ролей в упразднении патриаршества. Вот его текст: «От соборного правления нельзя опасаться отечеству мятежей и смущения, какие происходят от единого правителя духовного...» [Соловьев 16: 362]. Появлению этого аргумента в тексте регламента, несомненно, способствовали «мятежи и смущения» стрельцов в мае 1682 г. и в июне 1698 г.

Какое отражение нашли бы приведенные авторами регламента обоснования отмены патриаршества на страницах петровского романа, если бы он был написан? Какие из них были бы высказаны царем, а какие — Прокоповичем? Не имея возможности ответить на эти вопросы, отметим: найденный П. С. Поповым источник записи Толстого, в которой Петр I интересуется у Феофана Прокоповича готовностью регламента, позволил нам высказать ряд предположений о том, как мог бы развиваться этот диалог в романе, если бы он был завершен. В своих предположениях мы опирались на фактические сведения о регламенте Духовной коллегии, изложенные в 16 томе «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева.

Перейдем к рассмотрению записи из третьей тематической группы. Напомним ее текст: «Стефан Яворский привел Петра. Он с б<окалом> [нрзб]. “Се жених грядет”.— Петр остался» [Толстой 1928–1958. 17: 405]. Как мы указывали выше, фактическая основа этой записи восходит к 3-й части дополнительного издания «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (СПб., 1847), точнее, к размещенной здесь статье «Феофан Прокопович, Архиепископ Новгородский». Предварим знакомство с сообщаемыми в фактическом источнике сведениями необходимым пояснением. Дело в том, что Бантыш-Каменский, рассказывая об отношении Петра I к Феофану Прокоповичу, отметил, что «доверенность, оказываемая Государем Феофану, и достоинство последнего возбудили против него зависть» [Бантыш-Каменский: 607]. Зависть к Ф. Прокоповичу испытывал, по утверждению Бантыш-Каменского, не кто иной, как местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский. По словам историка, С. Яворский, «до Феофана один из лучших проповедников в России, чувствовал превосходство последнего, и страшась, чтобы он совершенно не затмил его» [Бантыш-Каменский:

607–608], в 1718 г. написал на него «Обличение в 18 статьях¹; <...> оно не было уважено Государем² и только послужило поводом к непримиримой вражде обоих иерархов» [Бантыш-Каменский: 608].

Намереваясь запечатлеть на страницах будущего петровского романа непростые взаимоотношения этих двух иерархов, Толстой выбрал и зафиксировал в своей записи эпизод, связанный с попыткой Стефана Яворского изобличить Феофана Прокоповича в «гульбе и пьянстве». Эта попытка была предпринята в то время, когда Стефан Яворский был в звании президента Святейшего Синода³, а Феофан Прокопович — в звании второго вице-президента Святейшего Синода. Известив царя о том, что Феофан «живет соблазнительно, проводит время с *иноверцами* в гульбе и пьянстве» [Бантыш-Каменский: 608], Стефан Яворский, по словам историка, «вызвался доказать это на самом деле» [Бантыш-Каменский: 608]. О дальнейшем развитии событий в тексте источника сказано: «Государь изъявил согласие: однажды, в полночь, когда иностранные министры ужинали у Феофана, отправился к нему с доносителем; вошел неожиданно в столовую в то самое время, как гремела музыка, и хозяин, державший в руке кубок вина, готовился пить. Феофан не оробел: дал знать, чтобы музыканты умолкли, приподнял бокал, произнес громогласно: *“Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща, недостоин же <наки>, егоже обрящет унывающая!”*⁴ Здравствуй, Всемилостивейший государь!” — и потом выпил вино. Немедленно поднесены такие же бокалы всем присутствовавшим: они

¹ «Обличение в 18 статьях», которое упоминает Д. Н. Бантыш-Каменский, содержало обвинения Прокоповича в протестантизме, несогласии с православной церковью, и т. д. Оно призвано было, по мысли его инициаторов, Феофилакта Лопатинского, Гедона Вишневецкого, Стефана Яворского, помешать посвящению Феофана в епископы Псковские.

² 1 июня 1718 г. Ф. Прокопович по указу Петра I был наречен епископом Псковским и Нарвским. 2 июня 1718 г. Ф. Прокопович, по сведениям Д. Н. Бантыш-Каменского, «в присутствии Петра Великого, хиротонисан, с облачением в саккос...» [Бантыш-Каменский: 607].

³ Торжественно открытая 14 февраля 1721 г. Духовная коллегия была почти сразу переименована в Святейший Правительствующий Синод.

⁴ «*Се жених грядет~ обрящет унывающая!*» — начальная строчка тропаря (песнопения), который исполняется на утрени после шестопсалмия в первые три дня Страстной седмицы. Жених здесь: одно из образных имен Господа Иисуса Христа как главы Церкви.

провозгласили тост за *здравие* царя. Феофан осмелился предложить и Петру Великому кубок: государь принял его из рук хозяина, благодарил гостей при звуке труб; после, оборотясь к Митрополиту, произнес: «Ваше Преосвященство, можете остаться здесь, ежели хотите, а буде не изволите, то имеете волю ехать домой, а я останусь в столь приятной беседе»» [Бантыш-Каменский: 608–609].

Столь яркий, колоритный исторический эпизод не мог не привлечь внимание Толстого. Намереваясь преобразовать его в факт художественный и ввести в сюжетное действие петровского романа, Толстой выделил ключевые моменты в действиях каждого из трех участников эпизода и зафиксировал их в рассматриваемой записи. Имя Прокоповича в этой записи не упоминается, описана только его поза («Он с бокалом») и дана в кавычках начальная фраза «громогласно» произнесенного им тропаря («Се жених грядет...»). Имена двух других участников эпизода — Стефана Яворского и царя Петра — названы. Описаны и их действия: «Стефан Яворский привел Петра»; «Петр остался». Обнаружение фактического источника данной записи не только прояснило ее смысл, помогло выявить имена всех участников эпизода, но и дало основание для следующего предположения. Думается, трансформировав этот реальный исторический эпизод в художественную сцену будущего петровского романа, писатель воссоздал бы не только подробности взаимоотношений двух иерархов, стоящих во главе Святейшего Синода, и отношение Петра к каждому из них, но и выразительно обрисовал бы душевное состояние всех трех участников данного эпизода в момент их ночной встречи. Таким образом, реальный исторический факт, будучи преобразованным в факт художественный, стал бы средством психологической характеристики, как царя Петра, так и двух иерархов, Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. При изображении далекой исторической эпохи и ее деятелей, для Толстого, как справедливо заметил А. В. Гулин, было вполне естественным попытаться на первых порах найти именно психологическое решение образов и картин, связанных с петровской эпохой» [Гулин 2021: 220]. Какое «психологическое решение» нашел бы Толстой при введении рассматриваемого эпизода в художественную ткань петровского романа, если бы он был написан? Полагаю, что психологический портрет Феофана в этом случае был бы обрисован Толстым особенно тщательно. Прежде всего, писатель, вероятно, отметил бы способность Феофана мгновенно сорие-

тироваться в сложной, малоприятной для него ситуации, неожиданно возникшей в полночь вместе с приходом царя и Стефана Яворского, но не растеряться, не впасть в паническое состояние, а найти единственно правильный выход из нее. Выбор в качестве приветствия для царя молитвенного песнопения «Се жених грядет...», вероятно, был бы объяснен писателем не только умением Феофана разбираться в человеческой психологии, но и свойственным ему даром предвидеть результат предпринятых им действий для разрешения экстремальной ситуации. «Громогласно» произнесенная Феофаном начальная фраза из тропаря, выпитый им кубок вина во здравие царя, предложенный Феофаном кубок вина царю — все эти действия архиерея позволили ему выиграть негласный ночной поединок со Стефаном Яворским и остаться в обществе царя «в столь приятной беседе».

Обратимся к рассмотрению записи из четвертой тематической группы. Напомним ее текст: «Главо, главо! Разума упившись, куда ея приклонишь?» [Толстой 1928–1958. 17: 495]. Сопоставление текста этой записи Толстого с текстом ее фактического источника, найденного П. С. Поповым, позволило нам сделать два вывода. Первый вывод: запись Толстого является не совсем точной цитатой предсмертных слов Феофана Прокоповича, так как при переписывании цитаты писатель пропустил частицу «о», стоящую в источнике перед обращением «О главо, главо!» Приведем текст фактического источника: «Сохранилось предание, что в последние минуты жизни, он приставил ко лбу указательный палец, и произнес: “*О главо, главо! Разума упившись, куда ея приклонишь?*”» [Бантыш-Каменский: 624].

Второй вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что при конспектировании источника Толстой отказался переносить в свою запись фразу, которая предшествует цитате предсмертных слов Феофана: «Сохранилось предание, что в последние минуты жизни, он приставил ко лбу указательный палец, и произнес...». Не включив эти сведения в свою запись, Толстой в петровском романе, если бы он был завершен, возможно, упомянул бы о существовании предания о жесте, которым Феофан сопровождал свои предсмертные слова. Как бы мог Толстой обрисовать последние минуты жизни Феофана в петровском романе, если бы он был написан: в виде художественного эпизода или сцены? Возможно, предсмертные слова Феофана Прокоповича мог бы вспоминать и цитировать на страницах романа кто-либо из его действующих

лиц. Ответы на эти вопросы нам не суждено получить, так как намерение Толстого вывести Феофана Прокоповича в качестве одного из действующих лиц петровского романа, как мы не раз указывали выше, не было реализовано. Между тем, дата кончины Феофана Прокоповича — 1736 год — дает основание предполагать, что время действия петровского романа Толстой не собирался ограничивать годами жизни Петра Великого, скончавшегося в 1725 г. Вероятно, писатель хотел запечатлеть на его страницах события из жизни Феофана Прокоповича, как те, которые случились при жизни царя-реформатора, так и те, которые последовали после его кончины.

Подводя итоги, отметим, что все рассмотренные в статье записи Л. Н. Толстого о Феофане Прокоповиче были сделаны на основании двух достоверных исторических источников: 3-й части дополнительного издания «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (СПб., 1847) и 16-го тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (М., 1866). Обнаружение этих источников П. С. Поповым позволяет решить сразу несколько задач, значимых для творческой истории незавершенного исторического романа Толстого из петровского времени. Одной из них является задача, связанная с раскрытием и уяснением смысла предельно кратких записей Толстого, так как без обращения к текстам фактических источников этих записей смысл их зачастую понять невозможно. Уяснение смысла конспективных записей Толстого о Ф. Прокоповиче помогло решению другой, не менее важной задачи. В чем она заключалась? Прежде всего, в выявлении того, какие реальные факты и достоверные события из жизни Феофана Прокоповича привлекли внимание Толстого и как он, зафиксировав их в своих записях, намеревался в дальнейшем трансформировать в факты художественные, ввести в сюжетное действие петровского романа. Решение двух указанных выше задач способствует расширению и углублению знаний о замысле незавершенного петровского романа, его документальной основе, круге действующих лиц, в который должен был войти и такой видный представитель духовенства петровского времени, как Феофан Прокопович. Благодаря установленным П. С. Поповым историческим источникам записей Толстого о Феофане Прокоповиче появилась возможность высказать предположения о возможных путях и способах трансформации отобранных писателем реальных фактов из жизни архиерея в факты худо-

жественные. Сопоставление текстов записей Толстого о Прокоповиче с текстами их фактических источников выявило ряд расхождений между ними. Эти расхождения позволяют, с одной стороны, проследить за методами и приемами работы Толстого с документальными источниками, с другой — открывают новые возможности для изучения творческой лаборатории писателя. Реальные эпизоды из жизни Прокоповича, зафиксированные Толстым в кратких конспективных записях, по-своему подтверждают одну из сформулированных писателем задач искусства. «Дело искусства, — утверждал Толстой, — отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по старому разделению, характеры людей, но фокусы эти могут быть характеры сцен, народов, природы...» [Толстой 1928–1958. 47: 213]. Фокусы, которые отыскал и намеревался «выставлять в очевидность» Толстой, чтобы обрисовать и раскрыть внутренний мир Феофана Прокоповича, свидетельствуют о том, что писатель намеревался воссоздать в петровском романе подлинные события из разных периодов жизни архиерея. Поэтому одним из фокусов психологической характеристики Феофана в петровском романе стал бы период его обучения в Риме в иезуитской греческой коллегии св. Афанасия, где, по-видимому, и были заложены основы его поистине энциклопедических знаний. Другим — педагогическая деятельность в Киево-Могилянской академии, где Феофан проявил себя как учитель-универсал, преподававший гуманитарные и точные науки. Третьим фокусом стало бы сотрудничество с царем Петром в деле составления регламента для Духовной коллегии. Четвертый фокус был выбран Толстым для освещения неприязненных отношений Феофана со Стефаном Яворским. Пятый фокус должен был выставить «в очевидность» последние минуты жизни Феофана, его предсмертные слова. Если бы исторический роман Толстого из времени Петра Великого был бы написан, думается, художественный образ Феофана Прокоповича, созданный Толстым с помощью отысканных им для своего писательского объектива фокусов, был бы одним из самых ярких, колоритных, запоминающихся художественных образов сподвижников царя-реформатора.

Список литературы

Источники

Автухович Т. Е. Прокопович // *Словарь русских писателей XVIII века.* СПб.: Наука, 1999. Вып. 2: К– П / отв. ред. А. М. Панченко. С. 486–496.

Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. СПб.: Печ. в тип. Карла Края, 1847. Ч. 3. 627 с.

Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом (В октябре и ноябре 1891 г.). Смоленск: Типо-литография Ф. Б. Зельдович, 1894. 81 с.

Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого / под общ. ред. В. А. Жданова. М.: АН СССР, 1955. 634 с.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен: в 29 т. М.: Унив. тип., 1866. Т. 16. 408 с.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 100 т. М.: Наука, 2014. Т. 9: Художественные произведения. 776 с.

Исследования

Видуэцкая И. П. «Роман из времени Петра I» // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: в 100 т. М.: Наука, 2014. Т. 9. С. 429–461; 471–481.

Гудзий Н. К. Феофан Прокопович // *История русской литературы в 10 т.* М.: Наука, 1941. Т. 3: Литература XVIII века. Ч. 1. С. 157–175.

Гулин А. В. Роман из времени Петра I в духовном и творческом движении Л. Н. Толстого // *Л. Н. Толстой: нравственный поиск и творческая лаборатория / отв. ред. А. В. Гулин.* М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 209–232.

Ковалева Г. Н. «Левочка все читает из времен Петра Великого исторические книги и очень интересуется» (неизвестные источники конспективных записей Л. Н. Толстого из времен Петра Великого) // *Филологические науки. Вопросы теории и практики.* 2020. Т. 13. Вып. 10. С. 25–32.

Ковалева Г. Н. «...Никон встал и опять пошел пешком через Красную площадь на Ильинку»: исторические источники записей Л. Н. Толстого о Патриархе Никоне в материалах к «Роману из времени Петра I» // *Два века русской классики.* 2024. Т. 6, № 4. С. 202–217. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-4-202-217>

Крашенинникова О. А. Синодальные реформы петровского времени и кризис традиционных представлений о святости. Ч. 1. // *Культурное наследие России.* 2015. № 4 (11). Октябрь – Декабрь. С. 49–55.

Крашенинникова О. А. Синодальные реформы петровского времени и кризис традиционных представлений о святости. Ч. 2. // *Культурное наследие России.* 2016. № 1. Январь – Март. С. 50–56.

Крашенинникова О. А. «Духовный регламент» (1721) Феофана Прокоповича как полемическое сочинение // *Очерки истории русской публицистики XVIII века. / отв. ред. Н. Д. Блудилина.* М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 171–194.

Попов П. С. Романы из эпохи конца XVII – начала XIX в. // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1936. Т. 17. С. 624–656.

Попов П. С. Примечания к материалам романа времен Петра I // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1936. Т. 17. С. 664–683.

Федотов В. Е. Киево-Могилянская академия после Петра Могилы // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2016. Т. 22, № 2. С. 25–28.

References

Viduetskaia, I. P. “<Roman iz vremeni Petra I>” [“A Novel from the Time of Peter the Great”]. Tolstoi, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 100 t.* [Complete Works: in 100 vols.], vol. 9. Moscow, Nauka Publ., 2014, pp. 429–461, 471–481. (In Russ.)

Gudziĭ, N. K. “Feofan Prokopovich” [“Feofan Prokopovich”]. *Istoriia russkoi literatury: v 10 t.* [History of Russian Literature: in 10 vols.], vol. 3: Literatura XVIII veka [Literature of the 18th Century], part 1. Moscow, Nauka Publ., 1941, pp. 157–175. (In Russ.)

Gulin, A. V. “Roman iz vremeni Petra I v dukhovnom i tvorcheskom dvizhenii L. N. Tolstogo” [“A Novel from the Time of Peter the Great in the Spiritual and Creative Movement of L. N. Tolstoy”]. Gulin, A. V., editor. *L. N. Tolstoi: npravstvennyi poisk i tvorcheskaia laboratoriiia* [L. N. Tolstoy: Moral Search and Creative Laboratory]. Moscow, IWL RAS Publ., 2021, pp. 209–232. (In Russ.)

Kovaleva, G. N. “‘Levochka vse chitaet iz vremen Petra Velikogo istoricheskie knigi i ochen’ interesuetsia’ (neizvestnye istochniki konspektivnykh zapisei L. N. Tolstogo iz vremen Petra Velikogo)” [“‘Levochka Keeps Reading History Books from the Time of Peter the Great and Is Very Interested’ (Unknown Sources of L. N. Tolstoy’s Notes from the Time of Peter the Great)”]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, vol. 13, issue 10, 2020, pp. 25–32. (In Russ.)

Kovaleva, G. N. “‘...Nikon vstal i opiat’ poshel peshkom cherez Krasnuiu ploshchad’ na Il’inku’: istoricheskie istochniki zapisei L. N. Tolstogo o Patriarkhe Nikone v materialakh k <Romanu iz vremeni Petra I>” [“‘...Nikon Got Up and Again Walked Across Red Square to Ilyinka’: Historical Sources of L. N. Tolstoy’s Notes on Patriarch Nikon in the Materials for ‘A Novel from the Time of Peter I’”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 4, 2024, pp. 202–217. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-4-202-217> (In Russ.)

Krasheninnikova, O. A. “Sinodal’nye reformy petrovskogo vremeni i krizis traditsionnykh predstavlenii o sviatosti. Ch. 1” [“Synodal Reforms of the Peter the Great Era and the Crisis of Traditional Ideas about Holiness. Part 1”]. *Kul’turnoe nasledie Rossii*, no. 4 (11), October – December, 2015, pp. 49–55. (In Russ.)

Krasheninnikova, O. A. “Sinodal’nye reformy petrovskogo vremeni i krizis traditsionnykh predstavlenii o sviatosti. Ch. 2” [“Synodal Reforms of the Peter the Great Era and the Crisis of Traditional Ideas about Holiness. Part 2”]. *Kul’turnoe nasledie Rossii*, no. 1, January – March, 2016, pp. 50–56. (In Russ.)

Krasheninnikova, O. A. “‘Dukhovnyi reglament’ (1721) Feofana Prokopovicha kak polemicheskoe sochinenie” [“‘The Spiritual Regulations’ (1721) by Feofan Prokopovich as a Polemical Work”]. *Ocherki istorii russkoi publitsistiki XVIII veka* [Essays on the History of Russian Journalism of the 18th Century]. Moscow, IWL RAS Publ., 2017, pp. 171–194. (In Russ.)

Текстология. Источниковедение

Г. Н. Ковалева. «Се жених грядет...»: исторические источники записей Л. Н. Толстого о Феофане Прокоповиче в материалах к <Роману из времени Петра I>

Popov, P. S. “Romany iz epokhi kontsa XVII – nachala XIX v.” [“Novels from the Era of the Late 17th – Early 19th Centuries”]. Tolstoi, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols.], vol. 17. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1936, pp. 624–656. (In Russ.)

Popov, P. S. “Primechaniia k materialam romana vremen Petra I” [“Notes on the Materials of the Novel from the Time of Peter the Great”]. Tolstoi, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols.], vol. 17. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1936, pp. 664–683. (In Russ.)

Fedotov, V. E. “Kievo-Mogilianskaia akademiia posle Petra Mogily” [“Kiev-Mohyla Academy after Peter Mogila”]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova*, vol. 22, no. 2, 2016, pp. 25–28. (In Russ.)

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

Научный журнал
Два века русской классики / Two centuries of the Russian classics



2025 — Т. 7 — № 4

Учредитель и издатель
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук

Главный редактор

Щербакова Марина Ивановна
доктор филологических наук, профессор,
заведующая научно-исследовательским центром
«Русская литература и христианская традиция» ИМЛИ РАН

Дизайн обложки и макет журнала **Компьютерная верстка**
Д. К. Бернштейн А. З. Бернштейн

Корректор

В. Г. Андреева

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации: ПИ № Эл 77-76366 от 02.08.2019 г.

Адрес учредителя, редакции и издателя:

121069, Москва, ул. Поварская, 25А, стр. 1

Тел.: (495)690-50-30

E-mail: red@rusklassika.ru

journal_ork@mail.ru

Сайт журнала: www.rusklassika.ru

Дата размещения сетевого издания в сети Интернет
на официальном сайте <http://rusklassika.ru> 25.12.2025 г.

При перепечатке ссылка обязательна

16+

Участником
мировой интер-
националь-
ной

А.М. Тольского
РАН
Москва